
The

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

Евгений Замятин

I

JEVGENIJ SAMJATIN

WERKE

Erster Band

Herausgegeben von Eugenia Zhiglevich
Eingeleitet von Alexander Kaschin

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB UND VERLAG
1970

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

СОЧИНЕНИЯ

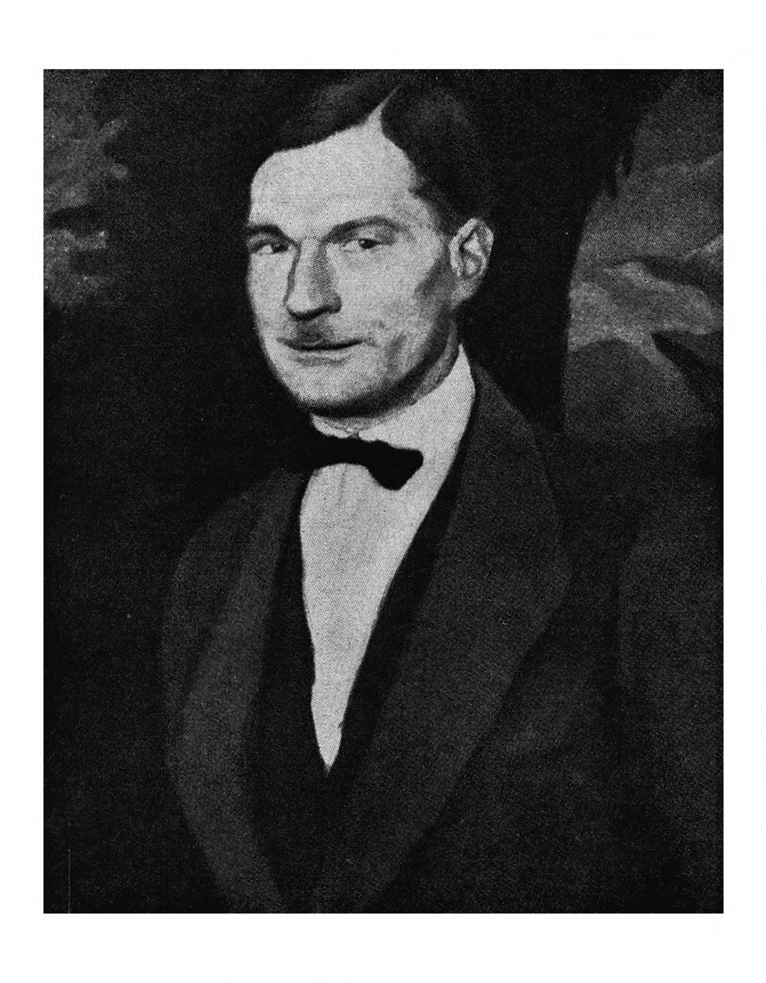
Том первый

Редакция Евгении Жиглевич
Вступительная статья Александра Кашина

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB UND VERLAG
1970

Портрет на суперобложке работы Ю. П. Анненкова
Портрет работы Н. Э. Радлова
Рисунок суперобложки и переплета Николая Сафонова

Printed in West-Germany
by Fremdsprachendruckerei Dr. Peter Belej, München 13



Евг. Замятин

ХУДОЖНИК И ЧЕЛОВЕК

10 марта 1937 года в Париже умер русский писатель Евгений Иванович Замятин, похоронен он на пригородном кладбище французской столицы. Мы никогда не были на его могиле, не знаем, стоит ли на ней памятник и какой именно. Мы знаем одно — нетленным, нерукотворным, вечным памятником Замятину будет его «Письмо к Сталину», а также вся его жизнь, начавшаяся в Лебедяни в 1884 году и кончившаяся на берегах Сены.

Жизнь — трагедия. Настоящая трагедия, не та, которую играют на театре, та, в которой сгорают сердца и души. Замятин сам выбрал себе такую судьбу — судьба привела его к смерти на чужбине.

В наши дни о трагедии и героизме говорится особенно много. Но вместе с тем как-то утерялось понимание того, что трагично только сознательное движение навстречу собственной гибели.

Но, может быть, и Замятин не знал, может быть, и с ним это произошло случайно? Мало ли, в конце концов, людей умирает в парижских госпиталях, так же далеко от родной земли, как умер Замятин. Не всех же считать героями, подвижниками. Нашей задачей как раз и является показать, что Замятин знал, не предчувствовал, а именно знал и не свернул с дороги. В этом и героизм и подвижничество.

Замятин-художник это — Замятин-человек. Найти человека, нащупать его «како веруеши», проследить, насколько это возможно, его жизнь — в этом случае значит осветить источник творчества.

Первый рассказ напечатан в 1908 году, известность пришла с повестью «Уездное». Но это еще не полноценный Замятин, это еще только начало. По тому же пути идет Горький, пойдет Маяковский и многие другие: жизнь скучна, сера, безысходна. Нужно искать нечто

другое, свежее, красочное, большое. Взорвать провинцию! вот — лозунг. Конечно, Замятин — субъективист, и провинция, которую он собирается взрывать, живет в человеческих сердцах. Человеческие сердца и следует взрывать: снять с них наносное, налипное, коралловое.

Повесть «На куличках». Снова скука, серость, безвыходность. Вопрос: чем жить? И еще вопрос: почему разрешено жить подлецам?

Именно этот вопрос будет Замятина преследовать до смерти, только впоследствии он поставит его иначе. Сначала подлец выступает в шаблонном облике шантажиста. Если ты ко мне сегодня ночью не придешь, я твоего мужа под суд подведу!...

Взрыв, самоубийство, при этом, главное пострадавшее лицо — человек ни в чем не повинный.

Все это время Замятин упорно учится и работает. Война, командировка в Англию, постройка ледоколов, — но скажем лучше его собственными словами:

«В те годы быть большевиком — значило идти по линии наибольшего сопротивления: и я был тогда большевиком».

Несколько слов о литературных привязанностях (все это берем из «Автобиографии»):

«Много одиночества, много книг, очень рано — Достоевский. До сих пор помню дрожь и пылающие щеки — от «Неточки Незвановой». Достоевский долго оставался — старший и страшный даже: другом был Гоголь (и гораздо позже — Анатоль Франс)».

«Автобиография» дана при «Полном собрании сочинений», выпущенном в издательстве «Федерация» в 1929 году. То есть уже почти через десять лет по написании романа «Мы». Странно, что даже тогда Замятин не догадался: настоящим, большим, подлинным другом был Достоевский. Именно он был единственным русским писателем, с которым Замятину было всегда по пути.

«С 1896 года — гимназия в Воронеже. Специальность моя, о которой все знали: «сочинения» по русскому языку. Специальность, о которой никто не знал: всевозможные опыты над собой — чтобы «закалить» себя.

Помню: классе в 7-ом, весной, меня укусила бешеная собака. Взял какой-то лечебник, прочитал, что первый, обычный срок, когда появляются первые признаки бешенства — две недели. И решил выждать этот срок: сбе-

шусь или нет? — чтобы испытать судьбу и себя. Все эти две недели — дневник (единственный в жизни). Через две недели — не сбесился. Пошел, заявил начальству, тотчас же отправили в Москву — делать пастеровские прививки. Опыт мой кончился благополучно. Позже, лет через десять, в белые петербургские ночи, когда сбесился от любви — проделал над собой опыт посерьезнее, но едва ли умнее.

Из гимназического серого сукна вылез в 1902 году. Золотая медаль за 25 рублей была заложена в петербургском ломбарде — и там осталась.

Помню: последний день, кабинет инспектора (по гимназической табели о рангах — ‚кобылы'), очки на лбу, подтягивает брюки (брюки у него всегда соскакивали) и подает мне какую-то брошюру. Читаю авторскую надпись: ‚Моей almae matri, о которой не могу вспомнить ничего, кроме плохого. П. Е. Щеголов'. Инспектор — наставительно в нос, на о: ‚Хорошо? Вот тоже кончил у нас с медалью, а что пишет! Вот и в тюрьму попал. Мой совет: не пишите, не идите по этому пути'. Наставление не помогло».

И сразу детство кончается, кончаются «опыты», начинается серьезное, жизнь. Командировка в Англию и возвращение в революционную Россию. Здесь закружилась голова, захолонуло сердце: вот оно, началось. Поплыло, пошло, вверх, вниз, — Россия, как корабль, который не то потонет, не то вынесет в новую Америку.

Почему Замятин примкнул к революционной социалдемократии, нам кажется, объяснять не надо. Если не объясняет выписка из «Автобиографии», объяснит вся его дальнейшая судьба. Большевики были делающими революцию, Замятин себе жизни вне революции не представлял. Для него: революция это и есть жизнь. Жизнь развивается по спирали, взрывами, и каждый новый взрыв сильнее предыдущего.

После революции Замятин — один из самых влиятельных писателей. Вокруг него группируется молодежь. Неореализм, который он возглавляет, обещает вывести русскую литературу на большую дорогу, на новую дорогу . . . Здесь придется остановиться, предчувствуя вопрос: стоило ли выводить русскую литературу на новую дорогу, разве старая была так уж плоха? Нет, не плоха, но она кончилась. Ее кончил Толстой, после Толстого идти боль-

ше было некуда. Толстой замыкал, Достоевский открывал новое. Не формально, а фактически — Достоевский был неореалистом. Сущность неореализма, как литературного движения, Замятин определил со свойственной ему ясностью (он был не только писателем, но и инженером, и привык мыслить в математических категориях):

«Реализм видел мир простым глазом: символизму мелькнул сквозь поверхность мира скелет — и символизм отвернулся от мира. Это — тезис и антитезис; синтез подошел к миру со сложным набором стекол, и ему открываются гротескные, странные множества миров: открывается, что человек — это вселенная, где солнце — атом, планеты — молекулы, и рука — конечно, сияющее необъятное созвездие Руки; открывается, что земля — лейкоцит, Орион — только уродливая родинка на губе, и лет солнечной системы к Геркулесу — это только космическая перистальтика кишок. Открывается красота полена — и трупное безобразие луны; открывается ничтожнейшее, грандиознейшее величие человека; открывается — относительность всего. И разве не естественно, что в философии неореализма одновременно — влюбленность в жизнь и взрывание жизни страшнейшим из динамитов: улыбкой?» («О синтетизме»).

Замятин был один из тех революционеров, которые в революцию приносят динамит для взрывания революции. Никакая революция для них не последняя, последних революций не бывает. Нужно, чтобы один взрыв следовал сразу за другим, предыдущим. Так должно быть и в литературе, и в социологии, и в философии, и в жизни.

Человек, стоящий в центре чего-либо, неизбежно привлекает к себе всеобщее внимание. Замятин в эти годы стоял в центре русской литературы. Горький собирался за границу. Маяковский приспосабливался к новым условиям, один Замятин как будто шел вперед. Лунц, Каверин, Леонов, Олеша и другие ожидали от него колумбовского дерзания, которое одно только и могло вынести к берегам Земли Обетованной.

Но... Без «но» трагедии не бывает. «Но» — это и есть та гора, которую человек должен прорыть собственными руками, чтобы выбраться с другой стороны и посмотреть новыми глазами на мир. Теперь уже не в провинции только, но и в столице, но и по всей России воцарялось «Уездное», то самое, что было так ненавистно

Замятину в молодости. Больше того, теперь это «уездное» получило в свои руки все права, включая и право определять, что именно следует считать революцией и какой именно должна быть «революционная» культура.

У нас нет возможности останавливаться подробно на истории борьбы Замятина с тогдашней русской критикой, поэтому придется ограничиться выпиской, которая покажет форму борьбы и ее цели:

«Все это болото в художественной литературе... в значительной мере обязано своим происхождением работе современной критики, это — сыпняк, причиной которого являются укусы критических паразитов.

Литературным сыпняком этим заболевают преимущественно слабые организмы. Клиническая картина этого сыпняка такая: сначала продолжает писать, почесываясь. Затем — невмочь: начинает метаться — вправо, влево. И, наконец, загнанный в угол — начинает лгать — себе и другим. Они превращаются, как сказал Новицкий — в марксят. К несчастью, у читателя и особенно читателя массового — нюх гораздо тоньше, чем это думают... читателя от такой — лживой — литературы воротит.

Критика в таком виде, в каком она существует сейчас — только вредна. Все бесчисленные мальчики, всевозможные Штейманы и Блюменфельды — все они хотят учить писателя. Но для этого они знают только один способ: лиговский — кастет, кулак, травля — какая сейчас почему-то поднята по адресу молодого Булгакова. Все эти маленькие человечки имеют смелость считать себя аппаратами, посредством которых русский революционный народ передает писателю свой ‚социальный заказ'. Бухарин: ‚Какое дворянское Политбюро давало директивы Пушкину, когда он писал стихи?'

Такая критика, к сожалению, не только смешна: она, повторяю, и вредна. Вредна — потому, что она заставляет читателя терять уважение ко всякой критике, она заставит извериться в возможности существования такой настоящей критики.

Два необходимых условия симбиоза: 1) взаимное уважение — и, стало быть, уважение критика к писателю. 2) Уважение к искусству.

...В других странах писателями гордятся — у нас их бьют по морде.

Недостаток авторитетности, вероятно, чувствуют многие из критиков. Не этим ли объясняется, что многие из них (вроде Горбачева) строят свои статьи так, что эти статьи становятся похожими на статьи Уголовного Кодекса, а критик из исследователя превращается в следователя, командированного соответствующим учреждением . . .» («О современной критике»)

Замятин недаром утверждал, что писатель обязан быть пророком. Сам он пророком был.

В 1921 году Замятин в статье «Я боюсь» — своеобразном Реквиеме русской литературе — подводит печальные итоги «. . . я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое».

Затем начинается травля: его больше не печатают, печатают только написанное о нем. И финал: письмо к Сталину, помеченное июнем 1931 г.:

«Уважаемый Иосиф Виссарионович,
приговоренный к высшей мере наказания — автор настоящего письма — обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другою.

Мое имя Вам, вероятно, известно. Для меня, как для писателя, именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся, травли.

Я ни в какой мере не хочу изображать из себя оскорбленную невинность. Я знаю, что в первые 3—4 года после революции среди прочего, написанного мною, были вещи, которые могли дать повод для нападок. Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию: я считал — и продолжаю считать — что это одинаково унижает как писателя, так и революцию. В свое время именно этот вопрос, в резкой и обидной для многих форме, поставленный в одной из моих статей (журн. «Дом Искусств», № 1, 1920 г.), был сигналом для начала газетно-журнальной кампании по моему адресу.

С тех пор, по разным поводам, кампания эта продолжается по сей день, и в конце концов она привела к тому,

что я назвал бы фетишизмом: как некогда христиане для более удобного олицетворения всяческого зла создали чёрта — так критика сделала из меня чёрта советской литературы. Плюнуть на чёрта — зачитывается как доброе дело, и всякий плевал, как умеет. В каждой моей напечатанной вещи непременно отыскивался какой-нибудь дьявольский замысел. Чтобы отыскать его — меня не стеснялись награждать даже пророческим даром: так, в одной моей сказке (,Бог'), напечатанной в журнале ,Летопись' — еще в 1916 году — некий критик умудрился найти . . . ,издевательство над революцией в связи с переходом к НЭПу'; в рассказе (,Инок Эразм'), написанном в 1920 году, другой критик (Машбиц-Веров) узрел ,притчу о поумневших после НЭПа вождях'. Независимо от содержания той или иной моей вещи — уже одной моей подписи стало достаточно, чтобы объявить эту вещь криминальной.

. . . В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора является выселение преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же, думаю, не такой тяжкой, как литературная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР — с правом для моей жены сопровождать меня. Если же я не преступник, я прошу разрешить мне вместе с женой, временно, хотя бы на один год, выехать за границу — с тем, чтобы я мог вернуться назад, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас, хоть отчасти, изменится взгляд на роль художника слова. А это время, я уверен, уже близко, потому что вслед за успешным созданием материальной базы неминуемо встанет вопрос о создании надстройки — искусства и литературы, которые действительно были бы достойны революции . . .» *)

Началось все из-за романа «Мы». Написан он был в 1920 году, в России никогда напечатан не был. В 1929 году появился французский перевод, в 1924 — английский перевод в Америке, в 1927 году чешский перевод. Кроме того, эмигрантский журнал «Воля России» сделал обратный перевод с чешского и печатал его из номера в номер.

---

*) Цитаты заимствованы из сборника статей Е. И. Замятина «Лица». Изд-во имени Чехова. Нью-Йорк, 1955 год.

Замятина обвинили в том, что «Воля России» печатает «Мы» с его разрешения. Обвинение было лишено всяких оснований, если принять во внимание, что, как мы уже говорили, в эмигрантском журнале печатался обратный перевод с чешского. Какой же писатель согласится на такую вивисекцию! Замятин и заявил об этом во всеуслышание, поместив в «Литературной Газете» (7 октября 1929 года) открытое письмо, отрывки из которого мы приводим ниже:

«Когда я вернулся в Москву после летнего путешествия — все дело о моей книге ‚Мы' было уже окончено. Уже было установлено, что появление отрывков из ‚Мы' в пражской ‚Воле России' было моим самовольным поступком и в связи с этим все необходимые резолюции были приняты . . .

. . . Дело было рассмотрено в исполнительном бюро Союза советских писателей и резолюция исполнительного бюро была опубликована в № 21 ‚Литературной Газеты'. Во 2-ом пункте ее исполнительное бюро ‚решительно осуждает поступок вышеназванных писателей' — Пильняка и Замятина. В 4-ом пункте этой резолюции исполнительное бюро ‚предлагает ленинградскому отделению Союза немедленно расследовать обстоятельства появления за границей романа Замвтина ‚Мы'. Таким образом, мы имеем сначала осуждение, а затем — назначение следствия. Я думаю, что ни один суд на свете не слышал о таком образе действия. Это есть ‚поступок' Союза писателей.

Затем вопрос о напечатании моего романа в ‚Воле России' обсуждался на общем собрании московского отделения Всероссийского союза писателей, и позже — на общем собрании ленинградского отделения.

Московское собрание, не ожидая моих объяснений и даже не выразив желания их услышать — приняло резолюцию, осуждавшую мой ‚поступок'. Члены московского отделения также нашли своевременным выразить свой протест против содержания романа, написанного за девять лет до того и большинству членов известного. В наше время — девять лет равны девяти векам. Я не считаю нужным здесь выступать в защиту романа, написанного девять лет назад. Я думаю, однако, что если бы члены московского отделения Союза писателей протестовали против романа ‚Мы' шесть лет тому назад, когда роман читался

на одном из литературных вечеров Союза — это было бы более своевременным.

Общее собрание ленинградского отделения Союза было созвано 22 сентября. О его резолюции я знаю только из газетных сообщений. Из этих сообщений видно, что в Ленинграде мои объяснения были прочитаны, и что здесь мнения присутствующих по этому поводу разделились. Часть писателей, после моего объяснения, считала инцидент целиком исчерпанным. Но большинство нашло более осторожным осудить мой ‚поступок'. Таким был ‚поступок' Всероссийского Союза писателей, и из этого поступка я вывожу заключение:

Принадлежать к литературной организации, которая хотя бы косвенно принимает участие в преследовании своего сочлена — невозможно для меня, и настоящим я заявляю о своем выходе из Всероссийского Союза писателей.

Евгений Замятин».

«Поступок» донкихотский. Донкихотское письмо. Замятин, наперекор всем, не склонился перед кулаком, перед безнаказанным произволом. Этот документ, как и письмо Сталину — достойны стать вечным памятником писателю и человеку.

*

На этом оканчиваем первую половину статьи. Перед нами биография Замятина, его внешнее лицо. Есть и внутреннее. Если бы Замятин был только тем, что показывают перипетии его войны с диктатурой, о нем стоило бы написать некролог: он был непримиримым борцом, не склонился и прочее. Или же — роман под звонким заглавием «Непокорившийся». Но это далеко не все. Мы еще не прощупали те корни, которые питали Замятина-художника и Замятина-человека, позволяя ему игнорировать страхи, заставлявшие капитулировать остальных.

Обратимся к самому крупному его произведению — «Мы», которое послужило предлогом для осуждения Замятина. Но сначала несколько слов о трагедии. Каковы симптомы, так сказать, клинические признаки трагедии?

Два человека попадают в тюрьму, оба за убийство, оба убили собственных жен: в одном случае — это трагедия, в другом — только мелодрама. Где же коренится

разница, где искать ее? Конечно, во внутреннем. Можно не убивать жены и не попадать в тюрьму, можно жить самой — на внешний взгляд — обыкновенной жизнью и все-таки переживать глубочайшую трагедию. Рационализм, материализм здесь ничего никогда объяснить не смогут. Мало того, ни рационализм, ни материализм не знают трагедии, как формы искусства. Трагедия не может не быть религиозной, во всяком случае, иррациональной.

Трагедия начинается, когда человек сталкивается с «ананке» — с необходимостью, с Роком древних греков. Но с Необходимостью «столкнуться» может только очень большой человек. Маленький человек, обыватель, Необходимость примет, с ней примирится и превосходно будет жить дальше. При этом, мы имеем в виду, конечно, не исключительно низшую форму обывательского сознания. Обыватель может порой стоять и на очень высоком — сравнительно — уровне развития, может быть Наполеоном — это ничего не меняет. Перед Наполеоном Необходимость вырисовывается в виде воли, желаний массы (толпы), которой нужно угодить, за что она и «вознесет его высоко» — Необходимость для трибуна, для непосредственного деятеля — часть его повседневной рутины. Он ее принял, с ней смирился, с ней будет жить, действовать, двигаться.

Необходимость, Рок для греков, была обязательным, абсолютным ограничением человеческой свободы. О происхождении ее они не вопрошали: так было, так есть, так будет. Их интересовало другое: трагедия индивидуума, одного большого человека (Прометея), перед Необходимостью не смирившегося. Христианство, обязательность и абсолютность необходимости сняло («на таковых нет закона»), поэтому христианская трагедия приняла иную форму. Христианская трагедия — это трагедия непреодоленного первородного греха, недостаточного, неполного охристианения человека. Для христианина настоящего, для святого необходимость уже не существует («будете горами двигать»).

Все это длинное вступление представляется нам совершенно неизбежным, если мы хотим понять подлинное величие Замятина, как человека и художника, если мы не соглашаемся ограничиться поверхностным взглядом на его жизнь и борьбу. Чтобы познать человека — будь

это сам познающий или его ближний — мало знать, что произошло, нужно еще знать, почему это произошло, а главное, нужно знать, почему человек действовал именно так, а не иначе. Трагедия всегда есть трагедия духа, и искать ее нужно в глубине, а не на поверхности.

Перед нами две книги: «Мы» — Замятина и «1984» — Орвелла. Две книги приблизительно на одну и ту же тему.

«Мы» — Замятина писалось в начале двадцатых годов, когда никакого тоталитарного государства еще не существовало. Здесь дух пророчества, предвидения. Орвелл писал в сороковых годах, когда значительная часть предсказанного Замятиным уже сбылась. Не может быть ни малейшего сомнения в том, что Замятин сыграл тут роль Колумба, а Орвелл, как некоторые другие, роль Америго Веспуччи: Америка открыта Замятиным.

Но интересует нас не это, а те предпосылки, из которых исходили в своих произведениях оба писателя. Роман Орвелла — политическая сатира, роман Замятина — постановка глубокой философской проблемы. Орвелл рисует нам тоталитарное государство, делая упор на «Министерстве Правды», постоянно извращающем, подавляющем и редактирующем действительность. Реальность, жизнь расплывается, уничтожается, проходя через руки чиновников Министерства Правды. Герой Орвелла Уинстон больше всего болеет именно этим: что правда и что ложь, что было и что выдумано? Основная мысль произведения дана в его дневнике:

«Свобода есть свобода утверждать, что два помноженное на два равняется четырем».

В конце романа герой Орвелла сдается, признает, что два помноженное на два может быть четыре, а может быть и пять, капитулирует перед властью и становится заводной игрушкой, аплодирующей мифическим, выдуманным победам правительства Океании.

Не будем разбирать литературных достоинств романа Орвелла. Нам важно констатировать, что «1984» — в лучшем случае драма. Трагедии здесь нет просто потому, что Уинстон — человек маленький и бунтует он, как обыватель. Его восстание принимает внешнюю эротическую форму и ищет своего развития в политическом заговоре против власти.

Орвелл прямо вопроса не ставит, но косвенно все происшедшее с Уинстоном подается, как совершенно нормальное, естественное в том обществе, которое описывает писатель. Все капитулируют, все сдаются, сопротивление невозможно.

Так ли? Мыслимо ли действрително построение такого общества, в котором никакое сопротивление невозможно, в котором человеческая личность с самого рождения обречена на духовную гибель? Ответ на это дает роман «Мы» Замятина.

Единое Государство ушло гораздо дальше по пути осуществления коммунистического — и всякого тоталитарного — замысла о государстве.

Орвелл взял себе за образец Герберта Уэллса, писавшего социальные романы, в которых он брал настоящее, проводил от него прямую линию вперед и показывал будущее, как логическое заключение длинного исторического процесса. И ошибался. Не мог не ошибаться, поскольку история никогда не развивается по прямой. Орвелл, сгущая краски, в сущности, пишет гротескную пародию на современную коммунистическую действительность. Замысел Замятина был и шире и глубже.

Замятину совершенно все равно, как именно развивается история в действительности. Настоящее художественное произведение всегда начинает с игнорирования жизни, чтобы затем придти к тем большему ее отражению. Герой Орвелла борется за право утверждать, что два помноженное на два равно четырем. Но эту истину нечего и утверждать, эго так есть и так будет. Это — объективная действительность. Правители Океании — какими бы зверями они ни были в остальных отношениях — оказывают человечеству неоценимую услугу, освобождая его от цепей объективной действительности. В Океании человек закрепощен политически и раскрепощен духовно. Там имеется не только право, но и обязанность утверждать, что дважды два вовсе не обязательно четыре. Плохо, что — обязанность, но ведь любой политический переворот это изменит, и тогда перед нами будет абсолютно свободное человечество, абсолютно свободный человек.

У Замятина дело так и обстоит. Его заговорщики берут своим математическим символом корень квадратный из минус единицы. В борьбе с холодным здравым смы-

слом, в восстании против железных законов логики стать союзником может только иррациональное. Другого союзника нет. Но зато иррациональное никогда не капитулирует. И самое главное — его нельзя извлечь на свет Божий, поглядеть на него в свете неумолимой логики: никакой самый острый ум, никакое самое отчетливое сознание ничего ясного и прочного тут не найдет. Потому что иррациональное — индивидуально. Вернее — так: все, что в человеке есть индивидуального, собственного — иррационально, все общее — логично, подчинено законам и потому выводимо за скобки. Никакой следователь Единого Государства не смог бы играть с врагами существующего порядка так, как О'Брайен играет с Уинстоном. О'Брайен не в состоянии был бы даже понять, в чем, собственно, заключается основа протеста, движущая сила восстания. Для него утверждение «дважды два может быть равно пяти» равнялось бы абсурду, а с абсурдом не спорят и не сражаются, абсурд пытаются уничтожить физической силой.

Мы особенно хотим подчеркнуть это различие между двумя романами: герой Орвелла сдается, капитулирует, героиня Замятина умирает с презрительной усмешкой на устах, с ней ничего сделать не смогли. Почему? Потому что у первого нет ничего, кроме цепляния за объективную реальность, в существовании которой он и сам сомневается, у второй же есть вера в иррациональное, в то, что нет последнего числа, нет последней революции, нет вообще ничего последнего.

Иррациональное и религиозное — сливаются ли они при наложении? Вопрос трудный, мы не беремся его решать. Однажды мы уже определили Замятина, как человека со смещенной религиозностью. Чтобы не вступать в богословский спор, сделаем это и сейчас. Думается нам, что Богом Замятина была математика, но не та, что утверждает дважды два четыре, а та, которая это утверждение опрокидывает. Полагался ли он на четвертое измерение и как его себе представлял — мы не знаем. Упоминание о четвертом измерении можно встретить в его книге «Лица», наряду с таким, например, заявлением: «Манускрипт для отсылки был уже приготовлен, но отправить его не пришлось: адресат выбыл с земли».

Вера это? И если вера, то во что? Корень квадратный из минус единицы — другого ответа мы не нашли.

Лучший способ закабалить человека, переделать его в куклу, это — заставить его жить по законам незыблемой логики и такой же незыблемой математики. Герой «Мы», строитель Интеграла, записывает в дневнике:

«...я наслаждался сонетом, озаглавленным ‚счастье'. Думаю — не ошибусь, если скажу, что это редкая по красоте и глубине мысли вещь. Вот первые четыре строчки:

Вечно влюбленные дважды два,
Вечно слитые в страстном четыре,
Самые жаркие любовники в мире —
Неотрывающиеся дважды два ...

И дальше все об этом: о мудром, вечном счастье таблицы умножения.

Всякий подлинный поэт — непременно Колумб. Америка и до Колумба существовала века, но только Колумб сумел отыскать ее. Таблица умножения и до R — 13 существовала века, но только R — 13 сумел в девственной чаще цифр найти новое Эльдорадо. В самом деле: есть ли где счастье мудрее, безоблачнее, чем в этом чудесном мире? Сталь ржавеет; древний Бог создал древнего, то есть способного ошибаться, человека — и, следовательно, сам ошибся. Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога: она никогда — понимаете: никогда — не ошибается. И нет счастливее цифр, живущих по стройным вечным законам таблицы умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Истина — одна, и истинный путь — один; и эта истина — дважды два, и этот истинный путь — четыре. И разве не абсурдом было бы, если бы эти счастливые, идеально перемноженные двойки — стали думать о какой-то свободе, то есть ясно — об ошибке? ...»

На человека надета узда, и узда такая, которую он сам с удовольствием примет. Потому что за каждую ошибку человек должен платить, а платить он не любит. Человек не любит пророков, праведников, мудрецов именно потому, что они постоянно стремятся снять с него эту узду, поставить его на собственные ноги. И «Бог древних» — Он такой же. Он тоже не дает человеку заснуть», задремать над вечными, абсолютными истинами. Он требует личного отношения, требует благоговения, движения, постижения, Он многого требует от человека. И недаром первая заповедь гласит: «Аз есмь Господь Бог

Твой, да не будет тебе Бога иного, кроме Меня». Иного Бога — это и значит бога такого, который лишает тебя свободы. «Где Бог, там свобода», там страшная, но и величественная, но и блаженнейшая бесконечность, там — никаких законов.

Вот почему мы считаем себя вправе утверждать, что у Замятина была смещенная религиозность. И эта религиозность, как и такая же смещенная религиозность его героини в романе «Мы», дала ему силы устоять там, где все другие пали.

И еще одно. Орвелл, беря за образец сегодняшнюю коммунистическую действительность, рисует тоталитарное государство, не способное выполнить ни одного из своих обещаний. В этом государстве царят нищета, голод, лишения. Оно все берет и ничего не дает. Это — политика. У Замятина другое. Замятин идет путем Достоевского. Пусть все построено и все идеально, и все обещания выполнены, что тогда? Потому его проникновение значительно глубже. Не выходит, не выходит, а вдруг да выйдет! Вдруг заработает по-настоящему промышленность, вдруг в мире, полностью оккупированном, скажем, коммунизмом, воцарится благорастворение воздухов и потекут реки меда и молока. Что тогда? Сможет ли человек за эти дешевые, земные блаженства продать свою свободу (хотя бы только потенциальную)? Согласится ли он на это? Орвелл такого вопроса не ставит, Замятин на него отвечает: нет, не согласится. Словами Достоевского:

«Тогда-то... настанут новые экономические отношения, совсем уже готовые и тоже вычисленные с математической точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, никак нельзя гарантировать... что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что, что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь!... Ведь глуп человек, глуп феноменально.То есть он хоть и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен так, что поискать другого, так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего, среди всеобщего будущего

благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен, с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с той целью, чтоб все эти логарифмы отправились к чёрту, и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так человек устроен». («Записки из подполья»).

Таким образом, Замятин является как бы завершающим звеном прошлого столетия (столетия безусловной веры в прогресс, в благорастворение воздухов и в царство Божие без Бога на земле) и первым в столетии нынешнем. Он кончил то, что начал Достоевский, и показал свой собственный путь к преодолению опасности — не только трудами, но и всей жизнью.

Героиня Замятина в Едином Государстве, сам Замятин в СССР доказали, как крепко стоит на земле человек, согреваемый верой — пусть даже не в личного Бога, но хотя бы только в иррациональное — корень квадратный из минус единицы, насколько бессильны перед такими людьми все физические принуждения, все пытки и казни. Уж если человек перед соблазном логики устоял и не соблазнился, что для него пытка и казнь!

Но вот еще последняя проблема. Замятин проповедывал (про него можно сказать — «проповедывал») постоянное движение, притом не постепенное, планомерное, идущее по прямой линии, а движение, как непрерывную цепь сменяющих один другого взрывов. Ну, хорошо, пусть так: но ведь нельзя непрерывно взрывать вселенную — что останется? Нельзя также постоянно взрывать своего ближнего — ему надоест, и он займется поджигательством. Очевидно, дело сводится к взрывам внутренним, психологическим, к взрывам, происходящим в человеческом сознании, в его сердце, в его душе. Но тогда непонятно, почему Замятин не мог осмыслить святости, как именно такой цепной реакции взрывов, притом — взрывов внутренних, то есть никому, кроме самого взрываемого, ничем не угрожающих. А он ее не понимал, на это есть прямые свидетельства. Тут ему оставалось сделать лишь шаг, чтобы окончательно и твердо стать на путь подвижничества.

В настоящем коротком обзоре мы не претендуем ни на полноту, ни на широту, ни на глубину охвата всего замятинского наследства. Нам просто хотелось напомнить нашим российским читателям об упорно и жестоко замалчиваемом писателе и человеке.

Что сказать в заключение? Какой эпитафией почтить? В Фермопильском проходе, где пало триста героев, сражавшихся с персидским множеством — надпись: «Странник, скажи Лакедемону, что здесь мы лежим в соответствии с его законом».

С каким законом?

Ответим словами Замятина:

«В других странах писателями гордятся — у нас их бьют по морде».

А. Кашин



ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

АВТОБИОГРАФИЯ

Как дыры, прорезанные в темной, плотно задернутой занавеси — несколько отдельных секунд из очень раннего детства.

Столовая, накрытый клеенкой стол, и на столе блюдо с чем-то странным, белым, сверкающим, и — чудо! — это белое вдруг исчезает на глазах неизвестно куда. В блюде — кусок еще незнакомой, некомнатной, внешней вселенной: в блюде принесли показать мне снег, и этот удивительный снег — до сих пор.

В этой же столовой. Кто-то держит меня на руках перед окном, за окном — сквозь деревья красный шар солнца, все темнеет, я чувствую: конец, — и страшнее всего, что откуда-то еще не вернулась мать. Потом я узнал, что «кто-то» моя бабушка, и что в эту секунду я был на волос от смерти: мне было года полтора.

Позже: мне года два-три. Первый раз — люди, множество, толпа. Это — в Задонске: отец и мать поехали туда на шарабане и взяли меня с собой. Церковь, голубой дым, пение, огни, по-собачьи лает кликуша, комок в горле. Вот кончилось, прут, меня — щепочку — несет с толпой наружу, вот я уже один в толпе: отца с матерью нет, и их больше никогда не будет, я навсегда один. Сижу на какой-то могиле; солнце, горько плачу. Целый час я жил в мире один.

В Воронеже. Река, необычно странный мне ящик купальни, и в ящике (я потом вспомнил это, когда видел в бассейнах белых медведей) плещется огромное, розовое, тучное, выпуклое женское тело — тетка моей матери. Мне любопытно и чуть жутковато: я в первый раз понимаю, что это женщина.

Я жду у окна, гляжу на пустую, с купающимися в пыли курами, улицу. И наконец едет наш тарантас: везут из гимназии отца; он — на нелепо высоком сиденье, с

тростью поставленной между колен. Я жду с замиранием сердца обеда — за обедом торжественно разворачиваю газету и читаю вслух огромные буквы: «Сын Отечества». Я уже знаю эту таинственную вещь — буквы. Мне года четыре.

Лето. Пахнет лекарствами. Вдруг мать и тетки торопливо захлопывают окна, запирают балкон, и я смотрю, приплюснувшись носом к балконному стеклу: везут! Кучер в белом халате, телега, покрытая белым полотном, под полотном — люди, скорченные, шевелящиеся руки и ноги: холерные. Холерный барак на нашей улице, рядом с нашим домом. Сердце колотится, я знаю, что такое смерть. Мне лет пять-шесть.

И наконец: легкое, стеклянное, августовское утро, далекий прозрачный звон в монастыре. Я иду мимо палисадника перед нашим домом и не глядя знаю: окно открыто, и на меня смотрят — мать, бабушка, сестра. Потому что я в первый раз облачился в длинные — «на улицу» — брюки, в форменную гимназическую куртку, за спиною ранец: я в первый раз иду в гимназию. Навстречу трясется на своей бочке водовоз Измашка и несколько раз оглядывается на меня. Я — горд. Я — большой: мне перевалило за восемь.

Все это — среди тамбовских полей, в славной шулерами, цыганами, конскими ярмарками и крепчайшим русским языком Лебедяни — той самой, о какой писали Толстой и Тургенев. А годы: 1884—1893.

— — —

Дальше — серая, как гимназическое сукно, гимназия. Изредка в сером — чудесный красный флаг. Красный флаг вывешивался на пожарной каланче и символизировал тогда отнюдь не социальную революцию, а мороз в 20^0. Впрочем, это и была однодневная революция в скучной, разграфленной гимназической жизни.

Скептический диогеновский фонарь — в 12 лет. Фонарь был зажжен одним здоровым второклассником и — синий, лиловый, красный — горел у меня под левым глазом целых две недели. Я молился о чуде — о том, чтобы фонарь потух. Чудо не свершилось. Я задумался.

Много одиночества, много книг, очень рано — Достоевский. До сих пор помню дрожь и пылающие свои щеки — от «Неточки Незвановой». Достоевский долго оста-

вался — старший и страшный даже: другом был Гоголь (и гораздо позже — Анатоль Франс).

С 1896 года — гимназия в Воронеже. Специальность моя, о которой все знали: «сочинения» по русскому языку. Специальность, о которой никто не знал: всевозможные опыты над собой — чтобы «закалить» себя.

Помню: классе в 7-м, весной, меня укусила бешеная собака. Взял какой-то лечебник, прочитал, что первый, обычный срок, когда появляются признаки бешенства — две недели. И решил выждать этот срок: сбешусь или нет? — чтобы испытать судьбу и себя. Все эти две недели — дневник (единственный в жизни). Через две недели — не сбесился. Пошел, заявил начальству, тотчас же отправили в Москву — делать пастеровские прививки. Опыт мой кончился благополучно. Позже, лет через десять, в белые петербургские ночи, когда сбесился от любви — проделал над собой опыт посерьезнее, но едва ли умнее.

Из гимназического серого сукна вылез в 1902 году. Золотая медаль за 25 рублей была заложена в петербургском ломбарде — и там осталась.

Помню: последний день, кабинет инспектора (по гимназической табели о рангах — «кобылы»), очки на лбу, подтягивает брюки (брюки у него всегда соскакивали) и подает мне какую-то брошюру. Читаю авторскую надпись: «Моей almae matri, о которой не могу вспомнить ничего, кроме плохого. П. Е. Щеголев». И инспектор — наставительно, в нос, на о: «Хорошо? Вот тоже кончил у нас с медалью, а что пишет! Вот и в тюрьму попал. Мой совет: не пишите, не идите по этому пути». Наставление не помогло.

— — —

Петербург начала 900 х годов — Петербург Комиссаржевской, Леонида Андреева, Витте, Плеве, рысаков в синих сетках, дребезжащих конок с империалами, студентов мундирно-шпажных и студентов в синих косоворотках. Я — студент-политехник косовороточной категории.

В зимнее белое воскресенье на Невском — черно от медленных, чего-то выжидающих толп. Дирижирует Невским — Думская каланча, с дирижера все не спускают глаз. И когда подан знак — один удар, час дня — на

проспекте во все стороны черные человеческие брызги, куски марсельезы, красных знамен, казаки, дворники, городовые... Первая (для меня) демонстрация — 1903 год. И чем ближе к девятьсот пятому — кипенье все лихорадочней, сходки все шумнее.

Летом — практика на заводах, Россия, прибаутливые, веселые третьеклассные вагоны, Севастополь, Нижний, Камские заводы, Одесса, порт, босяки.

Лето 1905 года — особенно синее, пестрое, тугое, доверху набитое людьми и происшествиями. Я — практикантом на пароходе «Россия», плавающем от Одессы до Александрии. Константинополь, мечети, дервиши, базары, беломраморная набережная Смирны, бедуины Бейрута, белый Яффский прибой, черно-зеленый Афон, чумный Порт-Саид, желто-белая Африка, Александрия — с английскими полисмэнами, продавцами крокодиловых чучел, знаменитый Тартуш. Особенный, отдельный от всего, изумительный Иерусалим, где я с неделю жил в семье знакомого араба.

А по возвращении в Одессу — эпопея бунта на «Потемкине». С машинистом «России» — смытый, затопленный, опьяненный толпой — бродил в порту весь день и всю ночь, среди выстрелов, пожаров, погромов.

В те годы быть большевиком — значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком. Была осень 1905 года, забастовки, черный Невский, прорезанный прожектором с Адмиралтейства, 17-ое октября, митинги в высших учебных заведениях...

Однажды в декабре вечером в мою комнату на Ломанском переулке пришел приятель, рабочий, крылоухий Николай В. — с бумажным мешком от филипповских булок, в мешке — пироксилин. «Оставлю-ка я тебе мешочек, а то за мной по пятам шпики ходят». — «Что ж, оставь». И сейчас еще вижу этот мешок: слева, на подоконнике, рядом с кулечком сахару и колбасой.

На другой день — в «штабе» Выборгского района, в тот самый момент, когда на столе были разложены планы, парабеллумы, маузеры, велодоги — полиция: в мышеловке человек тридцать. А в моей комнате слева, на подоконнике — мешок от филипповских булок, под кроватью — листки.

Когда обысканные и избитые мы разделены были по группам, я вместе с другими четырьмя — оказался у

окна. У фонаря под окном увидел знакомые лица, улучил момент и в фортку выбросил записочку, чтобы у этих четырех и у меня убрали из комнат все неподобающее. Это было сделано. Но о том я узнал позже, а пока — несколько месяцев в одиночке на Шпалерной мне снился мешочек от филипповских булок — налево, на подоконнике.

В одиночке — был влюблен, изучал стенографию, английский язык и писал стихи (это неизбежно). Весною девятьсот шестого года освободили и выслали на родину.

Лебедянскую тишину, колокола, палисадники — выдержал недолго: уже летом — без прописки в Петербурге, потом в Гельсингфорсе. Комната на Эрдхольмсгатан, под окнами — море, скалы. По вечерам, когда чуть видны лица — митинги на сером граните. Ночью — не видно лиц, теплый черный камень кажется мягким, — оттого что рядом о н а, и легки, нежны лучи свеаборгских прожекторов.

Однажды в купальне голый товарищ знакомит с голым пузатеньким человечком: пузатенький человечек оказывается знаменитым капитаном красной гвардии — Коком. Еще несколько дней — и красная гвардия под ружьем, на горизонте чуть видные черточки кронштадтской эскадры, фонтаны от взрывающихся в воде двенадцатидюймовок, слабеющее буханье свеаборгских орудий. И я — переодетый, выбритый, в каком-то пенснэ — возвращаюсь в Петербург.

Парламент в государстве; маленькие государства в государстве — высшие учебные заведения, и в них свои парламенты: Советы старост. Борьба партий, предвыборная агитация, афиши, памфлеты, речи, урны. Я был членом — одно время председателем — Совета старост.

Повестка: явиться в участок. В участке — зеленый листок: о розыске «студента университета Евгения Иванова Замятина», на предмет высылки из Петербурга. Честно заявляю, что в университете никогда не был и что в листке — очевидно ошибка. Помню нос у пристава — крючком, знаком вопроса: «Гм... Придется навести справки». Тем временем я переселяюсь в другой район: там через полгода — снова повестка, зеленый листок, «студент университета», знак вопроса и справки. Так — пять лет, до 1911 года, когда, наконец, ошибка в зеленом

листке была исправлена и меня выдворили из Петербурга.

— — —

В 1908 году кончил Политехнический институт по кораблестроительному факультету, был оставлен при кафедре корабельной архитектуры (с 1911 года — преподавателем по этому предмету). Одновременно с листами проекта башеннопалубного судна — на столе у меня лежали листки моего первого рассказа. Отправил его в «Образование», которое редактировал Острогорский; беллетристикой ведал Арцыбашев. Осенью 1908 года рассказ в «Образовании» был напечатан. Когда я встречаюсь сейчас с людьми, которые читали этот рассказ, мне так же неловко, как при встречах с одной моей тетушкой, у которой я, двухлетний, однажды публично промочил платье.

Три следующих года, — корабли, корабельная архитектура, логарифмическая линейка, чертежи, постройки, специальные статьи в журналах «Теплоход», «Русское Судоходство», «Известия Политехнического Института». Много связанных с работой поездок по России: Волга вплоть до Царицына, Астрахани, Кама, Донецкий район, Каспийское море, Архангельск, Мурман, Кавказ, Крым.

В эти же годы, среди чертежей и цифр — несколько рассказов. В печать их не отдавал: в каждом мне еще чувствовалось какое-то «не то». «То» нашлось в 1911 году. В этом году были удивительные белые ночи, было много очень белого и очень темного. И в этом году — высылка, тяжелая болезнь, нервы перетерлись, оборвались. Жил сначала на пустой даче в Сестрорецке, потом, зимою — в Лахте. Здесь — в снегу, одиночестве, тишине — «Уездное». После «Уездного» — сближение с группой «Заветов», Ремизовым, Пришвиным, Ивановым-Разумником.

В 1913 году (трехсотлетие Романовых) — получил право жить в Петербурге. Теперь из Петербурга выслали врачи. Уехал в Николаев, построил там несколько землечерпалок, несколько рассказов и повесть «На куличках». По напечатании ее в «Заветах» — книга журнала была конфискована цензурой, редакция и автор привлечены к суду. Судили незадолго до февральской революции: оправдали.

Зима 1915—16 года — опять какая-то метельная, буйная — кончается дуэльным вызовом в январе, а в марте — отъездом в Англию.

До этого на Западе был только в Германии. Берлин показался конденсированным, 80%-ным Петербургом. В Англии другое: в Англии все было так же ново и странно, как когда-то в Александрии, в Иерусалиме.

Здесь — сперва железо, машины, чертежи: строил ледоколы в Глазго, Нью-Кастле, Сэндэрланде, Саус-Шилдсе (между прочим один из наших самых крупных ледоколов — «Ленин»). Немцы сыпали сверху бомбы с цеппелинов и аэропланов. Я писал «Островитян».

Когда в газетах запестрели жирные буквы: «Revolution in Russia», «Abdication of Russian Tzar» — в Англии стало невмочь, и в сентябре 1917 года, на стареньком английском пароходишке (не жалко, если потопят немцы) я вернулся в Россию. Шли до Бергена долго, часов пятьдесят, с потушенными огнями, в спасательных поясах, шлюпки наготове.

Веселая,жуткая зима 17—18 года, когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность. Корабли-дома, выстрелы, обыски, ночные дежурства, домовые клубы. Позже — бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки верст в день, буржуйка, селедки, смолотый на кофейной мельнице овес. И рядом с овсом — всяческие всемирные затеи: издать всех классиков всех времен и всех народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира. Тут уж было не до чертежей — практическая техника засохла и отломилась от меня, как желтый лист (от техники осталось только преподавание в Политехническом институте). И одновременно: чтение курса новейшей русской литературы в Педагогическом институте имени Герцена (1920—1921), курс техники художественной прозы в Студии Дома искусств, работа в Редакционной коллегии «Всемирной Литературы», в Правлении Всероссийского союза писателей, в Комитете Дома литераторов, в Совете Дома искусств, в Секции Исторических картин ПТО, в издательстве Гржебина, «Алконост», «Петрополис», «Мысль», редактирование журналов «Дом Искусств», «Современный Запад», «Русский Современник». Писал в эти годы сравнительно мало; из крупных вещей — роман «Мы», в 1925 году вышедший по-английски, потом — в

переводе на другие языки; по-русски этот роман еще не печатался.

В 1925 году — измена литературе: театр, пьесы «Блоха» и «Общество Почетных Звонарей.» «Блоха» была показана в первый раз в МХАТ-е 2-м в феврале 1925 года, «Общество Почетных Звонарей» — в б. Михайловском театре в Ленинграде в ноябре 1925 года. Новая пьеса — трагедия «Атилла» — закончена в 1928 году. В Атилле» — дошел до стихов. Дальше идти некуда, возвращаюсь к роману, к рассказам.

Думаю, что если бы в 1917 году не вернулся из Англии, если бы все эти годы не прожил вместе с Россией — больше не мог бы писать. Видел много: в Петербурге, в Москве, в захолустье — Тамбовском, в деревне — Вологодской, Псковской, в теплушках.

Так замкнулся круг. Еще не знаю, не вижу, какие кривые в моей жизни дальше.

УЕЗДНОЕ

1. Четырехугольный

Отец бесперечь пилит: «Учись, да учись, а то будешь как я, сапоги тачать».

А как тут учиться, когда в журнале записан первым, и, стало быть, как только урок, сейчас же и тянут:

— Барыба Анфим. Пожалуйте-с.

И стоит Анфим Барыба, потеет, нахлобучивает и без того низкий лоб на самые брови.

— Опять ни бельмеса? А-а-ах, а ведь малый-то ты на возрасте, замуж пора. Садись, брат.

Садился Барыба. И сидел основательно — года по два в классе. Так испрохвала, не торопясь, добрался Барыба и до последнего.

Было ему о ту пору годов пятнадцать, а то и побольше. Высыпали уж, как хорошая озимь, усы, и бегал с другими ребятами на Стрелецкий пруд — глядеть, как бабы купаются. А ночью после — хоть и спать не ложись: такие полезут жаркие сны, такой хоровод заведут, что . . .

Встанет Барыба на утро смурый и весь день колобродит. Зальется до ночи в монастырский лес. Училище? А, да пропадай оно пропадом!

Вечером отец возьмется его бузовать: «Опять сбежал, неслух, заворотень?» А он хоть бы что, совсем оголтелый: зубы стиснет, не пикнет. Только еще колючей повыступят все углы чудного его лица.

Уж и правда: углы. Не зря прозвали его утюгом ребята-уездники. Тяжкие железные челюсти, широченный, четырехугольный рот и узенький лоб: как есть утюг, носиком кверху. Да и весь-то Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых и углов. Но так одно к одному пригнано, что из нескладных

кусков как будто и лад какой-то выходит: может и дикий, может и страшный, а все же лад.

Ребята побаивались Барыбы: зверюга, под тяжелую руку в землю вобьет. Дразнили из-за угла, за версту. Зато, когда голоден бывал Барыба, кормили его булками и тут же потешались всласть.

— Эй, Барыба, за полбулки разгрызи.

И суют ему камушки, выбирают, какие потверже.

— Мало, — угрюмо бурчит Барыба, — булку.

— Вот чёрт, едун! — но найдут и булку. И начнет Барыба на потеху ребятам грызть камушки, размалывать их железными своими давилками — знай-подкладывай! Потеха ребятам, диковина.

Забавы-забавами, а как экзамены настали, пришлось и забавникам за книги засесть, даром что зеленый май на дворе.

Восемнадцатого, на царицу Александру, по закону экзамен — первый из выпускных. Вот, вечером как-то, отец отложил в сторону дратву и сапог, очки снял да и говорит:

— Ты это помни, Анфимка, заруби на носу. Коли и теперь не выдержишь — со двора сгоню.

Как будто чего уж лучше: три дня подготовки. Да на грех завязалась у ребят орлянка — ох, и завлекательная же игра! Два дня не везло Анфимке, весь свой капитал проиграл: семь гривен и новый пояс с пряжкой. Хоть топись. Да на третий день, слава-Те Господи, все вернул и чистых еще выиграл больше полтинника.

Восемнадцатого, понятно, Барыбу вызвали первым. Ни гу-гу уездники, ждут: ну, сейчас поплывет, бедняга.

Вытянул Барыба — и уставился в белый листок билета. От белизны этой и от страха слегка затошнило. Ухнули куда-то все слова: ни одного.

На первых партах подсказчики зашептали:

— Тигр и Ефрат... Сад, в котором жили... Месопотамия. Ме-со-по-та... Чёрт глухой!

Барыба заговорил — одно за другим стал откалывать, как камни, слова — тяжкие, редкие.

— Адам и Ева. Между Тигром и... этим... Ефратом. Рай был огромный сад. В котором водились месопотамы. И другие животные...

Поп кивнул, как будто очень ласково. Барыба приободрился.

— Это кто же-с месопотамы-то? А, Анфим? Объясни-ка нам, Анфимушка.

— Месопотамы... Это такие. Допотопные звери. Очень хищные. И вот в раю они. Жили рядом...

Поп хрюкал от смеха и прикрывался отогнутой кверху бородой, ребята полегли на парты.

— — —

Домой Барыба не пошел. Уж знал — отец человек правильный, слов не пускает на ветер. Что сказано, то и сделает. Разве к тому же еще и ремнем хорошенько взбучит.

2. С собаками

Жили-были Балкашины, купцы почтенные, на заводе своем солод варили-варили,да в холерный год все как-то вдруг и примерли. Сказывают, далеко где-й-то в большом городе живут наследники ихние, да вот все не едут. Так и горюет-пустует выморочный дом. Похилилась деревянная башня, накрест досками заколотили окна, засел бурьян во дворе. Через забор швыряют на балкашинский двор слепых щенят да котят, под забором с улицы лазят за добычей бродячие собаки.

Тут вот и поселился Барыба. Облюбовал старую коровью закуту, благо двери не заперты и стоят в закуте ясли, из досок сколочены: чем не кровать? Благодать Барыбе теперь: учиться не надо, делай, что тебе в голову взбредет, купайся, пока зубами не заляскаешь, за шарманщиком хоть целый день по посаду броди, в монастырском лесу — днюй и ночуй.

Все бы хорошо, да есть скоро нечего стало. Рублишка какого-нибудь там надолго ли хватит?

Стал Барыба за поживой ходить на базар. С нескладной звериной ловкостью, длиннорукий, спрятавшись внутрь себя и выглядывая исподлобья, шнырял он между поднятых кверху белых оглобель, жующих овес лошадей, без устали молотящих языком баб: чуть которая-нибудь зазевалась матрена — ну, и готово, добыл себе Барыба обед.

Не вывезет на базаре — побежит Барыба в Стрелецкую слободу. Где пешком, где ползком — рыщет по за-

дам, загуменникам, огородам. Уедливый запах полыни щекочет ноздри, а чихнуть — Боже избави: хозяюшка вон она — вон, грядку полет и ныряет в зелени красный платок. Наберет Барыба картошки, моркови, испечет дома — на балкашинском дворе, ест, обжигаясь, без соли — вот вроде как будто и сыт. Не до жиру, конечно: быть бы живу.

Не задастся, не повезет иной день — сидит Барыба голодный и волчьими, завистливыми глазами глядит на собак: хрустят костью, весело играют костью. Глядит Барыба . . .

— — —

Дни, недели, месяцы. Ох, и осточертело же с собаками голодными жить на балкашинском дворе! Зачиврел, зачерствел Барыба, оброс, почернел; от худобы еще жестче углами выперли челюсти и скулы, еще тяжелей, четырехугольней стало лицо.

Убежать бы от собачьей жизни. Людей бы, по людски бы чего-нибудь: чаю бы горяченького попить, под одеялом поспать.

Бывали дни — целый день Барыба лежал в закуте своей, ничком на соломе. Бывали дни — целый день Барыба метался по двору балкашинскому, искал людей, людского чего-нибудь.

На соседнем, чеботаревском дворе — с утра народ: кожемяки в кожаных фартуках, возчики с подводами кож. Увидят — чей-то глаз вертится в заборной дыре, ширнут кнутовищем:

— Эй, кто там?

— Ай хозяин-дворовой остался на балкашинском дворе?

Барыба — прыжками волчиными — в закуту к себе, в солому, и лежит. Ух, попадись ему возчики эти самые: уж он бы им — уж он бы их . . .

С полудня на чеботаревском дворе — ножами на кухне стучат, убоиной жареной пахнет. Инда весь затрясется Барыба у щелки у своей у заборной и не отлипнет потуда, покуда обедать там не кончат.

Кончат обедать — как будто и ему полегче станет. Кончат, и выползает на двор Чеботариха сама: красная, наседалась, от перекорма ходить не может.

— У-ух... — железом по железу — заскрипит зубами Барыба.

По праздникам над балкашинским двором, на верху переулочка, звонила Покровская церковь — и от звона было еще лютее Барыбе. Звонит и звонит, в уши гудит, перезванивает...

— «Да ведь вот же куда — в монастырь, к Евсею!» — осенило звоном Барыбу.

Малым мальчишкой еще, после порки бегивал Барыба к Евсею. И всегда, бывало, чаем напоит Евсей, с кренделями, с монастырскими. Поит — а сам приговаривает, так что-нибудь, абы бы утешить:

— Эх, малый! Меня намедни игумен за святые власы схватил, я и то... Эх, мал... А ты ревешь?

Веселый прибежал в монастырь Барыба: ушел теперь от собак балкашинских.

— Отец Евсей дома?

Послушник прикрыл рот рукой, загоготал:

— Во-она! Его и с гончими не разыщешь: запил, всю неделю в Стрельцах крутит отец Евсей.

Нету Евсея. Конец, больше некуда. Опять на балкашинский двор...

3. Цыплята

После всенощной либо после обедни догонит Чеботариху батюшка Покровский, головой покачает и скажет:

— Неподобно это, мать моя. Ходить нужно, проминаж делать. А то, гляди-ка, плоть совсем одолеет.

А Чеботариха на линейке своей расползется, как тесто, и, губы поджавши, скажет:

— Никак ни можно, батюшка, бизпридстанно биение сердца.

И катит Чеботариха дальше по пыли, облепляя линейку— одно целое с ней, грузное, плывущее, рессорное. Так, на своих ногах без колес — никто Чеботариху на улице и не видел. Уж чего ближе — до бани ихней чеботаревской (завод кожевенный и баню торговую муж ей оставил), так и то на линейке ездила, по пятницам — в бабий день.

И потому линейка эта самая, и мерин половопегий, и кучер Урванка — у Чеботарихи в большом почете. А уж

особо Урванка: кучерявый, силища, чёрт, и черный весь — цыган он был, что ли. Закопченный какой-то, приземистый, жилистый, весь как узел из хорошей веревки. Поговаривали, что он, мол, у Чеботарихи не только что в кучерах. Да из-под полы говорили, громко-то боялись: попадись-ка к нему, к Урванке — взлупцует, брат, так, что... Человека до полусмерти избить — Урванке первое удовольствие: потому — самого очень бивали, в конокрадах был.

А вот была-таки и любовь у Урванки: лошадей он любил и кур. Лошадей скребет-скребет, бывало, гриву своим медным гребнем чешет, а то разговаривать с ними возьмется на каковском-то языке. Может, и правда — нехристь был?

А кур любил Урванка за то, что весною были они цыплятами — желтыми, кругленькими, мягкими. Гоняется, бывало, за ними по всему по двору: ути-ути-ути! Под водовозку залезет, под крыльцо заползет на карачках —а уж изловит, на руку посадит — и первое ему удовольствие — духом цыпленка греть. И так, чтобы рожи его о ту пору никто не видал. Бог его знает, какая она бывала. Так, не поглядевши, и не представить: Урванка этот самый — и цыпленок. Чудно!

Вышло так на горе барыбино, что и он цыплят урванкиных полюбил: вкусны очень, повадился их таскать. Другого, третьего нет — заприметил Урванка. А куда запропастились цыплята — и ума не приложит. Хорек разве завелся?

После полдён лежит как-то Урванка под сараем в телеге. Жарынь, в дрему клонит. Цыплята — и то под сарай запрятались, в тень у стеночки присели, глаза отонком закрыли, носом клюют.

И не видят, бедняги, что доска сзади отодрана, и тянется через дыру, тянется к ним рука. Цоп — и заверещал, затекал цыпленок в барыбином кулаке.

Вскочил, заорал Урванка. Мигом перемахнул через забор.

— Держи, держи его, держи вора!

Дикий звериный бег. Добежал, запятился Барыба в свои ясли, залез под солому, но Урванка нашел и там. Вытащил, поставил на ноги.

— Ну, погоди же ты у меня! Я тебе — за цыплят за моих...

И поволок за шиворот — к Чеботарихе: пусть уж она казнь вору придумает.

4. Смилостивился

Кухарку — Анисью толстомордую прогнала Чеботариха. За что? А за то самое, чтобы к Урванке не подкатывалась. Прогнала, а теперь вот хоть разорвись. Нету по всему посаду кухарок. Пришлось взять Польку — так, девчонку ледащую.

И вот в Покровской церкви к вечерне вызванивали, Полька эта самая в зальце пол мела, посыпав спитым чаем, как Чеботариха учила. А Чеботариха сама тут же сидела на крытом кретоном диване и помирала от скуки, глядя в стеклянную мухоловку: в мухоловке — квас, а в квасу утопились со скуки мухи. Чеботариха зевала, крестила рот. «Ох, Господи-батюшки, помилуй» . . .

И смилостивился: какой-то топот и гвалт в сенях — и Урванка впихнул Барыбу. Так оторопел Барыба — увидел Чеботариху самое, — что и вырываться перестал, только глаза, как мыши, метались по всем углам.

Про цыпляточек Чеботариха услыхала — раскипелась, слюнями забрызгала.

— На цыпляточек, на андельчиков Божиих, руку поднял? Ах, злодей, ах, негодник! Полюшка, веник неси. Не-си, неси и знать ничего не хочу!

Урванка зубы оскалил, саданул сзади коленкой — и мигом на полу Барыба. Закусался, было, змеем завился — да куда уж ему против Урванки-чёрта: разложил, оседлал, штаны дырявые мигом содрал с Барыбы и ждал только слова чеботарихина — расправу начать.

А Чеботариха — от смеху слова то и не могла сказать, такая смехота напала. Насилу уж раскрыла глаза: чтой-то они там на полу затихли?

Раскрыла — и оступился смех, ближе нагнулась к напряженному, зверино-крепкому телу Барыбы.

— Уйди-ко-сь, Урван. Слезь, говорю, слезь! Дай поспрошать его толком . . . — на Урванку Чеботариха не глядела, отвела глава в угол.

Медленно слез Урванка, на пороге — обернулся, со всех сил хлопнул дверью.

Барыба вскочил, метнулся скорей за штанами: батюшки, от штанов-то одни лохмоты! Ну, бежать без оглядки . . .

Но Чеботариха крепко держала за руку:

— Вы чьих же это, мальчик, будете?

Еще оттопыривала нижнюю губу, вместо «мальчик» сказала «мыльчик», еще напускала важность, но уж что-то другое учуял Барыба.

— Са-сапожников я . . . — и сразу вспомнил всю свою жизнь, заскулил, завыл. — За экза-амен меня отец прогнал, я жи-ил . . . на бал . . . На балкаши-и . . .

Всплеснула чеботариха руками, запела сладко-жалобно . . . :

— Ах, сиротинушка ты моя, ах, бессчастная! Из дому — сына родного, а? Тоже отец называется . . .

Пела — и за руку волокла куда-то Барыбу, и тоскливо-покорно Барыба шел.

— . . . И добру-то поучить тебя некому. А враг-то — вот он: украдь да украдь цыпленочка — верно?

Спальня. Огромная, с горою перин, кровать. Лампадка. Поблескивают ризы у икон.

На какой-то коврик пихнула Барыбу:

— На коленки, на коленки-то стань. Помолись, Анфимушка, помолись. Господь милосливый, он простит. И я прощу . . .

И сама где-то осела сзади, яростно зашептала молитву. Обалдел, не шевелясь, стоял на коленях Барыба. «Встать бы, уйти. Встать» . . .

— Да ты что ж это, а? Как тебя креститься-то учили? — схватила Чеботариха барыбину руку. — Ну, вот так вот: на лоб, на живот . . . — облепила сзади, дышала в шею.

Вдруг, неожиданно для себя, обернулся Барыба и, стиснув челюсти, запустил глубоко руки в мягкое что-то, как тесто.

— Ах ты етакой, а? Да ты что-ж это, вон что, а? Ну, так уж и быть, для тебя согрешу, для сиротинки.

Потонул Барыба в сладком и жарком тесте.

На ночь Полька ему постелила войлок на рундуке в передней. Помотал головой Барыба: ну, и чудеса на свете. Уснул сытый, довольный.

5. Жисть

Да, тут уж не то, что на балкашинском дворе, жизнь. На всем на готовеньком, в спокое, на мягких перинах, в жарко натопленных старновкою комнатах. Весь день бродит в сладком безделье. В сумерках прикорнуть на лежаночке рядом с мурлыкающим во все тяжкие Васькой. Есть до отвалу. Эх, жисть!

Есть до того, что в жар бросит, до поту. Есть с утра до вечера, живот в еде класть. Так уж у Чеботарихи заведено.

Утром — чай, с молоком топленым, с пышками ржаными на юраге. Чеботариха в ночной кофте белой (не очень уж, впрочем), голова косынкой покрыта.

— И что это в косынке вы всё? — скажет Барыба.

— То-то тебя учили-то! Да нешто можно женщине простоволосой ходить? Чай, я не девка, ведь грех. Чай, венцом покрытая с мужем жила. Это непокрытые которые живут, непутевые...

А то другой какой разговор заведут пользительный для еды: о снах, о соннике, о Мартыне Задеке, о приметах да о присухах разных.

Туда-сюда — ан, глядь, уже двенадцатый час. Полудновать пора. Студень, щи, сомовина, а то сазан соленый, кишки жареные с гречневой кашей, требуха с хреном, моченые арбузы да яблоки, да и мало ли там еще что.

В полдень — ни спать, ни купаться на реке нельзя: бес-то полуденный вот он — как раз и прихватит. А спать, конечно, хочется, нечистый блазнит, зевоту нагоняет.

Со скуки зеленой пойдет Барыба на кухню, к Польке: дура — дура, а все жив человек. Разыщет там кота, любимца полькина, и давай его в сапог сажать. Визг, содом на кухне. Полька, как угорелая, мыкается кругом.

— Анфим Егорыч, Анфим Егорыч, да отпустите вы Васеньку, Христа ради!

Скалит зубы Анфимка, пихает кота еще глубже. И Полька умоляет уж Васеньку:

— Васенька, ну, не плачь, ну, потерпи, ребеночек, потерпи! Сейчас, сейчас отпустит.

Истошным голосом кричит кот. У Польки — глаза круглые, косенка наперед перевалилась, тянет за рукав Барыбу слабой своей рукой.

— Уйд-ди, а то самое сапогом так вот и шкрыкну!

Запустил в угол Барыба сапог вместе с котом и доволен, грохочет — громыхает по ухабам телегой.

— — —

Ужинали рано, в девятом часу. Принесет Полька еду — и отсылает ее Чеботариха спать, чтобы глаз не мозолила. Потом вынимает из горки графинчик.

— Выкушайте, Анфимушка, выкушайте еще рюмочку.

Молча пьют. Тоненько пищит и коптит лампа. Долго никто не видит.

— «Коптит. Сказать бы?» — думает Барыба.

Но не повернуть тонущие мысли, не выговорить. Чеботариха подливает ему и себе. Под тухнущим светом лампы — в одно тусклое пятно стирается у ней все лицо. И виден, и кричит только один жадный рот — красная мокрая дыра. Все лицо — один рот. И все ближе к Барыбе запах ее потного, липкого тела.

Долго, медленно умирает в тоске лампа. Черный снег копоти летает в столовой. Смрад.

А в спальне — лампадка, мельканье фольговых риз. Раскрыта кровать, и на коврике возле бьет Чеботариха поклоны.

И знает Барыба: чем больше поклонов, чем ярее замаливает она грехи, тем дольше будет мучить его ночью.

— «Забиться бы куда-нибудь, залезть в какую-нибудь щель тараканом» . . .

Но некуда: двери замкнуты, окно запечатано тьмой.

— — —

Нелегкая, что и говорить, у Барыбы служба. Да зато уж Чеботариха в нем все больше, день ото дня, души не чает. Такую он силу забрал, что только у Чеботарихи теперь и думы, чем бы это еще такое Анфимушку ублажить.

— Анфимушка, еще тарелочку скушай . . .

— Ох, и что-й-то стыдь на дворе ноне! Анфимушка, дай-ка я тебе шарфик подвяжу, а?

— Анфимушка, ай опять живот болит? Вот грехи-то! На-ко-ся, вот водка с горчицей да с солью, выпей — первое средствие.

Сапоги-бутылки, часы серебряные на шейной цепочке, калоши новые резиновые — и ходит Барыба рынди-

ком этаким по чеботыревскому двору, распорядки наводит.

— Эй, ты, гамай, гужеед, где кожи вывалил? Тебе куда велено?

Глядишь — и оштрафовал на семитку, и мнет уж мужик дырявую свою шапчонку, и кланяется.

Одного только за версту и обходит Барыба — Урванку. А то ведь и на Чеботариху самое взъестся подчас. Терпит, терпит, а иной раз такая посчастливится ночь . . . На утро мутное все, сбежал бы на край света. Запрется Барыба в зальце, и мыкается, и мыкается, как в клетке.

Осядет Чеботариха, притихнет. Зовет Польку.

— Полюшка, поди — погляди, как он там? А то обедать зови.

Бежит, хихикая, Полька обратно:

— Нейдеть. Зёл, зёл, и-и, так поперек полу и ходить!

И ждет Чеботариха с обедом час, два.

А уж если с обедом ждет, уж если час святой обеденный нарушает — уж это значит . . .

6. В чуриловском трактире

Раздобрел Барыба на приказчицком положении да на хороших хлебах.

Встретил его на Дворянской почтальон Чернобыльников, старый знакомец — так прямо руками развел:

— И не узнать. Ишь купцом каким!

Завидовал Барыбе Чернобыльников: хорошо парню живется. Уж как-никак, а должен, видно Барыба спрыснуть, угостить друзей в трактире: что ему, богатею, стоит?

Уговорил, улестил малого.

К семи часам, как уговор был, пришел Барыба в чуриловский трактир. Ну, и место же веселое, о Господи! Шум, гам, огни. Половые белые шмыгают, голоса пьяные мелькают спицами в колесе.

Голова кругом пошла у Барыбы, опешил, и никак Чернобыльникова не разыскать.

А Чернобыльников уж кричит издали:

— Э-эй, купец, сюда!

Поблескивают пуговицы почтальонские у Чернобыльникова. И рядом с ним какой-то еще человечек. Малень-

кий, востроносый, сидит — и не на стуле будто сидит, а так на жердочке прыгает, вроде — воробей.

Чернобыльников кивнул на воробья:

— Тимоша это, портной. Разговорчивый.

Улыбнулся Тимоша — зажег теплую лампадку на остром своем лице:

— Портной, да. Мозги перешиваю.

Барыба разинул рот, хотел спросить, да сзади толкнули в плечо. Половой, с подносом на отлете, у самой головы, уж ставил пиво на стол. Галдели, путались голоса, и надо всем и стоял один, — рыжий мещанин, маклак лошадий, орал:

— Митька, эй, Митька, скугаревая башка, да принесешь ты, ай нет?

И запевал опять:

По тебе, широка улица,
Последний раз иду . . .

Узнал Тимоша, что из уездного Барыба, обрадовался.

— Самый этот поп, тебе, значит, и подложил свинью? Ну, как же, зна-аю его, знаю. Шивал ему. Да не любит он меня, страсть!

— За что же не любит-то?

— А за разговоры мои разные. Намедни говорю ему: «Как это, мол, святые-то наши на том свете, в раю будут? Тимофей-то милосливый, ангел мой и покровитель, увидит он, как я в аду буду поджариваться, а сам опять за райское яблоко возьмется? Вот те и многомилосливый, вот-те и святая душа! А не видеть меня, не знать — не может он, по катехизису должон». Ну, и заткнулся поп, не знал, что сказать.

— Ловко! — заржал Барыба, загромыхал, засмеялся.

— «Ты бы, — поп мне говорит, — лучше добрые дела делал, чем языком-то так трепать». А я ему: «Зачем, говорю, мне добрые дела делать? Я лучше злые буду. Злые для ближних моих пользительней, потому, по евангелью, за зло мое им Господь Бог на том свете сторицею добром воздаст» . . . Ах, и ругался же поп!

— Так его, попа, так его, — ликовал Барыба. Полюбил бы вот сейчас Тимошу за это, за то, что попа так ловко отделал, — полюбил бы, да тяжел был Барыба, круто заквашен, не проворотить его было для любви.

За столиком, где сидел рыжий мещанин, зазвенели стаканы. Страшный, рыжими волосами обросший кулак драбазнул по столу. Мещанин вопил:

— А ну, скажи? А ну, еще раз скажи? А ну-ка, а ну?

Повскакали соседи, сгрудились, повытянули шеи: ох, любят у нас скандалы, медом их не корми!

Какой-то длинношеий верзила вывернулся из свалки, подошел к столику, здоровался с Чернобыльниковым. Под мышкой держал фуражку с кокардой.

— Удивительно... И уж сейчас все лезут, как бараны, — сказал он гусиным тонким голосом и выпятил презрительно губы.

Сел. На Тимошу с Барыбой — ноль внимания. Говорил с Чернобыльниковым: почтальон — все-таки вроде чиновник.

Тимоша, не обинуясь, вслух объяснил Барыбе:

— Казначейский зять он. Женил его казначей на последней своей, на засиделой, и местишко ему устроил, в казначействе писцом — ну, он и пыжится.

Казначейский зять будто не слушал и еще громче говорил Чернобыльникову:

— И вот после ревизии представили его к губернскому секретарю... Чернобыльников почтительно протянул:

— К губе-е-рнскому?

Тимоше невтерпеж стало — влез в разговор.

— Почтальон, Чернобыльников, а помнишь, как его намедни исправник-то из дворянской... энтим самым местом выпихнул?

— Просил бы... Пок-корнейше просил бы! — сказал казначейский зять свирепо.

А Тимоша досказывал:

— «... Ан не пойдешь!» — «Ан пойду!» Ну, слово за слово, — об заклад. Влез он в дворянскую. А на бильярде-то как раз казначей с исправником играл. Наш франтик — к тестю: на ухо пошептал, будто за каким-то делом пришел. Да там и остался стоять. А исправник — начал кием нацеливаться, все пятился, пятился да невзначай будто так его и выпихнул, энтим самым местом. Ох, Господи, вот смеху-то было!

Надрывались со смеху Барыба с Чернобыльниковым.

Казначейский зять встал и ушел, не глядя.

— Ну, еще помиримся, — сказал Тимоша. — И ничего ведь малый был. А теперь — на лбу кокарда, а во лбу — барда.

7. Апельсинное дерево

У Польки, у дуры босоногой, на кухне только одно окошечко и есть, да и на том стекло зацвело, от старости заразноцветилось. А на окне у Польки — баночка.

Посадила — давно уж, с полгода будет — в баночку эту Полька апельсинное зерно. А теперь, гляди, уж и целое деревцо выросло: раз, два, три, четыре листочка, малюсеньких, глянцевых.

Помыкается на кухне, погремит Полька горшками — да и опять подойдет к деревцу, листочки понюхает.

— Чудно́. Было зерно, а вот . . .

Берегла-холила. Кто-то сказал, что, мол, хорошо это для росту — стала деревцо поливать супом, коли остался от обеда.

Раз Барыба из трактира вернулся поздно, встал утром злючий презлючий, чаю глонул — и сейчас в кухню, душу отвести. Звала его теперь Полька не иначе как барином: очень лестно.

Полька как раз у окна своего возилась, около деревца любезного.

— Где кот?

Полька, не обертываясь, копошилась. Робея, отвечала:

— Они, барин, ушли. Да где-нибудь на дворе наверно, где-ж еще?

— Ты это что там стряпаешь?

Притихла, сробела, молчала. Блюдце с супом в руке.

— Су-упом? Траву поливаешь? Для этого тебе суп даден, дуреха ты этакая? Сейчас подай сюда!

— Ды-к, это пельсин, барин . . .

Полька затрепыхалась от страха: ох, и что теперь будет?

— Я те покажу пельсин! Супом поливать, дура, а?

Барыба схватил баночку с апельсином. Полька заревела. Да что тут долго с ней, дурой, возжаться? Выхватил с корнем деревцо, да за окно, а баночку поставил на место. Очень даже просто.

Полька ревела в голос, грязные полосы наследились от слез на лице, причитала по-бабьи:

— Пельсин мой, ды-ы батюшка, да как же я без тебя буду-у . . .

Барыба весело поддал ей сзади пару, и она выкатилась из двери, по двору — да прямо в погреб.

Разгрыз какой-то камень, вот тут, с Полькой, с апельсином этим — и полегчало сразу. Скалил зубы Барыба, пьянел.

Увидал в окно, как Полька спустилась в погреб. Повернулся в голове медленно какой-то жернов — и заколотилось вдруг сердце.

Вышел на двор, огляделся по сторонам и юркнул в погреб. Плотно закрыл за собой дверь.

После солнца — да в темь: совсем ослеп. Шарил по сырым стенам, спотыкался:

— Полька, где ты? Ты там где, дура, зачихачилась?

Слышно, где-то хлюпает Полька, хнычет, а где...

Затхло, могильно, сыро. Щупал руками по картошкам, кадушкам, свалил деревянный кружок с крынки какой-то.

Вот, она, Полька: на куче картошек сидит, размазывая слезы. Крошечная какая-то дырочка вверху — пролез один хитрый, прищуренный лучик и отрезал кусок косы у Польки с тряпичной лентой, пальцы, грязную щеку.

— Будя, будя, не реви, засохни!

Барыба легонько налегнул на нее, и она повалилась. Послушно двигалась и была вся, как тряпочная кукла. Только еще чаще захныкала.

Во рту пересохло, язык еле ворочался у Барыбы. Плел что-то — так, чтоб занять ее голову, отвлечь ее от того, что он делал:

— Да, ишь ты, штука какая, пельсин! А ты и реветь? Мы тебе, вместо пельсина, дай-ко-сь, ерань купим... Ерань — она... это самое... духовитая...

Полька тряслась вся и хныкала, и в этом была своя особая сладость Барыбе.

— Так, та-ак! Реви теперь, ну, реви во всю, — приговаривал Барыба.

— — —

Польку выпроводил. Сам остался еще, растянулся на куче картошек, отдыхая.

Вдруг заулыбался Барыба до ушей, довольный. Сказал вслух Чеботарихе:

— Что, перина старая, съела, ага?

И показал в темноте кукиш.

Вышел из погреба, зажмурился: солнце. Поглядел под сарай: там копошился, спиною к нему, Урванка.

8. Тимоша

Сидели в трактире за чаем. Тимоша приглядывался все к Барыбе.

— Неуютный ты какой-то, погляжу я. Бивали тебя, должно быть, вот как.

— Бивали, как же, — засмеялся Барыба. Лестно даже было: бивали — а теперь вот поди-ка, сунься.

— То-то ты и вышел такой, чадушко. Души-то, совести у тебя — ровно у курицы . . .

И завел свое — о Боге: нет, мол, Его, а все выходит, жить надо по-Божьи; и о вере, и о книгах. Непривычно было Барыбе так много молоть своим жерновом, томили тимошины мудреные слова. Но слушал — тяжелой телегой тащился за Тимошей. Кого же и слушать, как не Тимошу: голова-парень.

А Тимоша уж дошел до самого своего до главного:

— Вот, покажется иной раз — есть. А опять повернешь, прикинешь — и опять ничего нет. Ничего: ни Бога, ни земли, ни воды — одна зыбь поднебесная. Одна видимость только.

Тимоша повертел по-воробьиному головкой, теснило что-то.

— Одна видимость. Дойти-то до этого, что-о! Нет, а вот с одним ничем-то этим с глазу на глаз пожить, воздухом-то попитаться. Вот тут, брат . . .

И увидел, что заблудился уж Барыба, отстал, споткнулся.

Махнул Тимоша рукой:

— Э, да что! Ни к чему тебе это, ты-то утробой живешь . . . У тебя Бог-то съедобный.

Вышли из трактира. Ночь июньская, нежаркая, липой пахнет, сверчки в траве заливаются. А Тимоша в ватное обряхался, ну и чудак же!

— Ты что ж это, Тимоша, кутафья-кутафьей?

— А, да ну! Не спрашивал бы. Ту-бер-ку-лоз, брат. Так фершал в больнице и сказал. Простужаться — ни Боже мой.

— «Ишь ты, то-то он квелый такой» — и как-то увесисто почуял вдруг Барыба тяжесть своего звериного, крепкого тела. Шел тяжко-довольный: было приятно ступать на землю, попирать землю, давить ее — так! Вот так!

У Тимоши, в комнатушке с драными обоями, сидели за некрашеным столом трое ребят, веснущатых, востроносых.

— Мать где? — крикнул Тимоша. — Опять нету?

— К земскому ушла, приходили, — робко сказала девочка. И стала в углу надевать полсапожки: неловко босиком-то, чужой какой-то пришел.

Тимоша насупился.

— Давай кулеш, Фенька. Да бутылку из выхода принеси.

— Мамаша не велела бутылку.

— Я те дам мамашу. Живо, живо! Садись, Барыба.

Сели за стол. Наверху пищала тоненько лампа с жестяным абажуром, увешанным дохлыми мухами.

Фенька из миски стала было отливать в долбленку кулеш ребятам. Тимоша на нее крикнул.

— Это что? Отцом родным гребуете? Мать подучает все? Ну, я ее подучу, дай-ка, придет вот! Шляется . . .

Ребята стали хлебать из общей миски, не в охотку, понуро. Тимоша хихикнул криво и сказал Барыбе:

— Вот Господа Бога искушаю. В больнице говорят — она, мол, прилипчивая, чахотка-то. Ну, вот, и погляжу: прилипнет к ребятам, ай нет? Поднимется у него, у Господа Бога, рука на ребят несмысленных, — поднимется, ай нет?

В окно постучали чуть-чуть, робко.

Тимоша торопливо распахнул раму и пропел ядовито:

— А-а, пожаловала?

И потом Барыбе:

— Ну, брат, сбирай свои манатки. Больше тебе тут глядеть нечего. Тут дело пойдет сурьезное.

9. Ильин день

Под Ильин день вечер — особенный, и благовест — свой особенный: в соборе — престол, в монастыре — престол, стряпухи во всех домах пироги к завтрему пекут, а в небе Илья-пророк громы заготавливает. И небо-то под Ильин день какое: чисто да тихо, как в избе, вымытой к празднику. Все-то спешат по своим церквам: не дай Бог к Ильину тропарю опоздать, будут весь год

слезы литься, как дождь, от века положенный на Ильин день.

Ну, уж это кто-кто опоздает, да не Чеботариха только, первая она богомольница в Покровской церкви. Во-он когда, загодя еще, запрег лошадей Урванка.

Запрег, идет по двору — как раз мимо погреба. Глядь — а дверь открыта. Буркнул Урванка:

— Ишь, дьяволы, и дверь-то расхлябячили. Люди Богу молиться идут, а они — на-ка тебе. Охальники!

И посолил словечком покрепче. Хотел было дверь закрыть, да нет. Постоял, ухмыльнулся.

Пришел доложить Чеботарихе: все, мол, готово.

— А только дозвольте вас просить через черный ход выйтить... — и узлом завязал Урванка улыбку на закопченном своем лице: поди-ко-сь, раскуси, что она такое означает.

— Что-й-то мудришь ты, Урванка! — сказала Чеботариха. Однакож поплыла, шурша шелковым, коричневым с цветочками платьем.

Спустилась, пыхтя, по ступенькам. Прошла мимо погреба.

— Дверь-то бы закрыл, догадался. Все им скажи да покажи... — Чеботариха женщина степенная, хозяйственная, а такая мимо раскрытой двери разве пройдет спокойно? Хоть и не надо, а закроет.

— А их-то как же, припереть там прикажете?

— Кого такое — их?

— Как кого? А Анфим-то Егорыча с Полькой? Чать, и им бы надо под Ильин-то день ко всенощной сходить?

— Брешешь, пыдлец ты этакой! Ни в жисть не поверю, чтоб Анфимка с ней...

— Да вот разрази меня Илья завтра громом, коли ежели я вру.

— А ну, перекрестись?

Урванка перекрестился. Стало быть — правда.

Побелесела Чеботариха и затряслась, словно опара, взбухшая до самых краев дежи. Урванка подумал: «Ну, завоет». Нет, вспомнила, видно, что на ней шелковое платье. Выпятила важно губу и сказала, будто ничего такого и не было:

— Урван, дверку-то закройте. Пора нам, пора в церкву.

— Слушаю, матушка.

Щелкнул засовом, отвязал лошадей, запылила по дороге знаменитая линейка чеботарихина.

— — —

Чеботариха стояла, как всегда, впереди, у правого клироса. Сложила на животе руки и уперлась глазами в одну точку, на правом дьяконовом сапоге. К сапогу прилипла какая-то бумажка, дьякон стоял перед Чеботарихой на амвоне, и бумажка не давала покоя.

— «Недугующих и страждущих»... И меня, стало быть, страждущую. Ах, Ты, Господи, ну, и подлец же Анфимка!

Кланялась в землю, а бумажка на сапоге — вот она, так и мельтешится перед глазами.

Ушел дьякон — еще того хуже: нейдет из головы Анфимка проклятый. А она-то его холила, а?

Только во время «Хвалите» Чеботариха и развлеклась немного, о Барыбе чуть позабыла. Нет, каково: дьяконова-то Ольгуня, образованная-то, столбом стоит! Вот оно, образование-то, все чтоб по-своему, не как все. Не-ет, надо дьякону про это напеть...

Сторож в отставном солдатском мундире тушил в церкви свечи. Дьякон вынес Чеботарихе на тарелочке хлебец: прихожанка она была примерная, богобоязненная, хорошо платила.

Чеботариха притянула его за рукав и долго про Ольгуню шептала на ухо и качала головой.

— — —

Урванка налегнул, отодвинул засов. Выскочил Барыба, как ошпаренный.

— Чай кушать пожалуйте, — сказал, ухмыляясь, Урванка.

— «Неужто не сказал?» — подумал Барыба.

Чванная в шелковом, лубом стоящем, платье сидела Чеботариха, ломала на кусочки поднесенный дьяконом хлебец и глотала, как пилюли, очень громко: кто же святой хлеб жует?

— «Ну, уж говорила скорей бы», — ждал Барыба, сердце трепыхалось и ныло.

— К чаю-то, может, молочка топленого велеть принести? — поглядела Чеботариха как будто и ласково.

— «Измывается либо? А может, и впрямь — не знает?»

— Да где ее, Польку-то, теперь сыщешь? Кургузить начинает, вешала-девчонка. Вы бы, Анфимушка, приглядели за ней.

Так вот, просто, будто бы и ничего, говорила себе Чеботариха, глотала хлебец по кусочкам, сметала со стола взятые крошки и ссыпала в рот.

— «А ведь, не знает, как Бог свят», — вдруг Барыба уверился. Развеселился, улыбался четырехугольной своей улыбкой, ржал — рассказывал, как дуреха эта Полька супом поливала пельсинное дерево.

Солнце садилось медное, ярое: задаст Илья завтра грозу. Алели белые чашки, тарелки на столе. Важная, молчаливая сидела Чеботариха и не усмехнулась ни един раз.

— — —

Весело отбивал Барыба поклоны в спальне, рядом с Чеботарихой, и благодарил неведомых каких-то угодников: миновало, пронесло, не сказал Урванка!

Загасла лампадка. Ночь душная, тяжкая под Ильин день. В темноте спальни — жадный, зияющий, пьющий рот — и частое дыхание загнанного зверя.

У Барыбы перестало биться сердце, заерзали перед глазами зеленые круги, слиплись на лбу волосы.

— Да ты что, али рехнулась? — сказал он, выпутываясь из ее тела.

Но она облепила, как паук.

— Не-ет, миленький, не-ет, дружок! Не уйдешь, нет!

И томила его невидными и непонятными в темноте, злыми ласками — и сама всхлипывала: замочила слезами все лицо у Барыбы.

— — —

До утра. Сквозь каменный сон услышал Барыба колокол — к Ильинской обедне. Во сне услышал какое-то пение и ворочал окаменевшие мысли, силился сообразить.

Но проснулся только, когда кончили петь. Вскочил сразу, как встрепанный. «Да, ведь, это попы молебен в зале отпели!»

Оделся, глаза слипались, голова чужая.

Попы уже ушли. Чеботариха одна сидела в зальце, на кретоновом диване. Была опять в шелковом, лубом стоящем, платье и в кружевной парадной наколке.

— Проспали молебен-то Ильинской, а? Анфим Егорыч?

Может оттого, что и правда — проспал и было уже около полудня, а может оттого, что пахло в зальце ладаном — стало Барыбе неловко как-то, не по себе.

— Садитесь Анфим Егорыч, садитесь, побеседуем.

Помолчала. Потом закрыла глаза и лицо сделала, будто и не лицо, а так — пирог сдобный. Голову на бок — и сладким голосом:

— Так-то, вот, грехи наши тяжкие. И не замолить их. А на том свете — Он-то, батюшка, все припомнит, Он, батюшка, в гиене серной дурь-то всю-ю выкурит.

Барыба молчал. «И куда это она гнет?»

Вдруг Чеботариха распялила во всю глаза и, брызгая слюной, закричала:

— Да ты что же, пыдлец ты етакой, молчишь, как воды в рот набрал? Ай, думаешь, я про шашни твои с Полькой ничего не знаю? Девчонку спортить, пыдлец ты етакой развратной, — нипочем тебе?

Ошарашенный, Барыба, молча, ворочал челюстями и думал:

— «А ведь вчера поросенка-то зарезали — это, поди, нынче к обеду».

Чеботариха совсем раскипелась от молчания барыбина. Затопала, сидя, ногами.

— Вон, вон из мово дому! Змей подколодный! Я его на груде отогрела, паршивца, а он — на-ко-ся! На Польку — это меня-то, а?

Не понимая, не в силах повернуть чем-то налитых мыслей, сидел Барыба, как урытый, молча. Глядел на Чеботариху. «Ишь, как брыжжет-то, брыжжет-то, а?

Опомнился, когда в зальцу вошел Урванка и сказал ему с улыбкой, с веселой:

— Ну, нечего, брат, нечего. Проваливай-ка. Твово тут, брат, ничего нету.

И сзади нахлобучил Барыбе картуз.

— — —

Перед Ильинскою грозою пекло солнце. Ждали — воробьи, деревья, камни. Засохли, томились.

Барыба, очумелый, шатался по городу, присаживался на всех лавочках по Дворянской.

— Что-ж теперь дальше-то а? Что-ж теперь? Куда?

Мотал головой и все никак не мог этого стряхнуть: балкашинский двор, ясли, собаки голодные дерутся из-за кости...

Бродил потом по каким-то задним улицам, по мураве зеленой. Проезжал мимо водовоз, у одного колеса соскочила, позванивала шина. Почуял Барыба, что и правда пить-то ведь хочется. Попросил, напился.

А с севера, от монастыря, насела уж туча, разломила небо на две половинки: голубую, веселую, и синюю, страшную. Синяя все росла, пухла.

Как-то, себя не помня, очутился Барыба под навесом, у чуриловского трактира в подъезде. Лил дождь; сбились в подъезде какие-то бабы, задрав на голову подолы; громыхал Илья. Эх, все равно — валяй, греми, лей!

Само собой как-то вышло, что пошел Барыба ночевать к Тимоше. А Тимоша даже и не удивился нисколечко, как будто каждый день к нему Барыба ночевать ходил.

10. Сумерки в келье

Летом в четыре часа — самое глухое по нашим местам время. Никто из хороших людей на улицу и носу не высунет: жарынь — несусветная. Ставни все позакрыты, с полной утробой сладко спится после обеда. Одни вихорьки, серенькие, полуденными бесами приплясывают по пустым улицам. К калитке какой-нибудь подойдет почтальон, стучит, стучит. Да уж нет, не прогневайся: не откроют.

Непристанный, шатущий, бредет в эту пору Барыба. Как будто и сам не знает — куда. А ноги несут — в монастырь. Да и куда же еще? От Тимоши — к Евсею в монастырь, от Евсея — к Тимоше.

Стена зубчатая, позаросшая мохом. Будочка, вроде собачьей, у обитых железом ворот. А из будочки выходит, кривляясь, с кружкой Арсентьюшка, блаженненький — виттопляска с ним — вратарь, даяния собирает, неотвязный.

— Ишь, пристал, наяный!

Положил ему Барыба семитку и пошел по белым накаленным плитам, мимо могил именитых горожан за по-

золоченными решетками. Любили именитые тут хорониться: всякому лестно в монастыре лежать, и чтоб денно и нощно о нем ангельские чины молились.

Постучал Барыба в евсееву келью. Никто не ответил. Он открыл дверь.

За столом без подрясников, в одних белых штанах и рубахах, сидели двое: Евсей и Иннокентий.

Евсей зашипел на Барыбу свирепо: ш-ш-ш! И опять уставился, не мигая, наливной, стеклянноглазый — в стакан свой с чаем. А Иннокентий, губошлепый, баба с усами — замер над своим стаканом.

Барыба у притолоки остановился, глядел, глядел: да что они, ополоумели, что ли?

У другой притолоки стоял Савка-послушник: масляные, прямые палки-волосы, красные, рачьи ручищи.

Савка почтительно фыркнул в сторону:

— Ф-фы! Да-к, к отцу Евсею-то в стакан муха того и гляди сядет. Ай не видите, что ли?

Ничего не понимая, лупил Барыба глаза.

— Да-к, как же? Это у них теперича самая разлюбезная игра. Пятак, там, гривенник поставят — и ждут, и ждут. К которому батюшке первому муха в стакан попадет — тот, стало быть, и выиграл.

Савке охота побалакать с мирским. Говорит, все время закрывая из почтения рот огромной красной ручищей.

— Гляньте-ко-сь, гляньте-ко-сь, отец Евсей-то.

Евсей — сизый, наливной, наклонился к стакану, щерился рот у него все шире — и вдруг грохнул, хлопнул себя по коленке рукой:

— Е-эсть! Вот она, голубушка! Мой пятак! — и пальцем выловил муху из стакана. — Ну, малый, чуть не подкузьмил меня. Спугнул ведь, было, мушку-то матушку.

Он подошел к Барыбе поближе, уставился стеклянными своими глазами, забубукал:

— А мы, малый, и видеть тебя не чаяли. Слышали, совсем бландахрыстом стал. Думали, до смерти баба тебя заездит. Ведь Чеботариха-то, она баба — я-те дам, жадёна!

Усадил чай пить Барыбу, сам допивал стакан, из которого выловил мушку-матушку. Да какая ж без зеленого вина встреча? — выставил Евсей и косушку на стол.

Савка подал второй самовар. На столе — медяки, псалтырь, крендели, рюмки с отколотыми ножками.

Иннокентий что-то расстроился после водки, глазки у него слипались, то и дело клал голову на стол, подперев кулачком. Жалобно вдруг запел «свете тихий». Евсей и Савка подтянули. Савка пел басом, откашливаясь в сторону и прикрывая красной ручищей рот. Барыба подумал: «Эх, все равно!» — и тоже горестно стал подвывать.

Вдруг Евсей оборвал и заорал:

— Сто-ой! Стой — тебе говорю!

А Савка все еще тянул. Евсей кинулся к нему, схватил за глотку и притиснул к спинке стула, полоумный, дикарь. Задушит.

Иннокентий встал, согбенный, старушечьими шажками подошел сзади к Евсею и пощекотал ему подмышки.

Евсей захохотал, забулькал, замахал руками, как пьяная мельница, отпустил Савку. Потом сел на пол и затянул:

На-а горе сидит калека,
У-бил чем-то человека . . .

Все, молча, усердно подтягивали, как раньше — «свете тихий».

Смерклось, слилось, закачалось все в пьяной келье. Огня не зажигали. Иннокентий ныл и приставал ко всем, шамкая — старушонка с усами и седой бородой. Попритчилось вот ему, что поперхнулся он чем-то. Застряло вот в глотке, да и только. Колупал-колупал пальцем: не помогает.

— Ну-ка, попробуй ты, Савушка, миленочек, пальчиком? Может, и ощутишь что.

Савушка лез, вытирал потом палец о полу подрясника.

— Ничего, ваше преподобие, нету. Так это, пьяный бес блазнит.

Евсей прикорнул на кровати и долго лежал так, ни слуху-ни духу. Потом вскочил вдруг, лохмами своими затряс.

— По мне, ребятки, в Стрельцы бы, этта, теперь махануть. На радостях встречных. Барыба малый, а, ты как? Деньжат бы, вот, только перехватить где. У келаря разве? Как, Савка, а?

Невидный у двери заржал Савка. Барыба подумал: «Что-ж, отшибет, пожалуй. Позабыть бы все».

— Коли отдашь завтра . . . У меня есть малость денег-то, последние, — сказал он Евсею.

Евсей живо взбодрился, мотал, как веселый пес, головой, выпялил стеклянные свои глаза.

— Да я, перед Истинным вот, завтра отдам, у меня есть ведь, да только далеко спрятаны.

Шли вчетвером мимо могил. Полумертвый месяц мигал из-за облака. Иннокентий зацепился подрясником за решетку, струхнул, закрестился, свернул назад. Трое полезли через стену по нарочно, для ходу, выломанным кирпичам.

11. Брокаровская баночка

Вот и опять тяжко-жаркий, дремучий послеполудень. Белые плиты на монастырской дорожке. Липовая аллея, жужжанье пчел.

Впереди Евсей, в черном клобуке, с приквашенными лохмами: нынче ему черед вечерню служить. А сзади — Барыба. Идет, да нет-нет и опять растворит, как ворота, четырехугольную свою улыбку.

— Уж больно ты, Евсей, в клобуке-то чудной да непригожий. Гречневик бы тебе мужицкий или папаху, куды бы гожее было.

— Да я, малый, и то — в юнкера хотел идти, да запьянствовал ненароком. Вот под монастырь и угодил.

Эх, Евсей! Какой бы краснорожий, сизоносый казацкий есаул из тебя вышел. Или бы писарь волостной, пьяница, мужикам панибрат. А вот, поди ж ты, изволением Божиим . . .

— А как ты, Евсей, плясовую-то вчера в Стрельцах откатал, а?

Во́ монахи по́ступили,
Са́мовары за́купили . . .

Евсей заухмылялся, передернул было плечами. Да уж нет, в этом бабьем наряде — куда там. Вчера — вот это так: рубаху веревочкой подпоясал по-деревенски, под самые под мышки, порты крашенинные белые с синими полосочками, борода рыжая лопатой, зенки того и гляди выскочат, — настоящий лешак деревенский, и плясать ловкач. То-то нахохотались стрелецкие девки вдосталь!

Пришли. Барыба постоял минутку у старых церковных дверей. Вышел Евсей, поманил пальцем.

Ну, иди, малый, иди. Никого нету. Сторож — и то куда-й-то ушел.

Низенькая, старая, мудрая церковь — во имя древнего Ильи. Видала виды: оборонялась от татаровья, служил в ней, говорят, проездом боярин Федор Романов, в иночестве Филарет. В решетчатые окна глядят старые липы.

Бубукает, шумит, не уймется и тут Евсей, есаул в клобуке. Старые, худые, большеглазые угодники жмутся по стенам — от махающего руками, бородатого, громкого Евсея.

Евсей стал на колени, пошарил рукой под престолом.

— Тута, — сказал он и вынес к свету пыльную баночку от брокаровской помады. Откупорил, перелистал, слюнявя, четвертные бумажки.

Беспокойно заворочал Барыба своим утюгом.

— «Ох, ты, дьявол! Десяток, а то либо и больше. И на кой они ляд ему?»

Евсей отложил одну бумажку.

— А остатние — либо на помин души оставлю, а то либо, этта, однова как-нибудь заберу все, да стрелецким девкам на пропой раздарю.

Белые плиты монастырской дорожки. Гудят пчелы в старых липах. Тяжкий звон кружит хмельную голову.

— «И на кой они ляд ему?» — думает Барыба.

12. Монашек старенький

На теплой от солнца скамеечке каменной, возле Ильинской церкви, старый-престарый сидит монашек. Выцвела, позеленела у него ряска, прозеленью пошла борода седая, обомшали руки, лицо. Лежал вот где-то, как клад, под старым дубом, выкопали его — взяли и посадили тут на солнышке греться.

— Да тебе лет-то сколько, дедушка? — спрашивает Барыба.

— И-и, милый, позабыл я. Да, вот, Тихона-то вашего Задонского, помню. Хорошо служил батюшка, истово.

Все вертится Барыба около монашка позеленелого, все льнет к нему. Ох, не даром!

— Пойдем, дед, в церковь, я тебе подметать помогу.

И ходят под темными прохладными сводами. Убирает любовно монашек старую свою церковь, с угодниками шепчется. Свечку засветит — и станет, любуется, теплится перед ней.

— «Дунуть, вот — и потухнут и свечка, и монашек», — думает Барыба.

Ходит он за монашком следом: одно подаст, другое подержит. Полюбил Барыбу монашек. Народ-то нынче непочетник пошел, забыли все старого, слова перемолвить не с кем. А этот вот...

— Дед, а ведь страшно, поди, ночью-то одному в церкви?

— И-и, что ты, Христос с тобой, с ней-то, родимой, страшно?

— Дед, давай я ночую с тобой?

Строго говорит из глубокого дупла своего монашек:

— Сорок лет один на один с ней ночевывал. И нелеть никому окромя и ночевать-то в ней. Мало ли там что в церкви ночью...

Береги ее, береги, ревнивый. Правда, мало-ли что в ночной старой церкви?

— «Ладно, подожду,» — и ходит следом Барыба.

За всенощной под Тихона Задонского уж так-то притомился старый монашек. Народу — несть числа было. Уж потом прибирали-прибирали с Барыбой, насилу-то кончили.

Оглядел монашек все двери, все запоры ржавые проверил и присел на минуточку малую отдохнуть. Присел — и потух ветхий, заснул. Подождал Барыба, кашлянул. Подошел, тронул за рукав монашка — спит. Шасть скорей в алтарь, и ну — под престолом шарить. Шарил — шарил: нашел.

Крепко спит старый монашек — приучается уже смертным сном спать. Ничего не слыхал старый монашек.

13. Апросина избушка

Кончается Дворянская, захудалые последние ларьки и фонари. А дальше — Стрелецкий пруд, старые лозинки кругом, обомшалый скользкий плот, стучат, нагнувшись, бабы вальками, ныряют утята.

У самого пруда, на Стрелецкой слободской стороне присуседилась апросина избенка. Ничего себе, теплая, сухая. Под скобку стриженная соломенная крыша, оконца из стекольных зацветших верешков. Да много ли Апросе с мальчонкой вдвоем и надо? Двухдушный надел сдала арендателю, а там, гляди, к празднику и муж гостинец пришлет — трешну, пятишну. И письмо:

— «И еще с любовью низкий поклон дражайшей супруге Апросинье Петровне . . . А еще уведомляю, что нам опять прибавили по три рубли в год. И мы опять порешили с Илюшей остаться в сверхсрочных . . .»

Спервоначалу Апрося тосковала, конечно, — дело молодое, а потом загас, забылся муж в сверхсрочных. Так, представлялся вроде марки какой на письме или вроде печати: его, мол, печать, его марка. А больше и ничего. Так и обошлась Апрося, обветрела, в огороде копалась, обшивала мальчонку, на постирушки ходила.

У Апроси у этой и снял комнату Барыба. Сразу понравилось: домовито, чисто. Уговорились за четыре с полтиной.

Апрося была довольна: жилец солидный, не какой-нибудь оторвяжник, и с деньгами, видимо. И не очень чтоб заворотень или гордец, когда и поговорит. Заботилась теперь о двух: о мальчонке своем и о Барыбе. Весь день на ногах — обветрелая, степенная, ржаная, крепкогрудая: поглядеть любо.

Тихо, светло, чисто. Отдыхал Барыба от старого. Спал без снов, деньги были: какого рожна еще нужно? Ел не спеша, прочно, помногу.

— «Ну, ин ладно, угождаю, стало быть» — думала Апрося.

Накупил Барыба книжонок. Так, лубочных, дешевка, да очень уж завлекательные: «Тяпка — лебедянский разбойник». «Преступный монах и его сокровища», «Кучер Королевы Испанской». Валялся Барыба, подсолнухи лущил, читая. Никуда не тянуло: перед Чернобыльниковым почтальоном и перед казначейским зятем было вроде неловко: поди теперь уж всё проведали. А на баб даже и глядеть не хотелось, после Чеботарихи не осела еще муть.

Ходил гулять в поле, там косили. Вечерняя парча на небе, покорно падает золото ржи, красные взмокшие рубахи, позванивают косы. И вот бросили — и к жбанчи-

кам с квасом, пьют, капли на усах. Эх, всласть поработали!

Думалось Барыбе: вот бы так. Чесались крепкие руки, сжимались жевательные мускулы . . . «А казначейский-то зять? Вдруг бы увидал» . . .

— То-оже, выдумал, в мужики пойти. Еще, пожалуй, кожи возить на чеботарихином заводе? Самая стать . . . — сердито бурчал на себя Барыба.

Вертись, не вертись, а надо что-нибудь и выдумывать: так, без дела, не проживешь на евсеевы деньги, не Бог знает какие тысячи.

Покумекал-покумекал Барыба да и настрочил прошение в казначейство: авось возьмут писцом, помощником бы к казначейскому зятю. Вот бы, фуражку тогда с кокардой — знай наших!

Духота под вечер была смертная. Барыба все же напялил бархатный свой жилет (остаток житья привольного у Чеботарихи), воротничок бумажный, брюки «на улицу», и пошел на Дворянскую: где-ж, как не там, казначейского зятя найти.

Тут, конечно. Ходит, длинногачий, тощий, вешалка, на всех глядит кисло, тросточкой помахивает. Так и хочет сказать: «Ты кто такой? А я, видишь, чиновник — фуражка с кокардой».

Кислую улыбку сунул Барыбе:

— А-а, эт-то вы! Прошение? Гм-гм.

Оживился, подтянул штаны, поправил воротничок. Почувствовал себя приветливым начальством.

— Что же, я передам, хорошо. Я сделаю, что могу. Ну, как же, как же, старое знакомство.

Барыба шел домой и думал:

— «Ух, и смазал бы тебя, кислая харя! Однако, что говорить — образованно себя держит. А воротничок-то? Самого настоящего полотна и, видать, каждый раз — новый».

14. Вытекло веселое вино

Келарь Митрофан разнюхал, выведал все, собака, о евсеевом походе в Стрельцы. Может, конечно, и сам Евсей разблаговестил, нахвастал. А только знал келарь все до последней капли: и как отплясывал Евсей в ру-

бахе одной, под мышками подпоясанной, и песню эту: «Во монахи поступили», и развеселое катанье на живейных по Стрельцам. Келарь, конечно, игумену. Игумен призвал Евсея да так его разнес, что Евсей вылетел, как с верхнего полка из бани.

Поставили Евсея на послушание к хлебопеку. К службам не ходил. В подвале у хлебопека — жара, как в аду. Главный чертище Силантий, косматый, красный, орет на месильщиков, а сам отмахивает на лопате в печь пудовые хлебы. Месильщики, в одних белых рубахах, подвязав веревочкой космы, ворочают тесто, кряхтят, работают до седьмого пота.

Зато и спал Евсей, как давно не спал. И глаза стеклянные как будто отошли малость. О косушке и подумать некогда было.

Все бы хорошо, да кончилось послушание. Опять пошло старое. Заслужил Евсей, забубнил молитвы. Опять Савка послушник суется в глаза рачьими своими ручищами, ноет Иннокентий, баба с усами.

Савка рассказал про Иннокентия:

— Анадысь они, отец Иннокентий, пошли в баню. Там дьяконок один был, из сосланных, веселый. Кэ-эк увидал он отца Иннокентия в натуральном виде: «Батюшки, кричит, да это баба, гляди, гляди, груди-то обвисли, стало быть — рожалая».

Иннокентий запахивал плотнее ряску.

— Бесстудный он, дьяконок-то твой. Оттого ему такое и притчится.

Дьяконок этот самый и сгубил Евсея. Пришел дьяконок с воли, скучно, понятно, вот он и шатался из кельи в келью. Забрел как-то к Евсею. Сидели Евсей с Иннокентием над отаканами, опять дулись «в муху» — к кому первому муха в стакан попадет. Увидал дьяконок, помер со смеху, завалился на евсееву кровать, ножками болтает, ой-ой-ой (ножки у него коротенькие, маленькие, глаза — как вишенки).

На веселый лад дьяконок настроился — и пошел, и пошел. Все свои семинарские анекдоты выложил, мастер на это был. Сначала скромно. А потом уж пошел и про попа, этого самого, что исповедников посылал догрешить: назначал им епитимью по пятнадцати поклонов за два раза — ну, и никак было не сосчитать, все выходило с дробью. И про монашку, которую догнали в лесу бродяги,

целых пятеро, а она потом сказывала: «Хорошо-де, и вдосталь, и без греха».

Ну, словом, всех уложил. Евсей поперхнулся от смеху, стучал кулаком по столу.

— Ай да дьякон! Ну, и разуважил. Придется, видно, угощенье тебе поставить. Подождете, отцы, а? Я в секунд.

— Куда тебя буревая несет? — спросил дьякон.

— Да за деньгами. Они, брат, у меня под спудом лежат, нетленные. Тут, недалеко. И глазом не морганешь . . .

И впрямь — дьякон и рассказа нового досказать не успел, а Евсей уж тут как тут. Вошел, прислонился к притолке.

— Иди, богатей, иди, предъяви-ка, — весело закричал дьякон и подошел к Евсею. Подошел — и обмер: Евсей — и не Евсей. Обвис, обмяк, вытек весь как-то: проткнули в боку дыру и вытекло все вино веселое, остался пустой бурдюк.

— Да ты чего же молчишь-то? Или приключилось что?

— Украли, — сказал Евсей не евсеевым, тихим голосом и бросил на стол две последних бумажки: для потехи оставил вор . . .

Оно и раньше-то, правду сказать, Евсей умом тихий был, а тут и с последнего спятил. Пропил остатние четвертные. Бродил пьяный по городу и выпрашивал пятачки опохмелиться. Забрал его будочник в участок за веселое на улице поведение — будочнику этому весь нос расквасил и удрал в монастырь.

На утро пришли к нему друзья-приятели: Савка-послушник, да отец Иннокентий, да маленький дьяконок. Стали его увещать: опомнись, что ты, выставит тебя игумен из монастыря, побираться, что ли, идти?

Евсей лежал на спине и все молчал. Потом вдруг захлюпал, распустил нюни по бороде:

— Да, как же, братцы? Я не от денег, мне денег не жалко. А только раньше я, захоти вот, нынче же и вышел из монастыря. А теперь — хоти не хоти . . . Слободный был человек, а теперь . . .

— Да кто же это такое тебя объегорил? — нагнулся дьяконок к Евсею.

— Не знал, а теперь знаю. Не наш, мирской один. И ничего ведь как будто малый, а вот . . . Он, больше некому. Кроме него, и не знал никто, где у меня деньги.

Савка заржал: а, знаю, мол!

Вечером, при свечке, за пустым столом — и самовар не охота было вздуть — судили, рядили, как быть. Ничего не придумали.

15. У Иванихи

Утром после обедни зашел Иннокентий. Принес просвиру заздравную. Зашептал:

— Знаю теперича, отец Евсей. Вспомнил. Пойдем-ка скорей к Иванихе. У-у она известная, заговорит вора — в момент объявится.

Утро росное, розовое, день будет жаркий. Воробьи празднуют.

— Эка, спозарань поднял, — ворчал Евсей.

Иннокентий шел мелкой бабьей походкой, придерживая на животе рясу.

— Никак, отец Евсей, нельзя. Или не знаешь: заговор — он натощак только силу имеет.

— Врешь ты все, поди, Иннокентий. Так только, зря проходим. Да и срамно — духовным-то.

Иваниха — старуха высоченная, дылда, костистая, бровястая, брови, как у сыча. Не очень-то ласково встретила монахов.

— Чего надо-ть? За какой присухой пришли? Али с молебном? Так мне ваших молебнов не надобно.

И возилась, стукотала горшками на загнетке.

— Да нет, мы к тебе насчет... Отца Евсея, вот, обокрали. Не заговоришь ли вора-то? Слыхали мы...

Отец Иннокентий робел Иванихи. Перекреститься бы, а перекреститься при ней нельзя, пожалуй: шутяка-то тут, — еще спугнешь, ничего не выйдет. Как баба — шубейку, запахивал Иннокентий на груди свою ряску.

Иваниха глянула на него сверху, стегнула сычиными своими глазами:

— Так ты-то при чем? Его обокрали — нам с ним вдвоем и остаться.

— Да я, матушка, что ж, я...

Подобрал полы ряски, согнувшись, засеменил бабьими мелкими шажками.

— Как звать-то? — спросила Иваниха у Евсея.

— Евсеем.

— Знаю, что Евсеем. Не тебя, а на кого думаешь — его как звать.

— Анфимкой, Анфимом.

— Тебе на чем же заговаривать то? На ветер? А то вот хорошо тоже на передник, над березовыми если сучьями его разостлать. А может — на воде? Да потом его, голубя, залучить да и попоить чайком на этой самой воде.

— Во-во, чайком-то его бы, а? Вот бы ловко, мать, а?

Евсей обрадовался, забубукал, поверил: уж очень солидная да строгая старуха Иваниха.

Иваниха зачерпнула деревянным долбленым корцом воды, раскрыла дверь в сени, поставила Евсея за порогом, сама на пороге стала. Сунула в руки Евсею корец.

— Держи, да слушай. Да, гляди, никому ни слова, а то все на тебя же и оборотится.

Зачитала медленно, вразумительно таково, а глазами сычиными низала воду в корце.

— На море — на Кияне, на острове Буяне стоит железный сундучище. Во том сундучище лежит булатный ножище. Беги, ножище, к Анфимке-вору, коли его во самое сердце, чтобы он, вор, воротил покражу раба Божия Евсея, не утаил ни синь пороха. А коли утаит, будь он, вор, прогвожден моим словом, как булатным ножом, будь он, вор, проклят в землю преисподнюю, в горы араратские, в смолу кипучую, в золу горючую, в тину болотную, в дом бездомный, в кувшин банный. Коли утаит, будь он, вор, осиновым колом к притолке приткнут, иссушен пуще травы, захоложен пуще льда, а и умереть ему не своей смертью.

— Будя теперь, — сказала Иваниха. Попой его водичкой, голубя, попой.

Евсей бережно перелил воду в бутылочку, дал Иванихе целковый и пошел довольный:

— Я те, миленок, угощу чаем. Я те развяжу язык!

16. Ничем не проймешь

Привязалась к Барыбе ночью ни с того, ни с сего лихоманка. Трясло, корежило, сны заплетались неестественные.

Утром сидел за столом в тумане каком-то, пудовую голову на руки упер.

Стукнули в дверь.

— Апрося?

А головы не повернуть, такая тяжелая. У двери кашлянули баском.

— Савка, ты?

Он самый: волосы-палки, красные рачьи ручищи.

— Беспременно просили. Они дюже по вас соскучились, отец Евсей-то.

Потом подошел поближе, поржал:

— Чаем наговоренным хотят вас поить. А вы — ни Боже мой, не пейте.

— Каким наговоренным?

— Да известно, каким: на вора наговоренным.

— Эге! — смекнул Барыба. Очень смешно стало. Дурак Евсей! Туманилось, колотилось в голове, кривлялось что-то веселое.

У Евсея в келье — дымок сизый, накурено: дьяконок веселый надымил.

— А, гостечки дорогие!

И вихляя задом, дьяконок подставил Барыбе руку кренделем.

Водки на столе не было: нарочно решили не пить, чтоб яснее в голове было — Барыбу уловлять.

— Чего это похудал ты, Евсей. Ай присушил тебя кто? — ухмыльнулся Барыба.

— Похудеешь. Не слыхал нешто?

— Деньжонки-то твои слямзили? Как же, слыхал.

Веселый, язвительный, подскочил дьяконок:

— А откедова же узнали вы это, Анфим Барыбыч?

— А вот — Савка сказал. Вот и узнал.

— Дурак ты, Савка, — обернулся Евсей уныло.

Сели за чай. Один стакан, наполовину налитый, стоял на подносе особо, в сторонке. Иннокентий, суетясь, долил стакан кипятком и подал Барыбе.

Все уставились и ждали: ну, сейчас . . .

Барыба помешал, хлебнул, не торопясь. Молчали, глядели. Стало чудно Барыбе, невтерпеж, захохотал — загромыхал по камням. За ним заржал Савка и залился тоненько дьяконок.

— Чего ты? — поглядел Евсей, глаза у него были рыбьи, вареные.

Громыхал Барыба, катился вниз, уж не остановиться,

колотилось, зелено-туманилось в голове. Смешливый задор задирал, толкал сказать:

— Я самый и есть. Я и украл.

Выпил Барыба, а все молчал и улыбался четырехугольно, зверино.

Евсею не сиделось.

— Ну, рассказывай, что ли, Барыба. Чего там.

— Про что рассказывать-то?

— Сам знаешь, про что.

— Ой, Акуля, что-й-то ты шьешь не оттуля! Тебе про деньги, а? Так я ж тебе говорю: Савка мне рассказал. Только всего и знаю.

Нарочным голосом говорил Барыба: вру, мол, а подика, поймай:

Дьяконок подскочил к Барыбе, похлопал его по плечу:

— Нет, братец, тебя никакой разрыв-травой не проймешь. Крепок, литой.

Евсей замотал космами:

— Эх, пропадать! Беги, Савка, за вином.

Пили. Туманилось, колотилось в голове. Зеленел дымок от курева. Дьякон плясал матросский танец.

— — —

В сумерках Барыба вернулся домой. И у самой у апросиной калитки почуял вдруг: подгибаются коленки, заволокло глаза. Прислонился к косяку, перепугался: никогда такого не бывало.

Открыла Апрося дверь, поглядела на жильца:

— Да что ж это на тебе лица нет? Аль неможется, а?

Как-то во сне очутился на кровати. Лампочка. Апрося в изголовьи. На лбу мокрая, в уксусе, тряпица.

— Болезный ты мой, — сказала Апрося уютно и жалобно, немного в нос.

Сбегала Апрося к соседям, раздостала Барыбе порошку лекарственного. Ночью заволакивало и опять проясняло в голове, и видел Барыба на стуле в изголовьи дремлющую Апросю.

На третий день к утру отлегло. Лежал Барыба под белой простыней, с тенями серыми, осенними на лице. Попрозрачнел как-то, почеловечел. «И, правда, ведь, чужой я ей, а сидела ночь, не спала . . .»

— Спасибо тебе, Апрося.

— И, что ты, болезненький мой. Чай, ведь болен ты.

И наклонилась к нему. Была она в одной юбке пестрядиной и холщевой рубахе, и совсем перед глазами у Барыбы мелькнули две острых колющих точки на груди под редким холстом.

Закрыл Барыба — и опять открыл глаза. В окна глядит летний жгучий день. Где-то там сверкает Стрелецкий пруд, купаются, белеет тело . . .

Заколотилось в голове еще жарче. Беспокойно задвигал Барыба тяжкими своими челюстями и потянул к себе Апросю.

— Вона что? — удивилась она. Да может вредно тебе? Ну-у, погодь, тряпку-то сменять пора.

Переменила спокойно тряпку и заботливо, хозяйственно легла на кровать к Барыбе.

— — —

Так и повелось. Целый день суетится, хозяйничает, горшками гремит Апрося, стрелецкая солдатка. Свой мальчишка, а тут еще и Барыба, и об нем пекись. Отболелся-то он, положим, живо, а все же управиться одной не просто.

Вечером вернется откуда-то Анфим Егорыч, заглянет к Апросе:

— Приходи, ужо-тка, вечерком.

— Прийти, говоришь? Ладно. Сбил ты меня с толку сейчас. И что-й-то мне нужно было сделать — совсем замстилось. Да, бишь, яйца повынать из-под кур: опять хорек проклятенный выпьет.

Бежала в курник. Раздувала потом самовар. Один у себя пил Барыба чай, перелистывал что-то. «И все читает, и все читает, долго ли так и глаза испортить». Укладывала мальчонку своего спать. Садилась на лавку и жужжала веретеном: сучила шерстяные серые нитки для зимних чулок. Шлепался сверху, с потолка, толстый черный таракан. «Ну, стало быть, поздно, пора». Тупым концом веретена почесывала в голове, зевала, крестила рот. Старательно, плюя на щетку, начищала анфим-егорычевы сапоги, раздевалась, аккуратно складывала все в уголку на лавке и несла сапоги Барыбе.

Барыба — ждал. Ставила Апрося у кровати сапоги и ложилась.

Уходила через полчаса. Позевывала. Отбивала десять поклонов, читала Отчу и засыпала накрепко: натрудилась за день, не оберешься хлопот.

17. Семен Семеныч Моргунов

Раз как-то Барыба сказал Тимоше:

— Да какой же ты портной? У тебя тут, дома, и шитва-то никакого нету.

А очень просто, почему не было. Тимоша — он ведь какой: то ничего, ничего, а то как закрутит. Ну, и пропадай тогда заказчиковы брюки: обязательно пропьет. Знали эту манеру его и опасались ему на дом давать. Вот и ходил он шить по домам. Многих обшивал купцов, также и господ — хорошо шивал, мошенник. Между прочим, был он своим, можно сказать, человеком у адвоката Семена Семеныча Моргунова. Так и называл его Моргунов:

— Мой придворный портной.

Сапоги на Тимоше редко бывали: больше в закладе. И приходил он к Моргунову в старых резиновых калошах, а подмышкой, в бумаге завернуты белые парусиновые туфли. В передней обязательно калоши скинет, туфли белые наденет — готов. И пойдут у них с Моргуновым разговоры необыкновенные: о Боге, об угодниках, о том, что все в мире — одна видимость, и как надо жить. Об Моргунове Тимоша понимал, как об умном человеке. Да такой он и был, Моргунов Семен Семеныч.

Моргунов — это, впрочем, не настоящая его фамилия, а так — прозвание вроде, дразнили его так по-уличному. Да только на него поглядеть — сразу скажешь: Моргунов и есть.

Лик у Семена Семеныча был тощий, темный, иконописный какой-то. Глазищи — огромадные, чернищие. И не то изумленные какие-то, не то бессовестные — очень уж велики. Одни только глаза на лице и есть. И моргал ими он постоянно: морг, морг, — будто совестился глаз своих.

Да это что — глаза. Он и весь как-то подмаргивал, Семен-то Семеныч. Как пойдет по улице, да начнет на левую ногу припадать — ну, как есть, весь, всем своим существом, подмаргивает.

И уж любили же его за хитрость купцы!

— Семен-то Семеныч, Моргунов? У-у, дока, язва! Этот, брат, дойдет. Без мыла влезет и вылезет. Ты гляди, гляди-ка, подмаргивает то как,а?

Так и повелось, что вел он у купцов все их делишки темные: вексельные там, или — чего лучше — несостоятельные. И уж не мытьем, так катаньем, а доймет-таки суд и выплывет. Зато и платили ему хорошо.

К Моргунову вот и повел Барыбу Тимоша. Да оно и пора было.

Осень была эта так какая-то несуразная: падал снег и таял снег. А со снегом таяли барыбины-евсеевы денежки. Из казначейства пришел ответ: отказали, дьяволы, кто их знает, почему, какого рожна им еще нужно. Ну, вот и нужда была себе какое ни на есть дельце подыскать. Есть-то, ведь, хочется.

Семен Семеныч отвел Тимошу в сторонку и спросил о Барыбе:

— Это кто же будет?

— А это — так, вроде помощник мой: я вот шью, говорю — а он слушает. Без помощника-то ведь говорить не станешь, сам с собою.

Семен Семеныч задребезжал, засмеялся.

«Ну, значит, в духе: пойдет дело на лад», — подумал Тимоша.

— А раньше-то вы чем занимались? — спросил Моргунов Барыбу. Барыба замялся.

— А он у вдовы одной почтенной потешником был, — помог Тимоша, ковыряя иголкой в шитье.

Моргунов опять задребезжал: ну и занятие, нечего сказать.

А Тимоша невозмутимо продолжал:

— Ничего такого особенного. Дело торговое. Всё у нас теперь, по силе времени, дело торговое, тем только и живем. Купец селедкой торгует, девка утробой торгует. Всяк по-своему. А чем, скажем, утроба — хуже селедки, или чем селедка — хуже совести? Все — товар.

Моргунов совсем развеселился, подмаргивал, дребезжал, хлопал Тимошу по плечу. Потом засерьезничал вдруг, иконописный стал, строгий, глазами вот-вот проглотит.

— Что ж, заработать хотите? — спросил Барыбу. — Дело найдется. Мне вот свидетели нужны. Вид-то у вас внушительный, годитесь, как будто.

18. В свидетелях

Так и начал Барыба в свидетелях ходить у Моргунова. Дело нехитрое. С вечера, бывало, Моргунов, начинит Барыбу: вот это-то, гляди, не позабудь, Василий-то Курьяков, купецкий сын, толстый-то этот, — он только руку поднял первый. А ударил первым мещанин, рыжий который, ну да, рыжий. А ты, мол, был у садового забора и самоглазно все видел.

А на утро стоял Барыба у мирового, приглаженный, степенный, ухмылялся иной раз: чудно уж очень все это. Рассказывал аккуратно, как научил Моргунов. Купецкий сын Василий Курьяков торжествовал, мещанина сажали в кутузку. А Барыба получал трешницу, пятишницу.

Семен Семеныч только и знал — Барыбу похваливал:

— Ты, брат, солидный очень, да и упористый, кряжистый. Тебя с толку не сбить. Скоро я тебя по уголовным брать стану.

И стал Барыбу с собою возить в соседний город, где палата была. Справил Барыбе длиннополый, вроде купецкого, сюртук. В сюртуке этом часами Барыба шатался по коридорам палаты, позевывая и лениво ожидая своей очереди. Спокойно и деловито показывал — и никогда не путался. Пробовали, было, прокурор или там защитник сбить его с панталыку, да нет, куда: упрется — не сбить.

Хорошо заработал Барыба на завещании одном. Купец Игумнов помер. Почтенный был человек, семейственный, жена, девчушка. Рыбную торговлю держал, и все его в городе знали, потому что посты у нас очень строго блюдут. Руки у Игумнова у этого все, как есть, кругом в бородавках были. Говорили, что, мол, от рыбы: накололся об рыбьи перья.

Жил Игумнов, слава Богу, как все. А под старость приключилась с ним история: бес в ребро. Окрутила его округ пальца дочерина учительница, ну, просто, гувер-

нантка. Жену с девчонкой со двора согнал. Лошади, вина, гости, море разливанное.

Только перед смертью старик и очухался. Призвал жену с дочерью, прощенья просил, и завещание на ихнее имя написал. А первое завещание у мадамы осталось, у гувернантки этой самой, и все в том завещании ей было отписано. Ну, и завязалось дело. Сейчас, конечно, Семена Семеныча за бока:

— Семен Семеныч, голубчик. Что не в уме он второе завещание писал — обязательно это надо доказать. Свидетелей представить. За деньгами я не постою.

Думали-гадали Семен Семеныч с Барыбой. Покопался-покопался Барыба и вспомнил: видал как-то Игумнова, покойника — из бани он зимою выбежал и в снегу валялся. Дело у нас самое обыкновенное. А в таком сорте представили, что он зимой по улицам не в своем виде бегал. И свидетелей еще подыскали: что ж, правда, многие видывали.

И когда показывал это на суде Барыба, таково правильно все толковал и увесисто, как каменный фундамент клал — даже и сам поверил. И глазом не мигнул, когда игумновская вдова, в черном платочке на черничку похожая, поглядела на него очень пристально. А мадама после суда глазки ему сощурила:

— Вы прямо благодетель мой.

К ручке приложиться дала и сказала: «Заходите когда.» Очень Барыба доволен был.

19. Времена

— Не-ет, до нас не дойдет, — говорил Тимоша уныло. — Куды там. Мы вроде, как во град-Китеже на дне озера живем: ничегошеньки у нас не слыхать, над головой вода мутная да сонная. А на верху-то все полыхает, в набат бьют.

А пущай бьют. Так у нас на этот счет говаривали: — Это уж пусть себе они там в Вавилонах с ума-то сходят. А нам бы как поспокойней прожить.

И верно: как газеты почитать — с ума сходят. Почесть, сколько веков жили, Бога боялись, царя чтили. А тут — как псы с цепи сорвались, прости Господи. И откуда только из сдобных да склизких вояки такие народились?

Ну, а у нас пустяками этими разными и некогда заниматься: абы бы ребят прокормить, ведь ребят-то у всех угол непочатый. Со скуки, что ли, кто их знает с чего, плодущий у нас народ до страсти. И домовитый по причине этого, богомольный, степенный. Калитки на засовах железных, по дворам псы цепные на рыскалах бегают. Чужого чтоб в дом пустить, так раза три из-за двери спросят кто такой, да зачем. У всех окна геранью да фикусами позаставлены. Так-то оно дело вернее: никто с улицы не заглянет. Тепло у нас любят, печки нажаривают, зимой ходят в ватных жилетках, юбках, в брюках на вате стеганых — не найти таких в другом месте. Так вот и живут себе ни шатко — ни валко, преют, как навозец, в тепле. Да оно и лучше: ребят-то гляди, каких бутузов выхаживают.

Пришли к Моргунову Тимоша с Барыбой. Моргунов — с газетой сидит.

— Вот, министра-то ухлопали, слыхали или нет?

Тимоша улыбается — лампадку веселую зажег:

— Слыхали, как не слыхать. Идем это по базару, слышу, разговаривают: «Очень его даже жалко: поди, ведь, тысяч двадцать в год получал. Очень жалко».

Моргунов так и затрясся от смеху:

— Вот они, все тут, наши-то: тысяч двадцать . . . очень жалко . . . Ох уморил!

Помолчали, газетами пошуршали.

— А у нас — тоже Анютку протопопову в Питере забрали, доучилась, — вспомнил Барыба.

Моргунов сейчас же привязался и пошел подзуживать — знал, как Тимоша о бабах понимает: связываться с ними в серьезном деле — все одно, что мармелад во щи мешать.

— В гости бабу еще — туда-сюда, пустить можно. А в себя уж — ни-ни, — Тимоша грозит сухоньким своим пальцем. — В себя пустил, — пропал. Баба — она, брат, корни — вроде лопуха пускает. И не вынесть никак. Так лопухом весь и заростешь.

— Лопухом, — смеется, громыхает Барыба.

А Моргунов кулаком стучит, орет неестественным голосом:

— Так их, Тимоша, так! А ну, прорцы еще, царю иудейский!

— «И чего ломается, чего орет», — думал Барыба.

Правда, любил поломаться Семен Семеныч. Такой уж какой-то ненастоящий человек был, притворник, все-то подмигивает, выглядывает, с камешком за пазухой. И глаза — не то охальные, не то мученские.

— Пива нам, пива, пива! — орал Семен Семеныч. Приносила на подносе ясноглазая Дашутка, свежая — ну вот сейчас после дождя травка.

— Новая? — говорил Тимоша и не глядел на Моргунова.

Менял их Моргунов чуть не каждый месяц. Белые, черные, тощие, дебелые. И до всех одинаково ласков был Моргунов:

— Что ж, все они одинаковы. А настоящей все равно не найти.

За пивом, глядишь, Тимоша, завел уж о своем любимом, о Боговом, начал на Моргунова наседать с хитрыми вопросами: а коли Бог все может и не хочет нам жизнь переменить — так где же любовь? И как же это праведники в раю останутся? И куда же Бог денет этих убийц министровых?

Моргунов — не любит о Боге. Насмешник, наяный, а тут вот живо потемнеет, как чёрт от ладона.

— Не смей мне о Боге, не смей о Боге.

И говорит тихонько как-то, а жуть — слушать.

Тимоша доволен, смеется.

20. Веселая вечерня

Постом Великим все злющие ходят, кусаются — с пищи плохой: сазан да квас, квас да картошка. А придет Пасха — и все подобреют сразу: от кусков жирных, от наливок, настоек, от колокольного звона. Подобреют: нищему вместо копейки — две подадут; кухарке на кухню — пошлют кусок кулича господского; Мишутка наливку на чистую скатерть пролил — не выпорют для праздника.

Понятно, перепадало и Чернобыльникову, когда ходил он по домам, открытки расписные разносил и хозяев поздравлял с праздником. Где четвертак дадут, а где и полтинник. Насбирал Чернобыльников — и повел в чуриловский трактир приятелей: Тимошу, Барыбу да казначейского зятя.

Выцвел к весне Тимоша, общипанный ходит, как осенний воробейчик, ветром шатает — а хорохорится, бодрится туда же.

— Полечился бы ты, Тимоша, ей Богу, — крушился Чернобыльников. — Гляди, какой стал.

— Чего лечиться-то? Все одно — помру. Да оно, по мне, и любопытно — помереть-то. Ну как же: всю жизнь в посаде кис, никуда, а тут — в неведомые страны спутешествовать, по бесплатному билету. Чать, лестно.

Знай себе посмеивается Тимоша.

— Ты бы не пил-то хоть так, вредно ведь тебе.

Нет, хоть ты что. Пьет, не отстает, по старому своему обычаю — пиво с водкой. И все в красный ситцевый платок покашливает: платчище себе завел — веретье целое.

— А это, — говорит, — чтобы в благородном месте на пол не харкать.

Ударили к вечерне. Старик Чурилов переложил серебро из правой руки в левую и перекрестился, истово, степенно так.

— Эй, Митька, получи! — крикнул Чернобыльников.

Вышли вчетвером. Веселится весеннее солнце, приплясывают колокола. Как-то и расходиться-то не охота, компанию разбивать.

— Эх, люблю я пасхальную вечерню, — зажмурил глаза Тимоша. — Плясовая, а не вечерня. Пойдем всем обчеством, а?

Барыба позвал в монастырь, благо он тут близко:

— А после вечерни к монаху одному знакомому чай пить сведу, — чудак такой.

Казначейский зять вынул часы:

— Никак нельзя, обещался к обеду, а у казначея опаздывать не принято.

— Ох, вот ушиб-то: не принято! — Тимоша засмеялся, закашлялся, полез за платком: нету. — Стой, ребята, платок наверху обронил. Сейчас сбегаю.

Взмахнул ручками, вспорхнул, — воробейчик.

Позванивают колокола веселые, идет нарядный народ к веселой пасхальной вечерне.

— Погоди-ка, орут наверху . . . чего там такое? — навострил Барыба большие свои нетопырячьи уши.

Казначейский зять скорчил мину.

— Опять, наверно, драка. Не умеют держать себя в обчественном месте.

Дз-зынь! — высадили вверху стекло, осколки со звоном — вниз. И сразу затихло.

— Ого, — прислушался Чернобыльников, — нет, тут что-то . . .

И вдруг кубарем, красный, взлохмаченный, выкатился, задыхаясь, Тимоша.

— Там они . . . вверху . . . приказали. И все . . . подняли руки и стоят.

Тр-рак, тр-рак! — затрещало вверху.

Казначейский зять вытянул длинную шею и стоял секундочку, глядя вверх одним глазом, как индюк на коршуна. Потом закричал тонко и жалостно: стреля-яют! И пустился наутек.

А на лестнице загромыхали сапожищами, заревели, сыпались все сверху.

— И-и-и! Держи-и . . .

И опять: тр-рак, тр-рак.

На секунду: в дверях впереди всех — красное безглазое лицо.

«Должно быть, это со страху *он* закрыл глаза», — мелькнула мысль.

А он, безглазый, уж в переулочке напротив, уж сгинул. И следом сверху высыпались все как пьяные — дикие, распоясанные, гончие.

— Держи-и его! Не пуща-ай! Во-во-вот он!

Кого-то внизу у подъезда сграбастали, накинулись, притиснули, колотили — и все-таки ревели: держи-и, — так уж просто, нужно было вылиться через глотку.

Нагнувши голову, как баран, пробился Барыба вперед. Зачем-то это нужно было, чуял всем нутром, что нужно, стиснул железные челюсти, шевельнулось что-то древнее, звериное, желанное, разбойничье. Быть со всеми, орать, как все, колотить, кого все.

На земле, в кругу, лежал мальчишечка — чернявенький такой, с закрытыми глазами. У рубахи воротник сбоку разодран, на шее — черная родинка.

Старик Чурилов стоял в середине круга и пинал мальчишечку ногою в бок. Такая степенная, борода тут вся у него склочена, рот перекошен — куда вся богомольность девалась.

— Унесли! А, дьяволы! Убег один, со ста рублям убег! А, дьяволы?

И опять пинал. Из-за его спины тянулись к лежачему потные кулаки, но не смели: у Чурилова украли, он, стало, и хозяин тут, ему и бить.

Откуда-то вынырнул вдруг Тимоша, прямо перед носом у Чурилова-старика, — вскочил красный, злой, и заклевал его, засыпал, замахал руками:

— Ты что ж это, хрыч старый, нехристь, злыдень? Убить мальца то за сто целковых хочешь? Может и убил уж? Гляди, не дышит. Дьяволы, звери, али человек-то и ста целковых не стоит?

Старик Чурилов сначала опешил было, а потом окрысился:

— Ты что, заодно с ними? Заступник? Ты, брат, гляди. Тоже разговоры хорошие в трактире разводишь, люди-то слыхали. Держите его, православные!

Подошли было ближе, но замялись: все-таки Тимоша свой как будто, а эти были не нашенские. Так это, зря, наверно, старик . . .

Краснорожий, рыжий мещанин, маклак лошадий, по случаю праздника напялил бумажные манжеты. В свалке манжеты сползли вниз, между рукавом и белым торчали рыжие волосы, и еще страшней были его огромные руки.

Руки протянулись к Тимоше и легонько выпихнули его из круга. Рыжий мещанин сказал:

— Проваливай, проваливай, пока цел, заступник. Без тебя управимся.

И деловито начал обшаривать черняненького мальчонку, переворачивая его, как тушу.

— — —

Куда уж там в монастырь идти — до того ли? Весь вечер у Тимоши просидел Барыба. Чернобыльников подошел попозже. И рассказал:

— Иду я, значит, по Дворянской . . . Слышу, на лавочке у ворот сидят и рассказывают: «А помогал, говорит, им наш же Тимошка-портной, вот пропащий-то человек».

— Дураки, — сказал Тимоша. — Сплетники. А Чурилову злыдню, дьяволу, так и надо. Что ему от сотни — убудет? А они, может, два дня не ели?

Помолчал и прибавил:

— Ну, неуж и до нас дойдет? А коли бы дошло — ей-Богу, в самый бы омут полез. Укокошат — ну туда и дорога, все равно — моей жизни полвершка осталось.

21. Исправниковы хлопоты

Ну, вот, не было печали, так черти накачали. Руки вверх, туда же, это у нас-то! А теперь хлопот у исправника Ивана Арефьича — не оберешься.

Понаехали из губернии, суд военный, — и всё из-за какого-нибудь поганца-мальчишки. Председатель, полковник, худой, с седым бобриком, желудком страдал. Вот горя-то зазнал с ним Иван Арефьич! Того ему нельзя есть, другого нельзя — ну, сущая напасть.

В первый раз, как приехали гости незваные, Иван Арефьич устроил завтрак на диво: бутылки на столе, коробки распечатанные, окорока, кулебяка. А полковник позеленел даже весь от злости. Туда-сюда вилкой ткнет, понюхает:

— Кажется, очень жирно.

И скиснет, и не ест. Исправничиха Марья Петровна вся исстрадалась:

— Ах, ради Бога, полковник, что же вы не кушаете? «Ну, уж и влетит, должно быть, теперь моему Ивану Арефьичу».

Зато прокурор-душа поддержал. Кругляачок, лысенький, розовый, как поросеночек. В баню, наверно, раза два в неделю ходит. И все закатывается, хохочет и всего по два куска себе накладывает.

— Ну-ка, еще кулебяки-то — матушки. Только, знаете, по таким заплесневелым местам, вроде вашего посада, теперь на Руси и умеют по-настоящему, по-старинному, пироги печь . . .

А вечером у исправника в кабинете зажжены на письменном столе свечи (никогда в жизни не зажигались), разложены бумаги. Иван Арефьич пыхтит своей папиросой-пушкой и отгоняет дым в сторону: не дай Бог, в полковника дым попадет.

Полковник перечитал бумаги и поморщился кисло:

— Что же мы, с одним с этим мальчишкой будем возиться? Когда от него ни полслова не добьешься. Ужасно обидно. На то вы и исправник, чтобы уметь разыскать.

— — —

На кровати сидя, сапоги стягивал Иван Арефьич и все к исправничихе приставал:

— Уж я и ума не приложу, Маша. Подай им еще, одного мало. Да откуда я возьму, коли он убег? Да, вот что еще не забудь: полковнику завтра к двенадцати геркулесу на молоке, уварить хорошенько, да бутылку Нарзану. Ох, боюсь я его, как бы не напакостил, злющий!

Марья Петровна записала:

— Геркулес... Нарзан... А ты вот что, Иван Арефьич, посоветовался бы ты с Моргуновым. Он пройда, он чего хочешь достанет, — ей-Богу, попробуй.

Иван Арефьич зарубил себе это на носу и спал поспокойнее малость.

— — —

На площади перед полицией, перед желтыми облупленными стенами — базар. Поднятые вверх и связанные оглобли, лошади с привязанными мешками овса у морд, визгливые поросята, кадушки с кислой капустой, возы с сеном. Хлопают по рукам, торгуясь; зазывают звонко; скрипят телеги; кучер земского в безрукавке пробует гармонику.

А в исправниковом кабинете чинят допрос. Полковник с тоскою вслушивается в себя, внутрь: в животе глухо урчит. «Ах, Господи, целую неделю не было, а теперь опять, кажется»...

Старик Чурилов вошел, степенный, длиннополый, лунь седая. Перекрестился.

— Как было-то? Да вот как, ежели все по порядку...

Рассказал, утерся ситцевым платком. Постоял, подумал: «Хорошо бы нажалиться на Тимошку-дерзеца, начальство, кажись, доброе».

— Вот еще, ваши благородия, есть тут портной Тимошка, — пропащий человек, дерзец. За мальчишку этого заступаться стал — за этого самого, какой стрелял-то. А я ему: ты, мол, из ихних, что ли? А он меня при всем при народе...

Старика отпустили. Прокурор потер мягкие потные ручки, расстегнул нижнюю пуговицу на мундире и сказал тихонько полковнику:

— Гм. Тимоша этот... Как вы думаете?

За окном торговались, кричали, скрипели. Полковник не выдержал:

— Иван Арефьич, да закройте окно! Голова трещит. Что за манера — базар перед самым кабинетом!

Иван Арефьич, на цыпочках, закрыл окно и позвал:

— Следующий.

Томно, жеманясь, рассказывал казначейский зять. Прокурор спросил:

— Так, значит, он вернулся в трактир, а потом опять выбежал? Ага. Ну, а платок? Вы о платке, кажется, что-то упоминали? Он за платком вернулся?

Казначейский зять вспомнил исплеванный красный тимошкин платок, кисло поморщился и сказал, гнусавя, с досадой:

— Какой платок? Я никакого платка не помню.

Как-то неприлично даже было и вспоминать-то ему об этом платке.

Барыба привычным нюхом шел за вопросами прокурора. И когда дошло до платка, он уверенно сказал:

— Нет, платка никакого не было. Сказал просто: дело наверху есть.

Когда отпустили Барыбу, прокурор хлебнул холодного чаю и сказал полковнику:

— Прикажете написать постановление о задержании этого самого Тимоши? По-моему, все эти показания... Я знаю, вы иногда чересчур осторожны, но тут...

У полковника в кишках схватывало, подкатывалось, и он думал:

«Чёрт знает! Эта исправничиха, толстая дура, что за провинциальная манера делать все жирным...»

— Так, я говорю, полковник...

— Ах, отстаньте, ради Бога! Пишите, что вам угодно. У меня ужасно живот болит.

22. Шесть четвертных

Как забрали Тимошу, никто даже и не удивился.

— Давно туда и глядел.

— Язык-то распускать он мастер был. Непочетник! О Боге-то все равно вон как об лавочнике Аверьяне разговаривал.

— И всюду, куда не следует, носом совался, обо всех судил. Скажи, пожалуйста, какая нашлась Маремьяна-старица — обо всех печалится.

А Моргунов сказал:

— Такие головы у нас недолго держатся. Вот мы с Барыбой поживем.

Похлопал Барыбу по спине и поглядел на него иконописными своими глазищами, не то презрительно, не то ласково: поди-ка у него разбери — притворник он.

Вечером в тот же день Семена Семеныча к себе пригласил исправник Иван Арефьич — на чашку чаю. И умолял Христом-Богом:

— Наставьте вы этого своего... как его там... на путь истинный. Ну да, Барыбу-то этого. Чтобы поопределенней как-нибудь на суде показал. Я ведь знаю, он у вас специалист, ну чего там, чего там, люди свои. Ей-Богу они мне всю шею отвертели, губернские эти, разделаться бы с ними — да и с колокольни долой. А уж этот полковник с своими привередами: то ему не так, это не эдак...

Поторговались, сошлись на шести четвертных.

— Ну, чего там мало — не мало. И этому... как его... местишко какое-нибудь можно, Барыбе этому устроить. Чего ж еще лучше? Ну, писарем там, урядником...

А на другой день, за кронберговским пивом, Моргунов подходами всякими подходил к Барыбе, улещал его. Барыба все мялся.

— Да мы с ним вроде приятели были, чудно очень как-то, неловко.

— Эх, милый, нам ли с тобой стесняться да думать над чем-нибудь? С головою ведь увязнем, сгинем. Как это в сказке какой-то: оглянуться — помереть со страху. Так уж лучше без оглядки. Да оно ведь до суда-то еще и далеко. Коли оскомина будет — отказаться успеешь.

«А и правда, чёрт с ним, все равно чахотка там эта... А тут бы местишко еще если заполучить... Что же, весь век, что ли, с хлеба на квас?» И вслух Барыба сказал:

— Разве, что для вас только, Семен Семеныч. Кабы не вы — ни за что.

— Кабы не я... Да я, голубь, знаю, что без меня такого бы сокровища из тебя не вышло. Ни то бы, ни се. А теперь...

Он помолчал, потом вдруг нагнулся к барыбину уху и шёпотом:

— А тебе черти не снятся? А я каждую ночь во сне вижу, каждую ночь — понимаешь?

23. Мураш надоедный

Согласился, и к исправнику ходил, и исправник кучу целую денег дал и наобещал такого... Тут бы Барыбе и радоваться. А вот — нудило что-то, мешало. Какой-то, вот, комарик маленький, мураш, залез в нутро и елозит там, и елозит, и никак его не поймать, не раздавить.

Ложился спать Барыба и думал:

«Завтра вечером. Значит, еще целый день до суда. Захочу вот, пойду и откажусь. Сам себе господин».

Спал и не спал. И все будто додумывал во сне недодуманную какую-то мысль:

«Да и жизни-то всего в нем полвершка».

И опять снилось уездное, экзамены, поп, засовывающий бороду в рот.

«Опять провалюсь, второй раз», — думал Барыба.

И додумывал:

«А мозговатый он был, — Тимоша, это уж правду сказать».

— Почему «был»? Как же «был»?

Совсем распялил в темноте свои глаза и не мог больше спать. Елозил мураш надоедный, томил.

— Почему «был»?

24. Прощайте

Поздно уж, о полдень, проснулся Барыба в Стрелецкой своей комнатушке: все кругом было светлое, ясное, и таким простым все открылось, что нужно было на суде сделать. Будто ничего этого, что ночью томило — ничего такого и не было.

Принесла Апрося самоварчик, ситный и стала у порога. Рукава засучены, левую ладонь — под локоть правой руки, а на правую руку немудрую свою голову положила. И слушать бы Анфима Егорыча, слушать, вот так стоять, ужахаясь, вздыхая жалобливо, покачивая головой сердобольно.

Кончил Барыба чай пить. Сюртук Анфиму Егорычу подала Апрося и сказала:

— Что-й-то весел ты нынче, Анфим Егорыч. Али деньги получать?

— Получать, — сказал Барыба.

На суде Тимоша — ничего, бодрился, вертел головкой, и шея у него была длинная, тоненькая, такая тоненькая — поглядеть страшно.

А чернявый мальчишечка совсем какой-то чудной был: осел весь, вроде как бы у него все кости стали вдруг мягкие, растаяли. Так и валился на сторону. Конвойный то и дело выправлял его и прислонял к стенке.

Барыба говорил уверенно и толково, но торопился: все же отсюда поскорее бы куда-нибудь уйти. Когда он кончил, прокурор спросил:

— Что же вы раньше-то молчали? Столько ценного материала.

Суд собрался уходить уж, как Тимоша вскочил вдруг и сказал:

— Да. Ну, так прощайте, все!

Никто не ответил.

25. Утром в базарный день

Утром, в веселый базарный день, перед острогом, перед местами присутственными — визг поросят, пыль, солнце; запах от возов с яблоками и лошадей; спутанный, облепленный базарным гамом колокольный звон — где-то идет крестный ход, просят дождя.

Исправник Иван Арефьич, в позеленелом мундире, с папиросой-пушкой, довольный, вышел на крыльцо и сказал, строго глядя в толпу:

— Преступники понесли законное наказание. Пре-ду-пре-ждаю вас . . .

В толпе, тихой, вдруг зашуршало, закачалось: как в лесу налетел ветер.

Кто-то скинул шапку и перекрестился. А в задних рядах, подальше от исправника, голос сказал:

— Висельники, дьяволы!

— Ты это про кого, про кого это, а?

Иван Арефьич круто повернулся и ушел. И сразу перед крылечком — как проснулись. Загамели все сразу, поднимались руки, всякому хотелось, чтобы его-то и услышали. Отмахивал саженки рыжий мещанин.

— Врут, не повесили, — убежденно говорил он. — Немысленное дело: как это можно живого повесить? Да нешто он дастся, живой-то? Руками — зубами будет . . .

А чтоб живой дал себе на шею вздеть — да нешто это мысленное дело?

— То-то вот и оно, образование-то, книги-то, — говорил старик из торговцев. — Тимошка-то, он не в меру умен был, Бога забыл, вот оно . . .

Рыжий мещанин злобно поглядел на старика сверху и увидел, что из ушей у него растут волосы, длинные и седые.

— Молчал бы, сам в гроб глядишь, — сказал рыжий. — Гляди из ушей уж волосы выросли.

Старик повернулся сердито и, вылезая из толпы, бормотал:

— Развелись всякие . . . Кончилось в посаде старинное житье, взбаломутили, да.

26. Ясные пуговицы

Белый, ни разу не стиранный еще китель, серебряные солнышки пуговиц, золотые жгуты на плечах.

«Мать пресвятая! Неужели это правда? Балкашинский двор и все такое — а вот теперь иду я, Барыба, в погонах?»

Пощупал: тут, есть. Ну, стало быть, правда.

От нотариуса, из подъезда с вывеской, вышел с сумкой почтальон Чернобыльников. Остановился, приглядывался. Отдал честь, балуясь:

— Господину уряднику.

А Барыба захолонул от гордости. Небрежно подбросил к козырьку руку.

— Давно произвели?

— Да вот, дня три. Китель только нынче кончили. Хлопот теперь — форму шить.

— Ва-ажно! Начальство, стало быть? Ну, честь имею.

Распростились. Барыба шел дальше: надо сегодня являться к исправнику. Шел и сиял, сытый собою, майским солнцем, погонами. И улыбался четырехугольной улыбкой.

У острога Барыба остановился, спросил у будочника:

— Иван Арефьич у себя?

— Никак нет, уехали на убийство.

И будочник, от которого когда-то прятался воровавший по базарам Барыба — будочник вежливо козырнул.

Барыба даже и рад был, что исправник уехал на убийство: походить бы еще по солнцу в новом кителе, и чтобы все козыряли. «Эх, хорошо жить на свете! И дурак же — чуть-чуть было не отказался». Сжимались железные челюсти, — разгрызть бы теперь какие-нибудь самые крепкие камушки, как бывало в уездном.

— Эге-э! Вот что! Вот когда к отцу-то пойти. Дурак старый — прогнал, а пусть-ка теперь поглядит.

Мимо чуриловского трактира, мимо пустых ярмарочных ларьков, по тротуару из прогнивших досок, а потом и совсем без тротуара, переулочком — по травке.

У обитой оборванной клеенкой двери — эх, старая знакомая! — остановился на минуточку. Почти что любил отца. Э, да что там, весь посад бы сейчас расцеловал: как же не расцеловать, когда в первый раз надет китель с погонами, с ясными пуговицами.

Постучал Барыба. Вышел отец. У-у, брат, постарел-то как! Седая щетина на щеках, спустил очки на нос, долго глядел. Узнал — не узнал, кто его знает — молчит.

— Чего надо? — буркнул.

Ишь, сердитый какой. Ну, не узнал, ясно дело.

— Ну, не узнаешь, старик? А прогнал-то меня, помнишь? Однако, теперь вот — видишь. Три дня как произвели.

Старик высморкался, вытер пальцы о фартук и спокойно сказал:

— Слышал об тебе, слышал, как же. Добрые люди говорят.

Опять посмотрел поверх очков спокойно.

— И про Евсея, про монаха. И про портного тоже.

Запрыгала вдруг седая щетина на подбородке.

— И про портного, как же, как же.

И вдруг весь затрясся старик и завизжал, забрызгал слюной.

— Во-он из мово дому, вон, негодяй! Я т-тебе сказал, чтоб ты не смел к порогу мому приступать. Пошел во-он, вон!

Очумелый, вытаращил глаза Барыба и стоял, долго никак не мог понять. Когда прожевал, молча повернулся и пошел назад.

— — —

Мутнело уже на улице. Сумрачный ветерок потягивал из окна.

В чуриловском трактире за столиком, расставив ноги, руки в карманах, сидел Барыба, здорово уже нагрузившись. Бормотал под нос:

— Ну, и наплевать. Из-з-ума выжил. Нап-плевать...

Но уже осело что-то на дне, замутило что-то. Не было веселого майского дня.

В уголку против Барыбы примостились у столика трое краснорядских приказчиков: один, пригнувшись, рассказывал что-то, двое слушали. И вдруг все трое грахнули, залились. Должно быть, что-нибудь уж очень чудное.

— А-а, так? А-а, ты так? Так я им, й-я им п-покажу всем, — бормотал Барыба под нос.

Глаза у него заплыли, щерился злой четурехугольный рот, напряглись жевательные железные желваки.

Приказчики опять весело грахнули.

Барыба вынул вдруг руку из кармана и постучал ножом по тарелке — пьяными, спотыкающимися ударами.

Подскочил половой, Митька-скугаревая башка, нагнулся, ухмыляясь одной щекой, обращенной к приказчикам, и выражая почтенье другой щекой — господину уряднику. Приказчики вытянули носы и слушали.

— Пс-слушай. С-скажи им, что й-я им не п-пзволяю смеяться. Й-я им... У нас теперь смеяться с-строго не д-дозволяется... Нет, пс-стой, я сам!

Покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он встал и, громыхая, задвигался к приказчикам. Будто и не человек шел, а старая воскресшая курганная баба, нелепая русская каменная баба.

1912.

АПРЕЛЬ

На улице солнце. Дорога просохла. Вьется апрельская легкая пыль .И так сладко-больно глядеть на первую пыль, что может даже слеза застить глаз. А может и так это — облако мимо летит, и никакой нету слезы, что правда, за глупости такие!

А больших — это, вот, да: больших Насте жалко, уж наверно не могут они понять, что за сласть — сидеть, вот, и на первую пыль глядеть. Настя, будь ее воля, день бы целохонек тут на окне просидела, да дела, нельзя: одеваться, в гимназию идти — книги — шляпа . . . А вчера он про шляпу сказал:

— От вашей шляпы одни фикции болтаются: пора бы ее в печку.

А ну ее, правда ! И — шляпу под стол, золотую косу — через плечо, вниз по ступенькам, через две, через три.

У ворот — липа, листьев нету еще, так только — дымка зеленая, повитая солнцем. А под липой — он стоит: чуть пробились усы, и любимое у него слово — фикция. Каждый день стоит тут и ждет. И каждый день воробьенком бьется сердце у Насти. Потому что ни разу еще не объяснялся он, и как знать — может сегодня-то вот и . . . А тут еще вчера пари это Настя ему проиграла — за то, что спросили, а двойки он все-таки не получил. Мало ли, что он теперь может потребовать?

Настю провожал всегда Коля до старых городских, от зеленого мха корявых ворот. Тут, прощаясь, Коля вспомнил случайно — совершенно случайно:

— Ах, да, пари-то мое ведь? Во-от, чуть не забыл!

Держит настину руку, не отпускает, покраснел весь, голос чужой стал, басовитый — со страху:

— Я могу . . . потребовать. Я не при чем, вы сами затеяли . . .

Духу набрал — и головой в воду — ух!

— ...И вот хочу вас теперь поцеловать, и вы должны, потому что пари, а то — подло.

Нагнулся к Насте. Повторенный эхом — нежный, чуть слышный звук. И... Настя ни чуточки даже не осердилась. Ну, хотела же, правда — хотела, и увернуться тоже хотела, а вышло: не увернулась, а может быть, даже... Глаза Настя на минуточку малую закрыла, под ногами качнулось. Да, наверное, знаете, видели — вихорьки такие в апреле на улицах бывают: маленький, прозрачный закружился, и уж глядь — оторвался от земли — и к небу. Вот и Настя теперь летит так и не знает: где, когда, что...

Глаза открыла — очень плохо все видно. И не понять: куда Коля девался и откуда взялась — стоит Алексевна перед Настей.

— А-а, Настенька, здра-аствуй, милая, здравствуй! Что же это, с кавалерами-то уж на улице стала теперь целоваться? Вот оно ка-ак? Так-так-так.

А сама все ближе подвигается, и видать уж волосы на подбородке у Алексевны — на бородавках — трясутся от радости.

— Ах ты, б-бесстыдница, ах-ах-ах, а? Вот погоди: вот мамаше просвирочку заздравную отнесу, я ее — про дочку-то ее обрадую...

... Что — говорить? Что толку просить? Алексевну-то? Старую девку-то эту? Да разве ее упросишь?

В гимназии забудется все на минуту, закружится, пропадет в веселом весеннем шуме. Такое ведь за окном солнце. И вдруг — бледнеет день, и клонится, вянет настина голова.

«Об этом — о самом моем... Об этом — будут вслух? О!»

Звонок. Конец. Но домой нельзя еще идти: дождь. Столпились все внизу, в раздевальной, открыли окно в сад.

Там — зеленое притихло все, испугалось: а ну-ка вдруг конец веселому маю, солнцу — конец? Нависло-потемнело.

А Настя — о своем:

«Как все быстро это вышло и просто. Должно быть, все ужасное — просто».

Вдруг как запрыгают светлые капли, как засверкают.

То-то потеха! Набросились на зеленое, шумят, шебаршат: буйную какую-то школу ребятенок выпустили на перемену — и они подняли веселый содом.

И опять смотрит солнце — еще яснее: умылось. Апрельские слезы — недолги.

Дома. В передней — противные Алексевны калоши глубоченные и шугайка висит, рыжая. Значит . . .

Мать вышла Насте навстречу — с низким поклоном:

— Пожа-алуй, дочка дорогая, пожалуй, любезная!

И начинается. Все, до последнего — и как же ее стыд не зазрит! — все рассказывает, подхихикивает Алексевна. Настя к стене прислонилась, руки — за спину. «Господи, помоги, Господи . . . А Коля — говорил, что не верит уже и что надо выйти из детских рамок. Нет, Господи, нет, помоги!»

Мать зажигает новую папиросу:

— Ну, что же, правду сказывает Алексевна-то? А?

— Пра . . . правду, — сгорела вся Настя, но глаз не опустила.

— Правду, а? Сознается, глаза еще пялит, а? Да если ты с этих пор . . . Что же из тебя выйдет-то? Господи-батюшки, наградил ты меня!

Алексевна главой покивает, вздыхает, гладит бархатный свой ридикюлец: о-хо-хо-хо!

— . . . А этого, героя твоего — я его юбошничать отучу-у, — мать стучит мослаком по столу, — я его отучу-у! Нынче же вечером вот поеду — и директору реальному все расскажу. Попрут — так ему и надо: не юбошничай.

Нет, вот оно когда — ужасное-то . . . Очень тихо Настя сказала:

— Хорошо. Если ты, правда — директору, то я знаю, что сделаю . . .

Что же: только посильней перевеситься за окно — и вся недолга. Небось, тогда мать пожалеет, да уж . . .

— Каково? Она ж еще смеет грозить? Пошла си-ю мину-ту в мою комнату, и чтоб шагу не смела. Удерёт? Ну, не-ет, чтоб не удрала . . . Да ты никак, Алексевнушка, уж уходишь? Ну, прощай, прощай, спасибо. В воскресенье-то, обедать, гляди, не забудь.

. . . Чтобы не удрала дрянь-девчонка, отобрала мать у Насти чулки-башмаки и в комод их приперла.

Одна осталась, села Настя на кровать, согнулась, тоненькая, в три погибели, спрятала слезы в подушку.

«Как все ужасно, как все стыдно. Если правда — директору, так ведь это же... Ну, его хоть, по крайней мере, так — босого — не запрут. Вот ведь, не зря он говорил о неравноправии девочек с мужчинами... Вот, отсутствие демократического строя, неравноправие — вот теперь и сиди без чулок, позорно».

Почему так обернулось — неизвестно, но только самое сейчас горькое Насте: без чулок, босиком. Ноги под платье запрятала, плачет и плачет, и конца-краю нет настину горю...

По белой занавеске ползет вверх любопытное солнце. Нашарило прогалок, пробралось внутрь. Золотым сиянием напитало розовое настино ухо. Слезло — рядом с золотом волос легло на подушке на мокрой, досуха выпило настины слезы.

Настя поглубже засунула руки под подушку: там очень хорошо, прохладно. Улеглась поудобней.

Ах, если бы она была красавица, бледная — и глаза бы... Колю, впрочем, любила бы все так же. А зато уж большим бы этим — уж им бы показа-а-ла! Глаза бы так вот сощурить: «Целовалась? Да, целовалась. Да, хочу вот — и буду, и все...»

А потом бы уйти и жить с Колей. И с рабочими. И вот, вечером они собираются на заговор в нашей комнате. — «А-а вы, стало быть, его жена?» — «Да, я жена». — «Ну, значит, мы при вас можем...» И очень хорошо и весело.

...А их еще больше. Схватили ее за руки — и через все комнаты. Только лампу у папы не разбили бы в кабинете. Трах, готово! Ну, вот, ну, вот! Господи, ведь говорила же! Вот и сиди в теми.

— В теми. Посадили, так и есть — посадили в гимназический подвал. Вот, ведь всегда боялась мимо ходить.

И теперь так далеко — голоса сверху:

— Настюша! Настюшенька!

«Это няня. Милая, няня, я тут, спаси же меня, я тут...»

— Настюшенька-а! Да ты что же это? Наплакалась — да и заснула, милуша?

Милая няня — обнять бы: спасла от страшного сна. Но за нянькой — мать. Всю ужасную свою жизнь вспомнила Настя, от няньки отвернулась.

— И вовсе не спала, оставь пожалуйста.

Нянька на столик у кровати поставила тарелки: обед. Такое уж положенье — наказанным холодный обед.

— Ешь, — говорит мать, — нечего фордыбачить-то.

— Напрасно беспокоились. И не подумаю.

— Ну, была бы честь предложена. Катерина, уноси.

Сокрушенно качая головой, нянька уносит тарелки обратно.

А есть — Насте хочется до того, что . . . Ну, хоть бы хлеба корочку! Настя кричит вдогонку:

— Постой, постой-ка, вот что . . . — проглотила слюну, еле-еле одолела себя, но одолела. — Нет, я не то, не хочу. Я . . . да, вот что: принеси мне книги, нянька, в ремнях которые, ну, да — в передней.

Ведь вот еще дело-то какое: вызвалась завтра Настя поправляться по истории, завтра последний день. А какая уж тебе тут учеба, когда одно в голове: поедет мать — и скажет директору, поедет — и скажет. И тогда . . .

Перевертывает Настя страницу. А что, бишь, это было — о чем на той-то? Как будто и не читала. Только всего и вспоминается: внизу страницы, в уголку, треугольник нарисован, в треугольнике — глаза и рот, и приделаны удивительные усы.

Мать сидит тут же в кресле, с закрытыми глазами. Вот вынула синий флакон, нюхает, морщится.

«Мигрень, ага? Так тебе и надо, так и надо! Это за то, что . . .»

И вдруг роняет Настя книгу — снизу звонко кличет голос:

— Настя, вы тут, а? Идите — в крокет играть.

Тишь. Слышит Настя — бьет сердце в набат. Не шевельнется.

— Да идите же! Ну, чего, в самом деле, не притворяйтесь, я же видал вас в окне.

Колыхнул занавеску ветер вечерний. Нет, нет, не надо туда, не глядеть . . . Ухватилась Настя в книге за чужое, колючее какое-то, слово. Верцингеторикс, Верцингеторикс. Десять, двадцать, сорок Верцингеториксов. А снизу:

— Вы даже говорить не хотите? Ну, я в последний раз . . .

«Коля, милый, да хочу же. Коля, хочу!» — кричит Настя неслышно. И опять: Верцингеторикс, Верцингеторикс, Верцингеторикс.

Еще минуту — еще минуту глядит Коля снизу в окно.

А-а... Она молчит? Значит, все это и что утром нынче было, все — фикция? Ну, хорошо же, ну хорошо!

Хохочет Коля нарочно громко и идет к красному колу, к Варюше. Очень уж курбастенькая она, Варюша, — тумбочка, правда. Все равно, пусть.

— Будем, Варюша, с вами играть. Не вечно же быть врагами. Да и кроме того, от ненависти ведь один только шаг до...

Заливается на верхах курбастенькая Варюша, смеется Коля. Играют. Все — слышно — все до капельки слышно наверху.

«Ему все равно, ему весело. Верцингеторикс, Верцингеторикс. Все кончено, все».

Солнце ушло. Небо — пустое, конца нет пустоте. Тёмно веет ветер закатный.

Перед уходом — мать зажгла лампу: кончен день. Но не радует Настю и материн уход: ведь кончен же апрельский светлый день, кончен!

И страшнее всего: сейчас велит лошадь запречь, поедет мать к директору реальному... Ну как же теперь, как?

— Ко-оля, Ко-оля!

Никого на дворе. В потухающее небо врезана черная, голая еще ветка. И такая печаль от ветки этой, что хочется Насте...

Но справа из-за угла — веселый визг. Да, это она, курбастая, а за нею... А за нею — вдогонку — Коля. Ой, зачем же он, зачем он?

Догнал, ухватил — и туда, под темный навес — и... Под навесом темно.

Чуть-чуть вот нажмет еще Настя зубы — и кажется, хрупнут, и рот будет полон жемчужных крох.

«Теперь надо... теперь уж пора, все равно».

Глянула Настя вниз. Так близко белеют плиты. Страшно, в-в-в... И жаль. Чего? Себя? Или ясной весны?

Все равно. Это надо. Ну, подождать, пока стемнеет. И еще сказать сначала ему, предупредить, что мать...

И тихим, сломленным голосом Настя зовет:

— Коля!

Не сразу, нарочно-лениво, подходит он к окну.

— Вы? Ах, вы, Настя? Я задержал вас, простите, мы... мы играем.

Крепче держится Настя за подоконник.

— Я ничего, Коля — я только... Ведь мать сейчас поедет... Она хотела сказать вашему директору про сегодняшнее утро.

И теплится Настя: «Вот, услышит он сейчас: утро — и вспомнит, и все будет...»

— Сегодняшнее утро? Вот пустяки-то! — Коля смеется. «Пустяки? Господи, *это* пустяки!»

— А ваша мать с мопсом уехала, я видал. Ни к какому, значит, ни к директору, а кататься. С мопсом-то — к директору? Хо!

Настя задернула занавеску. Стыд-стыд — стыд! И хуже всего, что мать — с мопсом...

Но смиряет себя: теперь, как перед причастием, надо простить. И его тоже. Потом — подождать, пока совсем стемнеет...

И стоя за занавеской — Настя шепчет:

— Милый, Коля, я тебя прощаю. Господи, помоги простить, помоги все простить!

Драгоценная, прозрачная, спускается ночь за окном, тонкая, гнется, тонкая — без теней, без шёпота листьев. Нежно-зеленая трава затуманивается грустью, чуть-чуть лиловеет. Страшно деревьям шевельнуться: не поцарапать бы голою веткой прозрачное небо. В сумраке улицы где-то мальчишки кричат звонкими голосами, доигрывают в бабки на просохшей за день дорожке, приглядываются к чуть видным, белым на земле и звенят битками. На минуту замолкли — и совсем тихо, прозрачно.

И останавливаются на улице двое идущих под руку. Неведомо, кто они: в апрельскую ночь мало ли бродит околдованных? Останавливаются двое неведомых: сил нету дальше идти — так хорошо. Смотрят на белые, далекой зарей чуть алеющие дома с раскрытыми окнами. Сил нет: садятся на земь, проводят по траве ненароком — и вот мокрые руки — в апрельской росе. Так хорошо приложить к горячим щекам...

Неясно и нежно зовет мальчика ночь. Выходит из дому, — там зажгли уж огни. Вдыхает отраву апрельских рос. Минутку стоит так, пьянея. Протирает застланные странным туманом глаза, бежит к настиному окну, спотыкается, протягивает вверх руки и зовет, ему кажется — один он и слышит:

— Настя! Настя же!

Настя вздрагивает, поднимается с подушки.

— Настя. Вот, я стану на колени, хочешь? Я стал. Только не молчи, не молчи. Ведь я тебя лю-люблю . . . А то, что я сделал . . .

Снова жить — бросилась Настя к окну. Хлынула теплая волна слез, затопила.

— Мама меня . . . И вы — и вы — еще . . . А мне завтра попра . . . поправляться . . .

И катятся между пальцев — катятся драгоценным жемчугом слезы, падают вниз.

— Настя! Милая! Вот, ведь я знаю, знаю же, если бы я был с тобой, ты бы простила, ведь я бы тебя, ведь я бы . . . не знаю что!

Где-то сзади открыли окно, глядят и смеются. Ну и пусть, ничего сейчас не стыдно, все для Коли — фикция, и не встанет он с белеющих каменных плит.

Со слезами Настя мешает смех, вся нагибается из окна вниз, протягивает руки:

— Милый мой . . . Нет, не достану, не могу тебя достать!

Секунду молчит. Увидела: наклонились сверху над ней неяркие, весенние звезды. Обрадовалась, вспомнила:

— Коля, а ты знаешь? Ведь я хотела за тебя броситься вниз, вот сюда. Теперь бы уж бросилась. Звезды, погляди . . .

Из открытого напротив окна — смеются. Ах, пусть смеются: они не понимают, большие, не могут, бедные, понять.

1912.

НЕПУТЕВЫЙ

1.

Петра Петровича все до единого по имени-отчеству величают, а Сеню — хоть бы раз для потехи Семен Иванычем кто назвал, хоть какой бы-нибудь студент завалящий. Нет: Сеня, да и только. Бывает, иной раз заершится он:

— Какой я вам Сеня? Почему он Петр Петрович, а я Сеня?

— Да так уж вот — Сеня.

Смеются: взаправду-то разве может сердиться Сеня?

Сеня и Петр Петрович — все вместе да вместе, друзья неразлучные, водой не разольешь. Дивятся на них: как будто, Петр Петрович, — человек степенный, положительный. И откуда у него дружба с Сеней пошла?

А вот откуда. Шел Петр Петрович на Балчуг, домой, шел потихоньку под кремлевскими стенами. Тени узорчатые от зубцов, башни боярами степенными наверху дремлют, и у всякой-то крещеное свое имя: Водовзводная, Тайницкая, Кутафья, Набатная, Спасская. Страсть как башни эти Петр Петрович любил. Замечтался, ночь на исходе розовая, свежая — май.

И вдруг — вздрогнул даже — голос какой-то сверху:

— Коллега, коллега!

Огляделся Петр Петрович — площадь пустая, городовой дремлет. Эка, — думает, — на яву притчиться стало. А голос этот опять:

— Коллега, да я тут, постойте!

Глянул наверх Петр Петрович — да так вот и ахнул... Батюшки мои, это он на стену кремлевскую залез каким-то манером и оттуда:

— Извините, — говорит, — коллега, я задержал вас. Но мне здесь одному скучно. И к тому же я в приподня-

том, так сказать, настроении: острое отравление алкоголем. Кругом — ночь, красотища, говорить хочется, понимаете — говорить . . .

— Да погодите: забрались-то вы туда как?

— Э, компания тут нас была. В веселом состоянии. Ну, пари пустяковое . . . Да не в этом дело, а в том, что назад-то слезть я никак не могу. Веревку унесли, подлецы!

Сидит себе там посередь двух зубцов, разговаривает и ножки вниз свесил. Чудно невтерпеж стало, захохотал Петр Петрович во всю глотку. А тот сверху — в ответ.

Должно быть, от смеху этого ихнего городовой проснулся. Видит — непорядок. А поди-ка его, непорядок-то, сверху ссади. Потеха! Булочники, газетчики ранние, мальчишки, дворники, лестницы. Переправили, наконец, раба Божия, на твердую землю. А с твердой земли — первым делом, конечно, в участок.

В участке и оказался он — Сеня Бабушкин, студент первого курса.

— Да факультета какого, факультета? — добивался пристав.

— Пишите — вообще, мол, первого курса. Потому что некогда поступил я на математический, потом на медицинский перешел, на естественный, а теперь, вот на юридический собираюсь, — опять же на первый курс.

Смеялся пристав, смеялся и Сеня. Запротоколили и Петра Петровича за компанию. Просидели оба в участке до полдня — и вышли оттуда друзьями неразлучными.

— Обязательно вспрыснуть надо, — порешил Сеня.

Зашли в трактир «Муравей» на Солянке. Петр Петрович — что ж, Петр Петрович — все в меру, а Сеня так вспрыснул, что опять в участок чуть не вернулся. Уж городовой к нему подошел:

— Господин . . . Пожалте, господин. Господин, а господин!

Но Сеня, по случаю заключенного с Петром Петровичем нерушимого союза, был полон любви к человекам. Обнял Сеня городового и к груди крепко прижал:

— Гар-р-давой, милай! Ты пойми, ми-илай . . .

Сконфузился городовой: как человека на цугундер тащить, когда он в объятиях тебя держит? Высвободился полегоньку, стал опять на посту — будто Сени и не приметил.

А Петр Петрович Сеню до дома довел, раздел, уложил, за нашатырным спиртом сбегал. Вот откуда их дружба пошла.

2.

В эту пору жил Сеня на Садовниках, у брата своего Архипа Иваныча.

Архип Иваныч в прежние годы в ссылке даже был — в Шенкурске, лет пять, там, что ли. Ну, а теперь пообкарналось радикальство это его. Служил себе по судебной части, бачки отпустил, мешки завел чиновничьи под глазами. Ну, и провались ты совсем: чинуша, так чинушей и будь. А то нет: либеральничает, в кармане кукиш кажет, и Сеню, братца любезного, поедом ест.

— И что-де ныне за молодые люди пошли? Никакого интереса к общественной жизни. Взял бы что-нибудь у меня в книжном шкафу . . . А то нашел — Мопассана, уж действительно! И понятно, что пойдешь потом шлындать по кабакам . . .

За это пиленье Сеня его терпеть не мог. Даром, что был Архип Иваныч для Сени кормильцем-поильцем, и жил у него Сеня без всякой заботы. Но по своей веселости да легкости душевной — Сеня ни во что ставил земные разные эти блага. И не то, чтобы Архипу Иванычу — благодетелю увагу какую-нибудь сделать, а прямо сказать — спуску ему не давал. Ну, и были они потому всегда на ножах.

Зимою, к Новому Году — получил Архип Иваныч орден Станислава какой-то там степени. И доволен такой-сякой до-нельзя, должно быть, в душе-то. А снаружи — корчит кислую мину, фасон держит. Сене строго-настрого заказал:

— Ты уж, пожалуйста, не распускай язык про эту чертовину (на Станислава кажет). — Подумают, набивался, прислуживался. И не такая, вообще, моя репутация. Я в Шенкурске пять лет . . .

Ладно. А у Сени в ту пору приятель завелся, с Рязанской дороги машинист. Повез Сеню машинист катать на три дня, под самый под Саратов. Сборы, по обычаю, у Сени короткие: машиниста этого на улице встретил, — «Поедем?» — «Поедем», — и все. Ну, вот с дороги брату письмо и пишет: так, мол, и так, не сокрушайся, в суб-

боту приеду. В конверт, а на конверте адрес: Архипу Иванычу Бабушкину, кавалеру Станислава такой-то степени.

Архип Иваныч утром письма перебирает, видит: на конверте рука разгильдяйская — сенькина. Бросил конверт небрежно, не читая. Взял письмо.

— А, гм-м-а (хлеб с маслом жует), уехать изволил? Оч-чень приятно.

Выходит Архип Иваныч из дома, на службу торопится, часы вынул. Глядь — швейцар дорогу загородил, низко кланяется.

— А? Что такое?

— Честь имею, ваше-скородие... Как изволили получить орден...

Как индюк, покраснел, забормотал Архип мой Иваныч. А делать нечего — вынул целковый. «И откуда, — думает, — он, подлец, проведал? Швейцары эти...»

Пришел со службы домой, сел Архип Иваныч обедать. Голоден — как собака. Только это рюмку выпил, закусить хотел — в дверь стучат.

— Кто там?

Вваливаются, у притолоки стали дворник и почтальон, который утром письмо сенино приносил.

— Дозвольте поздравить, Архип Иваныч, с орденом вас...

Ну-у... Как тут вскочил Архип Иваныч, как ногами затопает.

— Хамы! Вон пошли! Получил — ну, получил, а вам какое дело?

Выругался национально и даже бросил обедать. И так этим происшествием Сеня братца расстроил, что вышел тут конец терпенью архип-иванычеву. Поговорил он крупно с Сеней — и распрощался с ним.

— Вот, — говорит, — тебе Бог, вот порог. Поди-ка, — говорит, — укуси кузькину мать, попробуй-ка себя сам кормить.

3.

И стал Сеня жить, как птица небесная. Сначала еще ничего шло: тут займет, там займет — приятелей-то у него хоть пруд пруди. И у кого же язык повернется отказать такому душевному человеку, как Сеня?

А вот-таки нашелся такой, отказал Сене. И так это Сеню оглоушило, что наотрез порешил больше взаймы уж не брать. Знает Петр Петрович — другой уж день не обедал Сенька, сует ему деньги в зубы: не берет, не хочу, да и только.

Стал себе малый работу искать. Занялся, перво-наперво, конечно, уроками. И смех и грех один только. То, глядишь, ученика папиросами угощать стал — конечно, отставка. То два дня на урок не являлся — пропивал в трактире с хорошими человеками взятые вперед деньги. А то вдруг оказывается — за неподходящие разговоры отказали. Придет, Петру Петровичу жалуется. Петру Петровичу удивительно:

— Какие ж это такие — неподходящие?

— Да рассказал ученик-то, как они мышей выпускали из парт на Законе Божием. А я ему говорю: это что — мышей, воробьев парочку выпустить — это вот так! А он возьми да правда и сделай . . .

Не выгорает с уроками, как ни верти.

— Ну, стало быть, надо, — порешил Сеня, — физическим трудом заняться.

Кстати тут вышло — заболел в околотке фонарщик, старый Сенин приятель. Две недели Сеня ходил вместо фонарщика, за половинную плату. Идет, это, вечером в фонарщиковом дипломате, в треухе заячьем — никому и в голову не взбредет, что студент.

Было — и кончилось благополучие. Выздоровел фонарщик, опять на мели Сеня. Из комнаты Сеню за неплатеж протурили. Забрал он чемоданчик свой, приехал к Петру Петровичу-другу.

— Я переночевать к тебе. Пустишь?

Ну, как не пустить.

Сегодня да завтра — так у Петра Петровича и осел. Уходит Петр Петрович в столовую обедать, Сеню с собой зовет:

— Брось ты глупить-то, пойдем.

Ни за что: «Это стало быть — опять взаймы?» Останется один. Меряет, меряет ногами комнату, а голодный червяк сосет — и пойдет он на кухню к Анисье-кухарке.

Анисья, милая этакая толстомордая баба подмосковная, души в Сене не чаяла. Как они в кухне вдвоем — такое у них веселье идет, такие смехи да рассказы. И

нет-нет, да подкармливала баба Сеню. Ну, щец там плеснет, каши гречишной, хлеба даст. Кормит, а сама любя отчитывает Сеню:

— Эх, непутевый ты, милый, пра, непутевешшай. А какой бы из тебя мужик хороший вышел, кабы только да секли тебя мальчонкой . . .

И верно — непутевый.

Думал Сеня — думал, как бы деньгу зашибить — и вот наконец, удумал. Подкатился к Петру Петровичу:

— Дай пять рублей, голубчик.

— Пя-ать? Видишь у самого вот — пять да три — восемь. Да тебе столько зачем?

— Не скажу. Дай. Я скоро вернусь.

«Ну, чёрт с ним, должно быть и впрямь — дело не шутка, коли денег взаймы просит.» Дал Петр Петрович синенькую.

Час-другой: нету Сени. У окошка — глядь-поглядь Петр Петрович: нету. Вон, дама с коньками идет. Гимназисты бегут с уроков. Обоз какой то с ящиками, этажерками, ширмочками.

Глядит Петр Петрович — завернул обоз к их воротам. И Сеня впереди шествует. Что за чёрт?

Шум, грохот, полкомнаты рухлядью заставили. Распоряжается Сеня, веселый.

— Это, — говорит, — я выжигать буду. Видишь, вот: у девицы знакомой аппарат взял. Ты, брат, не думай, это очень выгодно — прикладные-то искусства. Продам я это — плохо-плохо за пятнадцать. А купил за пять.

«Ах, чёрт тебя возьми — выжигать», — вот как Петру Петровичу досадно. «А что мы есть-то будем, когда осталось на руках три рубля, и до первого неоткуда взять.»

Так и перебивались до первого чаем да ситным. Петр Петрович дулся. А Сеня — выжигал, портил, пахло паленым деревом. Половину, все-таки, сделал — и, правду сказать, недурно. Доволен.

— Ну, иди теперь . . . Продавай за пятнадцать, — поглядел Петр Петрович язвительно этак . . .

Сеня сконфузился:

— А ку-куда же продавать? Я не продавал никогда. Я не знаю . . .

Вот и делай с ним, что хочешь. Всерьез и сердиться на него нельзя. Посмеялся Петр Петрович, да и только.

4.

И ничего ведь такого, как будто, в Сене и не было. Да что ж, пожалуй, некрасив даже: так, курносенький, бородка мягкая, золотая. А вот — мягкость эта самая в лице во всем и в глазах... Так вот — денек летний, нежаркий, в костромской, скажем, где-нибудь деревушке: выглянет солнце — и спрячется солнце, бубенчики на овцах, пыль на дороге от веселой телеги поднялась — и не падает, золотеет. Не иначе, как мягкость влекла эта самая — любили его, даром, что непутевый был. Пол-Москвы у него друзей и приятелей было. А уж на особицу двое: игумен — это один, а хозяин пивнушки на Бронной — это другой.

Если в праздничный день Сеня спозарань поднялся, вопреки естеству своему — так это, значит, он идет в монастырь к обедне. И столь это бывало поучительное зрелище, что шли целой компанией глядеть. Станут себе в сторонке, чтобы своим нечестивым поведением Сеню не оконфузить. А Сеня стоит — воды не замутит, отбивает поклоны, где надо — главу преклоняет.

И вот, наконец, торжественный момент: выходит монашек из алтаря и на тарелке Сене просвирку подает с поклоном. Сеня благочестиво целует просвирку и прячет в карман... А монашек ему почтительно:

— Отец игумен вас к трапезе просили пожаловать.

Ну, тут уж удержу нет: бегут всей компанией наружу, на паперть, высмеиваются тут досыта. И голову ломают: как это Сеня, беспутник, безбожник — к игумену в милость попал? На чем это столковались они? Разве это вот, что всякую старину Сеня любил: церкви древние, лампады под праздник, книги в старых кожаных переплетах — минеи, триоди да цветники-изборники отеческие. Пение любил церковное, распевы всякие знал — и знаменный, и печерский и по крюкам пел. Вот это разве?

Придворная Сенина пивнушка была на Малой Бронной. Уже все это знали, и коли кому занадобится — первым долгом туда. И ошибались редко.

Пивнушка — так себе, захудалая, третьеразрядная. Но битком набита всегда — на таком уж бойком месте поставлена. И что за народ: извозчики, странники, девицы гулящие, господа в опорках с Хитровки. Галдеж, ды-

мок серый от курева и от сапог, в тепле сохнущих. Граммофон визжит.

Любят здесь Сеню. Со всеми он разговор знает: с извозчиком о самоновейшей мази от подседа из травы-горечавки; со странником — о том, как в келье живет-спасается медведь Серафима Саровского; с босяком — просто сотку не побрезгует — разопьет.

А пуще всех любит Сеню — хозяин сам. Не то из раскольников, не то из сектантов старик. Сядут где-нибудь за столиком в дальнем углу, головы руками подопрут, лица у обоих строгие станут — и о божественном сомневаются:

— Как же, мол, брак-то? Таинство, а беги от него, как от скверны — церковники-то учат? От других, небось, таинств не бегают . . .

А то развернут календарь Гатцука, пальцем начнут водить: христиан православных на всем белом свете — столько-то миллионов, неправославных — столько-то, язычников — столько-то.

Старик-хозяин берет счеты, щелкает костяшками:

— Ну, пущай из православных — пятьдесят на сто в рай идет. Ну, а на всех разложить — выходит один на четыреста в рай, так, ай нет? Один в рай — четыреста в ад . . . Как же это он, Бог-то? Как, правда, а?

5.

И ведь вот, не верит Сеня, конечно: какой там, к чёрту, ад у него. А сидит со стариком вот так и головою качает печально — не притворяется. Какие-то, будто, две половинки в нем: одной половинкой, которая четырех факультетов вкусила, не верит, а другой, которая к стенам кремлевским да к церквам старым привержена — верит.

И со стариком, в пивнушке — один Сеня разговаривает, а с Петром Петровичем — другой совсем. Тут он — с этакой усмешкой, кто его знает над чем, с вывертами всякими.

Петр Петрович — человек положительный, ему, глядишь, завтра надо на урок идти, а то в университет. А Сеня по обычаю всех таких разговорщиков русских — обязательно по ночам разговоры заводит. Днем, ничего, все как следует. А только добрые люди спать полегли

— Сеня папиросу закурит, подсядет к Петру Петровичу на кровать, рукой за талию обнимет — и пошел, и пошел. И чаще всего о любви разговор заводил — специальные у него на этот счет теории были.

— Э, что там, просто, ты циник, — рукой махнет Петр Петрович. — Никаких идеалов на этот счет у тебя нету.

Этого только Сене и надо:

— Идеал желаешь. Пожалуйста. Согласен. Непременно у каждого из нас должен быть и есть свой идеал женщины. По-моему, совершенно инстинктивный, физиологический. А ты, коли хочешь, можешь к физиологическому и духовный пристегнуть: мой силлогизм уцелеет. Ну, идеал, сиречь, недостижимое. Сиречь — решение уравнения может быть только приближенное. И конечно — таких приближенных решений в большом городе и при моих, скажем, знакомствах — можно найти эн плюс единица. Почему же это, скажи мне на милость, должен я эн отбросить и при единице остаться? Когда все решения — приближенные и разнятся только степенью приближения? Уж коли ты, мой милый, идеалист — так ищи решения наиболее точного, стало быть, перепробуй возможно больше приближенных. Вероятность попасть на решение наиболее точное... Да ты с теорией вероятностей-то знаком?

Часам, этак, к трем — Петр Петрович уж дремлет и репликами Сеню больше не подзадаривает. И тогда просыпается другая половинка сенина — впадает он в сентименты и начинает мечтать о семейном счастьи.

— ... И вот, брат, я совершенно представляю себе, что станет священной даже вся обыденщина эта: комната утром, всякие принадлежности туалета разбросаны, вода от умыванья вечернего. Ведь это все ризы, в которых...

— «Ах чёрт, четыре уж скоро, какие там ризы», — слипаются глаза у Петра Петровича, и слышит сквозь сон:

— ...Беседка с плющем, понимаешь, чтоб продувало, и она в капоте, и животик круглится...

От изумления проснется Петр Петрович, распялит глаза и смотрит: да, Сеня. Вздыхает Петр Петрович: он ли? Да, он самый, Сеня. И удивится вслух:

— Ведь вот какие неожиданные бациллы иногда таятся в человеке под спудом. Кто бы подумал . . .

Сеня конфузится:

— А, поди ты к чёрту! Тебе пошути — а ты и поверил . . . — и ложится спать.

6.

Сеня читал вслух Петру Петровичу:

— «Филарет Филаретович и Меропея Ивановна просят пожаловать на бал и вечерний стол по случаю именинного дня дочери их Кипы . . .»

— Кипы?

— Капитолины. Этакая, скажу я тебе, девица . . . Ну, да сам увидишь. Пойдешь?

Сеня там всего один раз был, Петр Петрович — ни разу. А впрочем . . .

— Ужин будет?

— Дура. Тебе сказано: вечерний стол. До отвалу кормят, как на зарез.

— Ну, ладно. Пойду . . . — Петр Петрович покушать любил.

— «Бал и вечерний стол». Растревожили всю мебель в зальце, повытаскали, и видны даже еще следы на полу: мирно спал здесь лет десять какой нибудь ихтиозавр-диван. Растерянно горит люстра. Кругленькие, маленькие катаются по полу папенька с маменькой.

— Пожалте, гости дорогие, пожалте. А это вот — дочка наша — Кипа.

Кипа — вся в бантиках, рюшках, оборочках, хохолок на лбу — курочка-брамапутра. А Сеня, как увидал брамапутру — так к ней и прилип, не отходит ни на шаг.

Разложили зеленые столы. Кряхтя уселись почтенные гости в длинных сюртуках, в наколках кружевных: а ну-ка, господа, вспомним старину — в стуколку стукнем?

В зальце стая кавалеров и барышень. У изразцовой печи стоят кучкой кавалеры — как отбившиеся от стада овцы. А барышни сидят по стульям у стеночки, улыбаются примерзшей бальной улыбкой, шепчутся.

Пришла таперша, глухая, два пальца у ней желтые, все прокурены. Выкурила папироску, села за рояль — и пошла в зальце кулиберда.

Петр Петрович степенно стоял в дверях, смотрел на Сеню и на курочку-брамапутру. И неспокойно у него на сердце было: ох, уж очень что-то бойчится Сеня-то, кабы чего не вышло!

Ужинать позвали. Глаза разбежались у Петра Петровича: закусок, закусок-то одних сколько. Хотел Петр Петрович подмигнуть: а ну-ка, брат Сеня... И видит вдруг — Сени-то и нет за столом. Выскочил, побежал искать.

Были они в зале, Сеня и Кипа-брамапутра, в уголке за пальмой. Сеня — почему-то очутился на полу, ерзал и старательно делал вид, будто искал что-то:

— А-а... ч-чёрт, па-папиросу потерял... я сейчас.

Поужинали. Подошел Сеня, сел на диван с Петром Петровичем рядом.

— Уф... Да.

— Ну что — да? Говори уж.

— Да, брат, что говорить-то: я ей сейчас предложение сделал.

Вот тебе и здравствуй.

— Врешь ты, ну тебя.

— Какое там вру! Ей-Богу, и сам не знаю, так как-то, уж очень к слову пришлось. Теперь-то уж вижу...

— Ну, а она?

— А она: «Не знаю, — говорит, — подумаю, уж очень вы сразу как-то, я не могу так».

Еще бы не сразу: второй раз в почтенный дом Сеня пришел — и вот тебе, одолжил.

На утро Сеня Петра Петровича разбудил чем свет: на щетку плюет, сапоги чистит, тужурку новую вытащил.

— «Куда он? С ума спятил», — поглядел Петр Петрович и опять уснул.

К обеду вернулся Сеня. Смеется:

— Кончено.

— Что кончено-то?

— Да это, вчерашнее. Был я у них. Вышла Кипа — невеста моя богоданная. «Ну, что, — говорю, — думаете?» — «Думаю», — говорит. — «Ну, мол, не думайте, не надо: я раздумал». Вот и все.

Посмеялся Петр Петрович, поругал-поучил Сеню. Да ему хоть кол на голове теши. Такой уж нрав у него — от вида женского тает, как воск от лица огня. Не первая это у него невеста — не последняя.

С одной невестой такой Сеня, должно быть, с год хороводился. Такая была хохотуша: засмеется — серебро рассыпает. За смех и полюбил ее Сеня.

Был у хохотуши этой брат — студент, была тетка, сухопарая такая, злющая. И что хуже всего — была тетка весьма благочестива и до страсти к столоверчению привержена. Как вечер — не с кем ей, она и засадит хохотушу с собой за стол. Та в темноте сидит-сидит, да как фыркнет — одно горе просто тетке с ней.

Когда Сеня приручился хорошенько к этому дому, стала тетка его за столик сажать. Ну, а Сеня что ж, Сене только бы рядом с хохотушей сидеть да млеть, Сеня доволен.

Раз в субботу уселись вчетвером: тетка, Сеня, невеста и Алешка, брат невестин. Руки зачем-то накрест надо было: левую — направо, правую — налево, и пальцами с соседом цепь составить. Уселись. Темно, тихо в комнате, слышно, как кровь колышется. Жуть: а вдруг правда что нибудь этакое? Закрыл Сеня глаза, поплыли круги золотые. Вот где-то совсем близко, тут, на столике теплая рука хохотушина, вот только немного нагнуться — темно ведь . . .

Круги золотые, темно, кровь колышется . . . Нагнулся Сеня, прижался губами к руке.

Ка-ак закричит Алешка, брат-то, благим матом, как вскочит:

— Да ты это что же, Сенька, с ума спятил — руку-то мне целуешь?

Хохотушка-невеста закатилась — и не может — не может — никак не вздохнуть. Свет зажгли. Стоит Сеня . . .

Ну, больше, конечно, не ходил уж туда.

— Руки эти самые накрест — погубили меня, запутали, — жаловался Петру Петровичу.

Погоревал-погоревал Сеня о хохотуше, да и забыл — пошли новые. Была Мышка — так Мышкой ее все и звали. Зубки такие беленькие да хорошенькие: целые дни Сеня искусанный весь ходил. А то была Кильдеева, силачка: полюбил ее Сеня за то, что положила она его на обе лопатки во французской борьбе. И была Таня — маленькая такая, легонькая: уж очень хорошо на руки ее было поднять, с того дело и началось.

Маленькая, легонькая — а вот никак не мог ее разлюбить Сеня. Жаловался Петру Петровичу.

— Засела защепой во мне — и не вытянуть, разве с мясом только.

7.

На студенческой вечеринке забрались куда-то наверх, в далекую чертежку, и пристали к Сене: спой да спой костромскую какую-нибудь песнюшку. В другой бы раз Сеня ни за какие крендели перед публикой петь не стал. А тут, как выпивши малость был — ладно.

Закрыл Сеня глаза, лицо, как слепое, сделал, и запел в нос уныло нищенскую песню:

Ой вы, люди умные,
Вы люди уцёные,
Повествуйте нам,
Что есть двенадцать?
Двенадцать апостолов,
Одиннадцать без Июды,
Десять заповедей,
Девять цинов ангельских,
Столько же архангельских . . .

И дальше — всю до конца песню пропел о числе святом, апостольском. Закричали, захлопали: еще, Сеня, еще! Но уже не мог Сеня больше.

В комнате плавал жаркий туман, дурманил голову. Сошел со стола Сеня, замешался в толпу.

И увидал неподалечку от себя — барышню какую-то русскую, в кике, золотом шитой, в сарафане червонном. «Да как же это раньше я ее не приметил?»

Спросила Сеню барышня:

— Как звать-то тебя, паренек? Больно уж хорошо ты поешь.

Словечком этим — паренек — в конец улестила Сеню. Пошел за ней, закружило его.

— «Да, она это, она, о которой . . .»

Звали барышню ту — Василисой Петровной. Родители у ней — купцы московские, именитые. От старого благочестия почти в конец отреклись уж, всякие роскошества у себя завели, дворец вон какой на Остоженке закатили.

И в том дворце хранилось у них все древлее, от родительских родителей наследованное: иконы старые, истинные, с огромными черными глазами; парчевые покровцы,

шитые в скитах серебром-жемчугом; ковши для браги, для меда, муромскими людьми из дерева резаны; столы, кресла мореного дуба — с места не сдвинешь.

И посреди этого ходить ни в чем нельзя было Василисе, кроме как в сарафане да в кике. Да ни в чем ином и не ходила она, разве уж когда-когда.

Увидал ее Сеня здесь, обоймленную всем вот этим дедовским, пахнущим медом и ладаном, да так и прирос — не оторваться.

Бродили они вдвоем по церквам, по московским закоулкам. Пыль поднимали у старьевщиков — нет-нет, да глядишь, и откопают какую-нибудь диковину. В ковровых санях, на тройке с колокольцами — ездили на Воробьевы горы.

Так вот катались раз зимним вечером — и вернулись на Остоженку к василисину дворцу. Сели у ворот на скамеечке — такая там каменная резная была. Смотрел Сеня, не отрываясь, в синие глаза Василисе.

Улыбнулась Василиса, тронула пальцем Сеню, против самого сердца — и спросила:

— Терем-теремок, кто в тебе живет?

Хотел Сеня крикнуть радостно — кто, да осекся:

— А Таня-то как же? А Таня — такая маленькая . . .

И ничего не сказал он Василисе.

На другой день к Тане пришел. Положил ее голову себе на колени, гладил лицо. Рука у Сени дрожала, и таким горько-нежным переполнилось чем-то сердце, через край переливалось светлыми, как слезы, каплями.

Все без утайки рассказал ей.

— Не знаю, не знаю, что со мной. Тянет меня к Василисе . . .

Танино лицо лежало у него на руках: почувствовал — мокрыми стали руки. И какая же она маленькая, легонькая!

Поднял ее Сеня на руки.

— Но ведь тебя-то я же люблю, — знаю ведь, что люблю, вот как . . .

С улыбкой — солнышко сквозь дождь — сказала Таня:

— Только меня не разлюби. А то как хочешь. Я тебя все равно буду так же любить . . .

8.

Знал, конечно, все Петр Петрович. Никак не верил Сене:

— Да ты хорошенько-то покопайся, глядишь — и окажется по-человечески: одну какую-нибудь любишь. Ишь ты, выдумал: обеих зараз.

— Да, обеих! А ты — олух. Неужели не можешь понять, что Василису — за свое, за василисино, люблю, а Таню — за танино . . .

— Гм. Что же ты — наиболее точное решение все разыскиваешь, с обеими-то валандаешься?

— Ах, милый мой, мне теперь не до шуток и не до теорий.

И все-таки никак этого переварить не мог Петр Петрович: как же это так — обеих? Статочное ли дело? Вот леший-то непутевый . . .

— Не кончится это добром, — пугнул Петр Петрович.

— Знаю, так что же? Знаем же мы, что жизнь — смертью кончится непременно, а ведь — живем же?

Что же тут скажешь?

Сеня решил обязательно показать Василису Петру Петровичу:

— Ты вот погляди, голубчик, сам погляди — да и говори тогда . . .

В конце святок, вечером, пришла Василиса в гости. Глаза синие, губы румяные, в косах снег серебром напорошился. Бросились вытряхать — веселье, смех.

Принесла Василиса и святочное угощенье с собой, и посуду. Выложила деревянное блюдо, написано на нем вязью: «Хлеб-соль ешь, а правду режь»; на блюде — смоквы, пастила, синий изюм, волошские орехи. Пошел пир горой.

— А ну-ка, братцы, давайте гадать, — затеяла Василиса.

— А как, как?

— Кольцо обручальное . . .

— Да у кого у нас кольцо-то? Нету.

— А не мешало бы кой-кому колечко иметь, — подкузьмил Петр Петрович.

Смеялись, судили-рядили. Ну, коли под руками ничего нет, так хоть это вот: бумагу жечь да тени на стене разглядывать.

И только первый кусочек бумаги зажгли — звонок.

— Вот чёрта какого-то нелегкая принесла!

Вошла Таня. Сеня поспешно смял на тарелке черный пепел — как будто это-то и было, что никак не должна видеть Таня. С усмешкой Василиса опустила на Сеню свой синий, стальной взгляд.

Сеня встряхнулся:

— Ах да . . . позволь, Таня, представить тебе: Василиса Петровна, ты знаешь ведь.

— «Ты — тебе», — поняла Василиса.

Сеня суетился. Зажег на тарелке новую бумажку.

— Ну-ка, на тебя теперь. Таня, погадаем, — ну ка!

— А на меня-то что ж? Мою-то бумажку вы смяли ведь, — сказала весело Василиса — очень весело.

— Да, и правда, я и забыл . . .

Бумажка горела, колебалось пламя. Все смотрели на тень на стене.

— Так на меня — или на нее? — спросила Василиса.

Сеня не ответил. На тени появилось из пепла чье-то рогатое лицо.

9.

Василиса сказала:

— Или я — или она. И никаких разговоров.

Вернулся домой Сеня. Петр Петрович уж спал. Всю ночь Сеня ходил в темноте, ходил.

Утром написал письмо — и разорвал. Написал — и опять разорвал:

— Ну, не могу я сам, не могу — которой же, не знаю.

Ходил все по комнате, ходил. С синими, стальными глазами Василиса сильнее была, перетянула. Умолял Сеня Петра Петровича сходить к Тане:

— Объясни ты ей, Христа ради . . . Ведь, люблю, я ее все так же . . . Не веришь? Ну что ж, все равно, не верь . . .

Как в омут, ринулся Сеня в любовь к Василисе, чтобы утопить ту, другую, такую маленькую, такую легонькую.

Попрежнему — бродил он с Василисой по дворцу на Остоженке; целовал ее, как бешеный; лежал на тканом старинными узорами ковре у ее кресла. По-прежнему — одевал ее в тяжелые бабушкины робы, в наколки, чепцы — отходил и издали любовался ею. Вместе читали, как и

раньше — страницы из синеватой толстой бумаги, с старомодным смешным шрифтом — Ш из трех палочек.

Но не было уж ребячьего сенина смеха, такого звонкого, забыл Сеня песни петь костромские. Такой не нужен он был Василисе Петровне. Не любила осень — любила она только лето с ярым солнцем.

Наказала Василиса Петровна Сене в театр за ней зайти, часов в восемь. Нарядилась в сарафан, в кику, стояла перед зеркалом, усмехалась: то-то потеха будет, как сядет она в ложе, да как начнут на нее со всех сторон глаза пялить!

И случилось же так, что в этот день встретил Сеня старого своего приятеля костромского — Серёньку.

— Серёнька, да неуж — ты? Сколько лет, а? Господи...

Сидели в трактире, пили и молодость свою вспоминали:

— Эх, было времячко!

Старые аглицкие часы в трактире — бьют медленно, басом — ровно соборный костромской колокол — девять.

Услыхал — остолбенел Сеня. Как угорелый вскочил, побежал, ни слова Серёньке не молвил, не простился — побежал.

Примчался на Остоженку. Открыла ему девка-горничная дверь:

— Нету Василисы Петровны дома. И завтра не будет.

Домой не пошел Сеня. Неведомо где — пропадал ночь, вернулся только к утру. И такой пришел страшный, что думал Петр Петрович:

«Ну, пропал Сеня. Спятит с ума, ей Богу спятит».

Спятить не спятил. Но запил горькую — хоть святых вон неси. Каждый день ночью приходит — не в себе. Придет, тяжко сядет, голову на руки опустит...

— Петр Петрович! Прости, ну, понимаешь, прости! Прости, говорю.

— Да будет тебе, чего зря...

— Нет, ты меня про-сти! Ну вот, хочешь — на колени стану, хочешь?

И пока-то это уговорит его Петр Петрович, разденет да спать уложит. Ох, и зазнал уж он горя в те поры с Сеней: поди-ка, по кабакам побегай во всем околотке да разыщи его! А разыщещь — поди-ка его, милого друга, из-за столика вытащи. Нейдет — и шабаш. А тут еще

и эти олухи царя небесного, которые с ним-то, дразнить его станут: «Что он тебе — мамаша аль супружница? Какое такое его полное право, — не ходи . . .»

Перестал Петр Петрович деньги давать Сене на пропой: А Сеня — что ж? Обошел Анисью-кухарку каким-то манером: разжалобилась Анисья, вынимает из сундука деньги, дает. Сопьется, ох, сопьется малый . . .

10.

Пришла осень. И, поди, как всякая московская осень была: и слякоть, и мга сырая, и дождичек меленький. А мерещилось — всю осень один сплошной солнечный день был. И на улицах будто — и Пасха, и масленица вместе. Флаги, народ ходит, поют и все между собою родные. И кричать хочется — кричать хочется во все горло — от радости, от шири, от удали.

Как-то в октябре пришел Петр Петрович на митинг в университет. Глядит — и глазам не верит: батюшки мои, да неужли ж правда? Стоит на кафедре Сеня, рука у него белым платком зачем-то повязана, глаза блестят, улыбается. И с толпой, со зверем этим, просто, как с приятелем, разговаривает.

— Браво, Сеня, браво, — хлопают, смеются как какой-то костромской прибаутке.

«Вот оно как: уж он у них — Сеня», — подивился Петр Петрович.

А Сеня уж протолкался, стал около, да и веселый же:

— Эх, Петрович, чайку бы теперь лестно, а? Пойдем, что-ли?

Шли втроем. Третий был узёмистый, сутулый, лохматый, в волосьях все лицо: как Исав.

— Знакомьтесь, — кивнул им Сеня.

Волосатый Исав мурныкнул что-то под нос. «Ка-ак?» — ничего не понял Петр Петрович. Ну, да не переспрашивать же. Так и пошел с тех пор волосатый у Петра Петровича за Исава: Исав да Исав.

— Это что же, вы, стало быть, Сеню в эсдеки-то сманили? — покосился Петр Петрович на Исава.

— Никого я не сманивал, и никакой не эсдек я.

Говорил что-то Исав, а Петр Петрович дивился как это такое — говорит, а губы не разжимает. За волосьями, что ли, не видать?

Исав говорил:

— И как можно верить во что-нибудь? Я допускаю только — и действую. Рабочая гипотеза, понимаете?

Петр Петрович к Сене обернулся: ну, а ты?

— Я-а? Да что ты, чтоб я... Да глаза бы мои не глядели на программы все ихние. Слава Богу, в кои-то веки из берегов вышли, а они опять в берега вогнать хотят. По мне, уж половодье, так половодье, во всю, как на Волге. Правда или нет?

Исав буркнул что-то согласительно, не разжимая губ.

Не нравился Петру Петровичу волосатый Исав. Ну, авось не детей с ним крестить. Зато вот, слава Богу, Сеня пить совсем перестал. Да и зачем ему пить, когда он и так, без вина, вдосталь пьян?

Морозы пришли. Дни стали тихие, хрустальные, синие. Выстрелят — хрусталь вдребезги, и осколочки тишины звенят, такие жутко-веселые. На улицах пусто. Разве отчаянный какой по улице пребежит: а ну-ка, мол, цел буду или...

Сеня целыми днями пропадал. К вечеру придет румяный, морозом от него весело этак пахнет.

— А ты сидишь все, Петр Петрович? Чудак, да весело же, пойми, на улицах, весело: жизнь. Самые по мне живые люди теперь там. А-а, близки к смерти, говоришь, — вот оттого они к смерти и близки, что самые живые...

Однажды Сеня не пришел домой ночевать. Ждал его, ждал Петр Петрович допоздна: нету.

«Чтоб опять запьянствовал — не может того быть, нет. А если нет, так...»

До конца боялся додумать. Спал плохо. Ранным-рано побежал Сеню искать. И только на Никитскую свернул, глядь — и Сеня навстречу. Ох, отлегло...

А Сеня — веселый:

— Всю ночь, брат ты мой, просидел с ними на Настасьинском переулке — до семи утра. Проволока, ларьки, перины какие-то: смехота. Сидели-сидели, курицу заблудящую изловили. Иван там был, белобрысый, из солдат — потешал нас все. «Чем, грит, курицу нам самим резать-трудиться, пущай уж они лучше», — это солдаты, то-есть. Картуз свой на курицу напялил, выставил ее поверх — а уж утро, светло. Цок-цок, цок, — стащили курицу вниз: две пули. «Теперича, — Иван говорит, — не курица уж

это, а дичь стреляная, прошу покорно — есть проворно...»

Никогда Петр Петрович Сеню таким веселым, как в эти дни, не видал: так и кипело в нем, так и переливалось через край.

И другие дни настали: конец. Все прахом прошло. Дружинники веселые разбегаться стали: чего ж зря веселым помирать — веселые еще пригодятся.

Каждый Божий день теперь приходил Исав на ночевку, на свою-то квартиру ему и носу показать нельзя было. Не разжимая губ, мертво-спокойный Исав говорил:

— Ну и что ж? Ну, и отступим. Но чтобы нас победили? Да разве мыслимо победить мысль?

Петр Петрович — всегда за хозяйку — устраивал и постель Исаву: подгромащивал три венских стула, клал на них ватное сенино пальто. Исав, должно быть, виды видал, ко всему привык: только лег — кувырь на бочок — и завел уж сонную музыку...

А Сеня не спит. Встанет, на цыпочках, чтобы не слыхал никто, пойдет, папиросу набьет. Курит, лежит и думает, думает.

Четырнадцатого декабря ночью новый снег выпал. И день встал — весь в белом. Небо белое, пуховое, близкое — опять скоро снег пойдет. А по земле — неведомый добр человек расстелил белую бумагу, и вот сейчас будут на ней, чистой, люди какую-то историю писать — веселую или страшную.

Белый Настасьинский переулок перегорожен посреди самой дороги несуразной запрудой — из фонарных столбов, из дров, из подушек, из снегу. И сидят за запрудой на скамеечках — из снегу же самодельщина — веселые те самые ребята, Исав с ними и Сеня.

С соседнего двора слышно: хек-хек-хек. Рубят дрова. Иван — из солдат, белобрысый — мечтает:

— Ишь, ты! Вот дровец нарубят, запалят, шти, дай-ко-сь, в печь поставят... Хорошо — с морозцу прийти, похлебать!

Ему не отвечают веселые ребята, задумались. И похоже, пришли они сюда в полушубках, рукавицах, в валенках — пришли все десять просто снег сгребать, а подрядчика ихнего все нету еще — сидят, вот, и ждут. Так просто!

К полудню по нехоженному снегу — по белой бумаге — наследили солдаты. Они не стреляли уж, как вчера, а медленно и упрямо шли. Во ста шагах от запруды стали. Офицер вытащил сабельку, крикнул. Солдаты трусцой — трюх-трюх — побежали.

Исав смотрел в окошечко, сложенное из поленьев.

— Ну, что ж, господа — сказал он мертво-спокойный, — надо уходить теперь, что ж . . .

Веселые ребята пробежали два дома, юркнули в ворота — и поминай, как звали.

Исав шел последний. Обернулся назад: Сеня сидел все там, у запруды, один, чернел на снегу, как ворон.

— Будет глупить-то, — крикнул сердито Исав. — Какой смысл?

Сеня улыбнулся и помотал головой, молча.

Солдаты добежали до запруды — и остановились: почему же это никто оттуда не стреляет? Дело что-то не чисто. Неохотно полезли через . . .

Вечером, как обыкновенно, Исав пришел на ночевку. Петр Петрович накинулся на него:

— А Сеня где, а где Сеня? Я искал целый день . . .

— Взяли, — сказал Исав как будто не разжатыми губами.

— Да как, Господи, как же это?

— Сам виноват, — слышалась у Исава мерзлая какая-то злость, — двадцать раз убежать можно было. Все убежали, а он остался — нате вам. Не понимаю. Бессмысленно, глупо, идиотство! Так бесцельно себя тратить, — не понимаю!

Петр Петрович свирепо поглядел на него:

— Не понимаете? Не удивляюсь. А я вот — понимаю. Сам не сделаю, а понимаю.

Выбежал на двор. Сел на крыльце, на приступочках. Шел снежок — тихий, вечерний, падал на лицо. Пощупал Петр Петрович: все лицо стало мокрое. От снега, что ли?

1913.

ЧРЕВО

1.

Поехал Пётра сено косить — поехал через лес. По лесной дороге — хорошо, мягко, колеса шёпотом говорят. А дух-то зеленый, лиственой, настоистый — дух-то какой: дыхнешь — и двадцать годов сразу с плеч долой, проседи в голове — как не бывало.

Все бы хорошо, да на опушке повстречал Пётра отца Федота: не миновать теперь худа. И впрямь: доехал до лесного колодца, стало быть, с полдороги уж проехал, поглядел — ан оселка-то и нету, оселок-то дома остался. Ах ты, батюшки! Что же теперь, не иначе как домой вертаться: чем без оселка-то косу точить? Вот он, Федот долгогривый, вот он: полдня косьбы теперь не считай . . .

Повернул назад Пётра. Ехал — и уж ни духу зеленого, ни солнца сквозь рядно листьев не чуял: обида ему застила.

Увязал лошадь у ворот, пошел во двор оселок искать. И вот где — в закуте нашел — ну, скажи ты, пожалуйста.

В закуте — коровенка комолая стоит привязана, и под ней подойник на боку валяется: начали, видно, доить — и ушли, а корова-то задней ногой брыкнула и свалила.

— Эка порядки, эка порядки! Надо вот Афимью пойтить пробрать хорошенько, небось в другой раз не будет . . .

Пошел Пётра в избу. Что за притча: и тут бабы нету. Васятка двухгодовалый — вылитая мать, Катерина-покойница — Васятка один на полу сидит и слюни пускает.

Над кроватью кумачевый полог колыхнулся. «Уж не там ли? Да зачем бы ей, днем то?

Отвернул полог Пётра — и обмер. Афимья на кровати расхристанная вся лежит, а сосед, Ванька Селифонтов . . .

А сосед — и очухаться Пётра не успел — метнулся, нырнул мимо ног — и поминай, как звали.

Стал Пётра белый как мел.

— Я ль тебя, Афимья, не любил, да не холил? А ты . . .

Вскочила Афимья, крикнула — за всю свою с Пётрой жизнь в первый раз — крикнула:

— Да на какой ты мне ляд с любовью нужён-то, родимец старый? Ребят, что ли, я от тебя родила? Другой год с тобой горе мыкаю . . . Ты думал . . .

Шея у Пётры — морщинами темными вся исстегана — кровью налилась, стала страшная. Сгреб Пётра за косы бабу свою — и зачал учить.

Афимья-то голос сперва кричала, а то уж стала хрипом хрипеть. А Пётра все возил ее по полу. И угораздило как-то его, приложил Афимью об угол, об печку головой, она и затихла. Тут только Пётра стал: «Подохнет еще» . . . Бросил Афимью, пошел к двери. Васятка двухгодовалый с полу к отцу тянулся, слюни пускал . . .

Уж и косил нынче Пётра: так молоньей коса и блескала, так ничком трава на земь и падала.

2.

И пошло с того проклятого дня, и пошло. И что ни дальше — то все пуще лютовал Пётра. Только вот и дал Афимье передохнуть малость, когда пришло время хлеб убирать. Хлеб-то, ведь он какой: надо всем владеет. Хлеб убирать — так тут уж работай, пустяками не моги заниматься.

И ходит Афимья по полосе, снопы вяжет, рада-радешенька. Рожь золотая, и солнце — золотое. И все горячеет золото, и все калится. Во рту земля, сухая, полынная. Испить бы, жбанчик-то вон — под телегой стоит. Да идти туда мимо Пётры — уж лучше как-нибудь так. И идет полосой Афимья, следом за Пётрой, снопы вяжет. Едучий горький пот лезет в глаза, точит слезы.

Работали две недели — и две недели Пётра пальцем Афимью не тронул. А убрали хлеб — и в ту пору ж, в воскресенье, напился Пётра после обеда и опять Афи-

мью измутыскал до полусмерти. В понедельник опохмелился — и опять . . .

Пошла Афимья к соседке Петровне за советом: чем бы лютого мужа унять? Да нет ничего такого. Только и присоветовала Петровна — попытать трем угодникам молиться, жен покровителям. И молилась Афимья Гурью, Самону да Авиву, вот как молилась — лбом об земь стукалась. А толку нет: все так же Пётрова рука тяжела.

Только и есть одно-разъединое утешенье Афимье: к Иванюшеньке милому сбегать. Пьяный-то сон, что мертвый. Захрапит Пётра — и без страху можно Афимье бегать к Селифонтовым. Там за овином, под старой лозинкой, Иванюша давно сидит, ждет уж час битый.

— Иванюша, родненький, светик мой! Иванюша, да как же мне быть, горемычной?

И не знает Иванюша, молчит, не придумает, чем Афимью утешить. Правда ведь: от живого мужа — куда же уйдешь?

— Иванюша, милый, ведь забьет меня Пётра. Ведь в гроб вколотит, как Катерину свою вколотил . . .

Бабьи слезы — это дождь летний: приголубил, пригрел пожарче — и высохли.

Заполночь сидит с Иванюшей Афимья щека к щеке под старой лозинкой. Месяц выплыл седой. Трясется, шамкает, шепчет, как знахарь — и снимает своим наговором все озлобы, все горя, все болячки.

3.

Терпела, все — терпела и молчала Афимья. Ни на Бога не роптала, ни на родителей, что силком за Пётру за вдового ее выдали. Сызмальства Афимья послушлива была, в терпеньи выросла.

На одном только Афимья и срывала зло: на Васятке. Как ни подвернется ей под руку — все норовит подзашлычину ему дать, а то и веником настегать.

Васятка . . . Васятка — еще несмышленыш, что ей такого он сделал? А вот то, что не ее он, не афимьин, а пётрово отродье — Пётры и покойницы его Катьки. Господи, да может, и Пётру-то самого Афимья за то не взлюбила, что младенчика он с ней не прижил? Может, и с Иванюшей от этого самого связалась, на такое пошла?

Ведь Афимья баба молодая, сытая, крепкая, как ребенка не зажелать? Ведь чрево у ней — как земля пересохшая — дождя ждет, чтобы родить. Ведь груди — как почки о весеннюю пору — налились, набухли, ждут расцвести, ждут сладкое молоко точить. И есть ли что слаще в бабьем житье, как не это вот: всю себя расточать, кровью-молоком исходить, выносить, выкормить дите первенькое?

И вот так случилось, что понесла Афимья от Иванюши милого, родименького, от любименького понесла.

Неделю Афимья все не верила, другую, месяц. Но и через месяц — все то же: замкнулось чрево, берегло в себе... И поверила, бухнула Афимья земной поклон Богородице:

— Матушка Пресвятая, да спасибо ж Тебе, что надо мной смилосердилась — над поганкой, над грешницей...

Глаза у Богородицы были ласковые. Афимья сказала ей:

— Матушка Ты милая. Ведь и Ты вот ждала же младенчика, радовалась, знаешь ведь? Ох, до чего хорошо!

Стала Афимья — со стороны поглядеть, как порченая. То ничего всё — ходит и ходит, дела свои бабьи правит, а то вдруг, станет, как столб, как урытая — так и стоит.

Стоит и опять, в какой раз уж, спрашивает себя:

— Господи, да неужто ж взаправду — младенчик будет — Господи? Как Иванюшенька — только махонький, крупитешный... И такие же волосики медвяные — желтые будут? В рубашке кумачевой без пояса по двору будет гонять, кликать будет: мам, а мам... Господи, ведь сосать будет, вот тут вот, вот тут...

Бережливо ходила Афимья по улице, как с махоткой, полной молока до краев: как бы не сплеснуть. И глаза — бывало-то бойкие да веселые, огонь черный. А теперь — остановились, как вот маятник у часов: не для ча больше часам ходить-маяться. Остановились — и внутрь глядят, и туманной пеленой от белого света закрылись.

Афимьюшка-голубушка, — соседки смотрят на нее, — и что-й-то, матушка, глаза у тебя нехороши больно стали? Ай неможется? Ай изверг в конец забил? Ай уж ты — тьфу-тьфу, чтоб не накликать! — ай уж тяжела ты? Ведь муж-то тебя и совсем прикончит...

— И то, будто, бабоньки, тяжела, — и сияет Афимья, и расплывается.

— Чего ж ты, дурья голова, рада? А? Хошь, мы тя к бабушке Агафье предоставим, она-те веретенцем живо поправит . . .

И слышать Афимья не хотела о чем-нибудь этаком.

Стала Афимя от тяжелой работы бегать. Полов не мыла, к управителю звали картошку копать — отбоярилась: оборони, Господи — не загубить бы его-то . . . Только вот и пошла Афимья — к попу яблоки сбирать перед третьим Спасом.

Яблок у попа в саду — сила: боровинка, шелковка, грушовка, коричневое, скрижапель. Тяжелые деревья стоят, плодные, нагнулись, и дух от яблок по саду идет — праздничный, сладкий.

От девок Афимья в сторонку ушла: ну их, ни точить языки, ни песни с ними играть — не охота. Одной бы побыть — да и не одной, а вдвоем . . .

А девки-то поют, девки — в верхи серебром забираются, поют песню про старого мужа, неудалого:

Во какая бородишша —
Не пускае на гульбишша . . .

« . . . И ладно. И ничего мне такого теперь и не надобно. Буду дите миловать. Пущай тогда бьет мужик, пущай — что хочет: только бы теперь Господь дал уберечься от Пётры».

Набрала Афимья в фартук кучу яблок, нагнулась в корзину их ссыпать — да вдруг так и ахнула: оторвалось в животе что-то. Господи помилуй! . . Бросила яблоки, выпрямилась, прислушалась внутрь — и услыхала, будто вот повернулось там что-то, толкнуло легонечко так, ласково, мягко.

Брызнули у Афимьи слезы из глаз — как дождь давно жданный летний. Брызнули — и высохли в ту пору ж: радость высушила.

Подняла Афимья с земли изжелта-румяную шелковку, укусила ее своими сахарными крепкими зубами, разжевала сладкую духовитую мякоть — и глотнула, вместе со слезами с последними:

— На тебе, миленький, родименький, на, желанненький, на, поешь . . . — И еще, и еще кормила его — махонького, милого, кормила шелковкой-яблоком и вслух с ним разговаривала.

Услыхали девки, подошли к ней, окружили Афимью кругом — как цветы: желтые, красные, синие.

— Афимья-а-а? Ай ты спятила, с собой-то гуторишь?

— И то, милые мои, и то — спятила . . .

4.

На Воздвиженье продал Пётра в городе хлеб. И по хорошей цене продал, что ж Бога гневить. А до тех пор денег было — хоть бы грош ломаный. Не то чтобы что — а даже водки выпить было не на что. А как же без водки горе свое избыть?

Продал Пётра хлеб, купил баранинки на засол — пора уж, купил селитры да соли, купил две кадушечки новых, было бы в чем солонину готовить. И купил, по привычке, гостинец: арбуз да кренделей фунт сдобных. Купил и встренулся:

— Кому ж это я гостинцы-то? Афимке треклятой? Эх! — махнул рукой и поехал и всю дорогу думу тяжелую думал.

Приехал на село Пётра и первым делом зашел к куму Терентьичу в лавку — рюмочку пропустить, хоть одну. Одна — а потом: человек без двух ног не ходит. А потом: Троица, а потом: дом об четырех углах строится, а потом: кто ж без пяти пальцев на руке? А потом: крест наш православный — об шести концах, а потом . . .

К вечеру на Здвиженьев день все село пьяно-распьяно. Да и как же: престол ведь Здвиженье-то. Ночь темная, непроглядная, и ходят во тьме, песни горланят. Налезают на камни, друг на дружку, дубасят с пьяных глаз до смерти, бунтуют до самой до глухой до полночи. А к полночи расползаются, как просыпанные раки, во все стороны, ползут и бормочут, невидные в темноте.

Уж и первые петухи пропели, а все Пётры нету. Сморило Афимью. Так, на лавке сидя, и заснула. И во сне — все груди свои чуяла, рукой трогала их: полны ли, до краев ли? Стыдилась — и протягивала, улыбаючись, жмурясь:

— На, возьми, на, возьми, махонький, на пососи, ах ты мой . . .

И уж так ей было сладко, так сладко — прямо дух захватывало. И уж так-то просыпаться на хотелось: ведь

еще молочка он хочет, ишь-ишь... Еле уж еле — глаза раскрыла.

Раскрыла — и канула: стоит над ней Пётра пьяный да страшный и рубелем замахнулся. Вскочила Афимья с ногами на лавку, — как от воды, будто вот вода подступила. В угол у печки забилась, заслонила руками живот:

— Пётрушка, погоди, ради Господа, не губи, младенчика не губи — Пётрушка, тяжела ведь я, вот-те крест святой!

Должно быть — протрезвился тут Пётра, понял — должно быть: услыхала Афимья, как он зубами скрипнул. И уж толком не помнила, что дальше и было.

Слышала Афимья чей-то визг и воп — и подумала: «Да, Господи, неуж это я так?» Увидала потом над собою пётров сапог, весь в грязи: «Что ж это, я — на полу, или он на лавку взлез?»

А как попал ей Пётра в живот — свету не взвидела: ухнуло все, пропало — и Пётра, и изба, и ночь.

5.

Очнулась Афимья — глядь, под святыми она лежит, в красном углу, ни рукой, ни ногой шевельнуть.

— Ай уж померла я, Господи-Батюшка?

Нет: поглядела — у печурки что-й-то сушит соседка, Петровна. Кликнула ее Афимья:

— Петровна?

— А? Ай ты уж в память пришла? Ну, слава те, Господи. А уж мы и живой тебя видеть не гадали — не чаяли, пра-а...

— Петровнушка, что я, что, уж скажи по правде?

— Да что греха таить, милая: скинула. А младенчик-то какой: жалости подобно. Уж мальчик — видать, только вот что ноготков еще нету, да глазки слепые, щенячьи...

Вспрянула с лавки Афимья, взвыла — не своим, бабьим, а звериным голосом. И из чрева, пустого, как побитое градом поле накануне покоса — хлынула из чрева кровь. И родилась с кровью нестерпимая против Пётры-погубителя злоба.

— Всё бы простила ему, все тиранства, все измывы, а ребеночка, а мла-ден-чи-ка-а-а...

Хлопотала Петровна, холодной водой кровь унимала.

— Плачь, милая, плачь, родная, полегшает. А идол-то твой укатил в город, авось, либо вернется не скоро.

Но не легче было от слез Афимье: как смола в огонь, капали слезы — и еще пуще бушевало в ней полымя злое.

На четвертый день встала Афимья: дела-то не ждут ведь, Васятка инда охрип от крику голодного, надо ему глотку-то чем-да-нибудь заткнуть. Ходит Афимья по избе — и за стены держится: от прежней силы румяной ни звания не осталось, только одни глаза полыхают.

На четвертый же день к вечеру возвернулся и Пётра домой. В кабаке царевом сапоги оставил, и пинжак, и картуз новый — без всего пришел. Ввалился в дверь, о порог запнулся, упал — и захрапел мертвым сном, слова не молвив.

Постригся Пётра в городе. Явственно увидала Афимья — навек запомнила: на затылке волосы ровнехонько, как по линейке, подрезаны, и под ними — шея, багровая, вся на-крест иссегана морщинами.

Увидала Афимья, всколыхнуло в ней все, земля ходуном пошла. Стоит и глядит неотрывно: волосы как по линейке, и морщины накрест — стоит и глядит, как цепью прикована.

И все так же, глаз не отрывая от шеи, протянула Афимья руку за топором — тут он всегда, у дверей, к косяку прислонен стоял.

Подняла топор — знать, враг укрепил ей руку — ахнула Пётру со всего плеча. Метила в шею, в морщины накрест, да промахнула, угодила в висок. Хряснула кость, затряслись избяные стены, потемнело у Афимьи в глазах, сронила топор.

Как лежал — не копнулся Пётра, готов: висок место нежное.

И потухло в Афимье все полымя — вся потухла. Как впотьмах шарила — думала:

«Ну, вот и — вот и... Куда же? На гумне? В погребицу?»

Зачерпнула в кадушке воды, выпила полный корец. Положила крест: «Владычица, помоги», — и взялась за Пётру, за босые ноги, еще теплые. Потянула — ни с ме-

ста: как свинцом налитой лежит. «Господи, что же это?» Еще раз взялась, изо всех сил — и опять ни на волос не сдвинула, лежит Пётра, как урытый.

Обуял тут страх Афимью, в жар ударило. Бежать надо, бежать, сломя голову. А не может через Пётру переступить. Как в лихоманке трясется — стоит, и нету сил один шаг этот сделать.

Вылезла Афимья в окно, помчалась к Селифонтовым. Сыпал всегда Иванюша в сарайчике на дворе, авось там и нынче. Кликнула тихонько — и уж тут как тут Иванюшка: чуток он на афимьин голос.

Вышел Иванюша, теплый от сна, протянул к Афимьюшке к милой руки — да и назад отскочил: «Не та, не прежняя, не Афимья это . . .»

— Да что ты, Афимьюшка, что ты, что?

Хлипнула Афимья — выплакать бы все Иванюшеньке, а губы-то сухие, а глаза сухие, а слез — нету . . .

— Убила. Убила, порешила Пётру — за младенчика за твово. Как свинцом налитой . . . Не могу я — лежит. Страшно мне, пойдем ты со мной.

Пошли. Влезли в окно, как воры. Тихо в избе: чуть-чуть носом посвистывает Васятка на печи. Пётра — молча лежит, лампочка-коптилка глядит туманно. Взял Иванюша Афимью за руку — и затрясла его трясовица афимьина: стоят и трясутся.

Взяли за ноги — за руки, понесли. Споткались в огороде на грядках. Брехнули раз — и стихли собаки. И опять все хорошо, все тихо.

Только вот месяц проклятый — глядит и глядит, и светит, и все тянет оглянуться, глянуть ему прямо в лицо.

— Не могу я больше, ох, не могу! — отпустила ношу Афимья, и жмякнулось тело наземь, на грядки, как мешок.

Стал Иванюша копать яму, тут же, на соседском петровнином огороде, а Афимья все торопила:

— Да, скорей ты, скорей — не могу я . . .

Через пень-колоду ровнял Иванюша землю, вершка на три каких-нибудь Пётру землей принакрыл. А все месяц, а все месяц проклятый: сзади стоит — и глядит насквозь.

6.

Сентябрь уж к концу идет. Поля — неуютные, пустые, стриженые. По воздуху летят паутинки: вокруг кого обовьются, тому и помирать скоро. По времени-то пора бы уж и утренникам, и ветрам прохладным, и серым облачкам слезливым. А тут, как нарочно, как на смех — жарынь пошла. До того дошло дело — ребятенки в речку Ворону полезли, второй раз купаться начали, вот до чего тепло.

«Ох, пропадает, пропадает баранина по такой жаре, видно — надо солить взяться».

Хоть и не до солонины совсем Афимье, а дело такое, что не ждет. Принесла баранину с погреба, порубила на куски топором — тем самым, клала в кадушки, что Пётра к Воздвиженью привез, посыпала селитрой толченой да солью.

А изба уж опять полным-полна любопытных кумушек, все вокруг да около Афимьи кружатся, с расспросцами да с подходцами. Как это такое, в сам-деле? Пропал человек — и ни слуху, ни духу. Чай, не иголка...

— А как же, кума, без мужика теперича будешь жить? С душевым-то мекаешь как? Арендателю?

— Надо быть — арендателю.

— Н-да... Ну, а это самое... В город-то Пётра уезжал — нюжли ж ни полслова не молвил, так вот и провалился?

Ходят, нюхают кумы по избе. Пощупали шаль афимьину. Покопали в золе на загнетке. Отколупнули корку от ковриги.

— Афимьюшка-а, смазка-то у тебя пеклеванная что ль? Корка-то дюже бела?

И от смазки пеклеванной, от хлеба — к Пётре опять. Да за дорого ли хлеб-то продал, да много ли денег с собой привез? Да...

Извели, как есть — извели Афимью. И что им тут надобно, и чего вынюхивают? Еле их проводила.

Проводила — кадушки с солониной в погребицу поставила, гнетком пригнела. Из погребицы темной да прохладной вышла на двор — жара-то в голову так и вдарила.

И дымком закурилась-закружилась несуразная мысль:

«Жара . . . От жары Пётра дух пустит . . . Учуют, узнают, разроют . . .»

Поглядела Афимья туда, где желтел бурьян огородный, нюхнула и чудится: уж есть душок, есть — да тошный, да мутный.

Вернулась в избу. Ходила, дела правила, и ничего как будто. А в голове, внутри, стали все колеса: зацепились вот за одну непроворотную мысль и стали.

Ничего в этот день не ела Афимья: все притчился дух тот — тошный и сладкий. И всю ночь не сомкнула глаз. «Да попритчилось, может? Ничего, в самом-то деле, и нету?» И опять побежит из избы, и стоит на крыльце белой тенью, и нюхает. Пес на рыскале мечется, воет, морду поднял кверху. А оттуда — ущербленным, прищуренным зраком глядит, ухмыляется месяц-ведун.

На утро Афимья пошла к Селифонтовым, Иванюшу выждала. Подошла к нему, голову подняла, понюхала:

— Чуешь, Иванюша, дух то пошел, чуешь — от Пётры?

— Что ты, Христос с тобою, Афимья? Да и далеко отсюдова огород петровнин, ничего не учуешь.

— Эх . . . А она вот чует, собака-то . . . Ну вот — ну теперь? Нет, надобно Пётру инако спрятать, так оставить нельзя.

— Да никак ты рехнулась, Афимья? Мысленно ли дело — покойника вырывать? Уходи, у-хо-ди, боюсь я тебя . . .

Не хочет — так не хочет, теперь все равно Афимье: как деревянная стала, как дерево безлистное, обуглела вся душа.

Перед па́ужном подкатил к афимьину двору тарантас парой, и вылезли: барин городской какой-то и сам становой. Ни заторопилась, ни тебе испугалась Афимья. Деревянно-покорно ходила, куда водили ее господа. Отвечала, раскрывала сундуки приданые, отпирала закуты, чуланы, подклетья. А сама все нюхала тошный, сладкий дух с петровнина огорода — и дивилась:

«Да что ж они — обезносели все, не чуют-то?»

Уехали, не учуяли. Затихла всполошенная улица. Полегла на дороге пыль. Замигали подслепо-покорно деревенские огоньки. Глянул месяц — и еще больше при-

щурен был нынче, еще хитрее подмаргивал тусклый его зрак.

Все равно Афимье. Ничего не боялась, совсем как деревянная. С железной скребкой одна пошла на петровнин огород. Вырыла Пётру — кумачевая рубаха его от земли намокла, стала черная-пречерная. Откуда сил взялось — дотащила до своего двора, сволокла Пётру в овин.

Засветила фонарь, опустилась в погребицу. Вывалила на земь солонину из кадушек — уж и жалко было своими руками добро губить! — накрыла солонину веретьем.

Вернулась в овин с фонарем и с топором, тем самым. Неторопливо, спокойно, без единой дрожи, как во сне, разрубила Пётру на куски. Перетаскала в погребицу, уложила в кадушки, пересыпала солью с селитрой, гнетком пригнела: солонина.

Проспала Афимья всю ночь без просыпу: уж не притчился дух тот проклятый.

7.

Глотка у Васятки распухла, по телу по всему сыпь рассыпалась. Двои сутки надрывался он, без отдыха на печи кричал. А Афимья — как и не слыхала. Сунет ему чашку с хлебовом, либо воды корец — и сидит опять на лавке, час и другой, как очумелая, без дела, без мысли единой.

На третий день у Васятки не хватило уж крику, стал он щенячьим жалостным писком пищать. Пронял этот писк Афимью. Кинулась на печь, нагнулась:

«Мертвенький мой — щеночком вот так же пищал бы. Ножками бы вот так брыкал, и морденка бы от слез чумазая . . .»

Всю ночь так просидела, нагнувшись. Но не над Васяткой сидела — над тем, над своим, над первеньким — сидела, исходила тоской, а слез все не было, а глаза — сухие, а губы — сухие.

Был ночью туман, и встало солнце красное, тусклое. Вздрогнула Афимья, отвернулась от окна.

Услыхала: колокол сквозь туман. Вспомнила: воскресенье ведь. Хотела было руку поднять да крест на себя наложить — сил не хватило.

От обедни заглянула к Афимье соседка — Петровнушка.

После церкви — она строгая, ладаном пахнет легонько, лик темный — морщин щепоть.

Шевельнулась было ей навстречу Афимья — да не всталось. Плеснула руками Петровна — уложила лежать Афимью:

— Поглядела бы, какая ты есть-то, матушка: краше в гроб кладут. Лежи, лежи, не бойчись. Я все тебе справлю.

Искупала Петровна Васятку, печь истопила, пошла в погребицу: надо для-ради воскресенья щи наварные, с убоиной, сделать.

Лежит Афимья, глядит на Петровну.

«Кто я ей? Никто. А вот ведь пришла, дом свой бросила, ходит, хлопочет . . .»

Глядит Афимья на проворные петровнины руки, на чашку расписную с рубленой капустой, на добрый кусок солонины.

И вдруг — узнала Афимья . . . Задохнулась — рот раскрыт, как у вынутой рыбы — сказать — а не может.

— Пё — Пётра . . . — поднялась на локте, вперилась, остолбенела.

— Куралесишь ты, баба, погляжу я. Ну чего, Пётра? Кончился Пётра — и весь тут сказ. Чего с ума-то сходить? Иль дюже сладок он тебе был?

— Погляди . . . Петровна, Господи . . . В погребице-то . . . Погляди . . . пропала я . . .

Повалилась Афимья и глаза замкнула, чтобы не видеть — чтобы только не видеть.

Пошла Петровна ворчливо: эх, и что за народ нонче пошел некудушный, распустёхи, замуздать себя не хотят.

Спустилась в черную яму погребицы. Минуточку малую пробыла там Петровна — и выскочила, как угорелая, ужахнулась, увидала там . . .

— Господи Исусе! С нами крестная сила, да что ж это такое?

Трижды перекрестилась: уж не наважденье ли? Нет, вот и руки еще все в рассоле . . .

А в избу Петровна вошла уж такая, какая и была: степенная, строгая, разве только руки чуть приметно дрожали.

Села на лавку в изголовьи у Афимьи, рукою прикрыла ей глаза, стала гладить ей волосы — неприбранные.

— Ах, Афимьюшка, ах, сердешная...

И все пуще мелкой тряской тряслась Афимья у ней под рукой.

— Эх, Афимьюшка, девонька, вот она жисть-то наша какая. Эх, Афимьюшка, болезная...

И полились в три ручья слезы у Афимьи: как лед, вот, тронулся, как половодье. Сломался лед — и все, как на духу, рассказала Афимья. И как младенчика хотела всей душой, и как у порога топор взяла, и как была шея пётрова с морщинами на-крест. И как ей попритчился тошный тот дух. И всякое слово обмывала Афимья горючей слезой.

Покачала Петровна темным ликом, раскрыла щепоть морщин.

— Эх ты, неразумная! Людей боялась... Людей-то, чего их бояться: себя страшно. Так ведь, а?

Долго толковала Петровна с Афимьей — и оттаяла Афимья, отошла.

С понедельника осень началась, заслезил дождичёк меленький. Ничего-о, пущай слезит: зато зеленя хорошо взойдут. И смирно, терпеливо стоят у ворот афимьиных, мокнут понятые, бабы в кацавейках со всего села, старики с посохами.

Вышла из избы Афимья — петровниным черным платком покрыта, у самой-то цветные все были. Низко насунут черный платок, глаз не видать, только губы одни крепко сжаты.

Не Афимья это, нет. Но уж так то всем знато и ведано это лицо, и глаза в тенях, и сжатые губы. Но где? Во сне ли привиделось? Нет. Уж не там ли, не в церкви ли, видели на стене тот женский скорбящий лик?

И все, как один, стар и млад — отдали последний поклон Афимье. И все, как один, сказали:

— Прощай, Афимьюшка: Бог-те простит.

1913.

ТРИ ДНЯ

Солнце, песок, черномазые арабы, песок, верблюды, пальмы, песок, кактусы. Где нибудь в другом месте не арабы, а турки, и опять — солнце, верблюды, песок. Повсюду одинаково звонко, ослепительно-ярко. И вечный шелковый шум волн при переезде из порта в порт, — этим шелком закутаны глаза, уши. Под конец совсем падаешь под тяжестью впечатлений, сквозь шелк все уже еле видно, еле слышно. Всякие разговоры начинаются с одного: «А вот, когда мы придем в Одессу . . .»

И наконец — пришли. Солнце садится, значит — опоздали: таможенный досмотр будет только завтра, а до тех пор на берег нельзя.

— Полюбуйтесь-ка вот, издали. Близок локоток, а не укусишь, — подхихикивает старший механик. Борода у него седая, длинная, как у Моисея-пророка; медленно ее поглаживает.

Шум улиц легко бежит к нам по воде. Золотеет над городом облако пыли. Вспыхнули красным верхушки наших мачт, стекла в иллюминаторах. Погасли. Темнеет.

Два белых военных судна — резкие, вырезанные в синем полотне сумерек.

— А эти военные — зачем здесь?

— Захотелось господам офицерам одесских девочек посмотреть, ну, вот и пришли . . . — Это опять механик: он все знает, все и всегда. Берет бинокль, смотрит: — Броненосец и миноноска, севастопольские, — говорит он.

Мы спускаемся спать в каюты. Ночь наивная, тихая, обыкновенная, еще не подозревающая, что в ее темную глубину уже брошена искра, что она вот-вот заполыхает . . .

— — —

Утром — чуть свет поднялась беготня на палубе, гвалт: таможенные пришли. С какими-то крючьями, как черти

в аду, копаются. Обыкновенный, пыльный, потный плетется день. За обедом все торопятся: поскорей бы кончить — и в город. На берегу успел побывать только седобородый механик: везде у него приятельства и знакомства, он исхитрился выбраться с утра, еще до таможенных. Теперь сидел и рассказывал всякие новости, были и небылицы.

— Хе... Торчите вы тут и ничего не знаете! А там дела, там дела! Какие? А такие, что на броненосце на этом всех офицеров повыкидали за борт. Лейтенантик матроса у них ухлопал, ну и пошло писать... Думаете — вру? Да подите вы к чёрту!

За столом улыбались: знали, любит старик удивить. Ну, пускай, пускай потешится...

После обеда поймал меня Григорий Васильич, машинист, затащил к себе в каюту, прикрыл дверь. На правой руке не было у него двух пальцев, всегда прятал руку, а сейчас забыл все: говорил, размахивал рукою, мелькали перед глазами култышки.

— Слушьте: он на Новом молу лежит. Факт. И народу туда идет — тьма тьмущая. Такое начинается, что я и не знаю... Слушьте, пойдемте, а?

Григорий Васильич — человек положительный. Значит, и правда — что-нибудь... Весело-тревожно начинает биться сердце.

Мы быстро идем по берегу по-над морем. Солнце на небе ярко празднует, ветер стих, на море взглянуть нельзя — ослепнешь.

Переходим какие-то пути, спотыкаемся, свертываем по серой улице пакгаузов — и вдруг попадаем неожиданно в поток людей, спускающихся сверху из города в порт. Что-то похожее на крестный ход: так много, такие разные. Панамы, босоногие ребятишки, солдаты, перчатки, шелковые зонтики, опорки, воротнички...

Идем. Чей-то голос сзади — неуклюжий и медлительный:

— Воны, чорноморьци, давишь говорыли, что к нам прыйдуть. Вот и прыйшли.

Я обернулся: рябой солдатик поучал своего товарища.

— А офыцеров воны й не побили вовсе, тильки заперли. Я ж знаю. Я...

И нету: пропал в толпе. Мимо — уж новые: студент

и девица. Девица прижималась к студенту и, должно быть, вздрагивала.

— «Потемкин», — говорил студент, — самый новый броненосец. Понимаешь, если он на самом деле — так ведь это...

Наш «крестный ход» свернул на Новый мол. Здесь было ближе к какому-то неведомому центру и оттого тише, серьезней.

Около огромной горы деревянных ящиков стояли неподвижные фигуры, как будто сторожили.

— Вы что тут? — спросил Григорий Васильич.

— А вот — около водки. С монополькой ведь ящики-то: не дай Бог — пронюхают! Мы от комитета.

На фонарь взгромоздился юноша в мягкой рубашке и черном пиджаке, глаза у него девичьи, синие. Поднял над толпой руку:

— Товарищи! Этот день...

Его слушали. Голова кружилась от солнца, от людей, понять что-нибудь мешала неотвязная мысль, такая неподходящая: «Но ведь в черном пиджаке ему, должно быть, отчаянно жарко...»

В толпе прорубилась какая-то просека, уличка. По ней двигались вперед, к непонятной цели, проходили обратно. И во всем этом был свой странный порядок.

Пошли по этой живой уличке и мы с Григорием Васильичем. Вместе с медленными рядами двигались к голове мола. Вдруг впереди нас сбросили шапки. Стало совсем тихо и жутко.

— Ох, да вот он, вот он. батюшка... Красавец-то какой лежит, как живенький! — запричитала рядом баба в платке.

На самом конце мола на постланных флагах лежит матрос. Желтое, мертвое, спокойное лицо. Всегда страшные днем огоньки восковых свечей. Около — говорят только шёпотом. Два белых матроса, его товарищи, в изголовье. Сбоку, совсем близко, как сидела бы мать, сидит босяк — опухшее, налитое лицо, лоб перевязанный тряпкой. Босяк качает головой, морщится — может быть плачет.

Кто он, зачем?

Бросают деньги на тарелку возле покойника, отходят в сторону. Читаем издали приколотый к груди лежащего

лист бумаги — под солнцем очень белый. Видны только последние слова: «. . . за мою смерть».

Вдруг благоговейное молчание разрывается резким окриком:

— Шапку долой, эй, ты!

На господина в котелке кричит один из матросов. И все, кто стоят поближе и слышат, тоже:

— Эй, долой! Оглох, что ли?

Господин в котелке, криво улыбаясь, обнажает голову. Опять тишина. Только баба в платке всхлипывает:

— Красавец-то какой, батюшки, молодец-то . . . О, Господи!

Поливает сверху солнце. Желтые свечи, острый и желтый нос мертвеца, молитвенно, жутко . . . И должно быть — такая же новая, необыкновенная стала сейчас вся Одесса.

По человеческой просеке, мимо солдат, шелковых зонтиков, мальчишек — мы идем в город. Дерибасовская, Ришельевская . . . Нет, оказывается — здесь все обычно: нарядные женщины, газетчики, продавщицы цветов, очень тихо и жарко.

— Пить-то, пить-то как хочется. А ведь только вот сейчас и почуял, — сказал Григорий Васильич.

Сели за столик, пили, спешили кончить.

— Слушьте: идем, а?

— Идем.

Не нужно было говорить — куда: куда же сейчас можно идти, как не туда, опять вниз, в порт?

Еще издали мы увидели — шло волнами темное море голов — и гудело:

— А-а-э-э-э . . .

Бросали вверх шапки, махали руками. Уж можно теперь разобрать — кричали тысячи голосов:

— Е-а-едут, едут, е-э-э . . .

Мы ли протолкались, или нас вынесло — но только оказались мы скоро у самой воды, на краю набережной. Теперь ясно было видно: от броненосца, резко белого, шел к берегу, к нам, как чайка — легкий и острый — катер. Вот уж можно разглядеть и белые голландки матросов и лица. Пристают.

— Ур-рр-а-а-а-а! — заревело сзади.

Нахлынули, бросились вперед, как бешеные лезли на плечи, куда-то вверх — надрывались: ура-а-а!

Я оглянулся. Высокие железные столбы фонарей были увешаны людьми, — как они взобрались в секунду? — люди махали белым, в воздухе — туча фуражек, шляп. Матросы на потемкинском катере раскрывали рты — тоже, должно быть, кричали, их не было слышно.

Да, матросы, те самые, так близко, внизу. И почему-то отпечатывается навсегда физиономия одного — такая лукавая хохлацкая рожа, со спущенными вниз светлыми льняными усами.

Хохол на катере влез на мостик и замахал рукою: чтобы затихли.

И так же, как он, замахали рукою десятки людей на набережной, вскакивали на тумбы, кричали: «Ти-и-и-ше, тише!» Удивительно: оно сейчас же утихло — это раскачавшееся, напряженное людское море. Утихли, вставали на цыпочки — услышать хоть одно слово. Все знали: то, что теперь услышат — это будет решительное, страшное.

Матрос на потемкинском катере почесался и сказал:

— Вот бы... это самое... Провьянт нам нужен. Провьянту принесли бы — это вот да...

Так это было неожиданно-житейски, так просто. Засмеялись облегченно:

— Провьянту им неси! Харчей, говорят...

Сразу матросы — это мы все. Что ж, такие же люди: харчи, вот, нужны им. Правильно.

Катер слегка покачивало. Матросы придерживались багром за сваю. Из толпы очень быстро, как будто всю провизию носили с собой в карманах, начали подтаскивать к берегу кулечки картофеля, булки, колбасу, какие-то неизвестного содержания свертки. Бросали вниз, матросы ловко ловили.

— Будет, будет, спасибо!

Опять влез на мостик хохол с опущенными усами, сложил руки рупором и закричал:

— Братцы, солдатика бы нам теперь! С солдатом нам поговорить надо. Пехотного нам.

Зашевелились, потеснились, выперли кого-то вперед. Я узнал все того же самого рябого солдатика. Рябой подошел, прислонился пузом к перилам и неповоротливым, медленным своим языком начал переговоры, отнюдь не стесняясь присутствием публики.

— Воны побижалы за епутатом нашим, у казарми. Так я усе ровно вам можу сказать . . .

— Ну, что у вас, братцы, как? — это снизу, с катера.

— Да что ж, розно. Наши-то сгодятся . . . А вот такие-то — хай им чёрт — сукины сыни́ . . .

Солдат называл какие-то полки, казармы, орал, чтобы внизу было слышно. И снизу в ответ тоже орали. А кругом слушали. Так это все просто.

Запыхтела машина на катере, матросы замахали бескозырками:

— Прощайте, братцы. Спасибо!

Опять — ура, дикий, восторженный рев, повисшие на фонарях люди, взлетевшие вверх шапки.

Мы с Григорием Васильичем не существовали: нас носило куда-то вправо и влево, выбрасывало к перилам, втягивало опять в самую гущу. Толпа двигалась, переливалась, шла волнами. Почти видимая глазом — над людьми оплотнела тучей напряженная восторженность — и ждала как-то, чем-то пролиться. Опять завиднелись ораторы там и сям. Но этого было теперь уже мало, это было не то, туча все росла, сгущалась.

И вот, где-то слева, всплеснуло новое ура. Катится растет, как первая волна в шторм, ее уж догоняет другая ,третья. Уже ничего не слышно — только штормовой, восторженный рев, и с этим ревом сплетается прерывистый, набатный, жутко-веселый голос пароходного гудка.

Совсем уже около Нового мола виден огромный черный пароход: его тащит на буксире потемкинская миноноска. Пароход полон людей. На мостике красные флаги, десятки рабочих. Все машут шапками, приветствуют берег гудками. А берег мечется и бешено, исступленно кричит: ура.

Какие-то сведущие люди объясняют, что «Потемкину» нужен был уголь. «Ну, вот — пришла эта самая потемкинская миноноска, взяла на буксир угольщика и потащила: угольщик что ж может против миноноски? Теперь ‚Потемкин' с углем — теперь наше дело-вира!»

Пароход ушел. Шесть часов. Солнце печет из последних сил. Люди задыхаются, из последних сил ждут — что-то еще должно случиться, должно!

Мы с Григорием Васильичем вернулись на пароход ужинать. Так странно было сидеть в тихой и уютной кают-компании, когда там — на берегу . . . Да, Бог знает,

что там: там может быть теперь самое неожиданное, самое удивительное...

Садилось солнце, красное, дикое, немое. Мы опять подходили к Новому молу. Какие-то крики... Нет, не такие: раньше были — как ливень, как лес. А теперь — отдельные, резкие, режущие, каркающие, вороньи.

Под эстакадой стоял мужичок с грязным ведром — что-то продавал. Не поняли сначала.

— ...Хоть для почину купи-ите! За три гривенника все ведро. Ну, за двугривеннный! Шампанское, вить...

— Ну... разбили! — отчаянно сказал Григорий Васильич. Опять забылся, мелькнули перед глазами его культышки.

Где же, где же то, что было здесь утром? Да и было ли? Сейчас не верилось.

Повсюду, согнувшись, шныряют люди с мешками, свертками. Какие-то мышино-юркие, в платках женщины, с одутлыми, картофельными лицами оборванцы. И все это озирается по сторонам, прячется за углы, ныряет, как ящерицы, в темные проходы...

У пакгаузов — нестройный, разорванный гул. Нет-нет, да и грохнет, рухнет что-то, подымается туча пыли. Откуда-то взялись топоры, ломы. Рубят столбы. летит крыша, а те, которые около — даже не посторонятся: с гиком бросаются в склады, роются, вытаскивают, отнимают. Кого-то убило крышей. Убило — ну что ж...

Целая куча деревянных ящиков. Тут были утром люди «от комитета». Толпа снесла их.

На самом верху этой горы ящиков — стоит какой-то босой, в одной жилетке — прямо на тело. В каждой руке по бутылке; пьет их и бросает. Покачнулся, ящики с грохотом и звоном валятся вниз.

Через минуту поднимается из обломков и осколков тот, кто был наверху. Из обеих рук, порезанных склянками — льется кровь, но он нагибается, вытаскивает новую бутылку, отбивает горлышко, запрокидывает, пьет. Из обеих рук льется кровь...

Бочки с вином. Днища отбиты. Черпают картузами, горстями, жестянками, ведрами. Уносят, пьют, опрокидывают на землю. По мостовой мола текут ручьи вина — как будто прошел хороший ливень; через ручей переброшены доски...

Всё не могут ни выпить, ни с собой взять: так пропадай ты пропадом, только бы «им» не осталось. В море!

Возле мола плавают зеркала, велосипеды в деревянных клетках, ящики, бочки, коробки. Выливают в море бочки спирта, керосина: «Эх, гуляй, все равно — один раз». Поют где-то песню — она кажется разбойничьей, ушкуйничьей, старой . . .

Узкой уличкой мы поднимались в город. На уличке было как будто очень спокойно, и только всюду — глаза: на балконах, в окнах, в чуть приоткрытых калитках. По камням сухо процокал подковами казачий разъезд, скакали куда-то галопом. Окна и калитки торопливо закрывались.

Сверху мы оглянулись еще раз на порт: там кипело, ухало, рушилось, ликовало. Светил последний красный луч . . .

Оживленные, нарядные городские тротуары — и вдруг посреди улицы лагерь солдат. Составили ружья в козлы, уселись около, что-то стряпают в котелках: война.

Но там, за столиками на бульваре — попрежнему весело и празднично. Изящные дамы, вежливые кавалеры — с лорнетами, биноклями, подзорными трубами. Все нетерпеливо смотрят туда, где «Потемкин», и ждут. Ждут начала — как в театре.

Григорий Васильич пробормотал сквозь зубы ругательство:

— С биноклями? А вот как сейчас . . .

Он не кончил: оглушительный грохот, удар. Дребезжат и сыплются стекла. Секунда оцепенения. Потом сквозь все молния-мысль: «Потемкин» начал. И людской вихрь.

Люди обезумели. Мчались, опрокидывали столы с посудой, стулья, скамьи, падали. Мужчины прыгали через нарядных, лежащих на земле дам. В одну секунду смели казачьи разъезды у бульвара. Забивались в ворота, прижимались лицом к стенам домов.

Каким-то чудом я разыскал Григория Васильича. Он тяжело дышал, вытирался, плевал.

— Сбили меня с ног. Через меня бежали. Ну, и пуубличка! . . .

— Неужели — «Потемкин»? — спросил я. — Почему он вдруг . . .

— Да не «Потемкин» вовсе! Это они бомбу бросили в казаков. Двух в крохи пирожные разнесло, офицеров ранило. Да вон-вон... глядите!

Тревожно трубила и мигала красным фонарем каретка скорой помощи. Остановилась возле аптеки. Что-то вынесли на носилках.

У яркого окна с зелеными и красными бутылями — сгрудилась толпа, с разбуженным, жадным любопытством к крови. Подымались на цыпочки:

— Гля-ко-сь, шея-то, шея-то вся...

— А волосья-то слипились... Ах ты... а?

Стукнул, сломался где-то ружейный залп. Толпа плеснулась к бульвару. Там стеной стояли тяжкие темные крупы лошадей, казаки никого не пускали.

— Разойдись! Разойдись! — уже не кричал, а хрипел растерянный околодочный.

Но никто не уходил. Все пристально ждали чего-то. Какие-то люди молча стояли под воротами, не двигаясь. Собирались на перекрестках в темные кучи и ждали.

И оно — пришло: встало внизу, заколебалось дымным красным заревом.

— Жажгли, жажгли!

— Карантинная... Полыхает-то, а?

— Карантинная... Хороша Карантинная! Новый мол это.

Невидимые в темноте — говорили радостными, возбужденными голосами. Только этого будто и ждали.

— Слушьте, пойдем на Польский. Может там нас и пустят вниз, — сказал Григорий Васильич.

На Польском спуске было очень тихо, далеко. На ступенях, в самом низу, сидели солдаты, а выше их, амфитеатром, устроились зрители. В глазах у всех горел красный отблеск; молча смотрели.

Ружейные залпы теперь слышались чаще. Горели пакгаузы и на Новом молу, и в Арбузной гавани, и в Таможенной. Приземистым, плотным пламенем занялись склады каменного угля. Высокой свечкой к небу стояла, вся в огне, деревянная башня Яхт-Клуба.

В порту медными отчаянными голосами кричали поезда и пароходы. Грохотали, втягивались якоря: это отчаливали счастливцы, не потушившие котлов. Суда, пришвартованные к набережной, уже начали загораться: сначала шлюпки, потом палубы, потом мачты. Смотришь

— уже скрючивается, извивается на огне красное каленое железо.

Освещенный сзади красным светом солдат с ружьем поднимался по ступенькам. Запыхался, остановился перед кем-то.

— Ну, что? — слышен голос. Должно быть, офицер.

— Страсть, ваш-бродие! Там они зажгли с сахаром который склад. Сахар-то жидка-ай стал, потек. А он-то, пьяный вдрызг, ваш-бродие, на крыше стоял, да как оттедова сверзится — в сахар-то прямо. Благим матом орет. Полезли за ним — тоже пьяные, и тоже в сахар попали, ну и страсть! Ды стреляють, ды стреляють . . .

Привороженные к огню, молча смотревшие люди вдруг проснулись, зашевелились, стали вставать, уходить. Останавливались, прислушивались, где залпы, чтобы не идти в ту сторону.

— А ведь и нам бы пора домой, на пароход, — сказал я Григорию Васильичу. — А то позже не пройдем.

— Да и теперь не пройдем, — равнодушно ответил он. — Ну, все равно — попытаем.

Солдаты нас пропустили. Мы сошли вниз — и сразу окунулись в сплошную чернять. Фонари не горели, светило только зарево, распухая и опадая на стенах.

Темные, незнакомые улицы, повороты. Пустые, покинутые дома. Издали — гул и треск. На тротуарах — темные, недвижимые мешки: пьяные — или мертвые?

Мы подошли к путям. Сломя голову мчались товарные поезда: спасали, что можно. На каком-то перекрестке остановилась карета скорой помощи: подбирали человека с отрезанными поездом ногами, он бормотал что-то веселым, пьяным, заплетающимся языком.

Возле Нового мола было совсем светло. Пылало все: даже самая набережная — деревянная, осмоленная. Даже море, куда вылиты были сотни бочек керосина и спирта — пылало у берега синим огнем.

Пьяные огнем и вином, обезумевшие люди надрывались — перекричать рев пламени. Красные отблески прыгали на них — или это они плясали вокруг огня дикий танец, они, которым показалось, что сегодня им можно.

Жизнь здесь стоила грош. Идти тут было жутко; мы поднялись наверх, на эстакаду.

Отсюда, как на ладони, виден был — весь в пламени — порт. И море: спокойное, равнодушное зеркало, покрытое призрачным, колеблющимся отраженным огнем.

Подходили уже к концу эстакады — как вдруг тот конец ее, где нас ждал спасительный спуск к пароходу, загорелся. Никогда я не видал Григория Васильича таким бледным, как сейчас.

Возвращаться было немыслимо. Здесь где-то есть трап, чтобы спуститься вниз, — должен быть! Но где?

Метались. Может быть, двадцать раз пробежали мимо трапа. Огонь все ближе. Я споткнулся о крышку, упал: под руками был трап.

Спустились вниз. Совсем близко, следом за нами — жгли, ухали, кричали. Но мы были уже в гавани, где стоял наш пароход — сейчас мы будем на пароходе, сейчас мы его увидим: вот только обогнуть этот пакгауз . . .

За пакгаузом парохода — не было: он оттянулся от берега и стал на якорь в полуверсте.

Мы охрипли от крика. В вылитой на земь нефти намочили носовые платки и зажгли их. Чудом каким-то увидели нас, спустили шлюпку. Мы на пароходе.

Все полыхало кругом. Говорить . . . говорить нельзя было: только слушать, слушать, слушать . . .

Залпов теперь нет: теперь — сплошной, неперестающий треск выстрелов. И должно быть у всех — как эхо — эта внутренняя дрожь. Нет, не от ружейной стрельбы, а от пулеметов: от этого сухого, бездушного, страшного своею машинностью гороха. С полуночи — пулеметы не переставали.

Где-то далеко стоял броненосец и синевато-белыми ножами прожектора резал берег, воду, суда.

Все молчали, слушали. На берегу вплетались в выстрелы длинные стоны — вот уж близко совсем. Матрос влез на мачту, говорил сверху:

— Все отсюда виднехонько, все до капли. Во-во-во, солдаты на них идут, штыками их . . . Бра-атцы мои!

Неохотное, разрозненное ура. Как сломанные, сухие хворостинки — выстрелы револьверов, потом сверху, с берега — винтовочный залп . . .

Пули жалобно пели высоко, в мачтах. Потом одна, другая шлепнулась в шлюпку на той палубе, где мы сидели. Нужно было отсюда уходить вниз.

Динамо у нас не работала. В кают-компании тускло качались масляные лампы. Сидели все молча, без конца слушали. Только часам к четырем, к рассвету, стали затихать выстрелы, и мы разошлись по каютам.

— — —

Утро. В жемчугах облачное небо. Весь порт курится, белеет дымком. Все какое-то хмельное, плывущее, ненастоящее.

От берега отчаливает шлюпка и правит на нас. Кто? Да он, конечно — он, наш седобородый старый механик.

Взобрался по трапу, поглаживает длинную, как у Моисея-пророка бороду:

— Еле-еле пробрался к вам. Ник-кого не пропускают — меня уж так только, по знакомству . . .

Капитан наш, толстый братушка, Лука Петрович — побагровел, начал кипятиться:

— Та если менэ на берег нужно? Чэрт бы их взял . . .

Механик ехидно смеется:

— Что ж делать! Меня пустили — а вас вот не пустят. Военное положение, голубчик, военное. Да вы в бинокль поглядите-ка, поглядите на берег.

Смотрели по очереди в бинокль. Солдаты по всему берегу, куда ни взглянешь.

Механик доволен: ну то-то же.

— А ну-ка теперь вот сюда. Вагоны, платформы эти видите? — вон-вон!

Ну, видим. Ну, что ж такое? Везут что-то, прикрытое рогожами.

— Хм, что-то . . . А знаете — что?

Он шепчет нам на ухо. И бинокль почему-то дрожит в руках, и кажется, что из-под рогожи видны руки, ноги . . .

А механик кому-то сзади:

— А их ведь теперь уж три стало.

— Кого — их?

— Да судов-то, которые с «Потемкиным». Ночью «Веха» пришла. Ну, и там тоже самое: офицеров своих тоже перевязали, свезли на «Потемкина» и рядом с ним якорь бросили.

Смотрим — и верно: три их, в кильватере стоят. Так, значит, еще не все кончено — еще может быть . . .

Пыхтит казенный портовый пароходик, пристает к нам. На нашу палубу влезает быстроглазый маленький капитан:

— Ради бога, Лука Петрович — уходите скорей. Всем судам выбираться из порта велено — скорее как можно!

— А что?

— А то...

Быстроглазый капитан говорит шёпотом — но так, что всем слышно:

— Эскадра сюда идет. Приказано «Потемкина» либо живьем взять, либо ко дну пустить. Под великим секретом вам говорю!

Лука Петрович выругался по-своему, по-братушкинскому:

— Всю команду — на палубу! Ччэрт бы их...

Матросов половины не было, пропали куда-то. Лука Петрович пыхтел, как насос:

— Вот... Да... Уходить нам вэлено есть из порта. Разумеетэ?

Матросы переминались, переглядывались. Потом вышел один — бойкий, с серьгой в ухе:

— Никак нам нельзя, Лука Петрович. Комитет приказал бастовать.

— Какой-такой камитэт? А вы кому нанимались? Камитэту? Чэрт бы вас побрал! Та я вас всех...

Кричит, топает. А матросы — как на своем уперлись: «комитет не приказал», — так и ни с места.

Плюнул Лука Петрович. Пошептался со старшим помощником. Помощника повез на берег старший механик, взялся через кордоны провести.

Через час — через полтора помощник вернулся. Опять матросов собрали, выстроили. Лука Петрович сконфуженно обьявил:

— Ну, вот, — говорит, — этот самый ваш... как его... камитэт, да... Камитэт дал есть нам разрешение уходить — вот.

И сунул им бумажку. Матросы стали на работу. Лука Петрович ходил по палубе и ворчал: разве это скоро — пар поднять? Глядишь, часов восемь, а то и все десять. А те-то, которые на «Потемкина», как раз и придут — и пойдет у них баталия. А мы и будем в чужом пиру похмелье хлебать?

Пароходы из порта все уходят и уходят один за другим. Опять подкатил к нам казенный пароходик.

— Ну, что ж вы, Лука Петрович? Торопитесь! Пар-то есть?

— А-а, пар... ч-чэрт бы их... Вы возьмите нас на буксир, ну хоть — до брейкватера...

— Ладно. Давайте конец.

Готово. Плывем. Лука Петрович доволен. Мимо обгорелых набережных, мимо обугленных зданий...

Идем — и все ближе к «Потемкину». Вот уже орудия и белые башни. На капитанском мостике — два матроса. На корме столпилась целая куча белых голландок — должно быть. митинг. Вон-вон, один взгромоздился, говорит, развеваются ленты бескозырки. Мы не отрываемся от бинокля. К Луке Петровичу подошел бойкий матрос с серьгой в ухе.

— Господин капитан!

— Атстань. После... — Лука Петрович тоже с биноклем.

— Лука Петрович, салютовать им прикажете?

У Луки Петровича так руки и повисли. Освирепел, трет затылок.

— Ах, ч-чэрт их...

Действительно — загвоздка: андреевскому флагу он обязан салютовать — своим кормовым. А на «Потемкине» — вон, все еще развевается андреевский с синим крестом флаг... Но с другой стороны — ведь это бунтовщики! А с третьей стороны: не отсалютовать им — возьмут да и пустят тебе в бок шестидюймовый снаряд.

Лука Петрович свирепо накидывается на матроса:

— Да ты что, бэз головы? Им, таким-сяким, салютовать?! Ступай на свое место!

Матрос с серьгой в ухе ушел. Мы идем — и все ближе «Потемкин», и все шире открываются черные рты орудий.

Лука Петрович пыхтит, как насос, не отрывает от них глаза. Встает, идет на корму. Мы за ним.

У кормового флага. Матрос с серьгой в ухе стоит спокойный: его дело было спросить, а уж там, что потом будет... Лука Петрович возле него.

Поравнялись с «Потемкиным». Еще секунда... Лука Петрович свирепо кричит матросу:

— Салютуй им, мэрзавцам! С-салютуй, так их растак!

И отсалютовали. А «Потемкин» — даже внимания не обратил, не ответил, не до того было. Уж и ругался же Лука Петрович . . .

Нас дотащили до брейкватера. Быстроглазый казенный капитан на прощанье опять влез к нам и рассказывал:

— . . . Понимаете: грозятся стрелять, что тут попишешь? Разрешил им генерал хоронить сегодня матроса их убитого и дал честное слово, что не арестует на похоронах никого — они по всему городу пройдут. «А если, — говорят, — вы арестуете, мы стрелять по городу будем». Каково? А вдруг, генерал наш арестует, не утерпит?

Мы кончали обедать, когда в кают-компанию, как бешеный, влетел стюарт Лаврентий. Раскосые его глаза совсем убежали куда-то, — одни белки:

— «Потемкин» пошел! Вот ей-Богу, пошел!

Бросили всё — вмиг были на палубе. Медленный, давящий двигался броненосец. В кильватере шли миноноска и «Веха».

— А знаете, — сказал старший помощник, — ведь теперь как раз они своего хоронят, шесть часов . . .

Армянское смуглое помощниково лицо не побледнело, а как-то даже пооливковело.

«Потемкин» остановился — бортом к Одессе. Невольно все примерили глазом: да, если он возьмет полевее бульвара, то как раз через наши головы . . .

На борту броненосца мигнул веселый взблеск, пушистый, круглый дымок. И грохот.

Оливковый старший помощник крестился маленькими, чуть заметными крестиками. Лука Петрович пыхтел.

Еще огонек, еще. Два круглых, твердых удара. Долгая пауза.

На том конце, где столпилась наша команда, шутки и смех.

— Это он поминки по ём правит.

— Добрые-то люди обедом поминают . . .

— Это кого же ему обедом-то угощать? Энтих, что-ли?

Вода тихая, светлая. На всех парах, как раз на линии огня броненосца, летят два парохода. Уйдут, не уйдут?

Стеклянно, чисто плывет по зеркалу рейда музыка.

Это — с «Потемкина». Потом громко трубит волторна, одна.

— Атаку играют...

— Атаку... Вот теперь, братцы, пойдет!

Багровый весь, Лука Петрович зовет механика, брызжет слюной.

— Что ж у вас пара нэт? Ч-чэрт вас...

Хотя знает отлично, что пара и не может еще быть. Но нужно же что-нибудь делать? Нет сил так ждать...

На броненосце ясно видный — взвился красный боевой флаг. Блеснул огонек, знакомый удар выстрела, и что-то новое: гудит, воет воздух.

Старший помощник пригибается. Чей-то голос сзади:

— Вот это вот всерьез: боевой снаряд.

Секунда — и трах-трах, — в бинокль ясно видны далекие дымки разрыва, где-то среди города.

И опять играет труба. Красный флаг на мачте «Потемкина» медленно падает вниз. Броненосец долго стоит, белый, безмолвный.

Отпустило. Заговорили, заворочались, начали жить.

— Флаг спустил: стало-быть, конец...

— Конец... вот сказал-то! Только что начали — еще такое будет...

Что бы ни было — это страшно кому-нибудь другому, но не им, не нашим матросам. У них на баке появились откуда-то фунтики с вишнями. Бойко сплевывали косточки за борт, спорили, где разорвался снаряд, считали, сколько орудий у потемкинского флота — и сколько у «тех».

Два часа тихого отдыха. Бегут по воде первые тени. На судах отбивают вечерние склянки. Два удара в судовой колокол — и едва замолкает последний, потемкинская миноноска снимается с якоря и неслышно скользит по стеклу воды. Сначала медленно, потом все быстрее.

Миноноска причаливает к одному, к другому, к третьему коммерческому пароходу. Какие-то короткие переговоры и приказания, миноноска уходит дальше.

— Это он во хлот свой пароходы наши забирает. И нас вот, как пить дать, заберет, вот сичас... ей-Богу, братцы!

Это говорит бойкий матрос с серьгой в ухе. Кругом

него бросили есть вишни, о чем-то перешептываются, поглядывают искоса на капитана, на помощника.

Старший помощник опять зеленеет, Лука Петрович усиленно трет затылок и сопит.

Матрос с серьгой в ухе продолжает:

— И очень даже просто. Придут сюда те-то, из Севастополя, его брать — а он нас всех, коммерческих, сзади расставит: поди-ка его укуси. Как по ем стрелять-то будут? Никак невозможно. Потому в нас обязательно попанут! Он, Потемкин-то, хи-итрый — он, брат . . .

Лука Петрович бормочет:

— Бр-родяги, р-разбойники . . .

А миноноска от соседнего судна уж правит на нас. Лука Петрович мгновенно куда-то исчезает. Вся команда столпилась у борта.

— Эй, на пароходе! Капитан у вас где, на судне? — кричит матрос с капитанского мостика миноноски. Голос спокойный, зычный.

Метнулись искать Луку Петровича, насилу-насилу откопали где-то. Он — в парадном капитанском сюртуке, с золотыми нашивками на рукавах. Старается втянуть свое пузо и стать понезаметней, поменьше, говорить нежным голосом.

— Здравствуйтэ, братцы. Что угодно?

Матрос на мостике миноноски снимает фуражку и говорит звучно, как будто читая:

— С броненосца «Князь Потемкин Таврический» передано: судам стоять на якоре и не сумлеваться, опасности никакой не будет.

« . . . Как, а насчет того, чтобы забрать в свой флот? Значит, ничего этого . . .»

И вдруг лицо у Луки Петровича расцветает, он машет фуражкой и кричит бравым голосом:

— Спасибо вам, братцы! Ур-р-ра-а! — спохватывается и захлопывает рот.

С миноноски машут нам бескозырками, медленно скользят к следующему пароходу.

«Стоять на якоре и не сумлеваться . . » И, «не сумлеваясь», спокойно, без слов, долго сидим на палубе.

Совсем темно. Ночь безлунная, ласковая, как черный лохматый зверь.

Всю ночь шарят в черноте холодные, яркие ножи «Потемкина». Всю ночь ходит без огней миноноска на разведки. Там, явно чего-то ждут, готовятся.

— — —

...Какие-то сны с пламенем, с криками, выстрелами, какие-то руки хватают и не хотят отпустить.

За плечо теребит беспощадно Лаврентий:

— Вставайте, вставайте! Флот уж близко совсем. Сейчас начнут — вот ей-Богу!

Еще не уставшее от солнца утро. Темные полоски судов на горизонте. В бинокль ясно видно: три броненосца и миноноски. Идут сюда, на «Потемкина», развернутым фронтом.

Лука Петрович бегает по палубе, брызжет слюной, кричит на механика:

— Масло на топки, масло! Жгите — только скорэй! Скорэй — ч-чэрт вас...

Зашевелился и «Потемкин». Громыхает якорями. Какие-то медленные эволюции — и прямо на эскадру. За ним его миноноска.

Механик подымается на палубу и докладывает:

— Лука Петрович, пар уже готов.

— Слава тэ, Господи! Ну, полный ход: в Очаков.

Наша старая машина охает, скрипят мачты, на палубе что-то дребезжит, гоним во всю. Впереди севастопольская эскадра, сзади «Потемкин», а мы — между ними. Успеем проскочить, пока они не откроют огня — или не успеем?

Эскадра флагами сигналит что-то «Потемкину». «Потемкин» поднимает красный боевой флаг и дает полный ход — за ним миноноска. Ну, сейчас...

— Ходу, ходу... — ч-чэрт! — кричит Лука Петрович в машину.

Но кочегары и так уже выбиваются из сил, котлы грозно гудят, машина охает.

И вдруг видим, что наступающая на «Потемкина» эскадра из трех броненосцев и миноносцев — медленно поворачивается и уходит назад, без единого выстрела.

— Вот так здорово! Вот так фунт... Урра! — орет бойкий матрос с серьгой.

— Ура-а! — подхватывают матросы.

— Урр... — открывает рог Лука Петрович — и, спохватившись, захлопывает. Надев на себя сердитое лицо, он кричит вниз, команде: — Ну, чего, чего? Нэ орать!

Все меньше и прозрачней белый корпус «Потемкина»: он идет обратно в Одессу, мы уходим от Одессы.

— — —

Очаков. Желтовато-белые домики на высоком берегу. Вдали батареи. Очаков — на осадном положении, на берег сойти нельзя. Солнце пристальное, ошалелое, поливает нас сверху. Целый день погромыхивают, палят очаковские пушки — упражняются на всякий случай: а вдруг вздумает «Потемкин» сюда нагрянуть? Кто знает?

Ночь еще тише, еще теплей, чем в Одессе. Там, далеко, на горизонте — прыгают холодные лучи прожектора на «Потемкине»: их видно и здесь.

Что там — в Одессе? Гадаем, томимся. Вспоминаем об этих трех днях, прожитых рядом с «Потемкиным».

— ...Впрочем, если бы стреляли — так здесь было бы слышно, — говорит старший помощник.

Здесь он разговорчив и весел: на него хорошо действуют очаковские батареи.

На следующий день к вечеру пришло сще несколько убежавших из Одессы пароходов. Мы снарядили шлюпку, поехали за новостями.

— Опять, — рассказывали, — эскадра приходила. Фронтом наступали, а «Потемкин» так ловко, как-то промеж их влез, что с обоих бортов по ним мог палить. Ушли. А с «Потемкиным» еще новый остался — «Георгий Победоносец».

Еще две ночи на горизонте — далекое белое сияние прожектора с «Потемкина». На третью ночь горизонт был холоден и пуст.

Утром судно привезло из Одессы новую весть: «Потемкин» ушел.

— Куда ушел?

— Неизвестно.

Неизвестно: может быть, и в Очаков. Да, да — отчего же не в Очаков? Кто-то рассказывал: в Одессе де слышал еще — что «Потемкин» обязательно Очаков разнести хотел.

Батареи на берегу заработали еще усерднее. Вечером выслали на рейд сторожевые суда. Но и эта ночь — ленивая и тихая, как вчера. Никого.

Утро. Душистый с берега ветерок с запахом степных трав. Веселая стая белых бабочек-парусов: вышли рыбаки в море.

Прыгает, ухает на волнах шлюпка. Двое гребцов в рубахах. Пристают к нам.

— Телеграмма! Телеграмма из Одессы . . .

У нас столпились, слушают, ждут.

— «Потемкин» ушел Румынию. Одессе спокойно».

— В Румы-ынию! — протянул разочарованно бойкий матрос с серьгой в ухе. Закурил трубочку, сплюнул.

1913.

АЛАТЫРЬ

1. От грибов принаследно

На том самом месте, где раньше грибы несчетно сидели кругом ала̀тыря-камня, — тут нынче город осел.

И у жителей тех, видимо дело — от грибов принаследно, пошло плодородие прямо буйное. Крестили ребят оптом, дюжинами. Проезжая осталась только одна улица: вышел указ — по прочим не ездить, не подавить бы младенцев, в изобилии ползающих по травке.

Так бы и впредь под благословением Божиим городу жить, да вышло такое дело: царь турецкий войною пошел. Народу побили видимо-невидимо. Приехал тут из губернии начальник и строго-настрого приказал: через год — была чтоб тыща младенцев, и больше никаких. Потому — война.

Алатырцы не выдали: поставили тыщу, да с гаком еще. А начальник-то — возьми да и похвали:

— Богатыри! Исполать, мол, вам.

Ну, с глазу, конечно, и съел. Перестали в Алатыре мужние жены детей приносить. А еще того хуже: как вот рыба в реке переводится — так перевелись в Алатыре все женихи. И пошло, и пошло неплодие.

Срам обуял неслыханный: вековуши — в Алатыре, а? Сроду того не бывало. И не то, чтобы как, а и в самых в первых домах; у протопопа соборного — раз, у Родивона Родивоныча у инспектора — два, у исправника... Уж на что исправник сам, и у него на руках — Глафира.

А ведь только поглядеть на Глафиру: ростом высошенька, волос русый, глаз сверкучий, вся наливная — как спелая рожь. На рояле Глафира может: Касту Диву, Дунайские волны. И такая, поди ж ты, немужней осталась, не нынче-завтра начнет осыпаться.

Целый день в исправницком доме кукушкой кукует гулко тоска. А чуть засинеет вечер — Глафира к окну: напротив, через дорогу, номера для приезжающих купца Агаркова — не загорится ли там огонек?

Будто — загорелся. Горбоносый, сел кто-то к столу писать. Завтра утром, чуть свет, к Глафире в окошко постучит половой из номеров: «От барина — вам письмо» . . .

И жарко живет Глафира всю ночь. Утром — нету письма. Ну, что ж, стало быть, завтра принесут.

Долго ли, коротко ли, но только в одно воскресное утро — из номеров половой и впрямь заявился с письмом. Запершись в светелке своей, разорвала Глафира конверт.

— «Милостивая государыня. Зная вашу красоту и любезность, осмелюсь предложить вам» . . .

Руки затряслись, буквы запрыгали от радости.

— «. . . . наилучшую рисовую пудру, а также спермацетовые личные утиральники» . . .

В тот день Глафира к обеду вниз не сошла: заперлась в своей светелке, просидела весь день. Вечером в столовой уставилась — и битый час, как пришитая, глядела в клетку с кенарем и с кенаркой (выписал ей исправник из Москвы специально). Глядела, глядела, да вдруг как схватит клетку-то эту, да об пол ка-ак шваркнет: от кенаря с кенаркой только мокро осталось. А уж когда ей исправник слово сказал, что, мол, этак нельзя с подарками, она так раскричалась, растопалась — еле исправник ноги унес.

Исправник с исправничихой держали совет: что такое с Глафирой? С чего девка сбесилась?

— Эка штука, пудры ей предложили. Разве это инцидент? — удивлялся исправник. И все свои брюки подтягивал, все подтягивал: это всегда было у исправника знаком душевного волнения.

А брюки носил исправник на вате стеганые: простудлив был очень, сложения слабого — замухрыш, одно слово. Зато уж исправничиха — женщина росту серьезного, бурудастая, грудастая, а глас у ней — трубный. Как крикнет на мужа, трубным-то гласом:

— Да ты что там мямлишь? Инцыдент, инцыдент . . . Какой ты есть градоначальник, ежели, как дочь свою пристроить, не изобретешь?

Подумал-подумал, Иван Макарыч — и видно придумал что-то: наверх, на исправничиху, поглядел этак гордо.

— Я то? Не изобрету? Очень даже просто: надо Глафирочку на службу определить. С ритуальной, так сказать, целью. Поняла?

Почесала исправничиха в голове спицей.

— А и верно, глядишь. Ума ты палата, Иван Макарыч.

— — —

Сказано — сделано. Ходит Глафира на телеграф, год и другой. А к ритуальной цели — ни на шаг. Хоть бы так, для виду, кто приволокнулся: никого.

Тут Иван Макарыч рукой махнул на Глафиру, на все — и в кабинет заперся. Уж если по правде — так только в кабинете у Ивана Макарыча и была настоящая жизнь. Незабвенные часы тут проводил Иван Макарыч, здесь возникали все великие и многочисленные его изобретения: состав для полнейшей замены дров в безлесных местах; тайна приготовлять не уступающий настоящему искусственный мрамор; особливый способ домашним путем производить отменные стекла для зрительных труб. И, наконец, это многообещающее открытие последних дней: секрет печь хлебы не на дрожжах, как все, а на помете голубином, отчего хлебы будут вкуснейшие и дешевые гораздо. В какой-то книжке старинной откопал исправник этот секрет — и взялся за дело.

Иван Макарыч так полагал: делать — так уж делать на широкую руку, а не то чтобы там. Задешево, по случаю, приобрел восемнадцать пудов муки. А там — пекаря свои, даровые: арестанты из острога. Голубиный — не покупать этот самый . . .

— Пеки, ребята, сыпь в мою голову!

Пекли калачи, пекли. Таскали арестанты, таскали. Сперва в кабинет. Кабинет завалили, вылезли в зал, под рояль, на рояль. А кругом калачей Иван Макарыч гоголем ходит.

В ту пору исправничиха на богомолье была, у Стефана Болящего, у прозорливца. Вернулась, калачи увидала, да как взъестся, трубным то гласом:

— Да, Господи-батюшко! Придумал ведь тоже: на голубином! Весь дом напоганил теперь . . .

— Да ты — на, отведай сперва, а потом толкуй.

— Чтобы я — да этакую погань? Да избави меня Бог, я еще в своем уме. И завтра же чтоб было чисто, хоть за окно. А то . . . знаешь?

Знал Иван Макарыч. Загорюнился, жалко нещечко-то свое кидать вон. Эх, как бы это . . . Подтянул исправник свои ватные брюки раз и другой.

— Бба-а! А Потифориха-то? А ну, Кошкарев, доставь.

Торговала на базаре Потифорна, псалтырь читала, всякую боль заговаривала: от грызи, от срыву, от свербежа, от сглазу, от всего облегчить могла на все руки. На отшибе, в заваляшем проулке, разыскали Потифорну и мигом представили перед исправника. Отмахнула Потифорна поясной поклон: зачем, мол, понадобилась?

— Да что, Потифорна, с докукой к тебе. Калачи, вот видишь? Возьмись-ка на базаре, продай, а уж я . . .

— И-и, отец, нам ли тебе не служить? Только молви.

Петр-Павел рябинник минул, пошли уж студеные утренники. Взяла с собой на базар Потифорна с угольем теплым горшочек и, сидя на том горшочке, торговала три пятницы калачом.

— Э-эх, калачи хороши — для спасения души, поосенькие!

Рядом слепец, с деревянной баклушей, свою присказку ведет:

— Пр-равославные христианушки, от роду-рода-родов, от веку-века веков, солнца кра-асного . . .

А зипун — чередом идет, кто с новой дугой, кто с лыком, кто с поросенком — дешевый калач закупать.

Через три пятницы пришла Потифорна к исправнику.

— Так, мол, и так, расторговалась вашей милости калачами, ни одного не осталось.

Иван Макарыч уж вот как доволен: не для-ради денег, а для-ради чести своей пред исправничихой.

— Ну, Потифорна, проси, чего хочешь, так ты меня ублажила.

— Уж коли милость твоя такая, так нельзя ли, отец, Костюньку мово в люди бы вывесть? В чиновники, то есть. Хороший он малый, да только, вот . . .

— Что — только?

— К сочинениям пристрастен. Сочинения, батюшка, все сочиняет, и день — и ночь, и сидит — и сидит, уж такое мне горе. Да вот, глянь-ка, милостивец.

Покопалась за пазухой, вытащила Потифорна прошение, сочиненное Костюней на случай неизвестного благодетеля.

— Мм... да, скоропись хорошая, — поглядел исправник.

«Прошение. Я обладаю естественной любознательностью ко всему ученому миру, в связи чего решил подготовить себя к литературной службе. И просьба к помощи, в виду неимения аванса прямо посещать училищную скамью.

Моя краткая биография из жизни: я воспитан в кругу нежных забот единственной матери, но не могу отплатить ей тем же, и хотя бы к старости лет ей пожить развязно.

Вот прискорбный факт покинутых сирот. Подпись: Константин Едыткин».

Походил исправник, подумал. Прошение — ничего, забористое, надо бы малого устроить, как-нибудь надо бы...

— Ну, а что, например, ежели мы его на телеграфиста приготовим, а? Глафира моя — она ведь по этой части.

— На телеграфиста? На чиновника? — затряслась Потифорна.

— Ну да, на чино...

И кончить исправник слова не успел, как Потифорна в ноги — кувырь. Только и видать: пучочек седых волос на затылке да куча старушечьего темного платья. Искусница Потифорна — поклоны бить.

2. Кошка Милка исправницкая

Поутру на Покров нашлась кошка Милка исправницкая. Теперь лежала белая Милка в глафириной комнатушке на антресолях, лежала — и молоком кормила своих четырех младенцев. Мурлыкала, жмурилась, вся извивалась белая Милка, сладко терзаемая четверкой розовых ртов.

Так это пронзило Глафиру, так замолилась, вся нецелованная, так запросила грудь касаний нежного рта, что хоть на стену лезь. А стены — гладкие, нет ни сучка, ухватиться не за что.

И вдруг нашла, ухватилась: вспомнила — толковал вчера исправник про какого-то Костю. Господи, может, Костя этот самый... Загорелось — сейчас же, сию же минуту туда поехать.

Для праздника, для Покрова, последний раз грело солнце. В заваляшем проулке мирно купались куры в кучах назолу. Потифорна пред окошком читала акафист Пресвятей Богородице.

И вот — неслыханное дело — загремел тарантас в проулке. Ахнули куры, брызнули из-под копыт, акафист полетел на пол со страху.

— «Батюшки, барышня исправникова! А дом не прибрат, а Коська — обормот чистый»... — кинулась Потифорна к Косте с новым пинжаком. — Да руки-то, оголтень, тьфу... Руки-то суй скорей!

И обернувшись к двери — соловьем тотчас же:

— Ма-атушка-барышня! Радость-то нам какая нынче для Покрова... Костюня, да кланяйся же!

Длинный, как скворешня, Костя нескладно поклонился, на жалостнотонкой шее болтнулась большая голова. Был он похож на только что вынутого из яйца цыпленка: такие же они бывают длинношеие, все к костям прилипло, и качаются.

— «Нет, не он»... — в тоске еще пущей заметалась Глафира около гладких стен. Мелькало в глазах засиженное мухами, как будто небритое море. Мелькал в глазах верхом на белой лошади генерал, разрезанный пополам, как яблоко.

Потифорна совала Глафире в руки какую-то баночку.

— Кофий это, барышня, кофий. Вот сейчас заварю. Пять лет берегла для гостя дорогого, вот погляди-ка сама, какой кофий-то... В Воронеже покупала, где Митрофаний-угодник.

Взяла Глафира баночку. Был на баночке белый лев, похожий на кошку Милку, и какая-то надпись. Невидящими глазами читала Глафира надпись. И раз, и другой, и еще прочитала вслух:

«Сей кофий, по приятности, подобен ливанскому. Но может быть употребляем, как настоящий».

И так это Глафире показалось нестерпимо, жигуче смешно, что закатилась — засмеялась — заихала — полились слезы, и сквозь слезы кричала:

— Кофий, л-ле... лев... Кошка Милка... Милка, Милка моя!

Потифорна тряслась, разливала воду из стакана Глафире на колени. А Костя во всю ширь раскрыл голубые глаза и не чуял, что выкатилась слезинка, повисла светлой каплей на кончике носа. Отдал — все бы отдал теперь — только бы она перестала надрываться, только бы унять ее слезы.

В своем сундучке, под замком, уж два года Костя целомудренно берег тетрадку: ни один живой глаз ее не видал. Была тетрадка озаглавлена: «Сочинения Константина Едыткина, то есть Мои».

И теперь пришел час: без малейших колебаний — так было надо — Костя пошел, вынул тетрадку и положил на колени Глафире... Только бы перестала, только бы утешилась!

И правда: увидала Глафира заглавие — улыбнулась.

— — —

Заниматься к барышне исправниковой Костя ходил по вечерам — с шести. У Потифорны часы — Бог их знает: с той поры, как для лучшего ходу был привязан к гире старый утюг — что-то стали часы лукавить. И так выходило, что Костя до сроку забирался задолго.

— Барышня кушают чай, погоди мало-мале.

В темной прихожей садился Костя на стул. Шепотком повторял про себя урок. Кухарка тащила мимо Кости в кухню ведерный самовар. Темным слоном влезала в прихожую исправничиха. Шарила шубейку на стене — в сени надо выйти — во тьме руками натыкалась на Костю.

— Тьфу-тьфу-тьфу! Сгинь, окаянный, сгинь! Да это ты! Ух, провались ты совсем... Ну иди ж, иди, Фирочка чай отпила.

Костя светлел и лез наверх, в глафирину светелку.

— Ну? — говорила Глафира сердито, сидя перед зеркалом, к Косте спиной.

Недавно Глафира открыла: стала у ней борода расти, может только ей одной и заметные золотые волоски. Плохой это знак: немножко еще, может год, может месяц — и начнут вянуть груди, вся начнет осыпаться, и никогда не узнает того, что знала счастливая кошка Милка.

С сердцем Глафира выстригала по одному волоску, а Костя тачал — от сих и до сих. Все уроки он знал

на зубок, зубрил день и ночь — только чтоб она кивнула головой: хорошо, мол.

И все же один раз было: Костя не мог ответить урока, стоял, как немырь, с покорной улыбкой. В тот раз Глафира торопилась в гости. В одном лифе, сидя перед зеркалом, закладывала старинную прическу: венком на голове — круг русой косы. Держала шпильки в зубах — с сердцем проговорила сквозь шпильки:

— Вше равно, шкажите, пушть идет, отвечает. А то некогда будет.

Костя вошел — и свету не взвидел. Зажмурил глаза и тотчас же не стерпел — открыл. Опять: кружева и розово-нежное что-то, такое, что... Сердце зазябло у Кости, заныло, забыл все слова.

— Некогда тут, а он как... — оглянулась Глафира, хотела прикрикнуть и — рассмеялась. Поняла.

— Подержите мне, Костя, зеркало. Так. А теперь вот сюда. Так. Ну, спасибо, довольно. Довольно же, ну?

Зеркало ходуном ходило. Костя молчал, а рот был растворен все той же, его покорной от века, улыбкой.

— — —

Назначили Косте экзамен наране Успенья. Жарынь стояла. Мух развелось нивесть сколько. Старушку одну — не владела она руками — так изжиляли, что ума решилась старушка.

Трудно было заниматься Косте. Весь иссиделся — как вот, бывает, иссидится наседка: выйдет из лукошка — и шагу ступить не может. Веснушками Костя зацвел, голова стала еще больше, обрезался озябший носик.

— Что, молодой человек, похудал? Какая-такая заела болезнь? — увидал как-то Костю исправник.

— Эк-экзамен, — покорно улыбнулся Костя.

— Э-э, вот оно что! Ну не робей: я сам с почтмейстером потолкую...

Поехал Иван Макарыч к почтмейстеру. Почтмейстер — старикан трухлявый. К новому году выходит в отставку. Из носу сыплет табак — на бумаги, на письма; все уж кличет уменьшительно: очечки, телеграммочка, книжечка разносненькая. Такого Ивану Макарычу улестить — велико ли дело? И улестил.

Скор и милостив был Косте экзамен. И часу не прошло — вышел Костя светел, что новенький месяц. Вер-

нулся домой — в фуражке с желтым кантом, в новой форменной тужурке.

Увидала Потифорна чиновником Костю — в голос как взвоет да в землю — кувырь:

— Сергей Радонеж... угодники вы мои-и! Да разразите же вы меня-а! Чем я вам теперь отплачу-то за Коську?

3. Князь

Бывает, что хозяйка слишком любезная — в стакан чаю набутит сахару кусков, этак, пять: инда поперхнешься от сладости. Так вот и дворянин Иван Павлыч: лицо имел приятное, очень приятное, приятности — все пять кусков. Ходил Иван Павлыч в верблюжьей рыжей поддевке, в сапогах высоких, при часах французского золота с толстой цепочкой. И как Иван Павлыч первым всегда все знал, то принимали его алатырцы именитые очень охотно: тем и кормился.

Теперь проживал Иван Павлыч временно (третий месяц) у отца Петра, протопопа соборного. Очень полюбил протопоп Ивана Павлыча. Каждый день после обеда садились они на диван, именуемый Чермное Море.

— Ну, Иван Павлыч, давай, брат, опять поговорим отвлеченно.

Отвлеченно — про дьявола, стало быть. По этой части протопоп был мастак. Будучи в академии еще ,составил книгу: «О житии и пропитании диаволов». Ту книгу Иван Павлыч усердно прочитал.

— ... А по мне, ваше преподобие, самые благочестивые — болотные черти, потому — семейно живут, неблудно и в муках рожают детей, — заведет Иван Павлыч умильно.

— А-а-а, это хохлики называемые? — обрадуется протопоп, глаза заблестят. — Шу-устрые этакие, знаю, у-ух!... — И видимо, знает досконально: даже покажет какого хохлики росту. И пойдет, и пойдет про хохликов: Ивану Павлычу — только слушай.

Нынче Иван Павлыч огорчил протопопа: поговорить отвлеченно не захотел, вот приспичило ему тотчас после обеда к исправнику бежать по какой-то экстренной надобности.

— Ну, что еще за экстра такая? — поглядел сердито исправник: занимался он в кабинете изобретениями — оторвал его Иван Павлыч.

Дворянин Иван Павлыч в руке держал книжку, вроде паспортной, что ли. Нагнулся и исправникову уху:

— Почтмейстер-то новый... в агарковских номерах...

— Э-е, ну тебя! Это я вчера еще знал.

— Да нет, Иван Макарыч, я не про то. Прописался почтмейстер-то — и представьте... Да что там, вот сами поглядите.

Взял паспорт исправник — обмер: почтмейстер-то новый... князь. Форменный! Князь Вадбольский, женат, разведен, и княгиня проживает в городе Сапожке, при отце своем протоиерее... Хотел исправник спросить что-то, не то про паспорт, откуда князев паспорт достал Иван Павлыч, не то еще что — и не мог от страху.

Ухмыльнулся Иван Павлыч предовольно — и от исправника дальше погнал резвым игрень-конем. Через час все в Алатыре знали про князя-почтмейстера. Вышло волнение великое. Ночь мало кто спал.

«Ежели наш князь разведен и в сам-деле, то ведь... Марьюшка-то наша»... — такие тут вершины мысленные отверзались, что куда уж там спать.

На утро у почты — длинный черед: вдруг всем загорелось марки покупать. Пронзенный десятками девьих взоров — князь шелохнуться боялся. Шелестел шёпот, вился около князя:

— Вид-то благородный какой! Печать-то прикладывает как, а?

— Нет, ты глянь: подбородок-то...

А и верно: в подбородке — вся соль. Так — лицо, как лицо. Скуластое, желтое, с зализами лоб, но подбородок...

Очень, конечно, странно — но подбородка у князя нет и в завете: губы, усы, а потом прямо — юрк под галстук, как будто оно так и надо. И давало это князю вид какой-то прищуренный, даже, сказать бы, коварный.

Мясоедом прошел слух: по утрам стал являться князь на базаре с кошёлкой. Будто вот просто как все, ходил с кошёлкой вокруг капустных вилков, веников из Мурома, наваги мороженой. Нет, тут что-то не так...

— Ходил-то, ходил. Нет, а ты вот скажи, что он купил на базаре? — добивался исправник.

— Гм, купил? Как будто, ничего не купил.

— Вот то-то и оно: ничего ... — исправник торжествовал. — Не затем он и ходил, не покупать ходил, а слушать, да. Слушать, понял?

Слушать? Нет, видно недаром у князя подбородок такой ...

———

Опять без свадеб кончился мясоед. Колеи зажелтелись, затлели. Надсаживалось воронье по заборам, теплынь выкликало. Звонила капель. Пожаловала честная масляница в Алатырь.

У исправничихи — полон рот хлопот: завтра князь-почтмейстер к исправнику зван на блины, князя умеючи надо принять. С чем-то князья блины кушают? Неуж, как и мы грешные, с маслом с топленым, с яйцом, со сметаной, с припекой, с снетком? Нет уж, для верности — надо бы сведущих людей спросить.

— Вот что, Иван Макарыч. Ступай-ка ты к Родивону Родивонычу сейчас и все у него прознай, он человек ведь придворный. Да зови его на блины: разговаривать-то князя кто будет? Да вертайся скорей ... а то — знаешь?

Исправнику хуже это горькой редьки — ехать к Родивону Родивонычу. С того самого года, как получил Родивон Родивоныч портрет и собственноручное письмо — зазнался так, что житья с ним нет. И все ладит — в соборе чтоб раньше исправника к кресту подскочить. Этакой ведь фуфырь!

Смахивал Родивон Родивоныч на старого кочета, и сноровка такая же: все наскакивал.

— Сме-та-на? — на исправника так и наскочил, даже попятился Иван Макарыч. — Про сметану и думать не могите. Фидон: сметана. Исключительно: зернистая икра. А на ужин: бульон, свинья-соус-пикан... и вообще все легкое и французское.

Блины были в четверг. Из гостей был только князь да еще Родивон Родивоныч, испектор. А то все свои. Константин Захарыч-то? Костя-то? Ну-у, он за гостя нейдет: каждый день шляется — какой уж там гость.

Костя сидел на самом конце стола, где стояли запасные тарелки. Выйдет блин неудачлив — с дырой, пузырем, без румянца — сейчас его Глафира сунет Косте:

— Ешьте, ну? Живо ...

Костя брал, чуть касался ее руки, проколотый сладкой болью — хоронился в тарелку, без счету, в сухомятку глотал блины . . .

Исправник — сидел рядом с князем, погибал: надо было ему с князем разговор начать — и хоть бы одно проклятое навернулось слово! Всех высоких лиц исправник робел, а этот еще и какой-то прищуренный.

Молчал и князь. Все почтительно глядели на особенный его подбородок — и никто не видел растерянных князевых глаз.

. . . Князь глазами набрел, наконец, на исправников серебряный погон — и пальцем ткнул радостно.

— А-а у меня, вот, тоже . . .

— Ага, да-да-да, так, так — закивал, засиял исправник.

— . . . у брата, то-есть. Брат в Москве приставом, четыре тыщи в год, без доходов.

Пауза. Исправник тонул.

— Кстати: я вот, знаете, изобрел из голубиного . . . — начал — и сейчас же осекся Иван Макарыч, поймав грозный исправничихин взгляд.

— Лучше уж, батюшка, ты — Родивон Родивоныч, князю расскажи, как получил письмо-то собственноручное.

Родивон Родивоныч — хозяйке поклонился придворно.

— Да, собственно, не стоит . . . Был я на выставке нижегородской. Как человек культурный . . . Проезд ведь от нас — два рубли двадцать. Хожу, значит, все очень прекрасно, одним словом, ком са. Вдруг — генерал. Косу взяли поглядеть — и по пальчику: чик. Ну, значит, кровь. А я — человек в дороге запасливый, ваше сиятельство . . . Вынул из кармана: не угодно ли, генерал, коллодию? А генерал-то был не простой, а можно сказать — вы-со-кая особа! Да вот, ваше сиятельство, письмо-то оказалось при мне слу . . . случайно . . .

Прищуренно князь читал . . . Глядела на него Глафира — никак понять не могла: да что же, да что же в этом лице знакомое — да нет, не знакомое даже, а вот такое . . .

С восьми часов вечера начался съезд: везли дочерей — танцевать с князем-почтмейстером. Какой-то пуганой зверушкой шмыгнул в уголок отец Петр, протопоп: мо-

хнатенький, маленький, как домовой. За отцом, в шелковом черном, гордо прошла Варвара-протопоповна. Торчали черно-синие космы: прибирать волос не умела — глядела Варвара ведьмой. Обнявшись, загуляли по залу восемь штук родивон-родивонычевых. Сел за рояль дворянин Иван Павлыч — все в той же верблюжьей рыжей поддевке. Заиграл — и зацвела, завертелась вся зала.

Князь один стоял у печки, немножко боком. И на белом кафеле было так четко лицо, коварное, без подбородка, нос с чуть заметной горбинкой...

— Горбоносый! — чуть не крикнула вслух Глафира. Бросилась к князю. Тяжело дыша, крепко стиснула князеву руку — будто после долгой разлуки встретились наконец.

Глафира танцевала с князем, блаженно закрыла глаза. На стульях у стен девья орава — завидущая — шелестела, шептала. Ласково-зло улыбалась Варвара-протопоповна.

— Князь, — наскакивал Родивон Родивоныч, как кочет, — с вами хотят быть знакомы... мои, вот... восемь, — конфузливо кончал он, очень стеснялся восьми: человек он почти что придворный, и вдруг — восемь!

Падал князь огорошенный градом девьих имен, и к одной — счастливице — наклонялся:

— Угодно вам вальс?

Танцуя, князь наступил на хвост своей даме. Пришлось выйти из круга — как раз это случилось у рояля, и вострым своим ухом услыхал Иван Павлыч конец разговора:

— ...Одеколоны — вот это я очень уважаю. Цикламен вот, и еще... как бишь? Корило... корилоспис, — с трудом вспомнил князь.

К ужину, все доподлинно было известно: что князь — развратник, у него — одеколоны, и вообще — человек он темный.

— По-ми-луй-те? Гонял с девками целый вечер... что-о ж это? — с попреком качались седые букли.

Зато — девицы в восторге:

— Семь одеколонов, и на всякий день — свой... Уж видать: настоящий декадент (произносится: дѣкадѣнт).

За ужином, после свиньи-соус-пикан, исправник выпил сантуринского, посмелел и, твердо глядя князю в глаза, произнес, наконец:

— Кстати — я изобрел отменно-дешевый способ производить хлеб . . .

Князь задумчиво поглядел на Ивана Макарыча.

— Но что все изобретения для народов, покуда не будет у них общего языка?

Сказано это было раздельно и твердо. Все разинули рты: языка-а? Ка-ак? И окончательно утвердилась таинственность князя.

За ужином рядом с Глафирой — сидела Варвара. Обнимала Глафиру за талию, ласково-злыми глазами глядела, медовые речи вела.

А когда у себя в светелке Глафира стала раздеваться на ночь — на кисейном платье увидала сзади дыру: выхвачен ножницами изрядный косяк. Сразу смекнула Глафира, кто. Сердце зашлось от злости на Варвару. Может оттого и заснуть никак не могла.

Встала. Приложила к стеклу к холодному лоб. Напротив, через площадь, в агарковских номерах, в окне теплел огонек. Схватила бинокль, прильнула — и вся заколыхалась под тонким мадаполамом, как рожь от ветра: у стола, раздетый, сидел князь, писал. Но что же, что? Ночью, в три часа . . . Наверное, завтра придет из номеров половой . . .

Князь писал письмо в город Сапожок. В правом углу на бумаге была вытеснена коронка.

«Милая Лена. У меня от подъемных еще остался 21 ру. Не надо ли тебе? Потому что здесь — жизнь очень простая, яйца лутшие — 18 копеек, я скучаю и мне денег не надо. Кланяйся Васи, я сердца на него не имею, лишь бы ты была счаслива».

4. Молитвы

Костя за ужином не был. Исправничиха ему сказала:

— Константин Захарыч, ты у нас свой человек . . . Не прогневайся уж, стульев нехватка.

На нет — нет и суда. Костя не обиделся. Жалко только было отрываться от Глафиры: нынче Глафира — в белом платье — была совсем замечательная, прямо вот . . . божеская. Ну, тоже и князь, еще бы на него поглядеть.

Каждое мание князя — нравилось Косте, каждое слово его ловил. А когда услышал про одеколоны его —

тут Костя уж совсем восторгнулся, закипели стихи в голове.

Пришел Костя домой — первым делом к укладке, вынул тетрадь — и сразу, с присеста, напечатлел:

«Наш новый господин почместер,
Замечательный человек.
А по мне раз в десять
Умнее тут всех.
И когда мне представлялся,
То мне рукопожал.
Я восхищался,
И навек его уважал.

Потифорна ждала Костю с блинами. Мигом сварганила огонь в печке, первый, румяный, блин полила маслом, поставила Косте. Стал, было, Костя некаться: сыт уж, довольно.

— Господи-батюшка, уж теперь и лопать не хочет у матери у родной. Загордился уж, а? А не я ли тебя, поганца, и в люди-то, в чиновники вывела, а?

Не сговорить с маманей. С покорной улыбкой — Костя снова ел блины, без счету: кипели еще стихи в голове — до счету ли тут было?

А на утро — катался по полу Костя, помирал животом. На почту не пошел: куда уж. И все хуже да хуже.

К прощеному дню — Костя обрезался, совсем посинел. Потифорна на своем веку покойников без числа поглядела, глаз наметался. С базара пришла, увидала Костю такого — как взвоет. Да скорей за отцом Петром: хоть бы христианской кончиной-то помер Коська.

Пока Потифорна ходила — Костя лежал один. Умирало сердце. В окно — бабочкой нежной билась заря. Где-то звонили, над завалящим проулком колокол плыл — печальный, как лебедь. В какую-то секунду Костя понял, что конец и что надо — нужнее жизни — увидеть Глафиру и сказать ей все.

Потифорна вернулась одна, отца Петра не застала дома. И тотчас строгим шопотом Костя велел мамане сбегать к исправнику и позвать Глафиру.

Пошла Потифорна, как не пойти. Пошла, хоть и кропталась, утирая слезы: нет бы за доктором или за попом, а он за вертихвосткой за этой посылает!

И когда возле себя увидел Костя ее — Глафиру, единую, божескую, — сдвинулся в нем какой-то столетний камень, и забил из-под камня из самой глуби хрустальный ключ: всего напоил, утишил, исполнил. Тихонько взял Костя глафирину сладкую руку:

— Теперь... я должон сказать... Помираю, блинов объелся. И теперь вот... Нет, не могу я про это сказать словесно!

От жалости вся сморщившись, Глафира сказала:

— Ну, что вы, Костя, зачем? Вы ведь знаете, что я вас тоже... зачем говорить...

Костя улыбнулся прозрачно-покорно: теперь — хорошо помереть. Туман... Туманом заволокло Глафиру, последней ушла она от Кости. Конец, тихо все, сладко — и если б только маманя не брызгала в лицо водой... Но Потифорна все брызгала: Костя открыл глаза еще раз...

— — —

Так бы может Костя и помер, да втесался тут отец Петр — с баклановкой со своей: баклановка у него была — ото всех болезней помога. В баклановке первое — конечно, водка, всем лекарствам мать; а в водку — красный сургуч толченый положен, да корень-калган, да перцу индейского красного же, да еще кой-чего, что берег в секрете отец Петр.

С баклановки ли с этой огневой или просто с радости великой — стал Костя живеть помалу. На Крестопоклонной встал с постели: еще ветром качало, зеленый, длинный — скворешня живая; костин озябший носик — усох, стал еще меньше, еще жалостней.

Потифорна первым делом Костю поперла к отцу Петру, благодарить за баклановку.

— Ну-ну-ну, чего еще там, — замахал отец Петр на Костю. — Поговей постом — вот и все. Ну-ну, иди с Богом.

Протопоп сидел в углу — усталый, после обедни постовской; мохнатенький, темный — в угол забился. Несть числа у него в соборе говельщиков было. Кликали колокола целый день, шел тучей народ. С любострастием вспоминали все мелочи куриных грехов; медленный, мешкотный шёпот в уши лез без конца.

Уходил протопоп из собора — будто медом обмазан и вывалян весь в пуху: мешает, пристало по всему телу.

Одно только спасенье было: придя домой — выпить рюмку баклановки.

Перво-наперво после той рюмки — пойдет тончайший туманец в глазах, и все денное, налипшее, гинет. Тихо — не спугнуть бы — пригнувшись, сидит отец Петр. А протрет глаза — и уж ясно видит, настояще, яснее в сто крат, чем днем.

Тотчас за окном — веселая козья морда кивает:

— Здравствуй.

— Ну, здравствуй, ишь ты нынче какой!

В таком виде — любит их отец Петр. Вот если они принимают человечий зрак — нашей одежи не любят они, больше все голяшом — ну, тогда уж . . .

Приятную беседу с козьей мордой ведет отец Петр, пока не заслышит: Варвара идет. Тот — дирака́, конечно: в одноножку, в прискочку, как малые ребята бегают. И видно отцу Петру: тряско подскакивает левое его плечо на бегу.

А голова у протопопа работает ясно-преясно:

— Не от рюмки же это, всякому видно: дело не в рюмке.

Когда подходила Варвара — глаз не открывая спрашивал протопоп:

— Это ты, Собачéя? — и явственно видел у Варвары зубы — злые, собачьи, черно-синюю шерсть.

— Что же мне с тобою делать? Опять ты? — кричала Собачéя злая, кусала отца Петра: в руки, преимущественно, и в ляжки.

На утро, за чаем, заплаканная — говорила:

— Какая я тебе Собачéя? Ты что на меня возводишь?

Засучивал рукав отец Петр и показывал на руке:

— А это, а это — что?

И глядит-не глядит Варвара, заладила свое:

— Знать ничего не хочу, к доктору надо тебя. — К доктору, хм . . . Нет, тут доктор не сведущ.

— — —

В Великий Четверг — Варвара в лотке купалась на кухне, Иван Павлыч по городу шлындал, отец Петр сидел один.

И опять — тот же самый пришел, коземордый, и никто уже не мешал: всласть наговорился отец Петр. Очень интересные вещи рассказал коземордый, и между про-

чим, что у них уж начинает распространяться истинная вера и уж он, коземордый, по истинной вере пошел.

Так протопоп обрадовался — просто нету и слов. Вечером, на стоянии, между евангелий, все думал протопоп:

«Ну, слава Богу, истинная вера пошла и там. А то жалко их было — беда» . . . — радостно бил протопоп поклоны за истинную веру.

И еще одна в соборе курилась к Богу радостная молитва: Кости Едыткина. Благодарил он за все огулом: и за то, что сподобился он таланта — стихи писать; и за чин четырнадцатого класса; и самое главное — за то, что он стоял сейчас рядом с Глафирой.

В соборе свет, свечи у всех. Протопоп вычитывает Страсти не спеша, истово. Костя в новой тужурке, сердце полно. Глаза опустив, сладко видеть глафирину милую руку; наклеивать, как и она, метинки на свече — евангельям счет; уколоться украдкой о теплый локоть . . .

От стояния несли домой четверговый огонь. Людей в теми не видать — только огоньки текут. Вот уж в заречье — свернули в проулки — загасли. Тихо.

Костя прикрывал свечу фуражкой. На росстани трех переулков взглянул на Глафиру, все забыл, забыл про свечу — и задуло ветром огонь.

Попросил огня у Глафиры. Дрожали руки, долго не мог попасть. И когда, наконец, зажег — сладко сжалось сердце у Кости: предвещаньем каким-то, навек нерушимым, было соединение их свечей. И огненному знаку так крепко поверил Костя, что нагнувшись к Глафире спросил:

— А когда же . . . свадьба?

Раздумчиво поглядела Глафира куда-то мимо Кости, ничего не сказала.

5. Великий язык

Дворянин Иван Павлыч — стал у князя доверенным человеком: от Ивана Павлыча и пошел тот слух, что на Пасхе объявит князь свою тайну и всех пригласит.

— Да к чему пригласит-то?

— А вот, погодите маленько, все объяснится, — с ехидной приятностью отвечал Иван Павлыч.

Еле дождались Пасхи. День выпал на славу. С утра сусальным золотом солнце покрыло Алатырь — стал го-

род — как престольный образ. Красный трезвон бренчал серебром весь день. Веселая зелень трав расстелила сукно торжественной встречи. И напротив самых присутственных мест — топтала сукно свинья . . .

Князь с визитами ездил задумчив: хорошо бы и правда — в такой день святое дело начать . . . Но все разговелись усердно, везде на столах травнички, декокты, наливки, настойки; где уж там серьезный разговор завести?

Последняя у князя надежда была — на отца Петра: отец Петр способен — от мира сего вознестись к возвышенному. Несомненно, способен: человека по глазам — сейчас видно.

Так рассуждал князь, подкатывая на линейке к отцу протопопу. Откуда не возьмись — свинья. Хрюкнула зло на лошадь, лошадь — шарахнулась, ляскнул зубами князь, еле усидел. Вошел к протопопу расстроенный.

— Отец по приходу ходит, — вышла к князю Варвара. Повертела лампу в руках, но не зажгла почему-то.

Только тут князь приметил: а пожалуй, ведь поздно. За окном взошел месяц, ущербленный, тусменный, узкий. И таким увиделось небо жутко-пустым, таким замолкшим навек, что схватило горло, хоть вой . . .

Молчать было жутко. Насильно улыбнул себя князь:

— Я, знаете, к вам на живейном ехал. А на лошадь — свинья кэ-эк хрюкнет . . . Свиньи у вас борзые какие!

Варвара молчала, глядела в окно на месяц.

— И все у вас какие-то заборы, пустоши, пустоши, собаки воют . . .

Варвара прикрыла лицо руками и странно сползла со стула на пол. Князь испуганно встал.

— Не уходите . . . Нет! Нет! — закричала, забилась Варвара.

Такие у ней были глаза, такая жалость заныла в князе, что не было сил уйти. Сел снова на стул.

— Вот, скоро надеюсь . . . Начнем общеполезную работу . . . — забормотал князь, отвернулся: стеснялся глядеть на Варвару, такие у ней глаза . . .

Показалось, что-то трется у ног — протопопов пес — как же он с двора . . . Глянул, а у ног на полу — Собачéя-Варвара. Ласково скалила собачьи зубы, глазами молила: «Ну, если не хочешь, ты хоть ударь — хоть ударь», терлась о ноги . . .

Охнул князь, отпихнулся, выскочил без шапки на площадь. Припустился бежать. Да нет, тут что-то не так... Оглянулся: в протопоповых окнах темно. Но в одном темном — или это кажется только? — в темном мечется белое, как мел, лицо...

— — —

Красная Горка — свадебный день, а в Алатыре не слыхать ни свадебных бубенцов, ни веселопечальных пропойных песен.

— Нет женихов, и все тут... — жалобился князю исправник, сдавая заказное письмо.

— А вы бы их... тово... поощрили властью от Бога данной.

— Я бы рад, да не знаю, как. А то бы... вас первого поощрил, — вдруг, насмелевши, брякнул исправник.

— Что ж, я... я жениться не прочь, — сконфузился припертый к стене князь.

Мимоходный этот разговор, конечно, стал известен всему городу; вновь воспрянули надежды на князя. И когда в пятницу на Фоминой получены были письма от князя с приглашением собраться на почте к восьми по самонужнейшему делу, так все валом и повалили: весь именитый Алатырь собрался.

— Господа! По евангелию... — у князя дрогнул голос, — несть ни эллин, ни иудей, ни кто там. Все — одно стадо. А что же мы, господа?

Князь строго поглядел на всех. Кто-то сокрушенно вздохнул.

— В стаде — разве по-разному блеют? А мы — кто по-каковскому, всяк по-своему. Отсюда и война, и всякая такая дрянь, а ежели бы как стадо... На одном на великом языке эсперанте весь мир — то настала бы жизнь прекрасная и всеобщая любовь... До последнего окончания мира...

— Господа, а мы-то... Мы давно подумывали, богадельню или бы что. И вдруг — прямо, то-есть, в самую точку... — растроганный исправник полез целоваться к князю.

А за ним и все зашумели, затеснились к князю, умильно зарились на него, как коты на сметану, с любострастием лобызали небритую князеву щеку.

Оказался у князя полнехонек лист подписей. Больше всего тут было девьих имен. Но отрадно, что обнаружилась жажда знаний и во многих почтенных, немолодых уже людях: записался исправник, Родивон Родивоныч, Левин — аптекарь, отец Петр — протопоп, дворянин Иван Павлыч. Князь был донельзя доволен.

Никогда еще в Алатыре не было такого страдного лета. Бывало, румяным летним вечером всяк прохлаждался по угожеству своему. Кто подородней — в чем мать родила попивал квас в садике под яблонькой; кто поприлежней — сидел над синим омутом, выуживая склизких линей; кто посмирней пред супругой — исправника взять — на крылечке исправник чистил вишню-владимирку для варенья.

А уж нынче каюк житью прохладному. Как отзвонит в соборе восемь часов, тут какая погода ни будь, соловьи от натуги хоть тресни, а надо идти к князю на учебу. И только в Алатыре трое дурных — в охотку бегут учиться: Костя Едыткин, Глафира исправникова да Варвара-протопоповна.

Костя являлся на уроки неизменно первым. Ревниво стерег он свое сладкое место — рядом с Глафирой. Приносил глафирины тетрадки, клал их от себя по правую руку, садился и долго ожидал в тихой теми.

— «Глафира — супруга моей жизни, это уж нерушимо. А после ней первый человек — господин почместер, в связи его международного языка. Ежели стихи пропечатать на международном языке, так это уж будут знать во всем мире . . .» Хорошо — в теми помечтать!

К девяти полыхают все лампы, к девяти — многолюдна почта, больше всего барышень. Шушуканье, шелест шелковых лент, миганье тайных зеркальцев, зависть змеиная к этим бесовкам — к Глафире да к Варваре: всегда на зубок все знают, так и чеканят.

— Полюбили, некстати больно, науку . . .

— Зна-аем мы науку эту самую, зна-аем!

Родивон Родивоныч ходил печальный, жаловался:

— Жизнь-то на старости лет какие преподносит нюансы . . . из трех пальцев . . . Сиди вот с тетрадкой. А главное при моем почти что придворном звании . . . Не-ет, я брошу!

А бросить — с князем рассор на век, прощай все на-

дежды. Нет уж, видно, единородных своих ради придется терпеть.

И крепились, терпели отцы. Кряхтя, косоурясь на князя, ладили все примоститься поближе к Глафире, либо к Варваре.

— Leono esta forta. La denta esta acra... — расхаживая, громогласно диктовал князь и нарочно крал окончания слов: пусть поупражняются... Счастливым светом сиял его странный, бесподбородочный лик: князь святое дело творил, князь сейчас был первосвященником. Вот еще немножко, лет десяток-другой, и наступит всеобщая любовь.

Проходя мимо Ивана Павлыча, князь приметил:

«Какой у него хороший, внимательный взгляд»...

Внимательным взглядом проводил Иван Павлыч князя, тотчас привстал и запустил глазенапы в тетрадку к Глафире — Глафира впереди сидит:

— Esta — эс на конце, acra — эс на конце... шептал Иван Павлыч исправнику.

— Да не слышу же, ч-чёрт! Громче... — кипятился исправник.

Но князь уж повернулся — и вмиг все гладко и тихо: исправник — над своей тетрадкой; как урытый — сидит Иван Павлыч, с приятностью на лице...

6. Епархия зелененькая

В родительскую субботу — Мишка, бывший столяр, а нынче просто алахарь, бегал по городу с клейстером и клеил афиши на фонарных столбах, на бесконечных заборах. Посреди афиши били в глаза крупные буквы:

А ТАКЖЕ
ИЗВЕСТНЫЕ АНГЛИЧАНКИ СЕСТРЫ
ГРѢЙ.

Из губернии приехали — показывать туманные картины. Укланяли князя: отменил князь урок всемирного языка, и всем карагодом повалили глядеть эти самые туманные картины.

Как-то случилось — оттерли Костю в проходе, и не спопашился он занять себе местечко рядом с Глафирой: с нею сел князь, а Костя — позади. Рядом с ним оказался дворянин Иван Павлыч.

Хотел Костя загорюниться, что Глафира — не с ним, да не успел: вылезли на полотне, завертелись, зажили, залюбили полотняные люди.

... Неслышно, как кошка, красавица крадется на свиданье к маркизу. Сейчас вот, сейчас, ступит на секретную плиту, сейчас — ухнет плита, глонет красавицу подземелье.

Костя вскочил — может быть, чтобы крикнуть красавице про плиту.

Иван Павлыч осадил Костю вниз за рукав. Но это все равно: красавица видела, как махнул ей Костя рукой, миновала проклятое место.

... И вот — вдвоем. Долго ей смотрит в глаза — маркиз, или князь он? — и они медлелнно клонятся друг к другу, вот — близко, вот — волосы их смешались.

Вдруг Косте показалось, что вовсе это не на полотне, а Глафира и князь: клонятся, клонятся, прижались щекой к щеке...

Мрет сердце у Кости, протирает глаза: приглазилось только, или...

Но мигнувший миг — уже не поймать: ярко загорелись лампы, ждет новых людей полотно, Иван Павлыч смеется:

— Хи-хи, чудород-то какой наш Костя: красавицу полотняную увидал — и вскочил. Побеседовать, что ли, с нею хотел?

— Да ведь он же — поэт, поэту — все можно, — заступилась Глафира, она стояла о-бок князя, очень близко.

«Конечно, попритчилось, приглазилось все»... — решил Костя по дороге домой. Но червячок какой-то самомалейший — не слушался слов, точил и точил...

— — —

В ночь на Покров пошел шапками снег. Выбежал Костя утром — нет ничего: ни постылого проулка с кучами золы, ни кривобокой ихней избы. Все белое, милое, тихое — и какая-то нынче начнется новая жизнь. Не может же быть, чтобы стало так — и чтобы все попрежнему было?

На Покров Костя обедал у исправника. После обеда сидели в гостиной. Дворянин Иван Павлыч — что-то пошушукался с Глафирой, взмахнул рыжей поддевкой

— и подсел к Косте. Разговор повел с приятностью, тонко:

— Вязь-то какая прекрасная, а? Прямо талант, дар Божий... — Иван Павлыч любовался вязаной салфеткой. — А-а... вы, говорят, тоже... тово... пишете? — повернулся он к Косте.

— А вы — откуда же... откуда же вам известно? — покраснел от радости Костя.

— Как откуда? Про вас в журналах пишут, а вы и не знаете... — и протянул Иван Павлыч Косте свежий номерок Епархиальных Ведомостей.

В самом конце, после «печатать разрешается», были три неровные строчки: «Что же касается стихотворений молодого писателя Едыткина, то таковые мы считаем отнести к высшей литературе».

Хотел что-то сказать Костя, но схватило за горло: стоял совершенно убитый счастьем. Где же Косте узнать, что напечатаны эти три строчки в типографии купца Агаркова по личной Ивана Павлыча просьбе?

Ночью Костя — и спал, и не спал. Глаза закроет — и сейчас же ему видится: будто он над епархией все летает, а епархия — зелененькая и так, невеличка, вроде, сказать бы, выгона. И машут ему платочками снизу: знают все, что летает Константин Едыткин.

Ну, теперь уж, хочешь — не хочешь, надо писать. Предварительно Костя перечел еще раз Догматическое Богословие — самую любимую свою книгу, потому что все было там непонятно, возвышенно. А потом уже засел писать серьезные сочинения в десяти главах: довольно стихами-то баловаться.

Писал по ночам. Потифорна самосильно посвистывала носом во сне. Усачи-тараканы звонко шлепались об пол. В тишине — металась, трещала свеча. В тишине — свечей негоримо-горючей Костя горел. Писал о служении женщинам; о любви вне пределов, вне чисел земных; о восьмом вселенском соборе, где возглашен будет символ новой веры: ведь Бог-то, оказывается — женского рода... Так близко сверкали слова, кажется — только бери. Ан глядь — на бумаге-то злое, другое: уж такая мука, такая мука!

В вечер Михайлова дня — Костя публично читал свое сочинение в гостиной у исправника. Бледный, как месяц на ущербе, покорно улыбнутый навеки, стоял — трепе-

тала тетрадка в руках. Поглядел еще раз молитвенно на Глафиру...

— Ну, господа, тише, тише, сейчас начинает, — суетился Иван Павлыч, как бес.

В тишине, чуть слышно прочел Костя:

— Заглавие: «Внутренний женский догма́т божества».

Неслышно-взволнованно горели лампы. Чужим голосом читал Костя. Публика глядела в землю, и не понять было, нравится ей костино сочинение, или нет.

Костя дошел до второй главы, самой лучшей и самой возвышенной: о восьмом вселенском соборе. Голосом выше забрал, вдохновился, стал излагать проект всеобщей религиозно-супружеской жизни.

Тут вот и прорвало. Не стерпев, первым фыркнул исправник, за ним — подхватил Иван Павлыч, а уж там покатились и все — и всех пуще звенела Глафира.

Проснулась исправничиха, брыкнула свой стул со страху:

— Да что ж это, батюшки, где загорелось-то? — смех еще пущий.

...Как заяц, забился Костя в запечье, в спальне исправницкой. Голову, голову-то куда-нибудь, главное, спрятать. Голову-то хоть спрятать бы!

Старинным старушечьим сердцем одна исправничиха пожалела, одна разыскала, одна утешала Костю.

— Да что ж это, батюшка, чего ты сбежал-то? Ты думаешь, что? Это ведь я со сна чебурахнулась вниз головой, надо мной грохотали, старухой, а ты думал, что? Экие гордецы нонче все: уж сейчас на свой счет...

Костя поднял голову, Костя хватался за соломинку, глазами молил о чем-то исправничиху.

Услыхала исправничиха, уткнула себе в колени костину голову:

— Иль мне уж не веришь? Я не Иван Павлыч какой-нибудь, я обманывать не стану.

— Я ве-ерю... — захлебнулся Костя слезами.

7. В серебряные леса

Вышла зима больно студеная, такой полста лет не бывало. Обманно-радостное, в радужных двух кругах, выплывало льдяное солнце. От стыди от лютой — напополы треснул древлий алатырь-камень.

— Ну-у, быть беде, — крушились алатырцы.

А пока, до беды, засели покрепче в мурьях, еще пуще предались сновиденной жизни — всякий своей. Исправник изобретал; Родивон Родивоныч — выписал «Готский Альманах» и услаждался; Костя горестно вернулся к стихам; протопоп отец Петр беседовал с своим коземордым; все тем же горбоносым горела Глафира; а князь проповедывал великий язык эсперанто . . .

Что-то рассохлось, разладилось дело у князя. Все чаще на почту приходили кучера — с усами в сосульках — и вручали князю записки: не могу, мол, быть на уроке по случаю внезапной болезни. Вовсе отстал Родивон Родивоныч, не стерпел — исправник отстал, поредели ряды девиц. Князь понял, что надеяться можно только на двух: на Глафиру — да еще на Варвару. Вот уж эти, действительно, любят великий язык: так и чеканят, так и тачают друг перед дружкой. Улыбался князь то одной, то другой.

— От-лично, пре-красно . . .

Глафира и видеть теперь не могла Варвару. А Варвара, черносиневолосая, с ласково-злой улыбкой все лезла к Глафире, все норовила обнять. Не стерпев, однажды Глафира сказала:

— Ты что лезешь? Думаешь, я не знаю, Кто мне на масляной платье прочекрыжил? Зна-аю, голубушка, знаю!

— А я, думаешь, не знаю, как ты себе бороду на подбрюдке стрыгешь? Штe, съела?

С той поры — ни слова: конец. И только при встречах, как гуси, зловеще шипели . . .

После уроков усталый расхаживал князь по почте. Трудно, ох, как трудно! Но все-таки на один день ближе к тому празднику, к той светлой Пасхе, когда кликнут все на одном языке, запоют и обымут друг друга, и кончится старая жизнь.

На полу — окурки, крошки (ученикам полагался ситный от почтмейстера и чай), шпильки, бумажки. Князь рассеянно подымал, разглядывал. Рожи, росчерки. «Кн. Екатерина Вад.». «Катька, ты дура набитая». «А я его все-таки обожаю». Попадались часто записки отца Петра — к соседу его по урокам аптекарю Левину . . . «А вчерась явился он мне телешом. Это уж пакостно даже

глядеть. Не ведомо ли вам какое-либо от искушений медицинское средство?»

Но все это так, пустяки. А вот последнее время в самом деле, какие-то странные пошли записки. Находил их князь на своем столе, под подушкой, в карманах: Бог их знает — как туда попадали. Чуть-чуть надушены были эти записки и всегда — на великом всемирном языке.

— Mi amas tin, amas, amas — — a . . . a . . . a . . . — amas — подряд без конца. Нарочный, изломанный почерк.

Под великим секретом — показал князь Ивану Павлычу, Иван Павлыч кряхтел, и без лупы разглядывал, и в лупу:

— Исправникова Глафирка, голову даю на отсечение! Кому же еще по-эсперанту так ловко?

А на завтра — новое князю:

— «Милый, милый — я тебе всё» . . .

И конец. И молчок. Расхаживал князь, счастливый.

— «Милый, будет ночь, темно, и все, что велишь» . . . — и конец, и ни слова.

Кто научил ее так — лукавому знать. Будто вот плясала перед князем, вся в черном. Вдруг откинула складки — сверкнула на черном розово-нежно. И конец. И снова колышется тяжелый покров, и манит, и манит без конца глядеть, не мелькнет ли еще . . .

Длинным вьюжным вечером смотрел князь в узорноморозные окна, потихоньку бродил меж серебряных деревьев — и все возвращался к одному: к неска́занному, к мелькнувшему. Ее — никогда не называл князь: Глафира — как Иван Павлыч, а всегда говорил: о н а.

Неприметно и плавно как цветы расцветают, она медленно зрела из исправниковой Глафиры — и вот, в декабре она уже стала жить самолично, сама по себе.

Попрежнему все записки от нее написаны были на эсперанто: получи теперь князь от нее хоть слово по-русски — он счел бы это противоестественным, был бы даже оскорблен. По-малу связал ее князь с великим языком воедино.

Всякое эсперантское слово — теперь вдвойне сладко князю: ведь это — ее слова. В ее синих, глубочайших глазах — пленен весь мир. И равно — всем миром владеет язык эсперанто . . .

«...Да что — всем миром: всей вселенной. На Венере какой-нибудь, венерические тамошние жители — тоже, поди, эсперанто знают. А как же? Обязательно знают».

Так мечталось князю. Так все дальше в серебряные леса уходил князь от скучной правды. Бывшей правде, княгине, проживавшей в Сапожке у отца своего — протоиерея, князь давно уж и писать перестал. Избегал он и Глафиру видеть с глазу на глаз: может и правда — Глафира пишет записки, но не надо это з н а т ь.

— — —

Вечера князь просиживал дома, а заполночь — шел гулять. Ночью удобно думать: пустые, просторные, снежные улицы, влекущие огни лампадок в окнах, бродил и бродил.

...А следом за князем, темной тенью у стен крался Костя. Тенью за князем Костя следил теперь и денно, и нощно: надо узнать наверняк, что́ у него с Глафирой. Хоть самое... хоть самое страшное, да только бы наверно. Без наверного — совсем невтерпеж. Глафире хоть Костя и верит — как же не верить-то, Господи? — но вот Иван Павлыч говорит, что она...

Дворянин Иван Павлыч — добрейшей души человек, но есть за ним грех: медом его не корми, только бы над кем шутку сыграть (над ним самим-то — больно много шутили).

В запрошлом году — Иван Павлыч подъехал к Агаркову-гостинику, к градскому голове: подпали да подпали амбар агарковский старый.

— Во-от, не верит, чудак! — улещал купца Иван Павлыч. — Страховые за амбар огромадные, новый-то амбар возведешь вдвое ширьше...

У Агаркова борода лопатой, а ума не богато: поверил Ивану Павлычу, запалил свой амбар. И самое когда это подпаливать стал, нагрянули тут, раба Божия — под белые ручки да на цугундер. Дорого купцу новый амбар обошелся: куда там — страховые! А уж кто это начальство уведомил — Агарков так и не дознался. Сам Иван Павлыч повинного взялся искать, ну даже и он не нашел.

А то вот еще с чиновником Зюньзей случай был. Смеха для — проказник какой-то подметное письмо настро-

чил чиновнику Зюньзе: так, мол, и так, жена-то твоя тово... кургузит, а ты, мол, и ухом не ведешь? И на завтра чиновник Зюньзя выволок молодую наружу и при всем честном народе стал ее учить. А народ — как будто был повещен, без числа собрался: уж было потехи!

— ...Да, брат Костюня, Глафирочке твоей нынче аминь! — подзуживал Иван Павлыч, подталдыкивал Костю. — Нынче в четыре часа пополудни — решительное свидание... Чуда-ак, да ведь князь мне записку показывал, как же не знать-то? У алатырь-камня свидание, и оттуда — ау: самокруткой, да к князю на почту, так-то-с вот.

Костя покорно плелся к алатырю-камню. В синих сумерках бродил Костя час и другой. Тихо сыпался снег. Тихо точила тоска. Рассевшийся наполы темный алатырь — вещал беду. Навалился алатырь — сонный медведь — под себя подмял: продыхнуть невозможно.

Никакого свидания, никто не приходил. Поздним вечером Костя весь замерзший, тащился на почту: там теперь, в боковушке, жил Иван Павлыч.

— Ну что, брат Костюня, никого? Эх, ты, Господи, стало быть, ослышался я: это завтра... Эх, я какой!

— Это вы нарочно все, Иван Павлыч.

— Это я-то нарочно? Я ему по дружбе, а он на-ка: нарочно. Эх, Коська, не знаешь ты, какой я есть, Иван Павлыч...

Ставил Иван Павлыч бутылку на стол. Костя пил. Едучим дымом застилался весь свет, и в дыму возникал светлый лик владычицы, сладкой мучительницы, Глафиры.

Посыпая тетрадку слезами, декламировал Костя:

В моей груди — мечта стоит,
А милая Глафира — ко мне презрит...

Выпивши, Костя спал, как убитый. Но не было покоя и во сне. Просыпался все один и тот же, несуразный и будто ничего не значащий сон: забыл, будто, Костя, как его зовут, забыл — и весь сказ, и весь страшный сон тут. Но таким стоном охал Костя во сне, что Потифорна принималась его будить. Оно хоть и жалко — будить, но слушать стон — еще жальче.

8. Святочные происшествия

Господи, да ведь нет ничего проще, как из обыкновенной холстины — приготовить наилучшее непромокаемое сукно. Удивительно даже, как раньше Ивану Макарычу это в голову не пришло: давно бы двести тысяч в банке лежало.

Заперся в кабинете Иван Макарыч и сел записывать, пока не забыл:

«Для сего надо в первую очередь изрубить возможно мелко потребное количество высшего английского сукна. Засим холстину намазать клейким составом, который содержит: во-первых, двенадцать долей именуемого в просторечии сапожного вару . . .»

Построил Иван Макарыч непромокаемое сукно — и решил оказать всенародно свое великое изобретение. На святках, на третий день, поназвал исправник гостей, позажег в кабинете лампы со всего дому. Кошкарев, околоток, в белых перчатках, высоко напоказ — поднял мешок из исправникова сукна, полный водою. До того удивительно: держалась вода, как в хорошем ведре.

. . . А на пятой, на последней, минуте — сукно-то возьми да и промокни, при всем честном народе. Ах ты, сделай одолжение! Глядит на ручьи исправник — будто ручьев никогда не видал, только ватные брюки свои подтягивает.

Гости смолчали, никто — ни смешинки.

— Вода . . . неподходящая, должно быть. Разная она бывает — вода-то, — с приятностью сказал Иван Павлыч.

Тут уж протопоп отец Петр — не стерпел, засмеялся. А ему ведь только начать смеяться, а там и не уймешь: смешливый. Трясется, стоит — весь обсыпан смехом, как хмелем, мохнатенький, маленький — звонит и звонит.

Исправник — инда пополовел. Дверью хлопнул — только его гости и видели.

Вышло это на третий день, а на четвертый продолжались святочные происшествия. На четвертый день — протопоп кончил ходить по приходу. Изусталый вернулся домой. Пообедал изрядно, баклановки рюмочку выпил, разоблачился — и лег отдохнуть.

И часу этак в шестом — произошло: явился он телешом, и был о н теперь в женском образе. Вся та пога-

ная баба была, как киноварь, красная и так мерзостно вихлялась, что терпеть было нельзя ни минуты. Отец Петр — подавай Бог ноги: выскочил вон без оглядки, весь в белом, бежал-бежал . . .

Человека, одетого противозаконно, полицейский поймал возле алатыря-камня. Поймал и тотчас предоставил к начальству.

И как исправник был еще во гневе, то он и потребовал:

— Паспорт имеешь? Ты из каких это будешь вообще?

— Иван Макарыч, Бог с вами, да ведь это же я, это я . . .

— Я вижу, что я. Якать-то всякий умеет. Ты мне подай вид на жительство!

Кто же с собой вид берет, убегая наваждения дьявольского? Нет уж, видно придется протопопу ночь ночевать в кутузке.

А в протопоповском доме Варвара накрывала к вечернему чаю. Поставила загнутый на четыре угла пирог — с четырьмя разными начинками; поставила баклановку — в глиняной сулее; поставила кусок мороженых сливок — и пошла протопопа будить. А протопопа — и след простыл: брюки тут, подрясник — тут, а самого — поминай, как звали. Побежала Варвара гончей по отцовским следам . . . Ворвалась к исправничихе, всполыхнула ее своей жалобой, исправничиха покатилась и грозно насела на исправника:

— Да ты что же это такое? С последнего спятил? В кутузку — отца своего духовного, а? Сейчас чтобы лошадь велел запречь и домой отца протопопа доставить . . . а то — знаешь?

В гостиной, в углу, Варвара ждала резолюции. А к Варваре спиной — у окна закаменела Глафира, будто и не видит Варвары. Но вошедшей исправничихе был явственно слышен зловещий гусиный шип.

Распалилась исправничиха — решила уж заодно вычитать все и Варваре.

— Ты что у меня там с князем ворожишь? Какие такие записки?

— Ваша Глафира пишет — это все говорят — а я виновата?

— А ну-ка мне прямо в глаза, ну-ка, ну?

Но глаза показать Варвара не хотела: неведомо как, проюркнула мимо слоновых растопыренных рук, вильнула хвостом — и была такова...

Про записки на великом всемирном языке, которые князь от нее получал, в самом деле по городу шел слушок, хотя это дело князь держал в строгом секрете, только одному Ивану Павлычу и доверил. А знали — всё, даже и это, что она назначала свидания князю, а князь не ходил.

Не ходил князь. Жалко было князю рушить взлелеянный нежно обман. И знал, что неловко не ходить, знал, что ждала. Но не мог, не мог князь, жалко было пойти.

Под Крещенье — опять получилась записка. Нарочно, чтобы сладко помучиться, князь не распечатывал записку до вечерней звезды. Распечатал — и...

«Я тебя, проклятого, целый час ждала, — на морозе-то, думаешь, сладко? Тоже, называется — князь! Ну, если завтра не придешь на то же самое место, вот ей-Богу, уйду — и больше ни писать, ничего. Наплевать, не больно нужен-то, хоть будь ты раскнязь».

И это было уже не на великом всемирном языке, а на грубом, земном. Это уж — не она, она — умерла. Теперь — все равно. Ну что ж, можно и пойти, все равно.

Назначено было: в девять часов утра, на катке. Не спалось, князь вышел задолго. Солнце горело обманным льдяным огнем. Колокола пели холодными голосами.

Приглядевшись получше, почтмейстер приметил: на снегу — как запах — легчайшая алость, смертный румянец зари. Вздохнулось...

В углу на катке — конурка, вроде собачьей: грелка, а также обитель татарина — держателя катка. На лавке возле конурки — в валеных калошах сидела она. Черно-синие космы, собачьи глаза.

— Варвара Петро... — остолбенел князь. «Бежать, бежать»...

Но глаза — такие были глаза у Варвары, так молила: «Ну, хоть ударь, господин мой, хоть ударь».... Не мог князь уйти, разрушенный весь дотла — остался...

В соборе к водосвятию звонили — медленно, мерно. Все готовили — кто кувшинчик, кто чайник — ринуться благочестиво к чану с святой водой. А Костя, бросив свою посуду, во весь дух бежал из собора: только сейчас ему

Иван Павлыч сказал всерьез, что на катке — решительное свидание у князя с Глафирой. Не хватало дыханья — хлебал Костя воздух ртом, как рыба. Сейчас — всё — конец...

И вдруг вместо смерти — жизнь: на катке — Варвара. Князь и — Варвара. Варвара, вот кто! А Глафира...

— Прости, прости, богочтимая, — с катка мчался Костя к Глафире...

Оголтело влетел в светелку — и бух на колени:

— Прости, прости, богочтимая!

Глафира перед зеркалом выстригала волосы на подбородке: растут и растут, проклятые. Поглядела косо на Костю, на руки, молитвенно сложенные, на слезинки между веснушек, на озябший, жалостный носик.

— Ну, чего разнюнился-то?

— ...А на катке-то Варвара с князем, вот кто: Варвара... Прости, богочтимая... — блаженно, с закрытыми глазами, Костя стоял на коленях.

Сверкнуло зеркало вдребезги об пол.

— А-а, на катке-е? Да пусти ты с дороги! Ну? Пусти... — Глафира отпихнула Костю и помчалась туда.

Молния ночью жигнет — и все видно ясно: листок на дороге, седой волос в виске, вихор соломы под застрехой. Так вот и Костя сейчас: все до капли увидел...

Потифорна пришла домой с базару, веселая. Базарным дробным говором застрекотала:

— Костюнька-а, происшествие-то нынче какое, слыхал? На катке-то?

Костя лежал на укладке — поднял голову...

— ...Поцапались за князя, ну и бесстыжие, а? Клубком завились, по катку покатились, ну, срамота-а! Варька, Собачéя-то, в кровь искусала исправникову. Вот он — князь мира-то сего, дьявол-то!

Костю вдруг осенило: князь мира сего, вот оно что ведь. И язык его этот самый... Всех погубил, всех опутал —князь мира.

Утром Костя встал чем свет, прошел на цыпочках мимо мамани, подмигнул ей прехитро — и марш на почту.

На почте еще ни души. Один сторож Ипат — подметал полы. Тот самый Ипат, какого собака-то бешеная укусила. Вылечиться — хоть вылечился Ипат, но по сю пору считался опасен, и рисковала держать его только казна.

Нанес Костя снегу. Ипат заругался. Но Косте было не до Ипата . . . Сел за свой столик, взял телеграфный бланк — и на нем написал письмо. Слова сумасшедшие скакали, иные были — на языке, ведомом одному Косте. Но все же разобрать было можно: Костя открывал князю, что он, князь — есть диавол, князь мира, и подлежит . . .

Князь мира вошел. Сел за свой стол, печально — рассеян. Поглядел на пустое глафирино место. Стал составлять телеграмму в город Сапожок.

Костя молча подал князю свое письмо. И когда князь изумленно перевел на Костю глаза — Костя взял со стола стальную линейку и замахнулся. Князь прикрыл руками голову, положил ее на стол и покорно, не шевелясь, ждал. И так Косте стало жалко его — хоть он и князь мира — и жалко себя, и Глафиру, и весь Алатырь, что выпустил он линейку из рук и завопил смертным голосом:

— Пропали мы! Пропали, пропали . . .

Громыхнула линейка на пол.

— — —

Костю вели в острог — окружили толпой: не вырвался бы, убивец проклятый. Ну, и народ же нынче пошел . . . а еще чиновник! На князя нашего покусился, а?

Алатырь проснулся, галдел, махал руками. Поднимались на цыпочках — на убивца поглядеть.

— Ты, гляди, Ипат, не упусти! Держи его крепко, — кричали Ипату, бешеному.

— Я крепко и то . . . — и, поглядев исподлобья, Ипат — невзначай будто — сунул Косте пятак: бери, пригодится.

Костя покорно взял пятак, улыбнулся покорно. Но тут же и разжал руку. И пропал ипатов пятак: затоптали.

1914.

НА КУЛИЧКАХ

1. Божий зевок

Есть у всякого человека такое, в чем он весь, сразу, чем из тысячи его отличишь. И такое у Андрея Иваныча — лоб: ширь и размах степной. А рядом нос — русская курнофеечка, белобрысые усики, пехотные погоны. Творил его Господь Бог, размахнулся: лоб. А потом зевнул, чего-то скушно стало — и кой-как, тяп ляп, кончил: сойдет. Так и пошел Андрей Иваныч с Божьим зевком жить.

Вздумал прошлым летом Андрей Иваныч в академию готовиться. Шутка ли сказать: на семьдесят рублей одних книг накупил. Просидел над книгами все лето — и случилось в августе на концерт Гофмана попасть. Господи Боже мой, сила какая! Куда уж там академией заниматься: ясное дело — быть Андрею Иванычу Гофманом. Недаром же все в полку говорили: так Андрей Иваныч играет шопеновский похоронный марш — без слез слушать нельзя.

Под диван все книги академические, взял учительницу, засел Андрей Иваныч за рояль: весной в консерваторию поедет.

А учительница — светловолосая, и какие-то у ней особенные духи. Вышло, что вовсе не музыкой занимался с ней Андрей Иваныч всю зиму. И пошла консерватория прахом.

Что же, так и теперь прокисать Андрею Иванычу субалтерном в Тамбове каком-то? Ну, уж это шалишь: кто-кто, а Андрей Иваныч не сдастся. Главное — все сначала начать, все старое — к чёрту, закатиться куданибудь на край света. И тогда — любовь самая настоящая, и какую-то книгу написать и одолеть весь мир...

Так вот и попал Андрей Иваныч служить на край света, к чертям на кулички. Лежит теперь на диване —

и чертыхается. Да как же, ей-Богу: третий день приехал — и третий день от тумана не продыхнуть. Да ведь какой туман-то: оторопь забирает. Густой, лохматый, как хмельная дрема, муть от него в голове — притчится какая-то несуразная нелюдь, и заснуть страшно, нельзя: закружит нелюдь.

Хоть какого-нибудь человечьего голоса захотелось — навождение свалить. Кликнул Андрей Иваныч денщика.

— Эй, Непротошнов, на минутку!

Как угорелый, влетел денщик и влип в притолку.

— Скушно у вас, Непротошнов: туман-то, а?

— Н-не могу знать,ваше-бродие . . .

«Фу ты, Господи: какие глаза рыбьи. Но можно же его чем-нибудь . . .»

— Ну что, Непротошнов, через год домой, а?

— Так тошно, ваше-бродие.

— Жена-то есть у тебя?

— Так тошно, ваше-бродие . . .

— Небось, по ней соскучился? Соскучился, говорю, а?

Что-то тускло мигнуло в Непротошнове.

— Как она есть конкурент моей жизни, жена-то, стало быть, то я . . . — и потух, спохватился, вытянулся Непротошнов еще больше.

— Да что: разлюбил, что ли? Ну?

— Н-не могу знать, ваше-бродие . . .

«О, ч-чёрт . . . Ведь вот: был, наверно, в деревне первый гармонист, а теперь — рыбьи глаза. Нет, надо будет от него отвязаться . . .»

— Ладно. Иди к себе, Непротошнов.

Отвалился Андрей Иваныч к подушке. В окно полз туман лохматый, ватный: ну, просто не продыхнуть.

Перемогся — и хоть с храпом, а продыхнул Андрей Иваныч, и сам же услышал свой храп, хотел вскочить: «Батюшки, что же это я — среди бела дня сплю!»

Но запутал туман паутиной — и уж не шевельнуть ни рукой, ни ногой.

2. Картофельный Рафаэль

— Их преосходительства господина коменданта нету дома.

— Да ты, братец, узнай хорошенько. Скажи, мол, поручик Половец. Половец, Андрей Иваныч.

— Полове-ец?

У денщика генеральского — не лицо, а начищенный самовар медный: до того круглое, до того лоснится. И был себе самовар заглохший, а тут вдруг начал пузыриться, закипать:

— Полове-ец? Ах-и-батюшки, позабыл я, дома они. Полове-ец — ну, как же: дома, пожалте! Только заняты малость.

Денщик отворил из сеней дверь налево. Андрей Иваныч нагнулся, вошел. «Да нет... да может я не туда?»

Дым коромыслом, чад, суета, шипит что-то, пахнет жареным луком...

— Кто та-ам? Поближе, поближе, не слы-ышу!

Андрей Иваныч шагнул поближе:

— Честь имею явиться вашему превосходительству...

Да чёрт-те возьми: да уж он ли это, генерал ли? Передник кухарский и беременное пузо, подпертое коротышками-ножками. Голая, пучеглазая, лягушачья голова. И весь разлатый, растопыренный, лягва огромадная, — может под платьем-то и пузо даже пестрое, бело-зелеными пятнами.

— Явиться? Гм, хорошее дело, хорошее дело... офицеров у меня мало. Запивох — это сколько угодно, — буркнул генерал.

И опять занялся своим делом: тонкими на диво ломтиками кромсал крупичатый белый картофель. Нарезал, вытер фартуком руки, сигнул бочком к Андрею Иванычу, уставился, обглядел и закричал сердито, снизу откуда-то, как водяной из бучила:

— Ну, что за нелегкая сюда занесла? Майн-Ридов начитался, а? Сидел бы себе, голубеночек, в России, у мамаши под подолом, чего бы лучше. Ну что, ну зачем? Возись тут потом с вами!

Андрей Иваныч оробел даже: уж очень сразу наскочил генерал.

— Я, ваше превосходительство... Я в Тамбове... А тут, думаю, море... Китайцы тут...

— Ту-ут! Едут сюда, думают тут для них...

Но не кончил генерал: зашипело что-то на плите предсмертным шипом, закурился пар, паленым запахло. Мигом генерал пересигнул туда и кого-то засыпал, в землю вбил забористой руганью.

Тут только углядел Андрей Иваныч поваренка-ки-

тайца, в синей кофте-курме: стоял он перед генералом, как робкий звереныш какой-то на задних лапках.

— Р-раз! — чмокнулась в поваренка звонкая оплеуха.

А он — ничего: потер только косые свои глаза кулачками, чудно так, быстро, по-заячьи.

Отдувался генерал, плескалось под фартуком его пузо.

— Уф-ф! Замучили, в лоск. Не умеют, ни бельмеса не смыслят: только отвернись — такого настряпают... А я смерть не люблю, когда обед так шата̀-валя́, варганят, без всякого настроения. Пища, касатик, дар Божий... Как это, бишь, учили-то нас: не для того едим, чтобы жить, а для того живем, чтобы... Или как, бишь?

Андрей Иваныч молча глядел во все глаза. Генерал взял салфетку и любовно так, бережно, перетирал тонкие ломтики картофеля.

— Картошка вот, да. Шваркнул, мол, ее на сковородку и зажарил, как попало? Вот... А которому человеку от Бога талант дан, тот понимает, что в масле ни в ко-ем слу-чае... Да в масле? — да избави тебя Бог! Во фритюре — обязательно, непременно, запомни, запиши, брат, раз навсегда: во фритюре, — слышишь?

Генерал взял лимон, выжимал сок на ломтики картофеля. Андрей Иваныч насмелел и спросил:

— А зачем же, ваше превосходительство, лимон?

Видимо, пронзило генерала такое невежество. Отпрыгнул, орет откуда-то снизу — водяной со дна из бучила:

— Ка-ак зачем? Да без этого ерунда выйдет, профанация! А покропи, а сухо-на-сухо вытри, а поджарь во фритюре... Картофель à la lyonnaise — слыхал? Ну, куда-а вам! Сокровище, перл. Рафаэль! А из чего? Из простой картошки, из бросовой вещи. Вот, миленок, искусство что значит, творчество, да...

«Картошка, Рафаэль, что за чушь! Шутит он?» — поглядел Андрей Иваныч.

Нет, не шутит. И даже — видать еще вот и сейчас — под пеплом лица мигает и тухнет человечье, далекое.

«Что ж, пусть картофельный — хоть картофельный Рафаэль»...

Андрей Иваныч поклонился генералу, генерал крикнул:

— Ларька, проводи их к генеральше. До свидания, голубенок, до свидания...

Бывают в лесу поляны — порубки: остались никче-

мушние три дерева, и от них только хуже еще, пустее. Так вот и зал генеральский: редкие стулья, как бельмо — на стене полковая группа. И как-то некстати, ни к чему, приткнулась генеральша посередь зала на венском диванчике.

С генеральшей сидел капитан Нечеса. Нечесу Андрей Иваныч уже знал: запомнил еще вчера всклоченную его бороду в крошках. Подошел к генеральше, поцеловал Андрей Иваныч протянутую руку.

Генеральша переложила стаканчик с чем-то красным из левой руки опять в правую и сказала поручику однотонно, глядя мимо:

— Садитесь, я вас — давно — не видала.

«То есть как — давно не видала?»

И сразу сбила с панталыку Андрея Иваныча, выскочила из головы у него вся приготовленная речь.

Капитан Нечеса, кончая какой-то разговор, пролаял хрипло:

— Так вот-с, дозвольте вас просить — в крестные то, уж уважьте . . .

Генеральша отпила, глаза были далеко — не слыхала. Сказала — ни к селу, ни к городу — о чем-то о своем:

— У поручика Молочки пошли бородавки на руках. И кабы только еще на руках, а то по всему по телу . . . Ужасно неприятно — бородавки.

Как сказала она «бородавки» — так за спиной у Андрея Иваныча что-то шмыгнуло, фыркнуло. Он оглянулся — и увидал позади себя, в дверной щели, чей-то глаз и веснущатый нос.

Капитан Нечеса повторял умильно:

— . . . Уважьте — в крестные-то!

Должно быть, теперь услыхала генеральша. Засмеялась невесело, треснуто — и все смеется, все смеется, никак не перестанет. Еле выговорила, к Андрею Иванычу обернувшись:

— Девятым . . . разрешилась капитанша Нечеса — девятым. Пойдемте со мной — в крестные отцы?

Капитан Нечеса закомкал свою бороду:

— Да, матушка, простите Христа ради. Уж есть ведь, крестный-то. Жилец мой, поручик Тихмень, обещано ему давно . . .

Но генеральша опять уж ничего не слышала, опять мимо глядела, прихлебывала из стаканчика . . .

Андрей Иваныч и капитан Нечеса ушли вместе. Хлюпала под ногами мокреть, капелью садился на крыши туман и падал оттуда на фуражки, на погоны, за шею.

— Отчего она какая-то такая . . . странная, что ли? — спросил Андрей Иваныч.

— Генеральша-то? Господи, хорошая баба была. Ведь я тут двадцать лет, всех — как пять пальцев вот . . . Ну, вышла такая история — да лет семь уж, давно! младенец у ней родился — первый и последний, родился да и помер. Задумалась она тогда — да так вот задуманной и осталась. А заговорит, такое иной раз, ей-Богу, ляпнет . . . Да вот — про Молочку, про бородавки-то: и смех, и грех!

— Ничего не понимаю.

— Поживете — поймете.

3. Петяшку крестят

Ну, ладно. Ну, родила капитанша Нечеса девятого. Ну, крестины, как будто что ж тут такого? А вот у господ офицеров — только и разговору, что об этом. Со скуки это, что ли, от пустоты, от безделья? Ведь и правда: устроили какой-то там пост, никому ненужный, понаставили пушек, позагнали людей к чертям на кулички: сиди. И сидят. И как ночью, в бессонной пустоте, всякий шорох мышиный, всякий сучок палый — растут, настораживают, полнят всего, — так и тут: встает неизмеримо всякая мелочь, невероятное творится вероятным.

Оно, положим, с девятым младенцем капитанши Нечесы не так уж просто дело обстоит: чей он, поди-ка, раскуси? Капитанша рожает каждый год. И один малюкан — вылитый Иваненко, другой — две капли воды адъютант, третий — живой поручик Молочко, как есть — его розовая, телячья мордашка . . . А чей вот — девятый?

И пуще всех тот самый Молочко взялся за дело. Очень просто почему. В прошлом году его в отцы капитаншину младенцу обрядили, проздравили и угощенье стребовали: хотелось и ему теперь кого-нибудь подсидеть.

— Господи, да постойте же, — подпрыгнул Молочко, как козлик, как веселый теленочек, поенный молочком с пальца, — господа, да, ведь, Тихмень же, жилец-то ихний... Да неужто же капитанша его не приспособила? Не может того быть! А коли так, то...

— Бр-раво, и Молочко догадлив бывает, браво!

Так на Тихмене и порешили: может, и не виноват он ни телом, ни духом, да уж очень над ним лестно потешиться, затем, что Тихмень неизменно серьезен, длинно-нос и читает, чёрт его возьми, Шопенгауэра там, или Канта какого-то.

И чтобы Тихменя захватить врасплох, чтобы не сбежал, только лишь за полчаса до крестин этих самых послали Молочко предупредить капитаншу о нашествии иноплеменных. По-тутошнему называлось это «пригласиться».

Капитанша лежала в кровати, маленькая и вся кругленькая: круглая мордочка, круглые быстрые глазки, круглые кудряшечки на лбу, кругленькие — все капитаншины атуры. Только вот сейчас вышел из спальни капитан, чмокнув супругу в щеку. И еще не затих, позванивал на полочке какой-то стаканчик от капитановых шагов, когда вошел поручик Молочко и, сказав: здравствуй, — чмокнул капитаншу в то же самое на щеке место, что и капитан.

Страсть не любила капитанша вот таких совпадений, положительно — это неприличное что-то. Сердито закатила круглые глазки:

— Чего целоваться лезешь, Молочишко? Не видишь — я больна?

— Ну, ладно уж, ладно, целомудренная стала какая!

Уселся Молочко возле кровати. «Как бы это к Катюшке подъехать, чтобы приглашаться не сразу?»

— А знаешь, — подпрыгнул Молочко, — был я у Шмитов, целуются все, можешь себе представить? Третий год женаты — и до сих пор... Не понимаю!

Капитанша Нечеса поздоровела, зарозовела, глазки раскрылись.

— Уж эта мне Марусечка шмитова, уж такая принцесса на горошине, фу-ты, ну-ты... Знаться ни с кем не желает. Вот, дай-ка, Бог-то ее за гордость накажет...

Переполоскали, перемыли марусины косточки — и не

о чем больше. Видно, делать нечего — надо начинать. Прокашлялся Молочко.

— Видишь ли, Катюша . . . Н-да . . . Ну, одним словом, мы все собираемся на крестины, хотим пригласиться. Надо отцом проздравить Тихменя. Я — придумал, можешь себе представить?

Никак и не ждал Молочко, что так сразу согласится Катюшка. Залилась она кругленько, закатилась, под одеялом ножками забрыкала, за живот даже держится: ой, больно!

— Ну, и выдумщик ты, Молочишко: Тихменя — в отцы, а? Тихменя нашего длинноносого! Так его и надо, а то больно зачитался . . .

И вот — крестили. Генеральша улыбалась, глядела куда-то поверх, глазами была не здесь. Заспанным голосом читал по требнику гарнизонный поп. Вся ряса на спине была у него в пуху.

Неотрывно глядел на пушинки эти крестный — поручик Тихмень. Длинный тощий, весь непрочный какой-то, стоял с ребенком на руках, удивленно водил своим длинным носом:

«Вот, ей-Богу, ввязался я . . . Закричит это на руках, ну что я буду делать?»

А «это на руках» оказалось даже еще хуже: в ужасе почуял поручик Тихмень, что руки у него вдруг намокли, и из теплого свертка закапало на пол. Забыл тут Тихмень всякую субординацию, ткнул, как попало, крестника на руки генеральше и попятился назад. Бог его знает, куда бы запятился, если бы стоявшая сзади компания с Молочко во главе не водворила его на место.

Пришло время уже и в купель окунать младенца. Заспанный поп обернулся к генеральше — ребенка взять, а она не дает. Прижала к себе и отпустить не хочет и кричит:

— Не дам, а вот и не дам, и не дам, он мой!

Поп оробело пятился к двери. Батюшки мои, что ж это? Суматошились, шептались. Кабы не Молочко, так может и не докрестили бы. Молочко подошел к генеральше, крепко взял ее за руку и шепнул:

— Отпустите, зачем вам это, у вас будет свой, можете себе представить. Раз я говорю . . . Разве ты мне не веришь? Мне?

Генеральша засмеялась блаженно, отпустила. Ну, слава-те, Господи! С грехом пополам докрестили и Петяшкой нарекли.

Тут-то и приступили господа офицеры к поручику Тихменю. Одним разом, по команде, все низко поклонились:

— Честь вас имеем, папаша, проздравить с новорожденным, с Петяшкой, на чаек с вашей милости!

Замахал Тихмень руками, как мельница.

— Как это — папаша? Я и не хочу вовсе, что вы такое! Терпеть не могу . . .

— Да в детях-то, милый, ведь Бог один волен. Уж там, можешь терпеть, иль не можешь . . .

Пристали — хоть плачь. Делать нечего: вечером Тихмень угощал в собрании. И пошло с тех пор: каждый день на занятиях спрашивали его, как, мол, здоровье сынишки — Петяшки. Задолбили, заморочили Тихменю голову Петяшкой этим самым.

4. Голубое

Много ли человеку надо? Проглянуло солнце, сгинул туман проклятый — и уж мил Андрею Иванычу весь мир. Рота стоит и команды ждет, а он загляделся: шевельнуться страшно, чтобы не рухнули хрустальные голубые палаты.

Океан . . . был Тамбов, а теперь Океан Тихий. Курит внизу, у ног, сонно-голубым своим куревом, мурлычет дремливую колдовскую песню. И золотые столбы солнца то мирно лежали внизу на голубом, а то вдруг выросли, поднялись, подперли стены — синие нестерпимо. А мимо плавно плывет в голубое, в глубь, Богородицына пряжа, осенняя паутина, и долго следит Андрей Иваныч за нею глазами. Кто-то сзади его кричит на солдата:

— . . . Где у тебя три приема? Ж-животина! Проглотил, смазал?

Но не хочет, не слышит Андрей Иваныч, не обертывается назад, все летит за паутиной . . .

— Ну, что, танбовскай? Или нравится — загляделся-то?

Делать нечего, оторвался, обернулся Андрей Иваныч. С усмешкой глядел на него Шмит — высокий, куда же вы-

ше Андрея Иваныча, крепкий, как будто даже тяжелый для земли.

— Нравится ли? Уж очень это малое слово, капитан Шмит. Ведь, я, кроме Цны тамбовской, ничего не видал — и вдруг . . . Понимаете — это подавляет . . . И даже не то: весь обращаешься в прах, по ветру летишь, ну, как вот . . . Это очень радостно . . .

— Да, что-о вы? Ну-ну! — и опять шмитова усмешка, может — добрая, а может — и нет.

Для Андрея Иваныча она была доброй: весь мир был добрый. И он, неожиданно даже для себя, благодарно пожал Шмиту руку.

Шмит потерял усмешку — и лицо его показалось Андрею Иванычу почти-что даже неприятным: неровное какое-то, из слишком твердого сделано, нельзя было как следует заровнять — слишком твердое. Да и подбородок . . .

Но Шмит уже опять улыбался:

— Вы соскучились, кажется, со своим денщиком? Мне говорил Нечеса.

— Да, уж черезчур он — «точно так» . . . Хочу поменяться на какого угодно, только бы . . .

— За чем же дело: меняйтесь со мной. Мой Гусляйкин — пьяница, говорю откровенно. Но до чрезвычайности веселый малый.

— Спасибо, вот уж спасибо вам! Я прямо не знаю, как мне вас . . .

Простились. Андрей Иваныч шел домой, весь еще полный голубого. Идти бы ему одному и нести в себе это бережно — да увязался Молочко.

— Ну что, ну что? — подставлял он Андрею Иванычу розовую, глупоглазую свою мордочку: охота узнать что-нибудь новенькое, что бы можно было с жаром рассказать и генеральше, и Катюшке, и вечером в собрании.

— Да ничего особенного, — сказал Андрей Иваныч, — Шмит предложил денщика.

— Сам? Да что вы? Шмит ужасно редко заговаривает первый, можете себе представить? А вы были у Шмитов? А у командира? Да бишь . . . командир в отпуску. Вот лафа — в вечном отпуску! Вот бы нам так — можете себе представить?

— У Шмитов еще не успел, — говорил Андрей Ива-

ныч рассеянно, все еще думая о сонно-голубом. — Был у Нечесов, у генерала. Генеральша — вдруг, ни к чему, о бородавках...

Андрей Иваныч спохватился, да было уже поздно. Маковым цветом заалел Молочко, заиндючился и важно сказал:

— По-жа-луйста! Просил бы... Я горжусь, что удостоен, можно сказать, доверия такой женщины... Бородавки тут абсолютно не при чем... Аб-со-лютно!

Надулся и замолчал. Андрей Иваныч был рад.

У трухлявого деревянного домика Молочко остановился.

— Ну, прощайте: я здесь.

Но, попрощавшись, опять развернулся и в минуту успел рассказать про генерала, что он бабник из бабников, успел показать шмитовский зеленый домик и что-то подмигнуть про Марусю Шмит, успел наболтать о каком-то непонятном клубе ланцепупов, о Петяшке поручика Тихменя...

Еле-еле стряхнул с себя все это Андрей Иваныч. Стряхнул и пошел снова сонный, заколдованный, поплыл в голубом, под ногами не было земли, неизвестно на чем стояли заборы, деревья, дома. И удивительно, что дома такие же как в Тамбове — с дверями, трубами, окнами...

В одном окне что-то мелькнуло, в окно застучали, дробно так, весело.

— «Кому — мне?» — остановился Андрей Иваныч перед зелененьким домиком. — «Да нет, не мне», — пошел дальше.

Вдруг окно в зелененьком домике распахнулось, веселый голос кликнул:

— Эй, новенький, новенький, подите-ка сюда!

Андрей Иваныч недоуменно подошел, снял фуражку. «Но как же — но кто же это?»

— Послушайте, давайте-ка познакомимся, все равно, ведь придется. Я — Маруся Шмит, слыхали? Сидела у окна — и думаю: а дай постучу? Ой, какой у вас лоб замечательный! Мне о вас муж говорил...

Бормочет что-то Андрей Иваныч и глаза развесил: узкая, шаловливая мордочка, не то тебе мышонка, не то — милой дикой козы. Узкие и длинные, наискось немного, глаза.

— Ну что, дивитесь? Не полагается так? А мне все равно. Смерть люблю выкомаривать! Я в пансионе дежурной была в кухне — изжарила начальнице котлету из жеваной бумаги... Ой-ой-ой, что было! А за шмитов портрет... Вы Шмита-то знаете? Да, Господи, ведь он же про вас и говорил мне! Вы приходите как-нибудь вечером, что за визиты!

— Да с удовольствием. Вы извините, я сегодня так настроен как-то, не могу говорить...

Но увидал Андрей Иваныч, что и она замолчала и куда-то мимо него смотрит. Принахмурилась чуть-чуть. Возле губ намек на недетские морщинки: еще нет их, когда-нибудь лягут.

— Паутинка, — поглядела вслед золотой богородицыной пряже.

Перевела на Андрея Иваныча глаза и спросила:

— А вы когда-нибудь о смерти думали? Нет, даже и не о смерти, а вот об одной самой последней секундочке жизни, тонкой, вот — как паутинка. Самая последняя: вот оборвется сейчас — и все будет тихо...

Долго летали оба глазами за паутинкой. Улетела в голубое, была — и нету...

Засмеялась Маруся. Может засмутилась, что вдруг так — о смерти? Захлопнула окошко, пропала.

Пошел Андрей Иваныч домой. «Все хорошо, все превосходно... И чёрт с ним, с Тамбовом и чтоб ему провалиться. А здесь — все милые. Надо поближе с ними, поближе... Все милые. И генерал — что ж, он ничего...»

5. Сквозь Гусляйкина

С удовольствием спровадил Андрей Иваныч своего тактичного истукана — Непротошнова. Полученный в обмен от Шмита Гусляйкин, действительно, оказался словоохотлив по-бабьи и не по-бабьи уж запивоха. То и знай, являлся с подбитой физией, изукрашенный кусками черного пластыря (пластырь этот самый Гусляйкиным величался «кластырь» — от «класть»: очень даже просто). Но и такой — с заплатками черными, и пусть даже пьяненький — все же он был для глаз андрей-иванычевых милее, чем Непротошнов...

Гусляйкин приметил, видно, расположение нового своего хозяина и пустился с ним в конфиденции — в знак благодарности. Должно быть, у Шмитов Гусляйкин, как по бабьей его натуре и надобно, дневал-ночевал у замочных скважин да у дверных щелей. Сразу такое загнул что-то о шмитовской спальне, что покраснел Андрей Иваныч и строго Гусляйкина окоротил. Гусляйкин не мало был изумлен: «Господи, всякая барыня, да и всякий барин тутошний — озолотили бы за такие рассказы, слушали бы, как соловья, а этот... Да наве-ерно — притворяется только...» — и опять начинал.

Как ни отбрыкивался Андрей Иваныч, как ни выговаривал Гусляйкину, тот все вел свою линию и какие-то темные, жаркие, обрывочные видения поселил в андрейиванычевой голове. То вот Шмит несет на руках Марусю, как ребенка, так, на руках, и во время обеда держит, кормит из рук... То почему-то Шмит поставил Марусю в угол — она стоит и рада стоять. То наложили дров в печку, топят печку вдвоем, перед печкой — медвежья шкура...

И когда Андрей Иваныч собрался, наконец, к Шмитам и сидел в их столовой, с милыми, избушечьими, бревенчатыми стенами, он прямо вот глаза боялся поднять: а вдруг она, а вдруг Маруся — по глазам увидит, какие мысли... Ах, проклятый Гусляйкин!

А Шмит говорил своим ровным, ясным, как лед, голосом:

— Гм... Так, говорите, вам понравился Рафаэль картофельный? Да уж, хорош Сахар Медович! За хорошие дела к чертям на кулички генерала не засунули бы. И теперь вот: где солдатские деньги пропадают, где — лошадиные кормовые? Я уже чую, я чу-ую...

— Ну, Шмит, ты уж это слишком, — сказала Маруся ласково.

Не вытерпел Андрей Иваныч: с противным самому себе любопытством поднял глаза. Шмит сидел на диване, Маруся стояла сзади под пальмой. Перегнулась сейчас к Шмиту и тихонько, один раз, провела по жестким шмитовым волосам. Один раз — но, должно быть, так нежно, должно быть, так нежно...

У Андрея Иваныча так и ёкнуло. «Но какое мне дело?»

Никакого, да. А щемит все сильнее. «Если бы вот так когда-нибудь мне — один раз, только один раз . . .»

Проснулся Андрей Иваныч, когда Шмит назвал его имя.

— . . . Андрей Иваныч у нас один-единственный агнчик невинный. А то все на подбор. Я? Меня сюда — за оскорбление действием. Молочку — за публичное непотребство. Нечесу — за губошлепство. Косинского — за карты . . . Берегитесь, агнчик: сгинете тут, сопьетесь, застрелитесь . . .

Может оттого, что Маруся стояла под пальмой, или от шмитовой усмешки — но только стало невтерпеж, Андрей Иваныч вскочил:

— Это уж вы, знаете, слишком, уж на это-то меня хватит, чтобы не спиться. Да и что вам за дело?

— Ка-кой вы . . . ёрш! — засмеялась Маруся. — Ведь ты же, Шмит, шутишь! Ведь да?

Она опять нагнулась к Шмиту из-за дивана. «Только б не гладила . . . Не надо же, не надо», — молился Андрей Иваныч, затаил дух . . . Кажется, она что-то спросила — ответил наобум-Лазаря:

— Нет, благодарю вас . . .

— То есть, как — благодарю? Вы о чем же это изволите думать? Ведь я спрашиваю, были ли вы у Нечесов?

И только, когда Шмит уходил, Андрей Иваныч становился Андрей-Иванычем, нет никакого Гусляйкина, не надо бояться, что она погладит Шмита, все просто, все ласково, все радостно.

Когда вдвоем — тут и думать не надо, о чем говорить: само говорится. Так и скачут, и играют слова, как весенний дождь. Такой поток, что Андрей Иваныч обрывает, не договаривает, но это все равно: она должна понять, она понимает, она слышит самое . . . Или, может, так кажется? Может, Андрей Иваныч придумал себе свою Марусю? Ах, все равно, лишь бы . . .

Запомнился, уложен в ларчик драгоценный — один вечер. То все вёдро стояло, теплынь, без шинелей ходили, это в ноябре-то. А тут вдруг дунуло сиверком, синева побледнела, и к вечеру — зима.

Андрей Иваныч и Маруся огня не зажигали, сидели, вслушиваясь в шушуканье сумерек. Пухлыми хлопьями, шапками сыпался снег, синий, тихий. Тихо пел колы-

бельную — и плыть, плыть, покачиваться в волнах сумерек, слушать, баюкать грусть . . .

Андрей Иваныч отсел нарочно в дальний угол дивана от Маруси: так лучше, так будет только самое тонкое, самое белое — снег.

— Вот: дерево теперь все белое, — вслух думала Маруся, — и на белом дереве — птица, дремлет уж час и два, не хочет улететь . . .

Тихое снежное мерцанье за окном. Тихая боль в сердце.

— Теперь и у нас, в деревне, зима, — ответил Андрей Иваныч. — Собаки зимою ведь особенно лают, вы помните? Да? Мягко и кругло. Кругло, да . . . А в сумерках — дым от старновки над белой крышей, такой уютный. Все синее, тихое, и навстречу идет баба с коромыслом и ведрами . . .

Марусино лицо с закрытыми глазами было такое нежное, чуть голубоватое от голубого за окном снега, и такие у ней были губы . . . Чтобы не видеть — уж лучше не видеть — Андрей Иваныч тоже закрыл глаза.

А когда зажгли лампу, ничего уже не было, ничего такого, что привиделось без лампы.

И все эти слова о дремлющей на снежном дереве птице, о синем вечере — показались такими незначущими, не особенными, немного даже смешными.

Но запомнились.

6. Лошадиный корм

У русской печки — хайло-то какое ведь: ненасытное. Один сноп спалили, и другой, и десятый — и все мало, и заваливают еще. Так вот и генерал за обедом: уж и суп поел, и колдунов литовских горку, и кашки пуховой гречишной покушал с миндальным молоком, и равиолей с десяток спровадил, и мяса черкасского, в красном вине тушоного, две порции усидел. Несет зайченок-повар новое блюдо — хитрый какой-то паштет, крепким перцем пахнет, мушкатом: ну как паштета не съесть? Душа генеральская хочет паштета, а брюхо уж до сих пор полно. Да генерал хитер: знает, как бренное тело заставить за духом идти.

— Ларька, вазу мне! — квакнул генерал.

Покатился самоварный Ларька, мигом притащил генералу большую, узкую и длинную вазу китайского расписного фарфора. Отвернулся в сторонку генерал и облегчился на древне-римский манер.

— Ф-фу! — вздохнул затем — и положил себе на тарелку паштета кусок.

За хозяйку сидела не генеральша: посади ее — натворит еще чего нибудь такого. Сидела за хозяйку свояченица Агния, с веснущатым, вострым носом. А генеральша устроилась поодаль, ничего почти что не ела, глазами была не здесь, прихлебывала все из стаканчика.

Покушав, генерал пришел в настроение:

— А ну-ка, скажи, Агния, знаешь ли ты, когда дама офицером бывает, — ну, знаешь?

Веснущатая, досчатая, выцветшая Агния почуяла какую-то каверзу, заерзала на стуле. Нет, не знает она . . .

— Ух, ты-ы! Как же ты не знаешь? Тогда дама бывает офицером, когда она бывает под . . . Ну, в каком чине? В каком чине, а? Поняла?

Затрепыхалась, заалела, закашляла Агния. Куда и деваться не знала: ведь девица она — и вдруг этакое . . . скоромное . . . А генерал заливался: сначала внизу, в бурболоте на дне, а потом наверху, тоненькой лягушечкой.

Забылась Агния, занялась паштетом, глаза — в тарелку, быстро-быстро отправляла крошечные кусочки в рот. А генерал медленно нагибался, нагибался к Агнии, замер — да как гукнет на нее этаким басом, как из бучила:

— Г-гу-у!

Ихнула Агния благим матом, сидя запрыгала на стуле, заморгала, запричитала:

— Штоп тебе . . . штоп тебе . . . штоп тебе . . .

Раз двадцать этак вот «штоп тебе» — и под самый конец тихонько: «провалиться . . . штоп тебе провалиться, пр-ровалиться» . . . Была у Агнии такая чудная привычка: все пугал ее со скуки из-за углов генерал — вот и привыкла.

Любил генерал слушать агнины причитанья, разгасился, никак не передохнет — хохочет:

— Охо-хо, вот кликуша-то, вот порченая, вот дурья-то голова, охо-хо!

А генеральша прихлебывала, не слыхала, далеко где-то, не тут жила.

Прикатился Ларька — запыхался.

— Ваше преосходительство, там капитан Шмит вас желают видеть.

— Шмит? Вот принесло . . . И поесть толком не дадут, ч-чёрт! Проси сюда.

Свояченица Агния выскочила из-за стола в соседнюю комнату, и скоро в дверной щели уже заходил веснущатый ее нос, однажды мелькнувший Андрею Иванычу.

Вошел Шмит, тяжелый, высокий. Пол заскрипел под ним.

— А-а-а, Николай Пе-тро-вич, здравствуйте. Не хотите-ли, миленочек, покушать? Вот, равиоли есть, прревос-ходные! Сам, неженчик мой, стряпал: им, паршивцам, разве можно доверить? Равиоли вещь тонкая, из таких все деликатностей: мозги из костей, пармезанец, сельдерей молоденький — ни-и-как не старше июльского . . . Не откажи, голубеночек.

Шмит взял на тарелку четырехугольный пирожок, равнодушно глотнул и заговорил. Голос — ровный, граненый, резкий и слышится невидная усмешка на губах . . .

— Ваше превосходительство, капитан Нечеса жалуется, что лошади не получают овса, на одной резке сидят. Это совершенно немыслимо. Сам Нечеса, конечно, боится прийти вам сказать. Я не знаю, в чем тут дело. Может, этот ваш любимчик, как его... Мундель-Мандель, ну, как его . . .

У генерала — прелестнейшее настроение, он зажмурил свои буркалы и мурлычет:

— Мендель-Мандель-Мундель-Мондель . . . Эх, Николай Петрович, голубеночек, не в том счастье. Ну, чего тебе еще надо? Видел я намедни Марусю твою. Ну, и кошечка же, ну, и милочка — прямо вот . . . эх! И подцепил же ты! Ну, какого еще рожна тебе надо, а? Наплевал бы я на твоем месте и на Нечесу, и на всех . . .

Шмит сидел молча. Железно-серые, небольшие, глубоко всаженные глаза еще глубже ушли. Узкие губы сжались еще уже.

Генеральша только сейчас услышала Шмита, поймала кусочек и спросила треснуто:

— Нечеса?

И забыла, замолкла. В дверной щели все ходил вверх и вниз веснущатый вострый нос.

Шмит настойчиво и уже со злостью повторил:

— Я еще раз считаю долгом доложить вашему превосходительству: лошадиные кормовые куда-то пропадают. Я не хочу пускаться в догадки — кто, Мундель или не Мундель . . .

Вдруг опять проснулась генеральша, услышала: Мундель, — и ляпнула:

— Кормовые? Это вовсе не Мундель, а он, — кивнула на генерала. — Ему на обеды не хватает, проедается очень, — и засмеялась генеральша почти весело.

Шмит, как сталью, уперся взглядом в генерала:

— Я давно это знаю, если уж по правде говорить. И еще одно: деньги пропадают, эти трехрублевки, которые солдатам шлют из дому. Ведь люди могут думать на меня, я — казначей. Этого я не могу допустить.

Узко сжаты Шмитовы губы, все лицо спокойно, как лед. Но как синий напруженный лед в половодье: секунда — и ухнет, с грохотом хлынет сокрушающая, неистовая, весенняя вода.

А генерал хлынул уже. Зяпнул нутряным своим басом:

— Да-пу-стить? Ка-ак-с? — и сейчас же оступился на злючий визг: — Капитан Шмит, встать, руки по швам, с вами говорит генерал Азанчеев!

Шмит встал, спокойный, белый. Генерал тоже вскочил, громыхнул стулом и накинулся на Шмита, осыпал, оглоушил:

— М-мальчишка! Ты с-смеешь не до-пу-скать, а? Мне, Азанчееву? Да ты з-знаешь, я т-тебя в двадцать четыре часа . . .

Искал, чем бы кольнуть Шмита побольнее:

— Да давно ли ты стоял тут и просил разрешения, да, р-разрешения у меня — жениться. А теперь, завел себе девчонку хорошенькую и д-думаешь, уж и б-бальшой стал, и все тебе можно. М-мальчишка!

— Как . . . вы . . . сказали? — отрубил Шмит по одному пронзительные — трехлинейные пульки — слова.

— . . . Девчонку, говорю, завел, так и думаешь! Погоди-ка, миленок, будет она по рукам ходить, как и прочие наши. А то ишь-ты, мы-ста, не мы-ста!

Твердый, выдвинутый вперед подбородок Шмита мелко дрожал. Пол скрипнул. Шмит сделал шаг — отвесил

генералу резкую, точную, чеканную, как и сам Шмит, оплеуху.

И тут все перемешалось, как вот бывает, когда ребятенки катятся с горы на ледяшках и в самом низку налетят друг на друга: брызнет от взрытого сугроба снег, салазки — вверх полозьями, и веселый визг, и жалобный плач ушибленного.

Метнулся Ларька, услужливо подставил стул, генерал плюхнулся, как мешок. Дверная щель разверзлась, свояченица Агния вскочила в родимчике и полоумно причитала: «Штоп, штоп, штоп провалиться...» Генеральша держала стакан в руке и треснуто, пусто смеялась — так пустушка смеется на колокольне по ночам.

Генерал, без голосу, нутром просипел:

— Под суд... У-пе-ку!

Шмит отчеканил по-солдатски:

— Как прикажете, ваше превосходительство.

И налево кругом.

Ларька любил сильные сцены: довольно крутил головой, пыхтел, как самовар, и обмахивал генерала салфеткой. Агния ихала, генеральша маленькими глоточками отпивала из стаканчика.

7. Человечьи кусочки

Молочко пристал к Андрею Иванычу, как банный лист:

— Нет уж, атанде. Месяц уж, как приехал, и ни разу в собрание не заглянул, можете себе представить? Это с вашей стороны свинство. К Шмитам, небось, каждый день шлындаете!

Андрей Иваныч зарозовел чуть приметно. «Правда, если и сегодня пойти к Шмитам, — это уж будет окончательно ясно, это значит — сознаться...» Что — ясно и в чем — сознаться, этого Андрей Иваныч еще и себе сказать не насмелился.

— Ладно, чёрт с вами, иду, — отмахнулся Андрей Иваныч.

В раздевальной висело десятка полтора шинелей. Краска еще не довысохла: ноги прилипали к полу, пахло скипидаром. Молочко без отдыха молол что-то над ухом, забивал мусором Андрею Иванычу голову:

— Ну, что, каково у нас? А каланча-то наверху. Новенькое, а? Нет, а вот можете себе представить, слыхал я, будто есть такая несгораемая краска, каково, а? Нет, а вы читали, как у французов театр с людьми погорел, а? Сто человек, каково? Я за литературой очень слежу...

Наверху в зале табашники так натабачили — что хоть топор вешай. И в гомоне, в рыжем тумане, не люди, а только кусочки человечьи: там чья-то лысая, как арбуз, голова; тут, в низку, отрезанные облаком, косолапые капитан-нечесовы ноги; поодаль — букет повисших в воздухе волосатых кулаков.

Человечьи кусочки плавали, двигались, существовали в рыжем тумане самодовлеюще — как рыбы в стеклянной клетке какого-то бредового аквариума.

— А-а, Половец, давно, брат, пора, давно!

— Где пропадал, почему не являлся?

Кусочки человечьи обступили Андрея Иваныча, загалдели, стиснули. Молочко нырнул в туман — и пропал. Капитан Нечеса знакомил с какими-то новыми: Нестеров, Иваненко, еще кто-то. Но все казались Андрею Иванычу на один лад: как рыбы в аквариуме.

Были раскрыты два зеленых стола. Тусменным светом мазали по лицам свечи. Андрей Иваныч просунулся вперед — поглядеть: как играют тут, на куличках, так же ли яро, как в далеком Тамбове, или уж, может, соскучились, надоело?

Над столом висела лысая, как арбуз, тускло блестящая голова, и ровными рядами разложены были карты. Арбуз морщил лоб, что-то шептал, тыкал в карты пальцем.

— Что это? — обернулся Андрей Иваныч к капитану Нечесе.

Нечеса пошмурыгал носом и сказал:

— Наука имеет много гитик.

— Гитик?

— Ну, да. Что вы с неба, что ли, свалились? Фокус такой.

— Но почему... но почему же никто не играет в карты? Я думал... — Андрей Иваныч уже робел, видел — кругом ухмыляются.

Капитан Нечеса добродушно-свирепо пролаял:

— Пробовали, брат, пробовали, игрывали... Перестали. Будет.

— Да почему?

— Да уж очень у нас много, брат, гениев, да, по части карт. Играют уж очень хорошо. Да. Не антересно...

Андрей Иваныч сконфузился, будто он в том виноват был, что играют уж очень хорошо.

Часов в девять всей ордой двинулись ужинать. И следом из карточной переплыл в столовую табачный дым, и опять засновали в рыжих облаках самодовлеющие человечьи кусочки: головы, руки, носы.

В столовой увидали печально-длинный и совершенно противозаконно свернутый влево нос поручика Тихменя. Развеселились.

— А-а, Тихмень! Ну, как твой Петяшка?

— Зубки-то режутся? Хлопот-то, небось, тебе, а?

Капитан Нечеса блаженно улыбался и ничего теперь на свете не слыхал: наливал себе зубровку. Тихмень серьезно и озабоченно ответил:

— Мальчишка плохенький, боюсь — трудно будет с зубами.

Залп хохота, развеселого, из самых что ни на есть утроб.

Тихмень сообразил, устало махнул рукой, сел за стол рядом с Андреем Иванычем.

На конце стола, за хозяина, сидел Шмит. Он и сидя был выше всех.

Шмит позвонил. Подскочил бойкий, хитроглазый солдат с заплаткой на колене.

«Должно быть, ворует...» — почему-то подумал Андрей Иваныч, глядя на заплатку.

Через минуту солдат с заплаткой принес на подносе огромный зеленого стекла японский стакан. Все заорали, захохотали:

— А-а, Половца крестить! Так его, Шмит!

— Морского зверя-китовраса!

— Это, брат, китоврас называется: ну-ка?

Андрей Иваныч выпил жестокую смесь из полыни и хины, вытаращил глаза, задохся — не передохнуть — не мог. Кто-то подставил стул, и о вновь окрещенном забыли, или это он был без памяти...

Очнулся Андрей Иваныч от скрипучего голоса, жалобно-надоедно повторявшего одно и то же:

— Это не шутка. Если бы я знал ... Это не шутка ... Если б я знал наверно ... Если б я ...

Медленно, трудно понял Андрей Иваныч: это Тихмень. Спросил:

— Что? Если б что знал?

— ... Знал бы наверное: мой Петяшка или не мой?

«Он пьян, да. А я не ...»

Но на этом месте сбил Андрея Иваныча смех и рев. Хохотали, ложились на стол, помирали со смеху. Кто-то повторял последнюю — под занавес — фразу скоромного анекдота.

Теперь стал рассказывать Молочко: рассказывали, должно быть, уж давно. Молочко раскраснелся, ляпал во всю, так и висели в воздухе увесистые российские слова.

Вдруг с конца стола Шмит крикнул резко и твердо:

— Заткнись, дурак, больше не смей! Не позволю.

Молочко дернулся со стула, вскочил — и сейчас же сел. Сказал неуверенно:

— Сам заткнись.

Замолчал. И все примолкли. Качались, мигали в тумане человечьи кусочки: красные лица, носы, остеклевшие глаза.

Кто-то запел, потихоньку, хрипло, завыл, как пес на тоскливое серебро месяца. Подхватили в одном конце стола и в другом, затянули тягуче, подняв головы кверху. И вот уже все заунывно, в один голос, воют по-волчьи:

У попа была собака,
Он ее любил,
Раз собака съела рака,
Поп ее убил.
Закопал свою собаку,
Камень привалил.
И на камне написал:
У попа была собака,
Он ее любил.
Раз собака съела рака ...

Часы пробили десять. Заколдовал бессмысленный, как их жизнь, бесконечный круг слов, всё выли и выли, поднявши головы. Пригорюнились, вспомнили о чем-то. О чем?

Б-бум: половина одиннадцатого. И вдруг с ужасом почуял Андрей Иваныч, что и ему до смерти хочется запеть, завыть, как и все. Сейчас он, Андрей Иваныч, запоет, сейчас запоет — и тогда . . .

«Что ж это, я с ума . . . мы с ума все сошли?» Стали волосы дыбом.

. . . Поп ее убил,
Закопал свою собаку . . .
И на камне написал:
У попа была собака . . .

И запел бы, завыл Андрей Иваныч, но сидевший справа Тихмень медленно сполз под стол, обхватил Андрея Иваныча за ноги и тихо — может, один Андрей Иваныч и слышал — жалобно заскулил:

— Ах, Петяшка мой, ах, Петяшка . . .

Андрей Иваныч вскочил, в страхе выдернул ноги. Побежал туда, где сидел Шмит. Шмит не пел. Глаза суровые, трезвые. «Вот он, один он может спасти . . .»

— Шмит, проводите меня, мне нехорошо, зачем поют?

Шмит усмехнулся, встал. Пол заскрипел под ним. Вышли.

Шмит сказал:

— Эх вы! — и крепко сжал Андрею Иванычу руку.

«Вот хорошо, крепко. Значит, он еще меня . . .»

Все крепче, все больнее. «Крикнуть? Нет . . .» Хрустнули кости, боль адская. «А если и Шмит, и Шмит сумасшедший?» Все-таки не крикнул Андрей Иваныч, сдержался.

— Вы, однако, ничего: терпеливы, — усмехнулся Шмит и пристально заглянул Андрею Иванычу в глаза, обвел усмешкой огромный его лоб и робко угнездившийся под сенью лба курнофеечку-носик.

8. Соната

Весь день после вчерашнего было тошно и мутно. А когда пополз в окно вечер — мутное закутало, захлестнуло вконец. Не хватало силы остаться с собой, так вот — лицом к лицу. Андрей Иваныч махнул рукой и пошел к Шмитам.

«У Шмитов рояль, надо поиграть, правда. А то, этак и совсем разучиться недолго . . .» — хитрил Андрей Иваныч с Андреем Иванычем.

Маруся сказала невесело:

— Ах, вы знаете: Шмита, ведь, на гауптвахту посадили на три дня. За что? Он даже мне не сказал. Только удивлялся очень, что пустяки — на три дня. «А я, говорит, думал . . .» Вы не знаете, за что?

— Что-то с генералом у него вышло, а что — не знаю . . .

Андрей Иваныч сразу сел за рояль. Весело перелистывал свои ноты: «А Шмита-то нет, а Шмита посадили».

Выбрал григовскую сонату. Уж давно Андрей Иваныч в нее влюбился: так как-то, с первого же разу по душе ему пришлась. Заиграл ее теперь — и в секунду среди мутного засиял зелено-солнечный остров, и на нем . . .

Андрей Иваныч надавил левую педаль, внутри у него все задрожало. «Ну, пожалуйста, тихо, совсем тихо . . . — умолял он себя. — Еще тише: утро — золотая паутинка . . . А теперь сильнее, ну — сразу солнце, сразу — все сердце настежь. Это же для тебя — вот, всё настежь — смотри . . .»

Она сидела на самодельной, крытой китайским шелком тахте, подперла кулачком узкую свою и печальную о чем-то мордочку. Смотрела на далекое — такое далекое солнце.

Андрей Иваныч играл сейчас маленький, скорбный четырехбемольный кусочек.

. . . Все тише, все медленней, медленней, сердце останавливается, нельзя дышать. Обрывисто — сухой шёпот — протянутые, умоляющие руки, мучительно пересохшие губы, кто-то на коленях . . . «Ты же слышишь. Ну вот — ну вот я и стал на колени. Скажи, может быть, нужно что-нибудь еще? Ведь все, что ты . . .»

И вдруг — громко и остро. Насмешливые, хроматические аккорды все быстрее. Андрею Иванычу кажется, что это у него бывает — у него может быть такой божественный гнев, он ударяет, сотрясаясь, три последних удара — и тишина.

Кончил — и ничего нет, ни гнева, ни солнца, он просто — Андрей Иваныч, и когда он обернулся к Марусе, услышал:

— Да, это хорошо. Очень... — она выпрямилась. — Вы знаете, Шмит — жестокий и сильный. И вот, ведь даже его жестокостям мне хорошо подчиняться. Понимаете: во всем, до конца...

Паутинка — и смерть. Соната — и Шмит. Ни к чему, как будто, а заглянуть...

Андрей Иваныч встал из-за рояля, заходил по ковру. Маруся сказала:

— Что же вы? Кончайте, ну-у... Там же ведь еще менуэт.

— Нет, больше не буду, устал, — и все ходил Андрей Иваныч, все ходил по ковру.

— ...Я иду по ко-вру, ты и-дешь, по-ка врешь, — вдруг забаловалась Маруся и опять стала — веселая пушистая зверушка.

Победило то, о Шмите, в Андрее Иваныче, он засмеялся:

— Баловница же вы, погляжу я.

— О-о-о! А какая я была девчонкой — ух ты, держись! Всё на ниточку привязывали к буфету, чтобы не баловала.

— А теперь разве не на ниточке? — подковырнул Андрей Иваныч.

— Хм... может, и теперь на ниточке, правда. А только я тогда, бывало, делала, чтобы упасть и оборвать — нечаянно... Хи-трущая была! А то вот, помню, сад у нас был, а в саду сливы, а в городе — холера. Немытые сливы мне есть строго-настрого заказали. А мыть скучно и долго. Вот я и придумала: возьму сливу в рот, вылижу ее, вылижу дочиста и ем... Ведь она чистая стала — отчего же не есть?

Смеялись оба во всю глубину, по-детски. «Ну, еще, ну, еще посмейся»! — просил Андрей Иваныч внутри.

Но Маруся отсмеялась уже, опять на губах у нее была печаль:

— Ведь я тут не очень часто смеюсь. Тут скучно. А может, даже и страшно.

Андрею Иванычу вспомнилось вчерашнее, воющие на луну морды, и он сам — вот сейчас запоет...

— Да, может, и страшно, — сказал он.

Неслышно вошел и столбом врос в притолку денщик Непротошнов. Его не видели. Он кашлянул:

— Ваше-скородие. Барыня . . .

Андрей Иваныч с злой завистью взглянул в его рыбьи глаза: «Он здесь каждый день, всегда около . . .»

— Ну, что там?

— Там поручик Молочко пришли.

— Скажи, чтоб сюда шел, — и недовольно-смешно сморщив лоб, Маруся обернулась к Андрею Иванычу.

«Значит, она хотела, она хотела, чтоб мы вдвоем . . .» — и радостно встретил Молочку Андрей Иваныч.

Вошел и запрыгал Молочко и заболтал: посыпалось, как из прорванного мешка горох . . . фу ты, Господи! Слушают — не слушают, все равно: лишь бы говорить и своим словам самому легонько подхохатывать.

— . . . А Тихмень вчера под стол залез, можете себе представить? И все про Петяшку своего . . .

— . . . А у капитана Нечесы несчастье: солдат Аржаной пропал, вот подлец, каждую зиму сбегает . . .

— . . . А в Париже, можете себе представить, обед был, сто депутатов, и вот после обеда стали считать, а пять тарелок серебряных и пропало. Неужели депутаты? Я всю дорогу думал, я знаю — ночью теперь не засну . . .

— Да, вы, заметно, следите за литературой, — улыбнулся Андрей Иваныч.

— Да, ведь я говорил вам? Как же, как же! За литературой я очень слежу . . .

Андрей Иваныч и Маруся переглянулись украдкой и еле спрятали смех. И так это было хорошо, так хорошо: они вдвоем, как заговорщики . . .

Андрей Иваныч любил сейчас Молочку. «Ну, еще, милый, рассказывай еще . . .»

И Молочко рассказывал, как один раз на пожаре был. Пожарный прыгнул вниз с третьего этажа и остался целехонек, — «можете себе представить?» И как фейерверкер заставил молодого солдата заткнуть ружье пальцем: так, мол, пулю удержит.

— И оторвало, ведь, палец, можете себе представить?

Уже все высмеяла Маруся, весь свой смех истратила — и сидела уже неулыбой. Андрей Иваныч встал, чтоб идти домой.

Прощались. «Поцеловать руку или так?» Но первым подскочил Молочко, нагнулся, долго чмокал марусину руку. Андрей Иваныч только пожал.

9. Два Тихменя

Поручик Тихмень недаром лез под стол: дела его были вконец некудышные.

Была у Тихменя болезнь такая: думать. А по здешним мостам — очень это нехорошая болезнь. Уж блаже водку глушить перед зеркалом, блаже в карты денно и нощно резаться, только не это.

Так толковали Тихменю добрые люди. А он все свое. Ну и дочитался, конечно, додумался: «Все-де на свете один только очес призор, впечатление мое, моей воли тварь». Вот-те и раз: капитан-то Нечеса — впечатление? Может, и генерал сам — тоже?

Но Тихмень таков: что раз ему втемяшилось — в том заматореет. И продолжал он пребывать в презрении к миру, к женскому полу, к детоводству: иначе Тихмень о любви не говорил. Дети эти самые — всегда ему, как репей под хвост.

— Да помилуйте, что вы мне будете толковать? А по-моему, все родители — это олухи, караси, пойманные на удочку, да. Дети так называемые... Да для ходу, для ходу-то — это же человеку тачка к ноге, карачун... Отцвет, продажа на слом — для родителей-то... А, впрочем, господа, вы смеетесь, ну, и чёрт с вами!

А как же не смеяться, ежели нос у Тихменя такой длинный и свернут налево, и ежели машет он руками, как мельница-ветрянка. Как же не смеяться, ежели великим скептиком Тихмень бывает исключительно в трезвом своем образе, а чуть только выпьет... А ведь тут, на отлете, в мышеловке, на куличках, прости-Господи, у чёрта — тут как же не выпить?

И выпивши, всякий раз обертывается презрительный Тихмень идеалистом: как в древлем раю — тигр с ягненком очень мило уживаются в душе у русского человека.

Выпивши, Тихмень неизменно мечтает: замок, прекрасная дама в голубом и серебряном платье, а перед нею — рыцарь Тихмень, с опущенным забралом. Рыцарь и забрало — все это удобно потому, что забралом Тихмень может закрыть свой нос и оставить открытыми только губы — словом, стать прекрасным. И вот, при свете факелов совершается таинство любви, течет жизнь так быстро и являются златокудрые дети...

Впрочем, протрезвившись, Тихмень костил себя олухом и карасем с неменьшим рвением, чем своих ближних, и исполнялся еще большей ненавистью к той субстанции, что играет такие шутки с людьми и что люди легкомысленно величают индейкой.

Год тому назад... да, это так: уже почти год прошел с того дня, как ироническая индейка так подло посмеялась над Тихменем.

Были святки — несуразные, разгильдяйские, вдрызг пьяные тутошние святки. Поручик Тихмень в первый же день навизитился, накулюкался и к ночи вернулся домой рыцарем, опустившим забрало.

Капитана Нечесы не было дома, ребят уж давно уложил спать капитанский денщик Ломайлов. Одна перед празднично-вкусным столом скучала капитанша Нечеса: ведь первый день всегда празднично-скучен.

Непривычно-галантно поцеловал руку у прекрасной дамы рыцарь Тихмень. И принимая из ее ручек порцию гуся, молвил:

— Как я рад, что ночь.

— Почему же это вы рады, что ночь?

Тверезый Тихмень ответил бы в виде любезности самое большее: «Потому что ночью все кошки серы». А рыцарь Тихмень сказал:

— Потому что ночью является нам то прекрасное, что скрыто от нас дневным светом.

Это было по вкусу капитанше: она заиграла всеми своими бесчисленными ямочками, тряхнула кругленькими кудряшками на лбу и пустила против Тихменя свои атуры.

Откушали и пошли в капитаншин будуар, он же — спальня.

И опять: тверезый Тихмень — как огня бежал всегда этого приюта любви, двух слоноподобных кроватей, двух рядом почивающих на вешалке китайских халатов, в которых капитан и капитанша щеголяли ранним утром и поздним вечером. А рыцарь Тихмень охотно и радостно пошел в этот замок за прекрасной дамой.

Здесь рыцарь и его дама сели играть «в извозчики»: на листе бумаги карандашным огрызком поставили кружки-города и долго возили друг дружку и старались запутать.

Впоследствии рыцарь уже водил по бумаге рукой своей дамы, дабы облегчить ее труд. И так незаметно доехали они до капитаншиной кровати...

Не будь этого проклятого дня, что были бы Тихменю все дурацкие шутки насчет Петяшки? Нуль, сущее наплевать. А теперь... да, чёрт его ведает, может, и правда Петяшка-то...

— Ах, ты олух, идиотина, карась!

Так хватался за голову Тихмень и честил себя... трезвый.

А пьяный горевал о том, что не знает наверняка, чей Петяшка. Прямо вот — сердце разрывалось у пьяного. И главное — неизвестно ведь, как и узнать. Правда ведь, а?

Но сегодня Тихмень веселыми ногами вернулся после званого обеда у генерала и знал, что сделать, знал, как узнать про Петяшку.

— А, что, съела? А я все-таки узнаю... — поддразнивал Тихмень неведомую субстанцию.

Было еще рано, у генерала еще пир шел горой, еще Нечеса там остался, а Тихмень нарочно, специально, чтоб узнать, тихонько пробрался домой — и прямо в будуар.

Капитанша лежала еще в кровати: от частых родов что-то у ней там разладилось, и вот уже месяц — все поправиться как следует с силами не соберется.

— Здравствуй, Катюша, — поцеловал Тихмень кругленькую ручку.

— Что-то ты, милый, вежлив, как... тогда был. Не забудь, что тут дети.

Да, здесь все, как было и в тот святочный вечер: кровати-слоны, на вешалке халаты. Только вот — дети: восемь душ, восемь чумичек, мал-мала меньше, и за ними сзади, как Топтыгин на задних лапах — денщик Яшка Ломайлов.

— А ты отошли детей, мне надо поговорить, — серьезно сказал Тихмень.

Капитанша мигнула Яшке. Яшка и восемь ребят испарились.

— Ну что, ну какого еще рожна тебе говорить? — спросила капитанша сердито. А внутри так и заполыхало любопытство: «Что такое? О чем может этот статуй?»

Тихмень долго скрипел, колумесил околицей: все никак духу не хватало настояще сказать.

— Видишь ли, Катюша... Это сразу оно может и так показаться, тово... Ну, одним словом, чего там, желаю я твердо знать: мой Петяшка наверняка — или не мой?

Уж и так круглые, а тут и еще покруглели капитаншины глазки и молча уставились в Тихменя. Потом она прыснула, затрясла кудерьками:

— Вот дурашный, ну, и дурашный, рассмешил, ой, ей-Богу! Ну, а если я не знаю — тогда что?

— Взаправду — не знаешь?

— Вот чудород! Да что мне — трудно бы тебе сказать, что ли, было? Не знаю — и весь сказ. Вот еще допросчик нашелся!

...«И она не знает, пропало теперь дело». Пошел Тихмень в свою комнату, нос повесил.

В коридорчике налетел на капитана Нечесу: тот тоже себе шел, ничего не видя.

— А, ч-чёрт тебя возьми! Ты что это, нос-то на квинту, а? — ругнулся капитан.

Тихмень взглянул на Нечесу:

— А ты что на квинту?

— Э-э, брат! У меня горе: Аржаной сбежал, ну и это еще наплевать бы, а то нашелся теперь, и оказывается — манзу прихлопнул.

— А у меня... — и, не сказав, махнул Тихмень безнадежно.

10. Солдатушки, браво, ребятушки

Который настоящий да хороший мужик — тот если за сохой походил да землю нюхнул, так уж вовек этого духу земляного не забудет. Должно быть, что и с Аржаным вот так. Пошлют Аржаного, скажем, за водой на ротной Каурке — он таким гоголем по улице прокатит, что мое почтение. Или лопату сунут Аржаному в лапы: опять комья так и летят, яма сама собой строится. И так вот со всяким хозяйственным делом. А поставили его в строй — он и рот разинул. Сущее с ним горе капитану Нечесе: мужичина Аржаной здоровенный, правофланговый, а стоит, рот разиня, вот ты и делай с ним, что хочешь...

— Аржано-ой! Ты что чучелом таким стоишь, оглобля? О чем задумался? Что у тебя в башке?

А чёрт его знает, что: словами-то и не сказать, пожалуй. Должно быть, росное, весеннее утро, пашни паром курятся, лемех от земли жирный, сытый землею, а в небе — жаворо̀нка. И будто, вот в пустельге в этой, в жаворонке, вся механика-то и есть. И все дерет Аржаной голову кверху, все рот разевает: а нету ли, мол, жаворонки той самой наверху?

— Аржаной, балаболка, штык ровняй, по середней линии, аль не видишь?

Глядит Аржаной на штык — ишь ты, солнце-то на нем как играет! — глядит и думает: «Вот, ежели бы да например из этого штыка — да лемех сковать. Ох, и лемех бы вышел — новину взодрать, вот бы!»

И все это еще туда-бы-сюда, все это дело домашнее. А уж вот как теперь угрешился Аржаной — манзу прихлопнул — этого уж не покроешь, придется уж с этим к генералу идти, ах ты, Господи . . .

Качает капитан Нечеса лохматой своей головой, качается маленький его сизый нос, заблудившийся в бороде, в усах.

— Да как же это ты, Аржаной, а? Кто же это тебя надоумил? Зачем?

Аржаной оброс за время бегов щетиной, стал еще скуластей, еще больше обветрел, земле предался.

— Такое вышло дело, ваше-скородие. Рассказали мне солдатенки проклятые, что, мол, тепереча идут по большой дороге манзы эти самые и, знычть, несут панты оленьи, а пантам этим самым цена, будто, полтыщи . . . Ну я, знычть, убег и подстерег манзу-то . . .

Затопал капитан на Аржаного, залаял свирепо, начал его обкладывать — вдоль и поперек. А Аржаной стоит и ухмыляется: знает, капитан Нечеса не обидит солдата, а брань — дело плевое, на вороту не виснет.

И только тогда оробел Аржаной, когда услыхал, что к генералу придется идти: тут побелесел даже со страху.

Увидел это капитан Нечеса, заткнул свой ругательный фонтан, налил полстакана водки и сердито сунул Аржаному:

— На, такой-сякой, пей! Да не робь: авось, вызволим как-нибудь.

Увели Аржаного в кутузку, ходит капитан по комнате неспокоен.

«Вот начупит этакий прохвост, а ты расхлебывай, ты выкручивайся. Да еще под какую руку к генералу попадем, а то и под суд угонит . . .»

Ходит капитан — места не найдет. Запел свою любимую песню, она же и единственная, исполняемая капитаном:

Солдату́-ушки, браво, ребяту́-ушки,
Да где ж ва-аши жё-ёна?

У Катюшки кто-то из вздыхателей сидит: ишь-ты, хохочет она кругленько как, да звонко. К Тихменю теперь хоть и не подступайся, ходит тучи чернее, а раньше хоть с ним можно было в поддавки сыграть и за игрой о горях, о печалях позабыть . . . Эх!

Махнувши рукой, вынимает капитан очки в черной роговой оправе. Читает капитан простым глазом, и очки надеваются в двух лишь случаях: первый — когда капитан Нечеса ремонтирует некую часть своего туалета, а второй . . .

Капитан Нечеса берет оружие — грошовую иголку, специально вставленную денщиком Ломайловым в хорошую ореховую ручку. Капитан Нечеса затягивает любимую свою — и единственную — песню и бродит в столовой возле стен. Некогда стены, несомненно, были оклеены превосходными голубыми обоями. Но теперь от обоев осталось лишь неприятное воспоминание, и по воспоминанию ползают рыжие, усатые прусаки.

. . . Наши же-ена — ружья заряже-ена,
Вот где на-аши же-ена!
Солдату-ушки, браво ребяту . . .

— Ага, дьявол, попался! Та-ак!

На грошовой иголке трепыхается рыжий прусак. Должно быть, от очков — лицо у капитана совиное, свирепое, а уж лохматое — не приведи Господи . . . Капитан кровожадно-удовлетворенно глядит на прусака, сбрасывает добычу на пол, с наслаждением растирает ногой . . .

Наши се-естры — сабли-ружья во-остры.
Вот где на-аши сё . . .

— А-а, такой-сякой, в буфет лез? Будешь теперь лазить? Будешь?

И поглядеть вот сейчас на капитана Нечесу — так, ей-Богу, аж страшно: зверь-ты-зверина, ты скажи свое имя. А кто с капитаном пуд соли съел, так тот очень хорошо знает, что только с тараканами капитан свиреп, а дальше тараканов нейдет.

Да вот хоть капитаншу взять: рожает себе капитанша каждый год ребят, и один на адьютанта похож, другой — на Молочку, третий — на Иваненко . . . А капитан Нечеса — хоть бы что. Не то невдомек ему; не то думает: «А пускай, все они — младенчики, все — ангелы Божьи»: не то просто иначе и нельзя по тутошним местам, у чёрта на куличках, где всякая баба, хоть самая никчемушняя, высокую цену себе знает. Но любит капитан Нечеса всех восьмерых своих ребят, с девятым Петяшкой в придачу, — любит всех одинаково и со всеми нянчится.

Вот и сейчас, вытерши испачканные в тараканах руки о штаны, идет он в детскую, чтобы утишить тревогу свою об Аржаном. Восемь оборванных, веселых, чумазых отерхȁнов . . . И долго, покуда уж совсем не стемнеет, капитан Нечеса играет в кулючки с чумазыми.

Денщик Яшка Ломайлов, Топтыгин, сидит со свечкой в передней на конике и пристраивает заплату к коленке костенькиных панталон: совсем обносился мальчонка. А из капитаншина будуара, он же и спальня со слонами-кроватями, слышен веселый Катюшкин смех. Ох, грехи! Не было бы к лету десятого!

11. Великая

Письменным приказом Шмит был наряжен на поездку в город. Шмит удивлен был немало. Оно, положим, что дело идет о приемке новых прицельных станков, но все же на такие дела, бывало, мелкота наряжалась, подпоручики. А тут вдруг его — капитана Шмита. Ну, ладно . . .

Уехал. Андрей Иваныч и Маруся были на пристани. Проводили Шмита, вдвоем шли домой. Под ногами на лывах холодным хрустом хрупал ледок. Земля — мерзлая, тусклая, голая — лежала неубранным покойником.

— А у нас там теперь — мягко, снег, сугробы, — сказала Маруся. Еще глубже ушла подбородком в мягкий мех, еще больше стала пугливой, пушистой, милой зверушкой.

Вправо чернеют вихрястые от леса увалы, под ними туманная долина. И в тумане шевелятся, стали у самой дороги, как нищие, семь хромых деревянных крестов.

— «Семь крестов» — вы знаете? — кивнула туда Маруся.

Андрей Иваныч помотал головою: нет. Языком шевельнуть боялся, а то снимется и улетит вот это, что сейчас бьется в нем и что страшно назвать.

— Семь офицеров молоденьких — сами себя . . . И не очень, чтоб давно, лет, так, восемь или девять. Все — в один год, как от заразы. На кладбище-то их ведь нельзя было . . .

«. . . Семь. Что ж они — отдельно, или сразу все? Да, собрание, у попа была собака . . . Фу, какая чепуха! Зараза. Может быть — любовь?»

Вот по такой дорожке промчался Андрей Иваныч и вслух сказал:

— Что же, ведь любовь — она и есть болезнь. Душевно-больные . . . Я не знаю, отчего никто не попробовал лечить это гипнозом? Наверное, можно бы.

Андрей Иваныч искал ее глаза, чтобы увидеть, слышит ли она, что он говорит, хочет сказать. Но глаза были спрятаны.

— Да, может быть, — ответила Маруся себе. — Болезнь . . . Как лунатики, как каталептики. Терпеть всякую боль, муку, распяться для . . . для . . . О, все хорошо, все сладко!

Теперь Андрей Иваныч видел глаза. Они очень блестели, лучились. Но для кого, о ком?

«. . . Скажу, сегодня скажу ей все». Андрей Иваныч задрожал тоненькой, очень острой, дрожью и услышал ее как струну, где-нибудь в самом конце клавиатуры направо, — все звенела и звенела.

Прежде, чем войти в поселок, они остановились и последний раз оглянулись на небо. В разодранных облаках полыхала заря: всплеснулось что-то тревожно-красное снизу и застыло, нависло, нагнулось, растет . . .

Милая бревенчатая столовая Шмитов. Знакомый запах — не то зябрея, не то зверобоя. Но раньше все здесь было простое, полевое, спокойное, а теперь двигалось, каждую секунду менялось, что-то все время потрески-

вало. И никогда прежде не видел Андрей Иваныч этого красного, дрожащего, языка лампы.

Маруся была слишком весела. Рассказывала:

— Шмит еще кадетиком был, в белом парусиновом... Он и тогда был жестокий, упрямый. Мне так хотелось, чтобы поцеловал, а он... А я на качелях качалась, было жарко. Ну, думаю, погоди же! Взяла да с качелей об земь — бряк...

В дверь постучали. Вкатился самоварно-сияющий генеральский Ларька, где-то за ним статуем стоял в полутьме Непротошнов. Маруся весело кивнула Ларьке, разорвала поданный им конверт, положила на стол: надо сперва досказать.

— ...об земь брякнулась — и кричу: ой, ушиблась! Тут уж, конечно, шмитово сердце не вытерпело: где, говорит, где? Показала плечо: тут, вот. Ну, конечно, он... А я и на губы: и тут, говорю, тоже ушибла. Ну, он и губы... Вот ведь мы хитрущие какие, женщины — если захотим!

Засмеялась, зарозовелась, была той самой девочкой на качелях. «Сейчас, сейчас скажу ей все...» — глядел на нее Андрей Иваныч.

Она вынула письмо, читала. Медленно опускались качели вниз, все вниз. Но еще держалась улыбка на лице, как озябшая осенняя пичужка на безлистном дереве: уже мороз, уже улетать пора, а она все сидит и пиликает — как-будто и то же самое, что летом, но выходит совсем другое.

— Вот... я и не понимаю, не могу... Вот... вы... — и задохнулась. Протянула Андрею Иванычу письмо:

«Милостивая Государыня, голубонька Марья Владимировна. Пятнадцатого ноября сего года ваш милейший муженек нанес мне оскорбление действием (свидетели: денщик мой Ларька, генеральша моя и свояченица Агния; последняя видела все сквозь дверную щель). Такие вещи ценятся, конечно, не тремя днями гауптвахты, которые отсидел капитан Шмит, а малость посурьезней: каторгой — от 12 лет. Дальнейшее направление этого дела, сиречь предание его усмотрению военного суда или вечному забвению, зависит всецело от вас, милая барыня Марья Владимировна. Если вы за муженька хотите расплатиться, так пожалуйте ко мне завтра в двенадцать часов дня, пе-

ред завтраком. А коли не захотите — так в том, голубонька, воля ваша. А то бы пришли, я бы, старик, ах как бы рад был!

Почитатель ваш Азанчеев».

Цеплялась Маруся за глаза Андрея Иваныча, озябшей, неверящей улыбкой молила его сказать, что неправда это, что ничего со Шмитом . . .

— Ведь неправда же, ведь — неправда? — вот сейчас, кажется, станет она на колени.

— Правда, — только и мог сказать Андрей Иваныч.

— Господи, нет! — всхлипнула Маруся, совсем по-детски. Положила в рот палец, из всей мочи закусила . . .

Долго сидела так, потом отвернулась. Андрей Иваныч услышал какие-то странные обрывки не то смеха, не то предсмертной икоты.

— . . . На минутку . . . в зал . . . ради Бога . . . выйдите, мне одной бы . . .

Одна. Встала, подошла к стене, прислонилась лицом, чтобы никто не видел . . . Все сдвинулось в голове, понеслось вниз, под гору, без удержу. Привиделось — и откуда? — лампада под праздник, мать перед иконой ничком, такая чуднàя, сложенная пополам, а кто-то из них, из детей лежит больной.

«Ну, а если мне не пойти? Но ведь Шмита не пожалеет он . . . Нет, не пожалеет!»

— Мама! — тихонько крикнула она.

Никто не ответил.

— Богородица, милая, Ты ведь всегда меня любила, всегда . . . Не отступись, родная, никого у меня нету — никого, никого . . .

Когда Андрей Иваныч снова вошел в веселую бревенчатую столовую, Маруси не было. Умерла Маруся — веселая девочка на качелях. Увидел Андрей Иваныч строгую, скорбную женщину, рожавшую и хоронившую: вот эти вот глубокие морщины по углам губ — разве не следы они похорон? И пусть запашет жизнь борозды еще глубже — все стерпит, все поднимет русская женщина.

Сказала Маруся спокойно, только уж очень тихо:

— Андрей Иваныч, пожалуйста . . . Пойдите и скажите денщику, что хорошо, что я . . .

— Вы? Вы пойдете?

— Да ведь нужно — иначе . . .

Все в Андрее Иваныче задрожало, помутилось. Он стал на колени, губы тряслись, искал слов . . .

— Вы . . . вы . . . вы великая . . . Как я любил вас . . .

Люблю — не посмел сказать. Маруся спокойно смотрела сверху. Только руки, пальцы заплетены очень туго.

— Мне лучше одной. Вы завтра . . . нет, послезавтра придите, когда Шмит приедет. Я не могу одна его встретить . . .

Ни месяца, ни звезд, небо тяжелое. Посередь улицы, спотыкаясь о замерзшую колочь, бежал Андрей Иваныч.

«Нет, нельзя допустить . . . Немыслимо, возмутительно. Что-нибудь надо, что-нибудь надо . . . У попа была собака . . . О, Господи, да при чем это?»

Как в бреду добежал до генеральского дома: слепые, темные окна; все спят.

«Звонить? Все раздеты. Ведь уже первый час. Нелепо, смешно . . .»

Обежал еще раз кругом: нет, ни единого огонька. Если б хоть один, хоть один — тогда бы еще . . . А так — может быть, лучше до завтра?

Андрей Иваныч пощупал задний карман:

«И револьвера нет, что ж я руками-то? Смешно, только выйдет смешно! Э-э . . .»

Так же без памяти, сломя голову, добежал до дому. Позвонил, ждал. И тут вдруг ясно представил: Маруся — и генеральское пузо, может, даже белое, с зелеными пятнами, как у лягвы. Скрипнул зубами: «Ах, я проклятый!»

Но денщик Гусляйкин, ухмыляясь любезно, закрывал уже дверь на ключ.

12. Милостивец

Нынче генерал раным-рано поднялся: к девяти часам взбодрился уж, кофею налакался и в кабинете сидел. Чинил генерал по пятницам суд и расправу.

— Ну, Ларька, кто там? Да живей поворачивайся, волчком чтоб у меня вертелся — ну?

Генерал бухнулся в кресло: кресло даже заохало, еле на ногах устояло. Зажмурил умильно глаза, поиграл пальцами по брюшку:

«Придет, голубонька, или нет? Эх, и пичужечка же, да тонюсенькая, да веселенькая . . . Эх!»

Разбудил генерала густой барбосий лай капитана Нечесы:

— Вот, ваше превосходительство, Аржаной, который манзу-то убил. Тут он, привел я, позвольте доложить.

«Ох, придет же, голубонька, да, уважит старика, придет», — расплывался генерал, как блин в масле.

«И чего это он ухмыляется, чем доволен?» — вытаращился Нечеса. Подошел к генералу ближе.

— Прикажете привести, ваше превосходительство? Они тут.

— Да веди, миленок, веди! Поскорей только . . .

Вошли в кабинет и у двух притолок встали: Аржаной — степенный, как и всегда, хоть был он после бегов щетинист и лохмат, и свидетель, Опёнкин — рябой, с бородой-мочалой, этакий, видать, кум деревенский, разговорщик, горлан.

Должно быть, если б сейчас лошадей из конюшни приволокли в кабинет, так же бы они пятились, дыбились и храпели в страхе. И так же бы, как из Аржаного с Опенкиным, клещами бы из них слова не мог вытянуть капитан Нечеса.

— Да ты не бойся, чего ты, — улещал капитан Опёнкина, — твое дело сторона ведь: тебе ничего не будет.

«Сторона-то сторона. А как разгасится генерал . . .» — молча дыбился Опёнкин. Однако огляделся помалу, рот раскрыл. А уж раскрыл — и не остановить его: балакает — и сам себя слушает.

— Что ж, китаец, обнакновенно, манза — манза он и есть. Стретил я его, можно-скать, на околице, идеть себе и мешина у его зда-ро-венный на спине. Ну, он мне, конечно: здраст-здраст. И-и залопотал по-ихнему, и-и пошол . . . Ну чего, грю, тебе, чудачо-ок? Ни шиша, грю, не понимаю. Чего б, мол, тебе по нашему-то, как я, говорить? И просто, мол, и всякому понятно. А то вот нет — накося, по-дуравьи язык ломает . . .

— Э-э, брат, завел! Ты лучше про Аржаного расскажи, как ты его встретил-то?

— Аржаной-то? Да как же, о Господи! Кэ-эк, это он зачал мне, про братнину жену, про ребятенок рассказывать . . . Мал-мала, грит, меньше, есть хочут и рты, грит,

разевают. Рты, мол, разинули... И так Аржаной расквелил меня этим самым словом, так расквелил... Иду по плитуару — навозрыд, можно-скать, и тут же перебуваюсь...

Тут даже и генерал проснулся, перестал ухмыляться чему-то своему, вылупил буркалы лягушьи:

— Пере-буваюсь? Это, то есть, почему же: перебуваюсь?

И как это господа не понимают, что к чему? Вот сбил теперь Опёнкина, и конец. Нешто так можно перебивать человека? Вот теперь все и забыл Опенкин, и боле ничего.

Степенно, басисто рассказывал Аржаной. Главное дело — отпустили бы его только панты эти самые откопать. А то проведают солдатишки проклятые... Ведь стоют-то панты полтыщи, о Господи...

— Ваше превосходительство, уж дозвольте пойтить взять. Ведь наше такое, знычть, дело крестьянское, деньги-то вот как надобны, податя опять же...

Генерал опять улыбался, подпрыгивал легонечко в кресле этак вот: вверх и вниз. Щекотал себя по брюшку:

«Ах, голубонька, плачет, поди разливается... Ах, дитенок милый, чем бы тебя разутешить? А может, пожалеть, а?»

Генерал покачал головой на Аржаного:

— Эх ты, голова-два уха! Тебе бы только панты. А человека тебе нипочем укокошить? Жалеть надо человека-то, миленок, жалеть, вот что.

— Ваше превосхо... Да ведь они — манзы. Нешь, они человеки? Так, знычть, вроде куроптей больших. За их и Бог-то не взыщет. Ваше превосхо... дозвольте панты-то, ведь ребетенки, есть-пить... рты разинули...

Генерал загоготал, заходило, заплескалось его брюхо:

— Как, как? Вроде, говоришь, куроптей? Хо-хо-хо! Ну, ладно, вот что. Вы этого сукина сына... Хо-хо! Так вроде куроптей, говоришь? Вы его домашним порядком — плеточкой, понимэ? И потом — отпустите его панты эти взять, чёрт с ним, и — под арест на десять суток, вот-с...

Аржаной бухнулся в ноги: «Стало быть, панты-то мои?»

— Ваше превосхо... благодетель, милостивец!

Капитан Нечеса, уходя, думал:

«Ах, не спроста это, больно что-й-то добер нынче!»

Генерал вышел в гостиную, жмурился, улыбался. У окна сидела генеральша, грела в руке стаканчик с чем-то красным.

— Чей-то, матушка, голосок я слышал? Молочко, что ли? Все еще хороводишься?

— Молочко отлынивать что-то стал, — рассеянно глядела генеральша мимо, — бородавки у себя развел, так нехорошо. Ты бы его приструнил . . .

Подскочила Агния. Вихлялась, подпрыгивала около генерала:

— А Молочко про Тихменя рассказывал: совсем малый спятил, все добивается, его или нет Петяшка, капитаншин девятый . . .

Хихикала Агния в сухой кулачок. Генерал весело ткнул ее в бок:

— А ты, Агния, когда же родишь, а? За Ларьку бы, что ли, выходила: что ж даром-то так пропадать?

А Ларька — как раз тут вот и пришел и стоял в дверях. Увидала его Агния — запрыгала, запричитала: «Штоп-штоп-штоп-тебе п-провалиться . . .»

Ларька подкатился любовно к генералу:

— Ваше преосходительство, вас дожидают там . . . К вам, говорят, лично.

Так и затрепыхался генерал. «Неужто ж и впрямь пришла?»

Побежал, засеменил. Брюхо побежало впереди — выходило, будто катил его генерал перед собой на тачке. Высоко подтянутые брючки трепались над сапогами.

Что-то такое учуяла нюхом своим Агния и, сказав: «я сейчас», упорхнула от генеральши в свою комнатку.

Комнатушка — клетушка маленькая, но зато веселые, с малиновыми букетами, обои, и пахнет каким-то розовым щипучим мылом. А все стены уклеены вырезанными из «Нивы», из «Родины» портретами: все мужские портреты аккуратно Агния вырезывала и тащила к себе — и генералов, и архиереев, и знаменитых ученых.

Но не в букетах, и не в портретах даже суть. А в том, что под большим портретом Александра III укрыла Агния долгим трудом и искусством проделанную щель в генералов кабинет. И теперь, прильнув ухом к щели, как

манну небесную, ловила все, что сейчас творилось в кабинете.

13. Кладь тяжелая

Шмит веселый-развеселый вернулся из города: уж давно его Андрей Иваныч таким не видал. Шли втроем с пристани; Шмит звал обедать. Стал было некаться Андрей Иваныч, да Шмит и слушать не хотел.

— Эх, по заливу шуга идет, — говорил Шмит. — Льдинки скрипят около баркаса, машина из всех сил стучит . . . Эх, хорошо, борьба!

Шел он высокий, тяжелый для земли, пил залпом морозный воздух.

— Борьба, — вслух подумал Андрей Иваныч, — борьба утомляет. К чему?

— Отдых утомляет еще больше, — усмехнулся Шмит.

«Да, он устанет нескоро, — глядел Андрей Иваныч на Шмита, — он бы не задумался, что спят, что нет револьвера . . . И ничего бы этого не было. А может, и так не было?»

В первый раз за сегодня насмелился Андрей Иваныч — и взглянул на Марусю. Ничего . . . Но только эта недвижность лица и заплетенные крепко пальцы.

«Она была там, это . . . было», — весь захолонул Андрей Иваныч.

— Ну, что ж ты, Маруська, делала, что во сне видела? — Шмит нагнулся к Марусе. Жесткий его, кованный подбородок исчез, Шмит весь стал мягкий.

Бывает вот, над кладью грузчики иной раз тужатся-тужатся, а все ни с места. Уж и дубинушку спели, и куплет какой-нибудь ахтительный загнули про подрядчика — ну, еще раз! — напружились: и ни с места, как заколдовано.

Так вот и Маруся сейчас тужилась улыбнуться: всю свою силу в одно место собрала — к губам — и не может, вот — не может, ни с места, и все лицо дрожит.

Видел это — смотрел, не дыша, Андрей Иваныч: «Боже мой, если только оглянется сейчас на нее Шмит, если только оглянется . . .»

Секунда, одна только секундочка бесконечная — и совладала Маруся, улыбнулась. И только голос дрожал у нее чуть приметно:

— Господи, до чего ж иной раз вещи никчемушние снятся, смешно! Мне вот всю ночь снилось, что надо разделить семьдесят восемь на четыре части. И вот уже будто разделила, поймала, а как написать, так и опять число забыла, и нету. И опять семьдесят восемь на четыре части — не умею, теряю, а знаю — надо. Так страшно это, так мучительно . . .

«Мучительно» — это была форточка туда, в правду. И даже радостно было Марусе сказать это слово, напоить его всей своей болью. И опять все это поймал Андрей Иваныч — снова захолонул, заледенел.

Шмит шел впереди их двоих уверенным своим крепким, тяжелым шагом. Сказал, не обертываясь:

— Э-э, да ты, Маруська, кажись это серьезно! Надо уметь плевать на такие пустяки. Да, впрочем, не только на пустяки: и на все . . .

И сразу Шмит стал вдруг немил Андрею Иванычу, почему-то вспомнилось, как Шмит жал ему руку.

— Вы . . . Вы эгоист, — сказал Андрей Иваныч со злостью.

— Э-го-ист? А вы что ж думаете, милый мальчик, есть альтруисты? Хо-хо-о! Все тот же эгоизм, только дурного вкуса . . . Ходят, там, за прокаженными, делают всякую гадость . . . для-ради собственного же удовлетворения . . .

«Ч-чёрт проклятый . . . А вот то, что она сделала? Неужели . . . неужели ж ничего он не замечает, не чувствует?»

А Шмит смеялся:

— Э-го-ист . . . А знаете, как барышни это слово пишут? Ах, Господи, да кто ж это мне рассказывал? Сидят двое на скамейке, она зонтиком на песке выводит: и — т. — «Угадайте, — говорит, — это я написала о вас». Обожатель глядит, читает, конечно: «идиот». И трагедия . . . А было-то «игоист» . . .

Марусе нужно было смеяться. Опять: заколдованная кладь, грузчики напружились изо всех сил . . . Закусила губы, побледнел Андрей Иваныч . . .

Засмеялась, наконец . . . слава Богу, засмеялась! Но в ту же секунду раскололся ее смех, покатились, задребезжали осколочки, хлынули слезы в три ручья.

— Шмит, милый, я больше не могу, не могу, прости,

Шмит, я тебе все расскажу... Шмит, ты ведь поймешь, ты же должен понять! — иначе — как же?

Всплескивала маленькими своими детскими ручонками, тянулась вся к Шмиту, но не смела тронуть его: ведь она...

Шмит повернулся к Андрею Иванычу, к искаженному его лицу, но не увидел в нем удивления. Шмитовы глаза узко сощурились, стали, как лезвие.

— Вы... Вы уже знаете? Почему вы знаете это раньше, чем я?

Андрей Иваныч сморщился, поперек глотки стал ком. Он досадливо махнул рукой.

— Э, оставьте, мы с вами после! Вы поглядите на нее: вы ведь ей в ноги должны кланяться.

Шмит выдавил сквозь стиснутые зубы:

— Муз-зы-кант! Знаю я этих муз-зы...

Но услышал за собой легкий шорох. Обернулся, а Маруся-то, как стояла, так и села на земь, поджав ноги, а глаза закрыты.

Шмит поднял ее на руки и понес.

14. Снежный узор

Каждый день вечером подходил Андрей Иваныч к шмитовской калитке, брался за звонок и уходил назад: не мог, ну вот не мог он такой, проклятый, войти туда, увидеть Марусю. Как же не проклятый: зачем не убил в ту ночь генерала? Шмит бы убил.

Но и так — сидеть в постылой своей комнате и не знать, что там — еще больше не мог.

«Господи, только бы как-нибудь увидать, хоть немного, что она — что с ней...»

И на пятый день к вечеру Андрей Иваныч придумал-таки. Напялил пальто, взял было шашку — поставил опять в угол.

— Куда это вы, на ночь глядя? — спросил Гусляйкин и, показалось Андрею Иванычу, подмигнул.

— Я... Я нескоро приду, ложись спать.

На улице снег вчера выпал. Не настоящий, конечно, не русский: так только, сверху чуть-чуть.

«Снег — это нехорошо, хрустит, и от месяца — как днем, ясно... Все равно. Надо же...»

Андрей Иваныч зуб на зуб не попадал — от холода, что ли? Да нет: мороз — не Бог весть.

Окна у Шмитов завешены были морозным самоцветным узором. Андрей Иваныч поднялся на цыпочки и терпеливо стал дыханием согревать стекло, чтобы увидеть, — Господи, если б хоть немного, хоть немного!

Теперь было видно: они в своей столовой. Дверь оттуда прикрыта неплотно, и в гостиной синий полусвет, смутно-острые тени от пальмы — на диване, на полу.

Дрожал, глядел Андрей Иваныч в протаянный круг. Мерзли руки и ноги. Нескоро, может через полчаса, может через час, пришла мысль:

«Стоять и подглядывать, и подглядывать, как Агния какая-нибудь! До чего ж, значит, я . . . Надо уйти . . .»

Отошел на шаг — и стал: уйти дальше не было сил. Вдруг увидел: на снежном экране окна заколыхались две тени — большая и поменьше. Все забыл, кинулся к окну, затрясся, как в лихорадке.

Проталины в окне затянулись уж снежной дымкой, ничего не понять . . . «Что ж это . . . что они там делают, что они делают?»

Маленькая тень поменьшела, стала на колени, а может упала, а может . . . К ней нагнулась большая тень . . .

Впился, всем своим существом ушел Андрей Иваныч в проклятую снежную завесу, силился ее разорвать . . .

Тр-рах! — стекло треснуло, на лбу ожог боли, мокрое. Кровь . . . Отскочил Андрей Иваныч, ошалело глядел, как вкопанный: бежать и не подумал.

Очнулся — возле него уж был Шмит.

— А-а, так это вы, муз-з-зы-кант? Подсматривали-с?

Совсем близко от себя увидел Андрей Иваныч острые, бешеные шмитовы глаза.

— Недурно! Вы здесь быстро ак-климатизировались.

«Поднять руку? Ударить? Но ведь правда же, но ведь правда . . .» — застонал Андрей Иваныч. И стоял. И молчал.

— На этот раз . . . Пош-шли вон!

Шмит захлопнул за собою калитку.

«. . . Сейчас же — сейчас! Прийти — и пулю в лоб . . . Сейчас же!» — побежал Андрей Иваныч домой. Лицо горело, как от пощечин.

Не мог теперь сказать: отпирал Гусляйкин или нет.

Как будто нет, и все-таки уже сидел Андрей Иваныч за столом и глядел на револьвер, под лампой — такой противно-блестящий.

«Но ведь никто же абсолютно не видел. Но и не в этом даже дело. Главное, что ведь Маруся же одна останется — одна с ним. Ведь он, может быть, ее бьет, и если меня не будет . . .»

Он спрятал револьвер, запер торопливо на ключ. Дунул на лампу, не раздеваясь — прямо в сапогах бухнулся на постель, стиснул зубы: «О, проклятый — о, проклятый трус!»

. . . Склизкое, туманно-серое утро. Гусляйкин нещадно расталкивал Андрея Иваныча:

— Ваш-бродие, покупочки из города привезли.

— Что, что такое? Какие покупочки?

— Да ведь вы, ваш-бродь, сами о прошлой неделе заказывали. Ведь завтра-то, чать, Рождество Христово!

Залеченные сном мысли проснулись, заныли.

Рождество . . . Самый любимый праздник. Яркие огни, бал, чей-то милый надушенный платочек, украденный и хранившийся под подушкой . . . Все было, все кончилось, а теперь . . .

Было так: он канул на дно, на дне сидел, а над головой ходило мутное, тяжелое озеро. И оттуда, сверху, слышно все глухо, смутно, туманно.

Очень странно было Андрею Иванычу надеть на первый день мундир и идти с визитами. Все же, заведенный каким-то заводом, пошел. Поздравлял, целовал руки, даже смеялся. Но сам слышал свой смех . . .

Где-то — может у Нестеровых, может у Иваненко, может у Косинских — был спор о поросенке: как его на стол подавать? Бумажной бахромой надо его украшать, или нет? Окорок, конечно, надо, всякому это ведомо, а вот поросенка-то как? И когда спросили спорщики андрей-иванычево мнение («Вы, ведь, недавно из России — это очень важно») — тут Андрей Иваныч и засмеялся, и услышал: «Я смеюсь? я?»

В каком-то доме, кажется, у Нечесов, из столовой были видны через открытые двери две супружеских,рядом стоящих, брюхатых кровати. Глядя туда и допивая, не то пятую, не то десятую рюмку, Андрей Иваныч неожиданно спросил:

— А что теперь у Шмитов?

— Чудак, да ведь у вас такое сокровище — Гусляйкин. У него спросите, он в кухне у Шмитов день и ночь, — посоветовала кругленькая капитанша.

От коньяку, от водки, от налегшей плиты ночи — мутное озеро стало еще глубже, еще тяжелей.

Андрей Иваныч сидел после визитов у себя за столом, бессмысленно глядел на лампу, не слушал, что там такое рассказывает Гусляйкин, стоя у притолки. Потом вспомнилось: сокровище... Загорелся Андрей Иваныч и спросил, не глядя:

— А у капитана Шмита давно был?

— Нынче был. Как же. Там дела, там дела, и-и-и... Комедия!

Нельзя было слушать Андрею Иванычу — и еще больше нельзя не слушать. Весь полыхал от стыда — и слушал. И говорил:

— А дальше? Ну, а потом что?

А когда кончил Гусляйкин, Андрей Иваныч, шатаясь, подошел к нему.

— К-как ты мне смел такие... такие вещи рассказывать, как ты смел?

— Ваш-бродь, да вы сами ведь...

— ...Как ты смел... про нее, про не-е, с-сволочь? Хлясь! — так и ушла андрей-иванычева рука в бламанже какое-то, в кисельное: такие были у Гусляйкина жидкие щеки. Так это противно: как будто вот вымазана теперь вся рука.

15. Нечистая сила

Двадцать пятого января — мученицы Фелицаты память, генеральши Фелицаты Африкановны именины. И уж так у генерала Азанчеева заведено: обед на Фелицату и вечер званый. Да и не простой обед и вечер не простой, а всегда с закорючкой, с заковыристой загвоздкой какою-нибудь. То поднесет генерал перед обедом всем офицершам по букету роз: «Пожалуйте, барыни, голубушки, сам для вас в оранжерее выводил, сам и рвал». Барыни, конечно, рады, благодарственны: «Ах, какой вы милый, мерси, какой запах...» Разок нюхнули, дру-

гой, да как зачихают все: розы-то табаком нюхательным позасыпаны! А то вот на последнем обеде — в прошлом, стало быть, году — такая была потеха. Обед состряпал генерал — просто на диво, а уж на особицу хвастался бульоном. И правда — янтарный, как шампанское, островки прозрачного жира сверху, и засыпан китайской лапшой: и драконы тут, и звезды, и рыбы, и человечки. После обеда гостям уж ходить не в мочь: повез генерал гостей кататься, обещал им какую-то диковину показать. И когда этак верст с пяток проехали, скомандовал генерал: — стой! — и объявил всем своим верноподданным:

— А на бульоне-то, господа, не жир это, а касторка сверху плавала. А вам никому и в голову не влетело, ха-ха-ха!

Ну-у... И что тут только было!

Не иначе, как и в этом году что-нибудь уж такое да будет. Хоть и удрал генерал в город от Шмита, хоть и сидит там по сию пору, но не может того быть, чтобы к фелицатину дню не вернулся. Как же, ведь уже капитан Нечеса, за вечным отпуском командира — старший, получил генеральский приказ согнать всех солдат и начать работы: поле утрамбовывать. Всякие эти занятия там да стрельбы, конечно, похерили: этого добра — каждый день не оберешься, а генеральшины-то именины раз в году ведь бывают.

И рассыпались солдатики по всему по полю за пороховым погребом — ровно серые муравьи. Еще слава-те, Господи, туман потянул да оттеплело, а то бы землю никак не угрызть. Оно, правда, грязновато, рассусолилась глина, мажется, липнет и глядят все солдаты алахарями. Ну, да тут уж ничего не попишешь: служба. И роются, роются, тачки таскают, копошатся серые, смирные, вдвое согнутые. Не то на поле бега будут, не то еще что: до фелицатина дня — ни одной живой душе не известен генеральский секрет...

В сторонке, на чураке сидел Тихмень, отвернувшись: надзирал за работами. Все ему было тошно: перемазанные чумички-солдаты, и смирная их точно-такность, и туман — желтый гад ползучий, и пуще всего — сам он, Тихмень.

В самом деле: какой-то там сопливец Петяшка — и вдруг все идет к чёрту. Раньше было все так ясно: были

«вещи в себе», до которых Тихменю никакого не было дела, и были «отражения вещей» в Тихмене, Тихменю покорные и подвластные. И вот — не угодно ли! Прямо какая-то нечистая сила вселилась, ей-Богу!

...Церковь, солнечный луч. Тихменя кто-то из больших уводит за руку, а он карачится, хочет еще послушать, как кликуша выкликает — любопытно и жутко: в одно время и своим кличет, бабьим голосом — и чужим, собачьим.

«Да. Разве не собачье все это? И эта гадость, любовь эта самая, и паршивый щенок Петяшка?»

А собачий голос — а нечистая сила — в Тихмене скулит:

«Петяшка... Ах, как же бы это узнать? Наверняка бы? Чей же Петяшка, в самом деле?»

— Здравствуй, Тихмень. О чем замечтался?

Вздрогнули оба Тихменя, — настоящий и собачий, сомкнулись в одного, один этот вскочил.

Перед Тихменем в коробушке, в таратайке казенной, сидела капитанша Нечеса. Нынче в первый раз она встала с постели, и первый ее выезд был к генеральше — или, собственно, к Агнии. Душа горела — все дотошно разведать, как и что было у генерала с Маруськой этой шмитовой. «Ах, слава Богу, наказал ее Господь за гордыню, а то этакая принцесса на горошине...»

Посудачила, ямочками поиграла, укатила капитанша. И сейчас же на чураке опять уселось двое Тихменей, затолкались, заспорили.

Собачий Тихмень молвил:

— А ведь капитан Нечеса остался дома один теперь, да-с...

И с присущим ему собачьим нюхом отыскал какую-то, человеку невидную, тропку, побежал — и закрутил, и зарыскал по ней. Долго кружил и вдруг — стоп, нашел, вынюхал:

— Олух же, олух я! Ну, конечно: пойти и спросить самого капитана. Уж он-то знает, чей Петяшка... Ему — да не знать?

Тихмень встал, поманил к себе пальцем Аржаного. — Ну, как у нас дела?

В строю разиня — тут, в земляном деле, Аржаной — козырь и мастак, и за всех ответчик.

— Да так что, ваш-бродь, пошти все уж урки свои кончили. Рази там каких-нить штук-человек десять осталось . . .

— Штук-человек десять? Ну, ладно. — Тихмень махнул рукой. — Кончайте без меня, я пойду. Ты пригляди, Аржаной.

Торопливо Тихмень вбежал в нечесовскую столовую. Слава Богу, так и есть: капитан дома.

Перед капитаном стоял солдат. Капитан Нечеса очень важно отсыпал порошок. Подбросил, прикинул на ладони: годится.

— На вот, во здравие пей. Ну, чего там, чего там!

Мнил себя Нечеса очень недурным лекарем. Да и солдат к нему веселей шел, чем к фельдшеру, или там к доктору: те-то уж больно мудрены.

Одно горе: лет пять назад утянул кто-то из пациентов у Нечесы «Школу здоровья», и остался у капитана только «Домашний скотолечебник». Делать нечего, пришлось по скотолечебнику орудовать. И, ей-Богу, не хуже выходило: что ж, правда, велика ли разница? Устройство одно, что у человека, что у скотины.

После медицины у капитана настроение бывало расчудесное. Пощекотал он Тихменю ребра:

— Ну, что брат-Пушкин?

— Да вот, хотел, было я спросить . . .

— Нет, брат, ты сначала садись, выпей, а там — увидим.

Сели. Выпили, закусили. Опять собрался Тихмень с духом, издалека стал подъезжать: то да се, да как, мол, Петяшку будет трудно на ноги поставить . . . Но капитан Тихменю живо окорот сделал:

— За обедом? О высоких материях? Да ты спятил! Видать, в медицине ни бельмеса не понимаешь. Разве можно — такие разговоры, чтоб кровь в голову шла? Надо, чтоб вся в желудок уходила . . .

Ах, ты Господи! Что ты будешь делать? А тут еще влетели все восемь капитановых оборванцев и с ними Топтыгин на задних лапах — денщик Яшка Ломайлов.

Нечесята хихикали, шептались, заговор какой-то. Потом, фыркая, подлетела к Тихменю старшенькая девочка Варюшка.

— Дядь а дядь, у тебя печонки есть? А?

— Печо... печонки, — залился капитан.

Тихмень морщился.

— Ну, есть, а тебе на что?

— А мы нынче за обедом печонку жареную ели, а мы за обедом...

— А мы за обедом, а мы за обедом... — запрыгали, захлопали, заорали, кругом понеслись ведьмята. Не вытерпел капитан, вскочил, закружился с ними — все равно, чьи они: капитановы, адъютантовы, молочковы...

Потом все вместе играли в кулючки. Потом составляли лекарства: капитан и ведьмята — доктора. Яшка Ломайлов — фершал, а Тихмень — пациент... А потом уж пора и спать.

Так и остался Тихмень на бобах: опять ничего не узнал.

16. Пружинка

Нарочно, смеху для, распустил Молочко слух, что генерал вернулся из города. И Шмит на этом поймался. Сейчас же закипел: иду!

Он стоял перед зеркалом, сумрачно вертел в руках крахмальный воротничок. Положил на подзеркальник, позвал Марусю.

— Пожалуйста, погляди вот: чистый? Можно еще надеть? У меня больше нет. Ведь у нас ничего теперь нет.

Узенькая — еще уже, чем была, с двумя морщинками похоронными по углам губ, подошла Маруся.

— Покажи-ка? Да, он... да, пожалуй, еще годится...

И все еще вращая воротничок в руке, глаз не спуская с воротничка — сказала тихо:

— О, если бы не жить! Позволь умереть... позволь мне, Шмит!

Да, это она, Маруся: паутинка — и смерть, воротничок — и не жить...

— Умереть? — усмехнулся Шмит. — Умереть никогда не трудно, вот — убить...

Он быстро кончил одеваться и вышел. По морозной, звонкой земле шел — земли не чуял: так напружены были в нем все жилы, как стальные струны. Шел злобнотвердый, отточенный, быстрый.

Ненавистно-знакомая дверь, обитая желтой клеенкой, ненавистно-сияющий генеральский Ларька.

— Да их преосходительство и не думали, и не приезжали, вот ей-Боженьку же, провалиться мне!

Шмит стоял упруго, готовый прыгнуть, что-то держал наготове в кармане.

— Да вот не верите, ваше-скородь, так пожалте, сами поглядите . . .

И Ларька широко разинул дверь, сам стал в стороне.

«Если открывает — значит, нету, правда . . . Вломиться — и опять остаться в дураках?»

Так резко повернулся Шмит на пороге, что Ларька назад даже прянул и глаза зажмурил.

Шмит стиснул зубы, стиснул рукоятку револьвера, всего себя сдавил в злую пружину. Разжаться бы, ударить! Побежал в казармы — почему, и сам того не знал.

В казарме — пусто-чистые из бревен стены. Все были там, за похоровым погребом: что-то никому неведомое устраивали к генеральшиным именинам. Один только дневальный сонно слонялся — серый солдатик, все у него серое: и глаза, и волосы и лицо — все, как сукно солдатское.

Шмит бежал вдоль бревенчатой стены, мигали в глазах оголенные нары. За погон что-то задело, — глянул на стену вверх: там на одной петельке качалась таблица отдания чести.

Шмит рванул таблицу:

— Эт-то что такое? Ты у меня . . .

И так ударил голосом на «эт-то», так развернул в этом слове мучительную свою пружину, что вышло, должно быть, страшным простое «это»: серый солдатик шатнулся, как от удара.

Но Шмит был уже далеко: этот серый — не то. Шмит бежал туда, где работали — к пороховому, где было много.

Только трех солдатиков нынче и не погнали на работы: в казарме дневального, у погреба часового — и красильщика, который патронные ящики красил.

А красил ящики не какой-нибудь дуролом, какой не знает и грунтовки положить, — красил ящики рядовой Муравей, своего дела мастер известный. Не то что-что, а

даже когда спектакль ставили в запрошлом году — «Царь Максимьян и его непокорный сын Адольфа» — так даже для спектакля все рядовой Муравей расписывал. И он же, Муравей, на гармошке первый специалист: как он — страдательную сыграть никто не мог. Рядовой Муравей себе цену знал.

И вот стоял он маленький, чернявый, будто даже и не русский, стоял и душу свою тешил. Ящики-то зеленым помазать — это еще дело годит. А пока что, зеленью и подгрунтовкой белой расписывал он на ящике вид: речка, как есть живая ихняя Мамура-речка, а над речкой — ветлы, а над ве...

— А-ах! — как гром разразила его сверху шмитова рука. — Т-ты красишь? Ты... красишь? Я... тебе... что... велел?

И еще что-то кричал Шмит — может, и не слова даже, очень даже просто, что не слова — кричал и бил прислонившегося к зарядному ящику Муравья. Бил — и все больше хотелось бить: до крови, до стонов, до закатившихся глаз. Так же неудержно, как раньше хотелось без конца тоненькую Марусю подымать на руки, целовать.

Со страху ли, или уж очень большим преступником видел себя Муравей, но только не кричал он. А Шмиту попритчилось тут упрямство. Нужно было одолеть, нужен был... нужен был — задыхался Шмит — нужен был крик, стон.

Шмит вытащил из кармана револьвер — и только тут Муравей заорал благим матом.

На поле, за пороховым погребом, услыхали. Размахивали руками, прыгали через канавы, неслись сюда черные фигуры. И впереди был Андрей Иваныч: он дежурил сегодня с солдатами.

Шмит поглядел на Андрея Иваныча, что-то хотел ему сказать, но уж близко дышали, запалились, бежавши, солдаты. Шмит махнул рукой и медленно пошел.

Солдаты стояли в кругу около лежащего, вытягивали головы, долго никто не насмеливался подойти. Потом вылез, кряхтя, из круга неуклюже-степенный детина, присел на карачки к Муравью:

— Э-эх, сердешный, как он тебя, знычть, ловко оборудовал!

Андрей Иваныч узнал Аржаного. Аржаной приподнял

голову Муравью и умело, как будто это не впервой ему, обматывал ситцевым платком.

«Да, это Аржаной, тот самый, что манзу убил. Тот самый...» — И задумался Андрей Иваныч.

17. Клуб ланцепупов

Все уж это знали, что Шмит совсем как бешеный бегает. И когда нежданно-негаданно вошел он в столовую собрания, все, как по команде, притихли, прижухли, даром что навеселе были.

— Ну, что ж вы, господа? О чем? — Шмит оперся о стол, с тяжелой усмешкой.

Все сидели, а он стоял: вот это будто самое неловкое и было, вертелись. Кто-то не вытерпел и вскочил:

— Мы... мы ане-анекдот...

— Ка-акой анекдот?

...Какой? Как нарочно, вылетели все из головы. «А вдруг он нюхом учует, что мы говорили о нем и...»

Выручил капитан Нечеса. Поковырял сизый свой нос и сказал:

— А мы... это, да, армянский — знаешь? Одын ходыт, другой ходыт... двэнадцатый ходыт, что такой?

Шмит почти улыбнулся.

— А-а, двэнадцатый ходыт? Стало быть, капитаннечесовы дети...

Все подхватили, загоготали облегченно:

«Что же, он даже и ничего вовсе, даже и шутит...»

Шмит обвел их всех острыми, железно-серыми глазами, каждого ощупал отдельно и сказал:

— Господа, а не осточертело вам здесь? Не пора ли чего-нибудь этакого похлеще? А? Не ахнуть ли нам в город, в ланцепуповский клуб, например? Чуть ли не с год, ведь, не были.

Шмит глядел, искал: «Поедут — не поедут? А вдруг — поедут, и мы там где-нибудь встретим Аза... Азанчеева? Вдруг встретим — ведь может же»...

Публика мялась.

— Теперь? Да ведь о полночь уж... С ума спятить: всю ночь переть туда — ехать... Ветер, качать будет.

— Ну-с? Как же? — усмешкой хлестнул Шмит Андрея Иваныча, уперся в широкий андрей-иванычев лоб.

Андрей Иваныч вышел вперед и, хотя и не знал даже толком, что за клуб такой ланцепупов, упрямо сказал:

— Я еду.

Лиха беда начать, а там уж пойдет. Загалдели: и я, и я! Засуетились, застегивали шинели, пошли к берегу. Не поехал только Нечеса.

На воде был такой холодина, что все живо языки подвязали. Свистел, жуть нагонял ветер. Дремали, сидя. Без конца, всю ночь, колотилась головою волна о железный борт.

Подъезжали на рассвете. Медленно, презрительно, величаво выкатывалось из воды солнце. Сразу стало стыдно клевать носом, вскочили, глядели на непроснувшийся, розово-синий на горе город.

Растолкали на пристани китайцев-извозчиков и покатили гуськом на пяти дребезгливых подводах на самый край города.

На звонок дверь, как у Кощея во дворце, сама растворилась: людей не видать было. Шёпотом, воровато вошли в приготовленную комнату, вида необычного, очень длинную: коридор, а не комната. У одной стены — узкий, весь в бутылках, стол. А насупротив, где окна — ничего: пусто, гладко.

Шмит налил себе полный стакан рома, выпил, рука у него чуть дрожала, глаза узились и кололи.

— Ну, что ж, господа, жребий?

Кинули жребий. Выпал орел четверым: Шмиту, Молочке, Тихменю, Нестерову. Отчего-то розовость молочкова мигом полиняла.

— Я бросаю! — крикнул Шмит и кинул за окно большой, весело сверкнувший, золотой.

На раскрытом окне опущена и парусом вдувается штора. Стали у окна попарно — справа и слева, вынули револьверы, вытянулись, ждали. Резкий, кованый профиль Шмита, острый, выдвинутый вперед подбородок, закрытые глаза . . .

— Но зачем же они . . . — поднял, было, голову Андрей Иваныч: ничего не понимал.

На него цыкнули: притих. У всех были красные, дикие глаза, с прозеленью лица: может от бессонной ночи. Вихрились какие-то несуразные обрывки слов в головах.

Лили в себя спирт. Сердце — в нестерпимых, сладко-мучительных тисках.

Плыл вверх солнечный квадрат на белой занавеске. Все так же молча сидели. Не знал никто: час прошел, или два, или . . .

Шаги по тротуару под окном. Какая-то одинаковая у всех судорога — и четыре нестройных, вразброд, выстрела.

Вскочили, взбудораженно загалдели, все кинулись к окну. У самой стены лежал на спине в ватной синей кофте манза: нагнулся, было, за новеньким золотым, но поднять, должно быть, не успел.

Уж что было дальше, не видал Андрей Иваныч. От ночи ли бессонной, от винного ли дурмана, или еще от чего, но только сомлел он: как стоял у окна, так тут же на пол и сел.

Очнулся — совсем близко над ним шмитовы железно-серые глаза.

— Разве мыслимо? — Шмит встал с колен, выпрямился. — Офицер, как институтка, на кровь не может глядеть! Я всегда это говорю: офицер в мирное время должен учиться убивать . . .

Андрей Иваныч медленно поднимался с полу —шатнулся, схватился за Тихменя.

Тихмень взял его под руку, повел к выходу:

— Пойдемте, голубчик, пойдемте. Вам еще рано, погодите . . .

Вышли в маленький голый садик с почернелым забором, с печально-непокрытой землей. Только недавно еще вышло на небо солнце, а уж затягивался смертной пленкой тумана его зрак.

Тихмень сбросил фуражку, провел рукой по зализам своим, глянул вверх:

— Скверно. Все скверно. Так скверно! — сказал он скрипуче. Махнул рукой и опять сидел молча, слишком длинный, непрочный. Полз ржавый, ржавящий, желтый туман.

— Хоть бы война какая, что ли . . . — буркнул в нос Тихмень.

— Хороши мы будем на войне!

Хотел это только сказать или сказал — и сам того не знал Андрей Иваныч: в голове колотилось, клочьями неслось стремглав, путалось.

18. Альянс

Пост Великий, мокреть, теплынь. Чавкает под ногами грязь — так чавкает, что вот-вот человека проглотит.

И глотает. Нету уж сил карачиться, сонный тонет человек и, засыпая, молит: «Ох, война бы, что ли... Пожар бы, запой бы уж, что ли...»

Чавкает грязь. Гиблые бродят люди по косе, уходящей в океан. Чертятся на черном вдалеке белые полосочки — корабли. Ах, не завернет ли какой-нибудь и сюда? С Великого поста ведь всегда заходить начинают. Вот в прошлом году уж целых два в феврале зашли, — заверни, миленький, ах, заверни... Нет! Ну, так, может быть — завтра?

И завтра пришло. Как снег на голову, как веселый снег — свалились французы.

В тот час сидели на пристани Молочко и Тихмень, вспоминали клуб ланцепупов, глядели вдаль. Вдали дымок, и все ближе, все быстрее — и уж вот он, весь виден: крейсер, белый и ладный, как лебедь, и французский флаг. Тихмень оробел и наутек пустился. А Молочко остался, загарцевал, взыграл: он первым все узнает, он первым — встретит, он первым — расскажет!

— Я счастлив хотя бы случайно приветствовать вас на далекой, хотя бы и русской... то есть на русской, хотя бы и далекой земле...

Вот как выразился Молочко: он лицом в грязь не ударит — не зря же у него француженка-гувернантка была...

Французский лейтенантик, которому сказана была молочкова речь, не улыбнулся — сдержался и с поклоном ответил:

— Наш адмирал просит разрешения осмотреть батарею и пост.

— Господи, да я... Я побегу, я — в момент, — и помчелся Молочко.

Но к кому сунуться-то, к кому бежать? Никого из начальства нету, генерал в городе, за старшого Нечеса остался. А Нечеса очень невразумителен бывает, коли не в пору его после обеда взбудить. Беда да и только!

— Капитан Нечеса, капитан... Вставайте же, французский адмирал приехал, желает пост осмотреть...

— Хрр... пфф... хрр... Ко-кого?

— Адмирал говорю, французский!

— К ч-чёртовой матери адмирала, спать хочу. Хрр... пфф...

Молочко стянул с капитана накинутый сверху китайский халат, крикнул Ломайлова:

— Ломайлов, кваса капитану!

Но Ломайлова нету: ушел нынче Ломайлов трубы чистить. Принесла квасу сама капитанша, Катюшка.

Капитан хлебнул, кой-какие слова стал понимать:

— Францу-узы? Да что они, спятили? Зачем?

— Капитан, поскорей, ради Бога! Ведь у нас с французами альянс... Ей-Богу, нагорит!

— О, Господи, откуда? За что? Солдаты, солдаты-то каковы с работами этими генеральскими! Молочко гони туда, к пороховому, в сей секунд. Всех чтобы, дьяволов, в лес угнали! Ни один чтобы с-собачий сын носу не показал!

И вот капитан Нечеса стоит, наконец, на пристани, распахнута шинель, на мундире все регалии... Главная спица в колеснице — Молочко: вертится, сверкает, переводит. Адмирал французский — не первой уже молодости, а тонкий да ловкий, как в корсете. Вынул книжечку, любопытствует, записывает.

— А какие у вас порционы солдатам? Так, так. А лошадям? Сколько рот? А сколько прислуги на орудие? А-а, так!

Пошли всем кагалом в казармы. Там уж успели прибрать, почистить: ничего себе. Только дух очень русский стоит. Заторопились французы на вольный воздух.

— Ну, теперь их только к пороховому — и всё, слава Богу.

И оставался уже один до порохового квартал, как из дома поручика Нестерова вылез Ломайлов. Кончил трубы чистить, очень аккуратно все почистил, и в зале, и в

спальне. Кончил — и шел себе до дому с метлой, в отрепьях — лохматая, черная образина.

Адмирал любопытно вскинул пенснэ.

— А-а . . . А это кто же? и повернулся к Молочке за ответом.

Молочко, утопая, взглядом молил Нечесу, Нечеса свирепо-символически ворочал глазами.

— Это . . . э-это ланцепуп, ваше превосходительство! — вякнул Молочко, вякнул первое, что в голову взбрело. Говорили перед тем с Тихменем о ланцепупах , ну и . . .

— Lan-ce-poupe? Это . . . что ж это значит?

— Это . . . ме-ме . . . Местный инородец, ваше превосходительство! Адмирал очень заинтересовался:

— Во-от как? Я и не слыхал такого наименования до сих пор, а этнографией очень интересуюсь.

— Недавно только открыты, ваше превосходительство!

Генерал записал в книжку:

— Lan-ce-poupe . . . Очень интересно, очень. Я сделаю доклад в Географическом обществе. Непременно. . .

Нечеса задыхался от нетерпения узнать, что такое вышло и что за разговор странный — о ланцепупах. А адмирал — час от часу не легче — уж новую загогулю загнул Молочке:

— Но . . . почему же я не вижу ваших солдат, ни одного?

— О-о-они, ваше превосходительство, в . . . в лесу.

— В лесу-у? Все? Гм, зачем же?

— Их, ваше превосходительство, ланце-ла-ланцепупы эти самые . . . То есть они все отправлены, наши солдаты, то-есть, на усмирение, значит, ланцепупов . . .

— Ах, так это, значит — не совсем еще покоренный народец? Да у вас тут сюрпризы на каждом шагу!

«Сюрпризы! Какие, вот, от тебя еще будут сюрпризы? Заврусь, запутаюсь, погублю . . .» — Молочку уж цыганский пот со страху прошибал.

Но адмиралу было довольно и этих открытий. Ходил теперь — и только головою кивал: «Хорошо, очень хорошо, очень интересно». Ведь не каждый это день случается — открывать новые племена.

19. Мученики

И откуда только прыть взялась у такого человека губошлепого, как капитан Нечеса? Надо быть — с радости, что негаданно все так ловко сошло с французами. И затеял Нечеса устроить в собрании французам пир на весь мир.

Французы согласились: никак нельзя, альянс. И пошла писать губерния. В квартирах офицерских запахло бензином, денщики бросили все дела — наверчивали офицершам папильотки, а Ларька генеральский разносил приглашения.

В окно увидала Маруся, что Ларька стучит к ним в калитку — и сразу же заметалась, загорелась, забилась. Как на ладони вот — встал перед ней вечер тот проклятый: заря-лихоманка, семь крестов, они с Андреем Иванычем вдвоем, и Ларька подает письмо от генерала...

— Шмит, не пускай его, Шмит, не пускай, не надо!

В Шмите сжалась пружинка, затомила, заныла, запросила мук.

Шмит усмехнулся:

— Не мочь — надо раньше было. А теперь уж моги, — нарочно открыл дверь из столовой и крикнул в кухню:

— Эй, кто там, давай-ка сюда!

Ларькино имя Шмит все же не мог назвать. Ларька вкатился медносияющий, подал билетец, рассказывал:

— И хлопот же, и хлопот с французами этими, беда!

Заставил себя Шмит, расспрашивал нарочно, выдавил даже улыбку. И Ларька вдруг насмелился.

— А что, ваше-скородие, осмелюсь спросить: французы водку-то принимают, али как? А то ведь — что ж мы с ними...

И даже засмеялся Шмит. Засмеялся — и звенит все выше, на самых высоких верхах звенит, не сорваться бы...

А Маруся — у окна, к Ларьке спиной: уйти не посмела, стоит, и плечики худенькие ходуном ходят. Видит Шмит — и смеяться перестать не может, все выше звенит, все выше...

Одни. Кинулась к Шмиту, на холодный пол перед ним, протянула руки.

— Шмит, но ведь я же для тебя... для тебя *то* сде-

лала. Ведь мне же было ужасно отвратительно — ведь ты веришь?

Шмита свело судорогой-улыбкой:

— И в сотый раз скажу: значит — было недостаточно мерзко, недостаточно отвратительно. Значит, жалость ко мне была сильнее, чем любовь ко мне.

И не знает Маруся, что сделать, чтобы он... Туго заплетены пальцы... Господи, что же сделать, если у нее — любовь, а у него — ум, и ничего не скажешь, не придумаешь. Но неужели же он сам верит в то, что говорит? Ах, ничего, ничего не понять! Заковался, замкнулся, не он стал, не Шмит...

Маруся встала с холодного пола, тихо ушла в зал. Пугали и томили темные углы. Но не так, как раньше, как в детстве: не Бука лохматый мерещился, не Полудушка — веселый сумасшедший, не Враг — прыгучий нечистик, — мерещилось шмитово чужое, непонятное лицо.

Зажгла одну лампу на столе; влезла на стул, зажгла стенную. Но стало только еще больше похоже на тот вечер: тогда тоже ходила одна и зажигала все лампы.

Потушила, пошла в спальню. «У Шмита — все носки в дырьях, а я целый месяц всё только собираюсь... Не распускаться, нельзя распускаться».

Села, нагнулась, штопала. Досадливо вытирала глаза: всё набегало на них, застило, работы было не видать. Было уж поздно, за полночь, когда кончила всю штопку. Выдвинула ящик, укладывала, на комоде трепетала свеча.

Пришел Шмит. Тяжкий, высокий, мерял спальню взад и вперед, скрипел пол. Пружинка та самая билась внутри, мучила и искала мук. Он остановился и сказал... Нет, не сказал — бросил камень Марусе:

— Ложись, пора.

Она разделась, покорная, маленькая. В рубашке — совсем как дитёнок: такая тонкая, такие ручки худенькие. Только две эти старушечьих морщинки по углам губ...

Подошел Шмит, дышал, как запаленный зверь. Маруся, с закрытыми глазами, лежа, сказала:

— Шмит, но ведь... Шмит... ты любишь, ведь? Ты ведь это хочешь — не так, не просто, как...

— Любить? Я любил . . .

Шмит задохнулся. «Марусенька, Марусенька, ведь я умираю. Марусенька, родная, спаси!» А вслух сказал он:

— Но ведь ты продолжаешь уверять, что меня любишь, хм! Ну, и довольно с тебя. А я . . . просто хочу.

«Нет, это он так, это он притворяется . . . Было бы ужасно . . .»

— Шмит, не надо, не надо же, ради . . . ради . . .

Но со Шмитом совладать ей разве? Измял всю, скрутил, силком заставил. Мучительно, смертно-сладко было терзать ее, дитёнка худенького, милого, ее — такую чистую, такую виноватую, такую любимую . . .

Так унизительно, так больно было Марусе, что последний, самый отчаянный не вырвался, а ушел крик вглубь, задушенный, пронизал злой болью. И на минуту, на секунду одну озарил далекий сполох: поняла на секунду шмитову великую злобу, сестру великой . . .

Но Шмит уж уходил . . . Ушел в гостиную — там спать. А может и не спать — ходить всю ночь напролет и глядеть в синие, совиноглазые окна.

Маруся лежала одна, в темноте, вся скорчившись. От слез подушка стала мокрой, пришлось перевернуть ее на другую сторону.

«Он сказал: вы великая, — вспоминала Андрея Иваныча. — Какая же великая: жалкая, стыдная. Если б он знал все, не сказал бы . . .»

Как знать.

20. Пир на весь мир

Музыка: пять горнистов-солдат и рядовой Муравей с гармошкой. Эх, музыка вот и подкузьмила малость, а то бы — совсем хорошо. На стенах ветки зеленые, флажки трепыхаются. Лампы от усердия прикапчивают даже. На парадных шарфах серебро светит. На барынях брякают брошки, браслеты бабушкины заветные. И не лучше ли всего розово-сияющий распорядитель — Молочко?

Но Тихмень был еще совершенно трезв и потому на все глядел очень скептично:

«Все это, конечно, ложь. Но это блестит, да. А так как единственная истина — смерть, и так как я еще живу, то и надо жить ложью, поверхностно. Значит, правы Мо-

лочки, и надо быть пустоголовым... Но практически? Ах, я сегодня что-то путаю...»

Мимо Тихменя на музыкантов ринулся Молочко:

— Туш, туш! «Двуглавый Орел»! Идут, идут...

Музыка заверещала, задудела, дамы поднялись на цыпочках. Вошли французы — все затянутые,надушенные, поджарые, ладные во всех статьях.

Тихмень сперва на минутку рот разинул вместе со всеми. Потом выделил, обмыслил: французы — и наши. Знакомые залосненные наши сюртуки, оробелые лица, перекрашенные платья дам...

«Да... И вот, если ложь окажется еще один раз лжива... Ну да: эн квадрат, минус на минус — плюс... Практически, следовательно... Да, что бишь? Я путаюсь, путаюсь...»

— Слушьте-ка, Половец, — дернул Тихмень Андрея Иваныча, — пойдемте пока что по одной тюкнем: тошнехонько что-й-то...

Да, и Андрею Иванычу было нужно выпить. Хлопнули по одной. В буфетной голошил коньяк Нечеса — для храбрости: как-никак, а ведь он за главного, на нем ответ.

— Шмит-то нынче веселый какой, у-у! — пробурчал Нечеса сквозь мокрые усы.

— Как, разве тут Шмит? — Андрей Иваныч кинулся обратно в зал.

Затомила в сердце горько-сладкая томь: не Шмита искал он, нет... Проплывали мимо французы, в легчайшем пухе вальса мелькнул потный и красный от счастья Молочко.

«Наврал Нечеса — и к чему? Нет ее. Никого нету...»

И вдруг — громкий, звенящий железом смех Шмита. Андрей Иваныч кинулся туда. Вихрились, кружились, толкали пары; казалось, не добраться.

Шмит и Маруся стояли с французским адмиралом. Шмит поглядел сквозь Андрея Иваныча — сквозь пустой стакан, выпитый весь до дна.

У Андрея Иваныча глаза заволокло туманом. Он быстро повернулся от Шмита к Марусе, взял тоненькую ее ручку, держал... ах, если бы было можно не отпускать! «Но почему же дрожит, да, конечно, — дрожит у ней рука?»

По-французски через пень-колоду понимал Андрей Иваныч, вслушался.

— ... Жаль, нет генерала, — говорил Шмит, — удивительнейший человек! Вот моя жена — большая почитательница генерала. Смотрите-смотрите на нее: она не может спокойно слышать его имя. Я положительно ревную! В одно прекрасное время она может ...

Французы улыбались, Шмитов голос звенел и стегал. Маруся стала вся — как березка плакучая — долу клониться. И упала бы, может, но учуял Андрей Иваныч — один он и увидел — поддержал Марусю за талию.

— Вальс, — шепнул он, не слыхал ответа, унес ее легкими кругами. «Подальше от Шмита — проклятого, подальше ... О, до чего ж он ...»

— Как он мучит меня ... Андрей Иваныч, если бы вы знали! Вот эти три дня и сегодня. И три ночи перед балом ...

Показалось Андрею Иванычу: говорила Маруся откуда-то снизу, из глубины, засыпанная. Взглянул: эти две морщинки, похоронные, около губ — о, эти морщинки!

Сели. Маруся смотрела на кенкет, глаз не отрывала от пляшущего, злого пламенного языка: оторвать, отвести глаза — и все кончено, и плотину прорвет, и хлынет ...

В вальсе Шмит подходил к ним. Маруся, улыбаясь — ведь на них глядел Шмит — улыбаясь, сказала чужие, дикие слова:

— Убейте его, убейте Шмита. Чем такой ... пусть лучше мертвый, я не могу ...

— Убить? Вы? — поглядел Андрей Иваныч, не веря, в ужасе.

Да, она. Паутинка — и смерть. Вальс — и убейте ...

Шмит крутился с кругленькой капитаншей Нечесой, крутился упругий, резкий, скрипел под ним пол. Сузил глаза, усмехался.

Андрей Иваныч ответил Марусе:

— Хорошо.

И со стиснутыми зубами повлек, опять закружил — ах, до смерти бы закружиться ...

Тут, впрочем, не от вальсов больше головы кружились, а от выпитых зельев. В кои-то веки, с французами,

за альянс-то, да и не выпить? Это бы уж — последнее дело.

Пили и французы, да как-то по-хитрому: пили, а душой вот не воспринимали. Да и пили больше полрюмки, и смотреть-то нехорошо. То ли дело — наши: на совесть, по-русски, нараспашку. Сразу видать, что пили: соловые ходят, развеселые, мутноглазые.

Вот уж когда чуял Тихмень свой рост: страсть это неудобно высокому быть. Маленькому, если и качнуться — оно ничего. А высокий — колокольня выгибается, вот-вот ухнется, страшно глядеть.

Зато, прислонившись к стенке, Тихмень почувствовал себя очень прочным, сильным и смелым. И потому, когда пошатываясь шел мимо Нечеса, Тихмень решительно ухватил его за полу. «Нет, уж теперь баста, теперь я спрошу . . .»

— Капит-тан, скажи ты мне по с-совести, ну, ради Господа самого: чей Петяшка сын? С тоски — понимаешь, с то-ски! — помираю: мой Петяшка или, вот, не мой . . .

Капитан был нарезавшись здорово, однако понял, что-то тут неладно — и спросил:

— Да ты . . . да ты, брат, это про что, а?

— Гол-лубчик, скажи-и! — Тихмень тихо и горько заплакал. — Последняя ты у меня надежда, хм! хм! — хлюпал Тихмень. — Я Катюшу спросил, она не знает . . . Господи, что ж мне теперь де-елать? Голубчик, скажи, ты ведь, знаешь . . .

Тупо глядел Нечеса на качавшийся у самых его глаз тихменев нос, с слезинкой на кончике, совершенно противозаконно свернутый на сторону — так бы вот взял и поправил.

Влекомый высшей силой, Нечеса крепко взял двумя пальцами тихменев нос и начал его водить вправо и влево. И таким это было для Тихменя сюрпризом, что перестал он хныкать и покорно, даже с некоторым любопытством, следовал за капитановой рукой.

И уж только когда услышал сзади крики: «Тихмень-то, Тихмень-то», — понял и рванулся. Кругом все хватались за животы.

Тихмень обвел их остолбенелым взглядом, на ком-то остановился — это был Молочко — и спросил:

— Ты, в-вот, ты видал? Он меня . . . он водил меня за нос?

Лопнули со смеха. Молочко еле выговорил:

— Ну, брат, кто кого водил за нос, это, в конце концов, неизвестно.

Все кругом ахнули. Теперь нужно было Тихменю что-то сделать. Нехотя, исполняя обязанность, полез Тихмень на капитана.

И тут совсем уж несуразное пошло. Нечеса брюхом лежал на Тихмене и молотил его, куда попало. Кто растаскивал лежащих, а кто тащил этих, которые растаскивали: дайте, мол, им додраться, не мешайте. И если бы не капитанша Нечеса, Бог знает, чем бы катавасия кончилась.

Капитанша подбежала, крикнула, топнула:

— Ты, чурбан, дурак! Сейчас слезь!

Десять лет этого голоса капитан слушался: моментально слез. Лохматый, встрепанный, сконфуженный — додраться не дали — стоял и очесывался.

Французы собрались в углу, дивились и думали: уйти или нет? И уйти нельзя: альянс. И остаться неловко: видимо, у русских пошло дело домашнее.

— Все-таки . . . До чего ж они все . . . ланцепупы какие-то, — поднял вверх брови адмирал. — Из-за чего это у них?

Подозвали Молочко. Молочко пытался объяснить:

— Из-за сына. Чей сын, ваше превосходительство.

— Ничего не понимаю, — повел адмирал плечами.

21. Огонек в теми

В собрании — из зала в коридор — было прорезано окошко. Зачем, на какой предмет, неведомо. А вот просто во всех здешних домах так делали, — ну и в собрании, значит. Зато денщикам теперь — полное удовольствие: сбились у окна и глядят не наглядятся.

— У-ух, и дошлый же народ французы эти самые! — самоварно сиял генеральский Ларька. — Это, брат, тебе, не епонец, не манза какая-нибудь. Епонец-то пальцем делан, потому . . .

Не досказал Ларька: перед господином поручиком Тихменем надо было вытянуться во фронт:

Измятый весь, в мокром, в пыли, ступил Тихмень в коридор — и стал, заблудился: куда идти?

Подумал, свернул влево и по скрипучим ступенькам полез наверх, на каланчу.

Яшка Ломайлов неодобрительно глядел ему вслед.

— И куды, например, прет, и куды прет? Ну, какого ему рожна там надо? Ох, Ларька, скажу я тебе, и блажные же господа у нас! Ды блажа-ат, ды блажа-ат, и всяк-то по-своему . . . И чего им, кубыть, еще надо: топка есть, хлеб-соль есть . . .

Ларька фыркнул:

— Дура: хлеб-соль! Это тебе, вот, животине, хлеба-соли довольно, а которые господа настоящие, не какие-нить сказуемые, так они, брат, мечту в себе держут, да . . .

— Я бы, например, женил бы господина Тихменя, вот это бы так! — медленным языком ворчал Ломайлов. — Ребятенок бы ему с полдюжинки, вот бы мечтов-то его этих самых — как ветром бы сдунуло . . .

Ломайлов выглянул в окно наружу, в ту сторону, где был домик Нечесов. «Что-то теперь Костенька? Уснул без меня, либо нет»?

Темь, мгла холодная за окном. Где-то не очень подалеку вопили благим матом: карау-ул! карау-ул! Солдаты, очесываясь, зевая равнодушно, слушали: дело обыкновенное, привышное.

Поручик Тихмень стоял уж теперь наверху, шаткий, непрочный, длинный.

— Ну, и ха-ра-шо, и ха-ра-шо, и шут с вами, и уйду, и уйду . . . За нос, хм! Вам-то это хаханьки, а мне-то . . .

Тихмень толкнул раму, окно распахнулось. Внизу, в темноте, опять кричали «караул», громко и жалостно.

— Ка-ра-ул, ага, караул? А я, думаешь, — не караул? А мы, думаешь, не кричим? А кто слышит, ну, кто? Ну, так и кричи, и кричи.

Но все-таки высунулся Тихмень, вставил голову в черное, мокрое хайло ночи. Отсюда, с каланчи, виден был веселый огонек на бухте: крейсер, должно быть, ихний.

Был сейчас этот огонек в сплошной черняти опорой какой-то для Тихменя, давал жить глазам, без него нельзя бы. Маленький, веселый, ясноглазый огонек.

— Петяшка, Петенька мой, Петяшка . . .

И вдруг — мигнул огонек и пропал. Может — крейсер повернулся другим боком, а может и еще что.

Пропал, и приступила темь необоримая.

— Пе-тяшка. Петяшка мой! Нечеса — последний... Никто теперь не знает, никто не скажет... Ой-ё-ё-ё-ёй!

Тихмень горестно замотал головой и хлюпнул. Потекли пьяные слезы, а какие же слезы горчее пьяных?

Щекой он приложился к подоконнику: подоконник — мокрый, грязный, холодный. Холод на лице протрезвил малость. Тихмень вспомнил свой разговор с кем-то:

— Всякий имеющий детей — олух, дурак, карась, пойманный на удочку... Это я, я... Я говорил. И я вот — плачу о Петяшке. Теперь уже не узнать никогда — чей... Ой-ё-ё-ё-ёй!

Никогда — так крышкой и прихлопнуло пьяного, горького Тихменя. Заполонила темь необоримая. Огонек погас.

— Петяшка-а! Петя-шень-ка-а! — Тихмень хлюпал, захлебывался и медленно вылезал на подоконник.

Подоконник — страсть какой грязный, все руки измазал Тихмень. Но о сюртук вытереть жалко. Ну, уж как-нибудь так.

Вылезал все больше... ах, конца этому нету: ведь он такой длинный. Пока-то это вылез, перевесился, пока это с каланчи торчмя головой бухнул во тьму.

Может и закричал: ничего не слыхали денщики. Они уж и думать позабыли о Тихмене, блаженном: куда-а там Тихмень, когда французы сейчас выходят. Ох, да и молодцы же народ, хоть и жвытки они больно...

Веселой гурьбой, вполпьянà, выходили французы, скользили на ступеньках: «Ах, смешные русские эти... ланцепупы... Но есть в них, есть в них что-то такое...»

А за французами ползли и хозяева. Коли французы вполпьянà, так хозяевам и сам Бог велел в риз положении быть: кто еще шел — перила обнимал, а кто уж и на карачках...

Тихменя нашли только утром. Перетащили к Нечесам: у них жил живой — у них, значит, и мертвый. И лежал он покойно в зальце на столе. Лицо белым платком покрыто: расшиблено уж очень.

Капитанша Катюша навзрыд плакала и отпихивала мужа:

— Уй-ди, уй-ди! Я его люблю, я его любила...

— Ты, матушка, всех любила, по доброте сердечной. Уймись, не реви, будет!

— И подумать... Я, может, я ви-но-ва-ва-та-а... Господи, да коли бы я, правда, знала, чей Петяшка-то! Господи, кабы знать-то... а-а-а! — соврать бы ему было!

Ломайлов отгонял восьмерых ребят от дверей: так и липли к дверям, так в щель и совали нос, ох, и любопытный народец!

— Яшка, Яшутничек, а скажи: а дяде рази уж не больно? А как же? А ведь ушибся, а не больно?

— Дурачки-и, помер, ведь, он: знамо, не больно.

Старшенькая девочка Варюшка от радости так и засигала:

— Тц-а! Что? Я говолира — не больно. Я говолира! А ты не верил. Тц-а, что?

Уж так ей лестно брату нос наставить.

22. Галченок

Уж февраль, а генерал все еще в городе околачивался, все боялся приехать домой. И Шмит лютовал по-прежнему, мукой своей весь пропитался, во всякой мелочишке это чуялось.

Ну вот, выдумал, например, издевку: денщика французскому языку обучать. Это Непротошнова-то! Да он все и русские слова позабудет, как перед Шмитом стоит, а тут: французский. Все французы эти поганые накуралесили: Тихменя на тот свет отправили, а Шмиту в сумасшедшую башку взбрела этакая вот штука...

Черноусый, черноглазый, молодец Непротошнов, а глаза — рыбьи, стоит перед Шмитом и трясется:

— Н-не могу знать, ваше-скородь, п-позабыл...

— Я тебе сколько раз это слово вбивал! Ну, а как «позабыл», а?

Молчание. Слышно: у Непротошнова коленки стучат друг об дружку.

— Ну-у?

— Жуб... жубелье, ваше-скородь...

— У-у... немырь! К завтрему, чтоб на зубок знал. Пошел!

Сидит Непротошнов на кухне, повторяет проклятые бусурманские слова, в голове жернова стучат, путается, дрожит. Слышит чьи-то шаги и вскакивает, как заводной, и стоит — аршин проглотил. Со страху-то и не видит, что не Шмит пришел, а пришла барыня, Марья Владимировна.

— Ну, что ты, Непротошнов, а? Ну, что ты, что ты?

И гладит его по стриженой солдатской голове. Непротошнов хочет поймать, взять ее маленькую ручку, да смелости не хватает, так при хотеньи одном и остается.

— Барыня милая... Барыня милая! Ведь я всё — ведь я всё-всёшеньки... Не слепой я...

Маруся вернулась в столовую. Глаза у ней горели — что-то сказать. Но только взглянула на Шмита — разбилась об его сталь. Опустила глаза, покорная. Забыла все гневные слова.

Шмит сидит не читая, так. Он никогда не читает теперь — не может. Сидит с папиросой, мучительно зацепился глазами за одну точку — за граненую подвеску на лампе. И так трудно неимоверно на Марусю взглянуть.

— Ну? О Непротошнове, конечно? — усмехнулся Шмит.

Подошел к Марусе вплотную.

— Как я тебя...

И замолк. Только стиснул больно ее руки повыше локтей: завтра будут здесь синяки.

На худеньком ребячьем теле у Маруси много теперь цветет синяков — от шмитовых злых ласк. Все неистовей, все жесточе с ней Шмит. И всегда одно и то же: плачет, умирает, бьется она в кольце шмитовых рук. А он — пьет сладость ее умираний, ее слез, своей гибели. Нельзя, некуда спастись ей от Шмита, и хуже всего: не хочется спастись. Вот сказала намедни на балу Андрею Иванычу — сорвалось же такое: «убейте Шмита». И не знает покою теперь: а вдруг?

Не забыл Андрей Иваныч тех марусиных слов, каждый вечер вспоминал их. Каждый вечер — один и тот же мучительный круг, замыкаемый Шмитом. Если б Шмит не мучил Марусю — если б Шмит не захватил его тогда у замерзшего окна — если б Шмит на балу не...

Главное, тогда не было бы вот этого, что уж стало привычно-нужным: каждый вечер перед Андреем Ива-

нычем не стоял бы Гусляйкин, не ухмылялся бы бланманжейной своей физией, не рассказывал бы...

«Но ведь, Господи, не такой уж я был пропащий, — думал ночью Андрей Иваныч, — не такой уж... Как же это я?»

И опять: Шмит, Шмит, Шмит... «Убить. Она не шутила тогда, глаза были темные, не шутили».

И вот как-то вдруг, ни с того — ни с сего, Андрей Иваныч решил: нынче. Должно быть, потому, что было солнце, надоедно-веселая капель, улыбчивая, голубая вода. В такой день — ничего не страшно: очень просто, как кошелек, сунул Андрей Иваныч револьвер в карман, очень просто, будто в гости пришел, дернул шмитовский звонок.

Загремел засов, калитку отпер Непротошнов. Шмит стоял посреди двора, без пальто, почему-то с револьвером в руках.

— А-а, по-ру-чик Половец, муз-зыкант! Д-давненько...

Шмит не двинулся, как стоял, так и стоял, тяжкий, высокий.

«Непротошнов... При нем — нельзя», — юркнула мысль, и Андрей Иваныч повернулся к Непротошнову:

— Барыня дома?

Непротошнов заметался, забился под шмитовым взглядом: нужно было обязательно ответить по-французски, а слова, конечно, сразу все забылись.

— Жуб... жубелье, — пробормотал Непротошнов.

Шмит засмеялся, зазвенел железом. Крикнул:

— Пошел, скажи барыне, к ним вот, пришли, да-с, гости незваные...

Андрея Иваныча удержал взглядом на месте:

— Что глядите? Револьвер не нравится? Не бойтесь! Пока только галчонка вот этого хочу пришибить, чтоб под окном не кричал.

Только теперь увидел Андрей Иваныч: под тачкой присел, прижухнул галчонок. Крылья до земли опущены, летать не умеет, не может, еще малец.

Щелкнул выстрел. Галчонок надсаженно, хрипло закаркал, крыло окрасилось красным, запрыгал под сарай. Шмит перекосоурил рот, должно быть — улыбка. Прицелился снова: ему нужно было убить, нужно.

Быстрыми, большими шагами Андрей Иваныч подбежал к сараю, стал лицом к Шмиту, к галчонку — спиной:

— Я... я не позволю больше стрелять. Как не стыдно! Это издевательство!

Шмитовы железно-серые глаза сузились в лезвие:

— Поручик Половец, если вы сию же секунду не сойдете с дороги, я буду стрелять в вас. Мне — все равно.

У Андрея Иваныча радостно-тоскливо заколотилось сердце. «Маруся, посмотри же, посмотри! Ведь я это не за галченка...» С места не двинулся.

Мигнул огонек, выстрел. Андрей Иваныч нагнулся. Изумленно себя пощупал: цел.

Шмит злобно, по-волчьи, ощерил зубы, нижняя челюсть у него тряслась.

— С-свол... Ну, уж теперь — попаду-у!

Опять поднялся револьвер. Андрей Иваныч зажмурился:

«Бежать? Нет, ради Бога, еще секундочку — и всё...»

Почему-то совсем и из ума вон, что в кармане у него тоже револьвер, и пришел-то ведь за тем, чтобы... Смирно стоял и ждал.

Секунда, две, десять: выстрела нет. Открыл глаза. Нижняя челюсть у Шмита так прыгала, что он бросил револьвер наземь и нажимал, изо всех сил держал свой подбородок обеими руками. У Андрея Иваныча все пошло внутри, сдвинулось.

— Мне вас жалко. Я хотел, но не стану...

Он вынул из кармана свой револьвер, показал Шмиту. Быстро пошел к калитке.

23. Хорошо и прочно

Еще затемно, еще только февральская заря занималась, кто-то стучал к Андрею Иванычу в дверь. Хотел Андрей Иваныч «кто там?» сказать, да так и не сказал, увяз опять во сне. Пришла Маруся и говорила: «А знаете, теперь я уж больше не...» А что «не» — не досказывает. Но Андрей Иваныч и так почти знает. Почти уж поймал это «не», почти уж...

Но в дверь все громче, все надоедней стучат. Делать, видно, нечего. Пришлось Андрею Иванычу вылезть из сна, пришлось встать, открыть дверь.

— Непротошнов, ты? Что такое, зачем? Что случилось?

Непротошнов подошел к кровати, нагнулся близко к Андрею Иванычу — и совсем не по-солдатски сказал:

— Ваше-бродие, барыня велела вам передать, что наш барин вас, ваш-бродь, грозятся убить. Так что барыня, ваш-бродь, просила, чтоб вы ничего такого, борони Бог, не сделали...

— Да что, да что такое мне не делать-то?

Но уж больше слова путного не мог Андрей Иваныч из него вытянуть.

— Не могу знать, ваш-бродь...

— Ну, а барыня что, Марья Владимировна, что она?

— Н-не могу знать, ваш-бродь...

...«О, идол проклятый, да скажи хоть что с ней?»

Но поглядел Андрей Иваныч в безнадежно-рыбьи глаза Непротошнова и отпустил его.

Остался один, долго лежал в темноте. И вдруг вскочил:

«Господи! Да, ведь, если она прислала это сказать, так значит, она... Господи, да неужели ж она меня...»

Догнать Непротошнова, догнать, дать ему целковый последний! Выбежал Андрей Иваныч во двор, на крыльцо — Непротошнова и след простыл.

Но с крылечка Андрей Иваныч уж не мог уйти. Небо — огромное, воздух — полон сосновым лесом, и море — как небо. Весна. Вот вытянуть бы руки так — и ринуться вперед, туда...

Жмурился Андрей Иваныч, оборачивал лицо вверх, к теплому солнцу.

«Умереть? Ну, что ж... Умереть нам легко. Убить — труднее, и труднее всего — жить... Но всё, всё, и убить — пусть только она захочет.»

Такое солнце, что можно было даже создать себе вот эту нелепицу, несуразность: что она, Маруся, что она и в самом деле... А вдруг? Ведь такое солнце.

С утра — с зари ее видеть... Ничего — только какая-нибудь малость самая малая, легчайшее касание какое-нибудь, как тогда... падал снег за окном... И уж — счастье. С самого утра до поздней ночи, всё — счастье.

Вот так бы вот, раздевши, побежать бы сейчас туда...

Сегодня даже с солдатами заниматься было хорошо. Даже Молочко — как будто новый.

Молочко, положим, и в самом деле сиял, и телячесть его была важная, не такая, как всегда.

— Я имею до вас дело, — остановил он Андрея Иваныча.

— Что? Э, да скорее, не тяните козла за хвост!

— Шмит меня просил . . . можете себе представить? — быть секундантом. Вот письмо.

«А-а, вот что . . . так вот почему Маруся . . .» Открыл Андрей Иваныч конверт, прыгал через строчки, глотал, ах — поскорее!

«Во время вчерашнего . . . с галчонком . . . Мой дуэльный выстрел . . . Ваша очередь . . . Буду стоять, не шелохнусь, и если . . . Очень рад буду, мне пора».

Конец Андрей Иваныч прочел вслух:

— Позвольте! Это что ж такое? «. . . Только Вам одному стрелять. А если Вам не угодно, мы посмотрим». Позвольте, что это за дуэль? Странные требования! Это не дуэль, а чёрт знает что! Что он думает — я стану, как он . . . Вы секундант, вы должны . . .

— Я . . . я ничего не знаю . . . Он так . . . он меня послал — Шмит . . . Я не знаю, — бормотал Молочко, оробело поглядывал на широкий, взборожденный андрейиванычев лоб.

— Послушайте, вы сейчас же пойдете и скажете капитану Шмиту, что такой дуэли я не принимаю. Не угодно ли ему: обоим стрелять вместе. Или никаких дуэлей . . . Это чёрт знает что!

Молочко, поджав хвост, побежал рысцой к Шмиту. Захлебываясь, доложил обо всем. Шмит курил. Равнодушно стряхнул пепел:

— Гм, не согласен, вот как? А впрочем, я так и . . .

— Нет, что ему еще нужно? Можете себе представить: еще накричал на меня! При чем — я? Это с вашей стороны . . . Это так благородно — отдать свой выстрел, а он . . .

«Благородно, ч-чёрт!» — Шмит искривился, исковеркался, потом вслух:

— Бла-го-род-но, д-да . . . Ну, вот вам поручение: завтра вы всем расскажете, что Половец меня обозвал . . . негодяем, что я его вызвал, а он отказался. Поняли?

— Господи, да я . . . Но почему же — завтра?

Шмит пристально поглядел на Молочку, усмехнулся нехорошо и сказал:

— А теперь прощайте-с.

С каменным, недвижным лицом сидел Шмит один и курил. Револьвер валялся на столе.

«Разбудить Марусю? Сказать? Но что? Что люблю, что любил? И чем сильнее любил . . .»

Он пошел в спальню. Истерзанная ночными распятьями Маруся мертво спала. Лицо все измазано было следами слез, как у малого ребенка. Но эти две морщинки около губ . . .

Разверзлась шмитова каменность, проступила на лице смертная мука. Он стал на колени, нагнулся было к ее ногам. Нет . . . Сморщился, махнул рукой:

«Не поверит. Все равно . . . теперь не поверит», — и он торопливо пошел в сад.

В саду у клумб копался Непротошнов: хоть бы чем-нибудь барыню милую улыбнуть, ведь примечал он — обеими руками она бывало к цветам-то тянулась.

Увидел Непротошнов капитана Шмита — дрогнул, вытянулся. Застыл Шмит, хотел усмехнуться — лицо не двинулось.

«Он — все еще меня боится . . . Чудак!»

— Уйди, — только и сказал Непротошнову.

Непротошнов — подавай Бог ноги: слава-те Господи — целехонек ушел.

Шмит сел на большой белый камень, уперся левым локтем в колено.

«Нет, не так . . . Надо прислониться к стене . . . Вот теперь . . . хорошо, прочно».

Вынул револьвер. «Да, хорошо, прочно». И та самая пружинка злая разжалась, освободила.

24. Поминки

Андрей Иваныч сидел и писал письмо Марусе. Может это было нелепо, бессмысленно, но больше нельзя — нужно было выкрикнуть все, что . . .

Не замечал, что уж стемнело. Не слышал, как вошел и стал у притолки Непротошнов. Бог его знает, сколько он тут стоял, пока насмелился окликнуть:

— Ваше-бродь . . . Господин поручик!

Андрей Иваныч с сердцем бросил перо: опять рыбьеглазый этот!

— Ну, чего? Всё про то же? Убить меня хочет?

— Никак нет, ваше-бродь... Капитан Шмит сами... Они сами убились... Вко-вконец...

Андрей Иваныч подскочил к Непротошнову, схватил за плечи, нагнулся — в самые глаза. Глаза были человечьи — лили слезы.

«Да, Шмита нет. Но ведь, значит, Маруся — ведь теперь она, значит...»

Во мгновение ока он был уже там, у Шмитов. Промчался через зал, на столе лежало белое и длинное. Но не в этом дело, не в этом...

Маруся сидела одна, в веселенькой бревенчатой столовой. Стоял самовар. Это уж от себя расстарался Непротошнов: если что-нибудь такое стрясется — без самовара-то как же? Милая, каштановая, встрепанная марусина голова лежала на ее руках.

— Маруся! — в одном слове выкрикнул Андрей Иваныч все, что было в письме, и протянул руки — лететь: всё кончено, все боли...

Маруся встала. Лицо было дикое, гневное.

— Вон! вон! Не могу вас... Это все — это вы — я все знаю...

— Я? Что я?

— Ну да! Зачем вы отказались, что вам стоило... Что вам стоило выстрелить в воздух? Я же присылала к вам... О, вы хотели, я знаю... вы хотели... я знаю, зачем вам. Уйдите, уйдите, не могу вас, не могу!

Андрей Иваныч, как ошпаренный, выскочил. Тут же у калитки остановился. Все перепуталось в голове.

«Как? Неужели же она... после всего, после всего... любила? Простила? Любила Шмита?»

Трудно, медленно до глубины, до дна добрался — и вздрогнул: так было глубоко.

«Вернуться, стать на колени, как тогда: великая...»

Но из дома он слышал дикий, нечеловеческий крик. Понял: туда нельзя. Больше никогда уж нельзя.

К похоронам шмитовым генерал приехал из города. И такую поминальную Шмиту речь двинул, что сам даже слезу пустил — о других-прочих что уж и толковать.

Все были на похоронах, почтили Шмита. Не было одной только Маруси. Ведь уехала, не дождалась: каково?

Монатки посбирала и уехала. А еще тоже любила, называется! Хороша любовь.

Взвихрилась, уехала — так бы без поминок Шмит и остался. Да спасибо генералу, душа-человек: у себя те поминки устроил.

Нету Шмита на белом свете — и сразу вот стал он хорош для всех. Крутенек был, тяжеленек, оно верно. Да за то . . .

У всякого доброе слово для Шмита нашлось: один только молчал Андрей Иваныч, сидел как в воду опущенный. Э-а, совесть, должно быть, малого зазрила. Ведь у них со Шмитом-то американская дуэль, говорят, была, — правда или нет? А все бабы, все бабы, всему причина . . . Эх!

— А ты, брат, пей, ты пей, оно глядишь и тово . . . — сердобольно подливал Андрею Иванычу Нечеса.

И пил Андрей Иваныч, послушно пил. Хмель-батюшка — ласковый: некуда голову приклонить, так хмель ее примет, приголубит, обманом взвеселит . . .

И когда нагрузившийся Молочко брякнул на гитаре «Барыню» (на поминальном-то обеде) — вдруг замело, завихрило Андрея Иваныча пьяным, пропащим весельем, тем самым последним весельем, каким нынче веселится загнанная на кулички Русь.

Выскочил Андрей Иваныч на середину, постоял секунду, потер широкий свой лоб — смахнул со лба что-то — и пошел коленца выкидывать, только держись.

— Вот это так-так! Ай да наш, ай да Андрей Иваныч! — закричал Нечеса одобрительно. — Я говорил, брат, пей, я говорил. Ай да наш!

1914.

СТАРШИНА

Конона Тюрина сын Ванятка — больно к науке негож был. Все, бывало, молился:

— Господи, да пошли ж ты, штоб училишша сгорела и мне ба туда не итить . . .

Сгореть — училище не сгорело, целехонько стояло, а все из Ванятки толку не вышло. В солдаты пошел Иван — зазнали и там с ним горя. Сиволапый, громадный, косный, ходит не в ногу. Бей его — спину подставит, не крякнет, да что из того проку? Последнее дело — винтовку кликать, как след, и тому Тюрин Иван не обучился.

— Трехлинейная, понял? Трех-ли-нейная.

— Т-трех-лилейная, — старательно выговарил Иван.

Спрашивали Ивана:

— Что такое выстрел? Ну, живо?

Иван отвечал:

— Этта . . . когда . . . пуля из ружа лезя . . .

Так безграмотным и домой вернулся Иван — в село Ленивку. Обженили его — на Степаниде, из богатого двора — Свисткёвых, стали величать Иван Коныч. И зажил Иван Коныч большим мужиком, сеял хлеб, убирал, все — как надо. Без дела языка не чесал, ну и Степанида — по-малу молчать приобыкла: боялась своего мужика — добре уж тяжел. Когда, случится, дома Ивана нет — тут Степанида наплачется всласть, у окошечка на лавке сидя.

Днем рыскали по избе тараканы, ночью жиляли блохи, ели Тюрины грязно. А Иван приговаривал:

— Ни-ча-во! Бык, вон, помои пивал, а и то — здоров бывал.

Три года было урожайных: сколотил себе Иван деньжат, новую избу поставил. Ночью, наране новоселья, вышел на двор. Громадный, косматый, силища — согнулся в три погибели, до земли поклонился старой избе:

— Батюшка домовой, пожалуй в новый покой.

И так — до трех раз. Но вышло новоселье к лиху: сидели без хлеба, по людям хворь какая-то ходила, от животов — вот как мерли. Приехал тут земский, Тишка Мухортов, и с ним — доктор. Объявили холеру: того то, мол, не пейте, того-то не ешьте. Собрали сход мужики, загалдели:

— Да это что ж нам — помирать, стало быть, не пимши, не емши?

— Подсыпали в воду-то, а потом на попятный: не пей . . .

— Да что там, выкупать их в этой воде, оно и . . .

Земский и доктор сидели на съезжей, слушали — и дрожмя дрожали. Староста туда-сюда: «Что вы, братцы, что вы, рази можно . . .» А сход — ему уж не верит: видимое дело, староста с господами заодно.

Тут-то Иван Коныч могутным плечом распихал народ и лоб нагнувши, как бык, влез на крыльцо. Шапку снял, перекрестился:

— А Бога-то, братцы, забыли, а? Опахивать надо, вот что!

Доктора и земского отпустили, опахали Ленивку в ту же ночь. Стали теперь и докторовы снадобья пить: потому — опахали, ну стало быть — и снадобья не страшны. И что же: ушла ведь холера-то.

Земский Ивану Конычу по гроб жизни был благодарен — за то, что его с доктором выручил тогда Коныч; а мужики кланялись Ивану Конычу — за то, что Ленивку опахать надоумил. Так оно и вышло, что стал ходить в старостах Коныч, а малость погодя — в старшинах волостных.

Отпустил себе Коныч брюхо и бороду. К бумагам прикладывал по безграмотству печать, накопченную на свечке. Всю волю начальскую исполнял Коныч справно, и дали ему за то золотую царскую медаль.

С той поры писарю волостному, Пал Палычу, дан был от Коныча приказ ставить на бумагах подпись: «Волостной старшина и кавалер, а по безграмотству его именная печать». Мужиков после медали Коныч зачал теснить, податя сбирал раньше сроку, — все чтоб на отличку перед начальством. Ну ничего, терпели, а уж стало в конец

непереносно — это когда Коныч вывесил приказ: «Сего числа старшина Иван Коныч Тюрин приказал проживающим семячек по праздничным и высокоторжественным дням не лускать отнюдь». Тут уж стали поговаривать, что пора бы Коныча и сменить.

Пока то да се — ан, глядь, уж тот самый год пришел, когда царь новую волю объявил. Первая была воля — от господ половину земли получили: ясно дело, насчет остатней земли указ теперь вышел. С первой-то воли народ, поди, расплодился, не хватает землишки, ну царь-то в это вошел и, значит — дал указ.

Так вот точно странник Гавриил (хрипучий который) — все и обсказал по селу Ленивке. А уж Гавриилу все дочиста известно, трижды в Ерусалиме странник был, как же неизвестно, а японскую войну Гавриил в точности за три года предсказал.

Стал Коныч ждать бумаги насчет земли, от земского, от Тишки от Мухортова, а только нет бумаги и нет. Ну, спасибо, тут кучер мухортовский ихний приехал: прознал от него Коныч, что земский в городе засел и сюда носа не кажет.

Покумекал Коныч — покумекал:

«Нет, мол, указ надо сполнять в аккурате, потому медаль. Мало бы что, земский в городу — неизвестно что, а я сложимши руки и сиди? Этак нагорит».

И велел Коныч писарю бумагу писать к Русину-старику: от Русиных, мол, в первую волю нарезана была земля, ну, стало быть, и теперь . . .

Коныч диктовал, писарь писал:

«Бумага господину Русину.

Как обществу надлежаще стало ведомо, и не имея существования к жизни, пришел указ надлежаще землю господскую крестьянам, то и прошу Ваше Превосходительство, господин Русин, надлежаще расписаться в слушании.

Волостной старшина и кавалер, а по безграмотству его именная печать».

А Русин не только надлежаще не расписался, но на сотского ногами топал и жалобу грозил послать. Жалобу! А указ-то от кого, а? Не-ет, Коныч службу знает, у Коныча — недаром медаль.

У господ в те поры стражников по имениям понаставили, а у Русиных не было. Не то, чтобы забыли или что, а просто становой на Коныча — как на каменную гору:

— У Тюрина? У Коныча? Ну, брат, у него и не пикнут . . .

И не пикнули, верно. Собрал Коныч сход, писарю велел бумагу объявить, какую Русину-то писали, и всех нарядил на завтра с сохами идти — лехи запахивать, русинскую землю по указу переделять. И пошли, все до единого, разве старики какие недужные остались.

Хоть и перевалил октябрь за середину, а еще погожие были дни, сухмень, теплынь. Гурьбой шли чрез село к Русину мужики, а бабы на токах цепами стучали, и таково было весело всем, — беда!

Русинский белый с зубцами забор; над забором — листья на древах уцелели, где золотенькие, где красные, а на дому на русинском — крыша ясная, как жар горит . . .

Вышел к воротам генерал сам. Кра-асный, ну, чисто сейчас вот из бани, с полка.

Стал ему Иван Коныч произъяснять, — вяк-вяк, а толку не выходит, не внятно:

— Надлежаще . . . Хотя-хоть и конешно, мы . . .

Ну ладно: велел старшина писарю говорить, а писарь говорит — как краснà точёт. Писарь — сначала про Минина-Пожарского, потом про окружной суд, про Наполеона, потом про какого-то брухучего быка . . . Этакой ловкач!

Слушал генерал — слушал, да ка-ак зяпнет:

— П-пашли все вон!

Ну, тут что же, конечно: пошли, землю поделили, всё честно-благородно. Бумагу написали, Коныч приложил печать: делу, стало-быть, конец. Двух стариков приставили новые наделы сторожить, а Русину — усадьбу отвели, все сараи и всякие там пречендалы, и живности ему половину отдали. Все по совести, по указу, а он взял — да и нажалился, старый хрен. Ну, нынче и народ!

Через три дня — исправник приехал, стражников видимо-невидимо, а еще — малый молодой какой-то из города, с кокардой: из окружного, что ли. Забрали и Коныча, и писаря, и мужиков, кого погорластей. На телеги посажали — и эх . . . Бабы выли, а телята без хозяйского

глазу, хвосты задрав — по улице вскачь, телятам — веселье.

Судили мужиков из Ленивки нескоро, через год, почитай. И из острога на суд — все такой же пришел Коныч: ядреный мужик, ведмедь, и медаль свою на шею вздел.

Говорили-говорили на суде — дня три без передышки, ну и языки же крепкие. А что к чему — неизвестно. Под конец и Коныча спросили. Коныч вскочил, руку приложил к сердцу, от сердца им стал говорить:

— Ваши превосходительства. Как по указу ведь я, надлежаще . . . Вот она — вот, от начальства медаль-то! А меня . . . Нешто так возможно?

Уж вечер, уж лампы зажгли, а судьи все не выходили. Уморился Коныч так, зря сидеть: «Что мол, их на ключ что ли кто замкнул, не идут-то чего?»

Вышли, бумагу читали; сказали — тоже, мол, и они по указу судили, ну да кто их знает. Кто-то объяснил Конычу: оправдали, мол, можно домой.

Заторопился Коныч идти: надо еще до ночи управиться — новый хомут купить. Не то с господами-то проститься надо, не то нет? Остановился Коныч, к судьям повернулся — и еще попрекнул напоследок:

— Ну, вот то-то и оно-то: оправдали, домой. Я — знаю, я — по указу, надлежаще. Меня не собьешь!

1914.

КРЯЖИ

1.

Не перевелись еще крепкие, дремучие леса на Руси. Вот кто в Пожоге бывал — тот знает: хоть целый день иди, в какую сторону хочешь, все из лесу не выйдешь, все будут сосны шуметь, зеленошубые, важные, мудрые. А в Пожогу вернешься — у прясла встретит такой же мудрый, ту же думу думающий каменный бог: в запрошлом году рыли овин у попа — и откопали старое идолище. Там — Никола себе Николой, а все-таки и к нечисти надо с опаской: кабы какой вереды не вышло. И тайком от попа, с почетом, вынесли нечисть за прясло, там и поставили у дороги.

Через эту самую нечисть и пошла вражда между Иваном да Марьей. Вез Иван с базару лузги воз: послал поп за лузгой, вся вышла, не из чего курам месятки делать. А Марья везла дерева̀ на продажу: сосны трехчетвертные. У околицы у самой и встретились.

— Эй ты, с лузгой, вороти!

Эх, хороша девка, брови-то как нахмурила соболиные! Может, кабы не такая была, и свернул бы Иван, а тут . . .

— А ну-ка, красавица, сама вороти: видишь, я с возом.

Ожгла искрой из глаз, стеганула по лошади Марья, хотела проскочить — да не спопашилась: зацепила осью за идолище, крякнула ось, покатились сосны трехчетвертные.

— Ах ты, заворотень, шаромыга! Я тебе покажу, как оси ломать . . .

Уж вскочила к Ивану на грядушку, уж замахнулась. Да на грех тут оборвалась пуговица у баски, разошлась на груди баска — и отзынула Марья.

У Ивана дух перехватило — от злости, или еще от чего, Бог его знает. А только ни слова не сказал, слез, у воза своего вынул ось и ей поставил: подавись, мол, на! Потом на руки поплевал, понатужился — силы и так довольно, а тут вдвое прибавилось: положил ей бревна на место, и поехала Марья.

Вот с той поры и пошло. Оба — кряжи, норовистые: встретятся где, в лесу ли на по-грибах, у речки ли на по-воде — и ни в полглаза не глянут. Почерпнут по ведрушке и разойдутся, всяк по своей дороге.

Уж далеко отойдут, уж запутается между рыжих стволов белая баска Марьина, тут-то шишига и толкнет:

«А ну, оглянуться теперь? Наверно, далеко уж . . .»

И вот нá тебе: как нарочно, оглянутся оба вместе. И отвернулись сейчас же, и побежали еще прытче, только плещется из ведер вода.

В Погоже народ на счету, на веду́ живет: скоро проведали, какая пошла раздеряга между Иваном да Марьей. Стали про них языки точить, стали их подзуживать, — ну просто так, для потехи.

— Эх, Марья, работник-то попов, Иван-то, богатырь какой: сам-один, своим рукам, всю попову делянку срубил. Ды кудрявый, ды статный: вот бы тебе такого в мужья! Не пойдешь, говоришь? Не хочет, братцы, а?

А потом — Ивану:

— . . . А встретили мы сейчас Марью: про тебя, Иван, говорила. И зазря, говорит, он на меня зарится, я сама у матери всем хозяйством правлю, мужиков этих самых мне не надобно. А уж, мол, таких, как Иван, без кола-без двора, и подавно . . .

И разгасятся они оба, Иван да Марья, и обносят за глаза друг дружку словами разными: тем-то скоморохам, конечно, потеха.

А ночью . . . Да что: ночью человек ведь один сам с собой, да и не видит ночь ничего, состарилась, глаза потеряла.

2.

Петров день скоро, великий праздник летний. Уж и погуляют же в Пожоге, похлебают вина до дна мужики, накорогодятся девки да парни.

Свой медный гребень — от деда достался — начищает

песком попов работник Иван. Уж как жар горит гребень, а Ивану все мало, все лощит. Ох, выбрал, должно быть, Иван, кому гребень отдать! Есть откуда выбрать в Погоже: пригожих много . . .

Наране Петрова дня уехали мужики невод ставить на Лошадий остров, где понож лошадиная каждый год. А день — красный, солнце костром горит, растомились сосны, смола течет. И случилось, побежали в челне на тот же Лошадий остров девки пожожские, в Унже купаться: нет купанья лучше, как тут.

Вылезли, глядь-поглядь: мужики в тени дрыхнут — солнцем сморило, Унжа лежит недвижима, поплавки от невода — спят.

— Подружки, а давайте невод тянуть?

Кому же это сказать, как не Марье: она везде коновод, заводило.

— Да тут глыбь, омутья. Ишь ты какая бойченная!

Пошептались, пожались — да и полезли: уж больно лестно мужиков обойти. Взялись за тягла, тянут-потянут: нет, нейдет.

— Ой, сестрицы: утоплый! Страсть, ей-Богу! Бросим, а?

Под вечер будь дело — бросили бы, а сейчас оно не так уж и страшно. Марья-заводило сбросила одёжу, вошла в воду поглубже.

— Налегни-ка, девонька, налегни.

Подался невод, пошел. Зачернелось под водой что-то, а что зачернелось — не понять. Пригляделись: усы и морда черная, и все обличье сомовье.

— Сом, сомяка! Батюшки, ну и страшенный! Ой, беги, Марья, в воду утянет.

Открыл сом ленивые буркалы, трепыхнулся — сигнет сейчас в воду, и поминай как звали . . .

— Ну, нет, не уйдешь . . . — кинулась Марья на сома, животом легла, и держится, а сама благим матом: тянитяни-тяни!

И вытянули девки сома — и Марью с сомом, обступили: смех, воп, визг. Проснулись мужики, прибежали, подивились на сомяку страшенного. В затылках поскребли.

— Дыть, сонный он. Поди, лошадь его в воде копытом брыкнула. Эка мудрость такого-то выловить?

— Со-онный, говоришь? — как соскочит Марья с сома, рыбина как сиганет, мужики как попятятся . . .

— Ну будя баловать-то, давай. Наша рыбина, нашим неводом выняли, — галдели мужики. — Да оделись бы, оглашенные! Пошли-ка, пошли . . .

— А-а, так-то? А ну, девки, в воду сома.

Вот тебе, здравствуй. Экая оторвяжница, а? Надо, видно, миром кончать.

Сторговались за два рубля. Отсчитали девкам — чтоб их нелегкая! — два рубля, забрали невидалого сома мужики.

На Петров день гостинцев-то накупили девки на марьины деньги: жамок, козуль, орехов, меду пьяного. Только и разговору в Погоже, что про Марью, как Марья сома обротала: ну, и богатыриха, ну, и бой-девка!

Садилось солнце за Унжу, как дед на завалину, поглядывало на молодых стариковски-ласково. Под соснами зеленошубыми кружился-перевивался веселый корогод:

Как по травке — по муравке
Девки гу́ляли . . .

Только и славили, что Марью одну, только и выбирали все Марью да ту же, «ой Машеньку высошеньку, собой хорошу».

Приметил кой-кто: что-то не видать Ивана, работника попова. Посмеялись:

— Ну, и зёл, ну, и зёл же он, братцы! И что это ему Марья не мила так: чудно.

А Иван тут же стоял, недалечко, за соснами вековыми. Все гребень свой в руках мусолил, все на круг веселый смотрел. А в кругу Марья ходила, веселая, червонная, пышная: только брови собольи — строгие, да губы тонкие — строгие . . .

Уж стали веселыми ногами разбредаться мужики, уж находили покой похмелые головы на жилистых руках — корневищах сосновых. Выплыл месяц, медным рогом Ивана боднул — и побежал Иван к Унже. Размахнулся — раз! — и блеснул гребень, булькнул в Унжу.

3.

Поп пожожский, отец Семен, в старое время на всю округу славился своей премудростью. Травками лечил: от

винного запойства у него своя травка была, от блудной страсти — своя. Из ботвы из картофельной какие то хлебы умудрялся печь. Индюки у него по двору ходили — чисто собачищи лютые, никаких собак и не надо. А теперь уж на убыль пошло, стал отец Семен хилеть, забытие у него началось. Газету прочтет — расписывается на газете: «Прочитано. С. Платонов». А забудет расписаться — в другой раз ту же газету читает, и третий — пока не распишется.

Каждый день Ивана расспрашивать начинал отец Семен сначала:

— И что-й-то, Иван, примечаю я нынче, невеселый ты ходишь?

И каждый день Иван все так же встряхивал кудлами русыми:

— Я? Я ничего будто . . .

А сам скорей топор на плечо да куда-нибудь в лес подальше, на поповых делянках сосны валить. Хекал-свистел топор, брызгали щепки, сек со всего плеча — будто не сосна это была, а Марья да та же все. И сейчас подкосится, сломится, падет на коленочки и жалостно скажет:

— Ой, покорюсь, ой, Иванюша, помилуй . . .

С кузьминок — бабьего, девичьего да куричьего праздника — дождь пошел, на мочежинках повыскочили грибы. Рассыпался народ грибы собирать. Два дня сбирали, а на третий, возле Синего Лога, клюнула мальчонку змея, и к вечеру помер мальчонка. С того дня стала расти змея, и уж не змея это — змей страшный: Синий Лог стали за три версты обегать. А Иван — змею обрадовался, стал каждый день ходить в Синий Лог: никому другому — Ивану надо змея убить, и тогда . . .

Раз под вечер вернулся Иван из Синего Лога, глядь, на порядке — народ, шум. Подошел: в кругу на земле — лежит змей тот самый. Уж голову ему оттяпали, а он все еще шевелится. Медленно режут по кускам, вытягивают головы из-за плеч:

— Копается-шша? Ну, и живуч, омрак страшный!

— Эх! И топор бросил Иван, и на порубку ходить перестал, и на улицу не показывался: все опостылело.

Забелели утренники, зазябла земля, лежала неуютная, жалась: снежку бы. И на Михайлов день — снег по-

валил. Как хлынули белые хлопья — так и утихло все. Тихим колобком белым лай собачий плывет. Молча молятся за людей старицы-сосны в клобуках белых.

От тишины от этой еще пуще сердце щемило. Морозу бы теперь лютого, так чтоб деревья трескались! Да выбежать бы в одной рубахе, окунуться в мороз, как в воду студеную, чтоб продернуло всего, чтоб ногами притопнуть — живо бы всю дурь из головы вон . . .

А морозы не шли, все больше ростепель. Небывалое дело: зимнего пути еще нет по Унже. А ведь святки уж на дворе.

Первый тому знак — стал отец Семен о гусях каждый день говорить. Напретил одно:

— Гусятинки бы, мать, а? За гусями-то ехать — время, мать, а?

Гусятинку любил отец Семен до смерти, без гусятины — и праздник не в праздник. А за гусями — вон куда ехать, в Варегу, за сорок верст. Ну, да уж заодно — изюму купить для кутьи, муки подрукавной: стал Иван розвальни снаряжать.

— К середе-то, Иван, управишься?

— Я-то? Управлюсь.

— Ну, то-то. Ты гляди, к ночи чтоб не попасть. Волки ведь. Как это со мной-то вышло . . . — и уж в какой раз принимался отец Семен рассказывать, из той же Вареги он ехал, и волки увязались, и как он им по гусю выкидывал — так ни одного и не довез.

А Иван из Вареги нарочно в ночь выехал: волки — так волки, хоть что-нибудь, развернуться бы в чем, одолеть бы что.

И как на смех — хоть бы один. Может, оттого на охоту не вышли волки, что ночь была ясная, месячная. Другие сутки стоял мороз.

К Пожоге приехал Иван в полдень. До перевоза доехал — у перевоза народ, шум: паром-то не ходит. Унжа — стала. Вот-те и раз!

Унжа тут не широкая, видно, как на том боку машут руками. Бабы кричат — дразнятся:

— Эй, вы, заунженские! А ну-ко, по первопутку-то к нам?

— Ты, зевластая, помолчи! А то как вот перееду да как почну мутыскать . . .

— А ну, переедь! А переедь, переедь-ка, я погляжу!

И показалось Ивану: на том боку, среди увязанных платками — мелькнула марьина голова. Закипело в нем, ударил он лошадь — и стал спускаться на лед. Только спаянный лед — гнулся, булькали под ним пузыри, кругами шел треск.

— А переедет, ведь, дьявол! Как Бог свят — переедет . . .

Иван на лед не глядел, ехал на санях стоймя, крутил возжами над головой. Только когда уж к тому боку стал подъезжать, вдруг — всё кру́гом в глазах — и куда-то вниз тихонько пошел, пошел, пошел . . .

Пока это опамятовались да за ум взялись, да слег накидали на лед, пока вытащили Ивана и лошадь. Лошадь-то, должно быть, передними ногами цеплялась: лошадь только тряслась вся. А Иван — жив ли, нет ли, кто его знает.

— Качай, ребята, качай!

И когда галдеть перестали и начали на свитке качать — стало слышно: выл, причитал чей-то бабий звонкий голос. Поглядели: Марья.

— Качай, ребята! Отживе-еет еще, у нас народ крепкой, кряжистой . . .

Отживе-еет! Ну хоть бы послушать Марьины причеты — отживеет.

1915.

ПИСЬМЕННО

Дарьин отец в Дону закупался. Поспорил с пушкарскими, что всех в воде пересидит, и правда, пересидел, да тут же и кончился. Стали жить вдвоем с матерью, а без мужика в доме — что уж за жизнь: одно горе необрядимое.

Терпела-терпела, да и говорит Дарье мать:

— Ну, Дарья, иди за Еремея карноухого замуж. Теперь привереды-то эти нам не к лицу. Отбарствовали, будет . . .

Еремей — вдовой, из мещан пушкарских. Лицом — черный, волосатый, чисто окаяшка. А глянет — так Дарью инда одернет всю. И одного уха нету: во сне, шутки ради, ему обрезали. Ну, против материной воли куда же? Поплакала-поплакала Дарья и пошла к венцу.

Утром в мужнином доме Дарья в первый раз прибирала косы под бабий платок. Косы — русые, длинные, красота, под платок не лезут никак, и руки не слушаются — ночью замучилась. Не стерпела Дарья, пала на лавку, да в голос..

А Еремей за столом сидел, вино пил: от вчерашнего осталось. Как кулаком брякнет об стол:

— С первого дня кричать? Ты по ком кричишь, а? Замолчи! Сейчас чтобы смеялась! Смеись, ну?

А как засмеешься, когда в три ручья слезы?

— Смеись, говорю! Не хочешь? — да за волосы Дарью, и потуда таскал, покуда и вправду не стала смеяться смехом смертным, исходным.

Так и пошло бабье бедованье. То была Дарья разбитная, бойкая, а теперь — вроде мыши: все норовит в угол забиться, уйти от еремеевых глаз волчиных, от рук железных . . .

Только и отдыху Дарье, когда Еремей уедет по своим делам. Уедет — обязательно Дарью на ключ замкнет. Ну,

да это уж пусть: зато отоспится и поплачет всласть, и девичью песню вспомнит, протянет тихонько.

И день, и два, Еремея нету.

— Эх, если бы, окаянный, застрял где-нибудь... Заколодило бы его, прихлопнуло бы. Богородица дево, мать пресвятая, угомони ты его, расшиби окаянного...

А он — легок на помине — сейчас в дверь и стукнет. Избитый, в синяках весь — еще страшнее.

— Ты что ж, мне не рада? Опять мокроглазая? Ну, погоди, дай тулуп сыму... — и пошло писать...

Ярмарками — у Еремея дела самые главные. Цыгане какие-то, маклаки с красными платками шейными. Шушукают, шепчутся, по рукам бьют. И к ночи — как помелом вымело: и гости все и хозяин сам со двора.

Утром Дарья с ведрами выйдет — глядь, в закуте лошадь привязана. Батюшки мои, да когда ж это?

А Еремей уж тут:

— Ну, чего, как баран на новые ворота? Вчера купил...

Через два, через три дня приезжал из Моршанска старовер Капитон Иваныч. Тряс бородой козлиной, торговался, хлопал лисьим картузом об стол. Ночью уводил еремееву новокупку.

Недолго Благовещенья посчастливилось Еремею карноухому: ночью привел целую тройку лошадей, да каких еще. Прикатил старовер, сбежались маклаки в красных шейных платках. И уж сколько тут на радостях пито было — того и не счесть.

Шум, гам, гвалт, от «собачьих ножек» дым зеленый. Один Еремей пил молча, будто только самого себя слушал. И все гуще срастались у него брови, все темнел, все чугуннел.

Старовер козлобородый с вина ярился, наскакивал на всех:

— Табашники! Накурили дьяволу-то! Ваша троица — в табаке роется! Щепотники! Зверю десяторожному служите!

Но старовера не слушали; рыжий маклак божился, что был у него в прошлом году подсед, — все рыжего совестили:

— Подсе-ед! Эх, ты, естество! Бабка-то у тебя есть, копыто есть?

Рыжий уж сапоги снимал — бабку показывать. А старовер лисьим картузом вертел под самым под носом у Еремея:

— Мошкара, мещанинишки! Да я вас со всем барахлом и с женками покуплю... Дашка, сюды! Подь сюды, говорю... — за подол поймал Дарью, облапил — и к себе на колени.

А у Дарьи ноги, как из охлопьев, подгибаются, и ни крикнуть, ни охнуть, и кого-то сейчас Еремей...

Чугунный, от тяжести очень медленный, встал Еремей, снял со стены безмен.

— Хек! — по башке старовера. — Хек-хек! — хекал, как дровосек добрый, рубил разом — за ухо карноухое, за Дарью, за всю свою жизнь...

— — —

Одна в избе. Старовера сволокли на кладбище, Еремей — в остроге. Керосин в лампе всю ночь жгла, с головой укрывалась Дарья: жуть одолела, тоска.

А раз утром окно раскрыла: черемуха расцвела, стоит в ризке белой — белица, из монастыря вырвалась, радарадешенька белому. И на черемухе воробьи верещат.

Как проснулась Дарья — вдруг поняла, что ведь теперь одна-одинешенька, вольная...

— Слава Тебе, Владычица, прибрала окаяшку карноухого!

Да платок бабий — долой, да косы — наружу.

— А вот не хочу за водой идти: в лес пойду... — и в лес залилась.

— Ты бы, Дарья, в остроге-то его проведала, — Дарью корила мать.

А Дарья только фыркала:

— Вот-ще, дюже мне нужно! Еще шкрыкнет чем, душегуб!

Осенью Еремея судили. Присяжные — мужики да мещане, народ твердый. Припомнили Еремею и конокрадство, и все: закатали на каторгу.

Тут уж у Дарьи — вся тягота с плеч долой... То все еще боялась: ну-ко-сь, из острога сбежит, ну-ко-сь, отпустят его. А теперь дело верное. Выкинула из головы Еремея, как сор из избы.

— — —

Жизнь травяная, медленная. Думаешь — лет пять обернулось, а всего только год прошел. И уж все быльем поросло, уж видывали задонского Савоську у Дарьи в палисаднике, уж поговаривали.

И на самое на Благовещенье, когда полетели из клеток щеглы, случилось нежданное: почтальон принес Дарье письмо.

Неграмотна Дарья, отроду писем не получала. Дождалась Савоську. Савоська ей и прочел.

«Кланяюсь вам, милая супруга Дарья Никитишна, от лица земли и до ног ваших. А еще прошу письменно прощенья за вашу жизнь, сапоги мои развалимши, и работаем босиком подземно. И погиб я, через что вы меня не призрели сердцем, и бесперечь письменно плачу и вас вспоминаю...» — а конца и не слышала Дарья, так ее пронзило письмо.

Савоська егозил, вертелся, смешки подпускал.

— Да уйди ты, ради Христа. Мне обдуматься надо, а ты...

Думала всю ночь, и неделю думала, и никак обдумать не могла.

...Сапоги развалимши... подземно... и бесперечь письменно плачу...

«Дура, ты дура: ну, какого рожна тебе надо. Унесла Владычица изверга, ну чего ты еще?»

Опять черемуха под окном расцвела, воробьи верещат — а не легче все. Ноет сердце и ноет, проснется Дарья — вся подушка в слезах...

Уговорилась Дарья с Савоськой: в воскресенье, на гулёный день, на прожитье переехать к Савоське.

«Малый молодой, веселый. Переехать — и вся дурь из головы вон».

На гулёный день в тарантасе — было бы куда все дарьины манатки забрать — подкатил Савоська. Уж у Дарьи уложено все.

— Ну, Савося, сейчас. Ты мне только письмо напиши.

Села Дарья на лавку. В окно поглядела — на край света. Пригорюнилась.

— Ну, пиши. «Любезный наш дружечка, Еремей Василич. На кого же вы нас покинули и как жить без вас будем. А еще кланяюсь вам с любовью от лица земли и до неба, сапоги купила вчерась, и как есть все ночи не сплю. А еще кланялась вам . . .»

Послушно Савоська все, как Дарья велела, до конца писал. Написал, вслух прочел.

Как зальется Дарья, как заголосит. Голосила-голосила да в ноги Савоське:

— Савосюшка, милый! Прости ты меня, Христа ради. Не могу я к тебе поехать. Мочи моей нет, сердце изошло . . . В Сибирь поеду . . .

Дуры бабы, ах, дуры! Поплелся домой Савоська в своем тарантасе один.

1916.

АФРИКА

1.

Как всегда, на взморье — к пароходу — с берега побежали карбаса. Чего-нибудь да привез пароход: мучицы, сольцы, сахарку.

На море бегали беляки, карбаса ходили вниз-вверх. Тарахтела лебедка, травила ящики вниз, на карбаса.

— Все, что ли, а? — и уж хотели было поморы обратно вернуть, но тут вышло происшествие необычайное: с парохода по лесенке стали спускаться господа какие-то.

— Это... господам-то... куды же? — опешили карбаса.

— Но-о, глазами захлопал! Не видишь, в Кереметь к вам? Принимай живей. Ерупи-итка!

Принимать пришлось Федору Волкову. Было их двое господ да одна девушка ихняя. И то разговаривают все по-нашему, по-нашему, а то примутся еще по-какому-то. Подивился Федор Волков.

— Вы, господа, сами-то родом откулева же будете?

А господа веселые. Переусмехнулись между собой, да и говорит, который бритый:

— Мы-то? — подмигнул, — из Африки мы.

— Из А-африки? Да неуж и по-нашему там говорят?

— Там, брат, на всех языках говорят...

А девушка ихняя засмеялась. Чему засмеялась — неведомо, а только — хорошо засмеялась и хорошо на Федора Волкова поглядела: на плечи его страшные; на голову-колгушку, по-ребячьи стриженную, на маленькие глазки нерпячьи.

Показал Федор Волков господам приезжим отводную квартиру: держал нынче квартиру Пимен, двоеданского начетчика племяш. Хорошая изба была, чистая.

Сел Федор Волков на камушке у ворот. В тишине сумерной было явственно слышно, как они там в избе разговаривали, то по-нашему, то по-своему опять. А потом заиграла девушка ихняя песню. Да такую какую-то, что у Федора инда в груди затеснило, вот какая грусть, а об чем — неведомо. И дивно было: девушка, будто, веселая, а этак поет?

Век бы ее слушал, да поздно, уж: хочешь-не хочешь, время — спать.

Ночь светлая, майская. По-настоящему не садилось солнце, а так только принагнется, по морю поплывет — и все море распишет золотыми выкружками, алыми закомаринами, лазоревыми лясами.

Не то во сне снилось Федору Волкову, не то впрямь это было: будто, опять пела девушка ихняя, а он, будто, встал, оделся и по улице пошел: поглядеть, где же это она поет-то ночью?

Идет мимо Ильдиного камня, а на камне белая гага спит — не шелохнется, спит — а глаза открыты, и все, белое, спит с глазами открытыми: улица изб явственных глазу до сучка последнего; вода в лещинках меж камней; на камне — белая гага. И страшно ступить погромче: снимется белая гага, совьется — улетит белая ночь, умолкнет девушка петь.

И опять — не то сон, не то явь, а только будто, окно — темное, она — белая в окне-то и, будто, шёпотом, шёпотом так Федору Волкову:

— Они спать полегли. А я не могу спать, — как же спать? А ты, милый, пришел, вот спасибо тебе . . .

И еще — будто из окна нагнулась, обхватила Федора Волкова голову — и к себе прижала. А руки у ней, и грудь у ней — так пахнули — только во сне так и может присниться.

Днем возил Федор Волков господ из Африки. На семгу ярус закидывали, лежали на ярусе два часа. И все глядел Федор на девушку ихнюю и глазами пытал: ночью — во сне ли она приснилась или . . .

К вечеру вернулся обратно пароход, стал на взморье и загудел. И опять Федору же вышло везти к пароходу господ приезжих.

— Ну, Федор Волков, прощай. В Африку-то приезжай к нам . . . — и засмеялись все трое.

И взяло тут сомненье Федора Волкова: не потешаются ли они над ним с Африкой с этой? Мотнул стриженой колгушкой своей:

— А ну-ко-сь ей нету, Африки-то? Приедешь — ей нету? А то бы я приехал бы... — и глядел на девушку, все пытал: приснилось ночью тогда — или...

— Нет, Федор Волков, вы им не верьте, они такие уж... Вы ко мне приезжайте. Уж там доехать — доедете, только выехать. Ну, я буду вас ждать.

Нагнулся в низком поклоне Федор Волков и показалось: от руки — тот самый, тот самый дух, который во сне...

И поверил в Африку Федор Волков.

— Ну, ин ладно, приеду. Мое слово — безоблыжное.

2.

У Пимена, племяша двоеданского, собаки не жили: годок поживет какая — а там, глядишь, и сбежала, а то и подохла. И шел слушок: оттого у Пимена собаки не жили, что уж больно он был человек уедливый. Как ночь — так Пимен к конуре к собачьей:

— Ты у меня, мерзавка, гляди, спать не смей. Даром, что ли, я тебя кормлю-то? Хлеба одного лопаешь в неделю на семь копеек...

И пойдет, пойдет вычитывать: где же тут вытерпеть — собака не вытерпит.

Мудрено ли, что, идучи ночью одной весенней мимо двоеданской избы, услышал Федор Волков чей-то жалобный хлип. Ближе подошел: окно открыто, то самое, и в окно — слезами облитая, горькая Яуста, старшая Пименова.

— Ты чего, Яуста, эка, а?

— Отец со свету сжил, заел, ни днем продыхнуть ни днем продыхнуть, ни ночью...

Да полно, Яуста ли это? У Яусты волосы — как рожь, а у этой — как вода морская, русальи, зеленые. Яуста — румяная, ражая, а эта — бледная с голубью, горькая. Или месяц весенний заневодил зеленесеребряной сетью ту, дневную?

Как тогда — во сне или наяву — опять стоял Федор Волков у окна избы двоеданской, утешал горькую девушку. Нет того слаще, как девичьи слезы унять, уви-

деть улыбку, осветленную слезами, как лист — дождем. Нет девичьих рук нежнее, только что утиравших глаза — еще мокрых от слез.

— Яуста, как же это я никогда не видал-то тебя?

— Ну, теперь — гляди. Хочешь — тут вот — хочешь, гляди...

Пимен, племяш двоеданский — ростику маленького, тощий: такие всегда бывают зудливые, неотвязные. Каждый вечер Пимен пилил Яусту, свою старшую. Может, только за то и пилил, что в девках она засиделась, и младших двух задерживала. Каждую ночь Федор Волков утешал горькую, с зелеными волосами русальими, Яусту. Каждую ночь месяц весенний становился все тоньше: уходила весна, девушка застенчивая; аукало за лесом лето, с ночами голыми, белыми, с бесстыдным солнцем ночным.

Когда шли от венца Федор Волков с Яустой, старшей Пименовой, еще висел последний тоненький месяц, еще звенел чуть слышным серебряным колокольцом. Заперли молодых в прибратой подклети; садясь на постель, Федор Волков сказал, по обычаю по старому:

— Ну, разобуй меня, молодая жена.

Нагнулась Яуста, горькая, русальная, покорно сапог разобула Федору Волкову. Так покорно, что другого не дал ей снять Федор — сам стал ласково снимать с нее подвенечный обряд...

Еще спала Яуста, а Федор Волков, вскинул ружье, шел уж к лесу на Мышь-наволок. Играло в росе розовое солнце. Поцелуйно чмокала мокрая земля под ногами. В тонкую, однотонную дудку свистел рябчик — подругу звал. И так песней занялся, что Федора Волкова вплотную подпустил: тут только опомнился, фыркнул, перелетел на соседнюю сосну — и опять засвистел. Улыбнулся Федор Волков, от плеча отнял ружье — и пошел домой.

У бобыля в избе — откуда порядку быть? Пахнет псиной — вчера только первую ночь не спал с Федором в избе Ятошка лягавый; по углам — пауки; сору — о, Господи, сколько! Яуста вымыла все, оскоблила пол добела, женка хозяйственная выйдет из ней — хлопотушей ходила по избе.

— Здравствуй, Яуста, ах, ты, хозяюшка ты моя... — бежал к Яусте Федор Волков: обнял ее поскорее, ка-

кая она теперь — после ночи? Бежал по избе — по скобленому белому полу . . .

— Да ты что, сбесился — не вытерев ноги, прешь то? — заголосила Яуста в голос. — Этак за тобой, беспелюхой, разве напритираисси?

Со всего бега стал Федор Волков, как чомором помраченный. Опомнилась Яуста, подошла к Федору, губы протянула, а на отлете — рука с ветошкой.

Молча отстранился Федор — и пошел за порог: сапоги вытирать.

С того дня опять Федор Волков стал ходить молчалив. Что ни вечер — увидишь его на угоре у Ильдиного камня: самого не видно, только одна голова — стриженая колгушка — над светлым морем маячит.

— Чего, Федор, выглядываешь? Аль гостей каких ждешь иззаморских?

Глянет Федор глазами своими нерпячьими, необидными и головой колгушкой мотнет. А к чему мотнет — да ли, нет ли — неведомо.

Стал ночами пропадать Федор Волков. А ночи — страшные, зрячие: помер человек — а глаза открыты, глядят и все видят, чего живым видеть нелеть. Металась Яуста одна в светлой подклети, пустой от неусыпного солнца.

— Да где же это ты, лешебойник, ходисси . . . — днем голосила Яуста. — Да и чем же это я опризорилась, где мои глазыньки были, когда я замуж шла за тебя?

Федор Волков молчал: только глазами необидными немовал что-то Яусте, а про что немовал — неведомо.

Должно быть, Яуста отцу пожалобилась: стал Пимен, племяш двоеданский, за Федором следом виться, как комар, и жилять его непрестанно:

— Ты как же это, Федор, с женой-то не влюбе живешь? Как ты с нею повенчан, то по закону Божию — должен на ложе спать, а ты что ж это, а? — вился и вился Пимен.

Когда в церковке деревянной звонили к вечерне, выходил Пимен на двор, возле водовозки бухался на колени и сладкогласно пел Богу молитву вечернюю. Дождь ли, снег ли, — а уж Пимен возле водовозки пел обязательно. Тут от него и спасался Федор Волков — в лес, к Мышь-наволоку. Так, пока не пришла лютая осень, в лесах и коротал ночи, со своими снами с глазу на глаз.

Забелели беляки на море, задул ветер-полуночник. Налегнуло, нагнулось небо, бежали облака быстрым дымом, задевали о верх деревьев. Мга засеялась, не разобрать — где небо, где море: никто уж теперь не приедет...

— Ну вот, Федор, стал и ты дома сидеть, слава Богу. Остепеняйся-ка помаленьку, с Господом... — ласковым комаром пел Пимен, впился в самое ухо Федору Волкову.

Но был нынче Федор необычен: грузен сидел, и глаза были красные, кровью налитые, вином несло — и все ухмылялся.

— ...Иди-ко, иди, Федорушко, с женою-то, а я дверь замкну — у двери посижу. Ну, давай — поцелуемся, Федор, ну давай, ми-ло-ой...

Потянул Пимен свое рыльце комариное, медленно Федор к нему потянулся — да перед самым носом у Пимена — хоп! — зубами как щелкнет. И еще бы вот столько — зацепил бы Пименов нос.

Отскочил Пимен в угол, руками замахал, а Федор Волков гоготал во все горло — никто не слыхал такого его смеха:

— Ага-га, душа комариная? Ага-га, забоялся? Вот я — вот я...

И споткнулся на чем-то, заплакал горестно, положил на стол стриженую колгушку свою:

— Уеду... у-й-еду я от вас... Уеду-у...

— Куда ты уедешь, рвань коришневая, живоглот ты, куда ты уедешь, пропоица горькая? Уж лучше молчал бы...

3.

Покойный Федора Волкова отец китобоем плавал и был запивоха престрашный: месяца пил. В пьяном виде была у него повадка такая: плавать. В лужу, в проталину, в снеги — ухнет, куда попало, и ну — руками, ногами болтать, будто плавает.

И вот ведь чудно: оказалась повадка отцовская и у Федора Волкова. Заперли его в теремок, наверх, зимою уж это было, а он — Господи благослови — крестным знамением себя осенил да головой сквозь окошко нырнул — прямо вниз, в сугроб. В том сугробе целую ночь и проплавал.

На утро подняли: еле живехонек. Отнесли в баньку: в избу ни за что не хотел. В этой баньке и пролежал Федор Волков всю зиму. Только к весне на ноги встал, да и то с сердцем недоделка какая-то осталась: иной раз подкотится под сердце — только ищет Федор за что бы рукой ухватиться. Ну, да это пускай: только доехать до Африки, там уж пойдет по-новому.

После всенощной преполовенской подошел Федор Волков к батюшке, к отцу Селиверсту:

— Поспросить бы мне вас, батюшка, надо об деле об одном.

Отец Селиверст — старенький, весь усох уж, личико в кулачок, и все больше спал. К чаю ему подавали большую чашку: помакает он булку в чай, выпьет — да и опрокинет чашку, чтобы все крошки собрать. Чашкой-то прикроется этак, да и похрапывает себе потихоньку.

Присели с Федором Волковым на камушке возле ограды.

— Ну, что, дитенок, что скажешь, как тебя звать-то, забыл?

— Федором. А есть у меня, батюшка, желание душевное... То есть вот какое — одно слово... Хочу я — в Африку ехать, а как я неграмотный...

— В А-африку? В А... Ох, уморил ты меня, дитенок! В Афри... — ой, не могу!

Смеялся-смеялся отец Селиверст, от смеха устал, на камушке возле ограды — тут же и заснул. Так и не добился от него Федор Волков ни словечка. А уж больше и не у кого было узнать, никого и не спрашивал.

На угоре у Ильдиного камня томился Федор Волков, на карбасе бегал ко взморью всякий пароход встречать. Пришла шкуна монастырская: на монастырские пожни народ везти. И Руфин, монах, какой за капитана у них ходил, так себе — к слову — сказал Федору Волкову:

— Намедни к Святому Носу ходили. Набирает, этта, Индрик народ, в океан бегут за китами.

И осенило тут Федора Волкова: Индрик-капитан, вот кто скажет про Африку-то. Господи Боже мой, как же не скажет? С Индриком — еще отец Федора Волкова в океан промышлять хаживал. И бывало, приедет к отцу Индрик — рассказывать как начнет про океан Индейский: только слушай. Все позабыл — а вот одно Федору по сю пору запомнилось: бежит, будто, слон — и в трубу

трубит серебряную, а уж что это за труба такая — Бог весть.

Поехал Федор Волков в монастырь с Руфином, две недели потел там на пожнях, ярушником монастырским кормился. А через две недели — на Мурманском бежал уж к Святому Носу. Все у борта стоял, свесив стриженую колгушку свою над водой, и сам себе улыбался.

У Святого Носа капитан Индрик набирал народ побойчее — идти в океан. Как увидел Индрика, черную его бархатную шапочку и все лицо в волосах седых, как во мху, — так Федор Волков и вспомнил: никогда не улыбался Индрик, можно ему про все рассказать — не засмеется.

— Африка? Ну как же не быть-то! Есть Африка, и проехать туда очень просто... — нет, не шутил Индрик, глядел на Федора Волкова очень серьезно, и в седом мху волос, как ягода-голубень грустная, были его глаза.

— О? Есть? Ну, слава-те, Господи. Вот слава-те, Господи-то! — так Федор обрадовался, сейчас обхватил бы вот Индрика да трожды бы с ним, как на Пасху, и похристосовался. Но были Индриковы глаза, как ягода-голу бень, без улыбки, без блеска, и будто видели насквозь: сробел Федор Волков.

— Денег вот надо порядочно — тыща, а то и все полторы. На пароходе-то доехать до Африки... — глядел Индрик серьезно. — Ты вот что, Федор, иди со мной за гарпунщика.

Вчера Федору Волкову показывали на шкуне самоедина: глазки — щелочки, курносенький, важный. Толковали про самоедина: мастак — гарпунами в китов стрелять, чистая находка.

— Ну, а как же самоедин-то? — заморгал Федор Волков.

— Самоедин — так, запасной будет. А со мной еще отец твой хаживал в гарпунщиках то, как же тебя не взять?

Гарпунщику — деньги большие идут, дело известное: за каждого кита убитого, ни много — ни мало, шестьсот целковых. Крепился Федор Волков — крепился, да как вдруг с радости загогочет лешим:

— Гы-гы-гы-гы-ы-ы!

Господи, да как же! Два кита — вот те и Африка.

4.

Не было ни ночи, ни дня: стало солнце. В белой межени — между ночью и днем, в тихом туманном мороке бежали вперед, на север. Чуть шуршала вода у бортов, чуть колотилась — как сердце — машина в самом нутре шкуны. И только двое, Федор Волков да Индрик, знали, что с каждой минутой ближе далекая Африка.

Не наглядится на Индрика, не наслушается его Федор Волков, без Индрика дыхнуть — не может.

— Ну, какая же она, Африка-то? Ну, чего-нибудь еще расскажи.

Все на свете Индрик видал: должно быть, и то видал, чего живым видеть нелеть. Веселый — а глаза грустные — рассказывал Индрик про Африку.

Хлеб такой в Африке этой, что ни камни не надо ворочать, ни палы пускать, ни бить колочь землянную копорюгою: растет себе хлеб на древах, сам по себе, без призору, рви, коли надо. Слоны? А как же: садись на него — повезет, куда хочешь. Сам бежит, а сам в серебряную трубу играет, да так играет, что заслушаешься, и завезет он тебя в страны неведомые. А в тех странах цветы цветут — вот такие вот, в сажень. Раз нюхнуть — и не оторвешься: потуда нюхать будешь, покуда не помрешь, вот дух какой . . .

— Во! Погоди . . . — обрадовался Федор Волков, — вот и мне был сон . . . — и осекся: про сон про свой, про девушку ту — не мог даже Индрику рассказать.

Должно быть, недалеко была уж девушка та: все Федору Волкову снилась. Да во сне известно, ничего не выходит: только руками она обовьет, как тогда, и не отрываться бы потуда, покуда не умрешь — а тут и окажется, что вовсе не девушка та — а дед Демьян. Тот самый дед Демьян, какой в суконной карпетке бутылку рома зятю в подарок вез. Да в пути раздавил и три дня прососал карпетку ромовую. Вот, будто, к карпетке к этой и приник Федор Волков и сосал: дрянь — а выплюнуть никак не может, беда!

Слава Богу, явь теперь лучше сна. Тишь, туман. Чуть шуршит вода у бортов. Колотится сердце в шкуне. Неведомо где — сквозь туман — солнце малиновое. Неведомо куда плывут сквозь туман. И сказывает Индрик

сказку — не сказку, быль — не быль, про Африку — теперь уже близкую.

Однажды утречком дунул полуденник-ветер, распахнулся туман, на сто верст кругом видать. И углядели тут первого кита, вовсе рядышком. Был он смирный какой-то и все со шкуной играл: повернется на спинку, белое брюхо покажет — нырь под шкуну, и уж слева близехонько бросает фонтан.

Как пушку навел, как запал спустил — и сам Федор Волков не помнил: от страху, от радости — под сердце подкатилось, в глазах потемнело. И только тогда очнулся, когда на белом брюхе китовом копошились матросы, полосами кромсали сало.

— Ну, Федор, тебе бы еще одного так-то, а там и в Африку с Богом, — говорил весело Индрик, а глаза грустные были, будто видали однажды, чего живым видеть нелеть: правду.

— Эх! — только поматывал Федор стриженой по-ребячьи колгушкой, только теплились свечкой Богу необидные его глазки: и верно, какие же тут найдешь слова?

И в межени белой опять плыли, неведомо где, плыли неделю, а может — и две, может — месяц, как угадать, когда времени нет, и непонятно: сон — или явь? Приметили одно: стало солнце приуставать, замигали короткие ночи.

А ночью — еще лучше Федору Волкову: и все стоял, и все стоял, свесив голову за борт, и все глядел в глубь зеленую. По ночам возле шкуны неслись стаи медуз: ударится которая в борт — и засветит, и побежит дальше цветком зеленосеребряным. Только бы нагнуться — не тот ли самый? — а она уж потухла, нету: приснилась . . .

Капитан Индрик — на мостике целый день. Из мха седого — глядят зорко глаза, на сто верст кругом.

— Гляди-и, Федор Волков, гляди-и, не зевай!

Кит. Последний. То впереди фонтан выстанет, то слева, то сзади: петли завязывал кит, кружил. Да Индрик на мостике — зоркий: куда кит — туда и шкуна.

— Гляди-и, Федор Волков, гляди-и . . .

— «Ох, попаду. Ох, промахнусь . . .» — стоял на носу Федор у пушки у своей, под сердце подкатывалось, темнело в глазах.

Два дня за китом всугонь бежали. Привык бы зверь, подпустил бы ближе. Два дня стоял на носу Федор Волков, у пушки.

На третий, чуть ободняло, крикнул с мостика Индрик зычно:

— Ну-у, Федор, последний! Ну-ну, р-раз, два . . .

— «Ох, попаду, ох . . .» — так сердце зашлось, такой чомор нашел, такая темень.

Выстрела и не слыхал, а только сквозь темень увидел: натянулся канат гарпунный, пошел, задымился — и все жвытче пошел, пошел, пошел . . .

Попал. Африка. Приникнуть теперь — и не оторваться, покуда . . .

Кит вертанул быстро в бок. Чуть насевший в хвосте гарпун выскочил, канат ослабел, повис.

— Эка, эка! Леший сонный, ворон ему ловить. Промазал, туды-т-т-его . . . — бежали, сломя голову, на нос, где возле пушки лежал Федор Волков.

Спокойный, глаза — как ягода-голубень грустная, подошел Индрик.

— Ну чего, чего? Не видите, что ли? Берись, да разом. Руку-то подыми у него, рука то по земле волочится . . .

Есть Африка. Федор Волков доехал.

1916.

ПРАВДА ИСТИННАЯ

Сидит Дашутка у окна, виден между крыш верешок неба. На небо поглядывает и письмо диктует — матери, в село Яблоново, письмо. Разошлась Дашутка и все правила письмовные позабыла: уж на третью четвертушку перелезли — а она все диктует.

—«...А еще — в городу очень великолепно, правда истинная. Господа — богаты, и не как-нибудь, а чай пьем трожды в день, и дом ихний называемый обсобняк. Барыня ласковая, дорит платки носовые шелковые с своего плеча, а то еще платье подарила, голубое шелковое, ненадеванное. И все это я по вечеринам хожу и прелестно там танцую, очень свободно. А в субботу отпросилась в собор ко всенощной, а в соборе — мощей видимо-невидимо: направо — моща, налево — моща, ну прямо — проходу нет — очень великолепно. А также Иван Андреянов за меня сватается, старший дворник, который над всем домом старший, а дом огромадный, в шесть этажей, и всякого добра видимо-невидимо.

А вобче у нас всякая швабра живет, одно слово — свита. Только звание, что господа, а тоже третий месяц за квартиру не плотят. А барыня — взгальная. ну, прямо вот покою не дает. И в лавку тебя гоняет, и на почтву гоняет, и в аптеку беги: ка-ак же, аверьяновых капель ей надо, с своим расцапалась! Ну, просто мочи моей нету. Ночью-то ляжешь, а ноги так и гудут, чисто колокол, правда истинная. А также жалования шесть рублей, и никуда со двора не пускают, хоть бы в церковь сбегать когда, морду перекрестить — и то нельзя, и юбка голубая шелковая на животе прожжена, которую барыня к празднику подарила, а я и говорю: на кой мне ляд такая нужна, прожженная — очень свободно, так и говорю.

А дворник Ванька проходу не дает, прямо за грудки, а сам лысищий, старищий — чистый грех страшный, и

кила на макушке. Так бы вот его и огрела по башке чем ни попадя: туда-а же, с руками своими лезет, облезлый А поди-ка ты ему поперек слово скажи, как он называемый старший дворник и над всем домом старший, а в доме нашем шесть этажей, и все живут зажиточные, третьеводнись один на машине приехал, так в самый дом и вкатил, как перед истинным, очень свободно. И фонари на улицах цельную ночь полыхают, светло — чисто день белый, или — куда хочешь, очень великолепно, не то что у вас в селе. А только нету в городе купыря, и не за какие деньги не найдешь, а у нас в огороде купыря, поди, сколько хочешь. Выйтить бы теперь на огород босиком, и чтоб земля праховая была под ногами, и взять бы купыря пожевать, и больше ничего и не надо. Только об этом и во сне вижу, как бы в Яблоново к вам попасть, по огороду соскучилась, мочи моей нет, каждый вечер навозрыд плачу. И спасибо тебе, мамынька, что дозволила мне в город на место итить, а то бы так всю жизнь темной и жила в селе дура-дурой. А теперь хорошую жизнь увидала и будет про что на старости лет вспомянуть, правда истинная . . .»

1917.

ГЛАЗА

Ты — собака.

Шелудивый тулуп — был, быть может, белый. На хвосте, в обвислых патлах, навек засели репьи. Одно ухо-лопух вывернуто наизнанку, и нет сноровки даже наладить ухо.

У тебя нету слов: ты можешь только визжать, когда бьют; до хрипу брехать, когда велит хозяин; и выть по ночам на зеленый горький месяц.

Но глаза... зачем у тебя такие прекрасные глаза? Поднимаешь глаза вверх, глядишь глазами в самое мое нутряное нутро, мы говорим глазами в глаза, и я знаю: ты — древняя, мудрая, мудрее нас. Быть может, ты некогда была человеком, и ты им будешь вновь. Но когда же ты будешь?

Седой хозяин держал тебя на цепи, в грязной конуре. Ты лакала помои из грязной черепушки. Ты грызла хозяйские оглодки. И ты ретиво стерегла хозяйское добро.

Помнишь: жаркий день, тарантас посерёд двора, навалили ковры, самовары — и уехали. Ты ждала.

Разгуливала по двору красноухая клюшка, поглядывала одним глазом на коршуна вверх, собирала индюшат под крылья. Накрыла конуру тень от водовозки: тарантас все не возвращался. И помнишь: на утро ты вцепилась в красноухого индюшонка, схряпала мигом — и только одни белые, обрызганные красным, перья у конуры.

И как потом плеткой-двухвосткой хлестал по глазам хозяин. Совсем близко была его налитая, в седых кустах, морда, но ты не вцепилась: ведь это был хозяин. И только из глаз точились тихие собачьи слезы, пролагали желтые желобки от углов глаз к носу.

А на утро — помнишь? — прижавши морду к земле и засунув хвост между ног, ты по грязи ползла хозяину навстречь, виляя задом, ты лизала хозяину руку. И когда милостиво потрепали по загривку — ты радостно повалилась на спину — прощена! — ты щурилась и дрыгала ногами, ты звенела цепью и наружу вывалила весь свой срам.

От одной с собачьим месивом черепушки до другой — ты меряла время. От жарыни желтел на дворе просвирник. Солнце — огненный пес — распялив красную пасть, пыхало пылом прямо в тебя. Не в силах скинуть шелудивую шубу — ты задыхалась, у своей конуры лежала как мертвая, и только жил, ходил ходуном высунутый наружу язык.

Но пришел во двор — ты помнишь? — щуплый, прыщавый человечий щенок. Ты забыла все, ты вздыбилась на дыбы — душил ожерёлок — хрипела и бешено, с пеной лаяла: прыщавый был чужой, был хозяину недруг, хоть вместе с хозяином заглядывал он в курник, в выход, в каретный сарай.

Больше ты не видела седого хозяина: он непонятно исчез, как вечерами непонятно для тебя исчезало солнце за каретным сараем. Утром — помнишь? — тебе принес черепушку уже тот, прыщавый; в черепушке был кус тухлого мяса. С урчанием ты поглотила мясо и, волоча брюхо в пыли, по-червиному, ползла ему навстречь и лизала ему руки, — тому самому, на кого вчера бешено брызгала пеной: ведь это он, прыщавый, он, великий, повелевал теперь черепушкой. И не все ли равно, кто тобою владеет? Была бы поганая черепушка полна.

Твой новый хозяин — был затейщик. Вечера, — ты помнишь? Пахло из закуты парным молоком, шуршали, примащивались на нашесте куры, а тебя дразнили огрызком сахара и кричали: служи! Как к небу — к слюнявому огрызку сахара — ты поднимала глаза, свои человечьи глаза, и, звеня цепью, неуклюже плясала на задних лапах — из-за слюнявого огрызка сахара. Ты помнишь вечера? На варке богомольно вздыхала корова, хрустела сладкой свекольной ботвой. А тебя для потехи спускали с цепи, травили тебя на кошку: ату ее! И, однажды, — ты помнишь, ты никогда не забудешь: кошка увязла в щели под забором, раз! — прыжок — и ты, урча, уже мотала головой, рвала и вгрызалась в кошкино брю-

хо, а прыщавый гоготал, и кагакали в курнике взбуженные гуси, индюшки и куры. А потом усталая, у входа в конуру, ты звенела цепью и сосала слюнявый огрызок сахара. Но глаза были зажмурены, чтоб не видно было, что они похожи на человечьи, и всю ночь ты вздыхала: о чем вздыхала?

От черепушки до черепушки ты меряла время. Твой собачий мир — конуру — водовозку и каретный сарай — накрыло серым, сырым веретьем — осенним небом: ты мокла покорно. Вылезало солнце, в трех багровых студеных кругах — багровое, как кровь загрызенной кошки: ты треской тряслась от стыди. Ты покорно таскала сосульки на шубе; кололи, лечь было нельзя — ты покорно таскала, пока сами собой не растопились сосульки, пока юркие, как ящерки, не зажурчали ручьи, не поволокли навозные комья вон со двора. Своими глазами — человечьими — ты глядела весь день на солнце, за солнцем ходила кругом конуры — ходила весь день, звенела ржавой цепью. И закрутилась, запуталась вокруг шеи, ты рванула — и лопнула цепь.

Секунду стояла остолбенело — и эх! — взвилась. Через забор, по талым сугробам, с мокрым брюхом — пар валом валит — ты носилась пьяная от солнца, от воли, от чуть приметного парного курева земли из-под снегу. И где-то под голым, черным еще, переплетом сирени на синем небе, где-то ночью в проулке, на кучах теплой золы, среди пьяных весною и волей . . .

Черепушки не было, нечем было измерить время: может — день, может — месяц. Но это не был день: уж слишком жестоко голод закорючивал в брюхе кишки.

И ты помнишь: ветер с духом горьких сиреневых почек, на заборе — взгальный галочий гам. Облезлым боком ты вжималась в самый мокрый забор и, засунув хвост между ног, плелась, плелась. Оборванная цепь лязгала по земи.

На дворе — огарнули тебя с гоготаньем: ага-а! Ты легла у старой конуры и подставила шею. Прыщавый напялил на тебя новый, сверкающий ожерёлок — с веселым, звонким бубенчиком — и новую цепь. К морде пододвинули черепушку — в ней громадный кус тухлого мяса. И помнишь? — ты лопала, ты жрала, ты трескала — пока не раздулась.

Прыщавый милостиво потрепал тебя по загривку, ты повалилась на спину и задрыгала всеми четырьмя ногами, позванивая цепью и веселым бубенчиком на ожерёлке. Ты лизала руки хозяину. Ты налопалась до отвалу — и что тебе цепь? Ведь ты — дворняга.

У тебя нету слов. Ты только можешь визжать, когда бьют; с хрипом грызть, кого прикажет хозяин; и выть по ночам на горький зеленый месяц.

Но зачем же у тебя такие прекрасные глаза? И в глазах, на дне — такая человечья грустная мудрость?

1917.

ОСТРОВИТЯНЕ

1. Инородное тело

Викарий Дьюли — был, конечно, тот самый Дьюли, гордость Джесмонда и автор книги «Завет Принудительного Спасения». Расписания, составленные согласно «Завету», были развешаны по стенам библиотеки мистера Дьюли. Расписание часов приема пищи; расписание дней покаяния (два раза в неделю); расписание пользования свежим воздухом; расписание занятий благотворительностью; и, наконец, в числе прочих — одно расписание, из скромности не озаглавленное и специально касавшееся миссис Дьюли, где были выписаны субботы каждой третьей недели.

Первое время, случалось, миссис Дьюли сходила с рельс и пыталась в неположенный день сесть к викарию на колени или заняться благотворительностью в неурочное время. Но всякий раз мистер Дьюли, с ослепительной золотой улыбкой (у него было восемь коронок на зубах) и с присущим ему тактом — объяснял:

— Дорогая моя, это, конечно, пустячное уклонение. Но вы помните главу вторую моего «Завета»: жизнь должна стать стройной машиной и с механической неизбежностью вести нас к желанной цели. С механической — понимаете? И если нарушается работа хотя бы маленького колеса . . . Ну, да вы понимаете . . .

Миссис Дьюли, конечно, понимала. С книгой, она опять надолго усаживалась у окна. Жила, тосковала между глав романа. Через год в зеркале с удивлением видела новую морщинку у глаз: как, неужели — год? День и другой не могла читать. У окна, в странном ожидании, смотрела на улицу, на вылезающих из красного трамвая людей, на быстрые, распухающие облака. А мистер Дьюли, поглядывая на часы, занимался покаянием,

физическим трудом, благотворительностью — и радовался: так стройно и точно работает машина.

К сожалению, ни одна машина не обеспечена от поломки, если в колеса попадает инородное тело. Так случилось однажды и с машиной викария Дьюли.

Было это в воскресенье, в марте, когда мистер Дьюли возвращался домой после утренней службы в церкви Сэнт-Инох. Жужжали велосипеды, мистер Дьюли морщился от их назойливых звонков, от слишком светлого солнца, от непозволительного галдежа воробьев.

Мистер Дьюли уже переходил через улицу к своему дому, когда вдруг из-за угла вывернулся красный автомобиль. Викарий остановился, по привычке своей — заложил руки назад и перебирал пальцами, как будто отсчитывал: во-первых, во-вторых, в-третьих. И на «в третьих» увидел: перед мчащимся красным автомобилем медленно шел субъект. Вероятно, это медленно — было не более полусекунды, но было именно так: медленно шел, и викарий успел запомнить громадные квадратные башмаки, шагающие, как грузовой трактор, медленно и непреложно.

Красный автомобиль крикнул еще раз, квадратные башмаки мелькнули в воздухе очень странно — и автомобиль стал. И тотчас остановилась вся улица. Столпились и вытягивали головы: кровь. Бобби записывал хладнокровно номер автомобиля. Рыжий джентльмэн из публики наседал на шофера, кричал и размахивал руками так, что казалось — у него было их, по крайней мере, четыре.

— Несите же в дом! — кричал четверорукий. — Чей это дом? Несите . . .

Тут только викарий Дьюли очнулся, ответил себе: мой дом, схватился за квадратные башмаки и стал помогать пронести раненого — мимо двери. Но маневр не удался.

— Гелло, мистер Дьюли! — крикнул четверорукий джентльмэн. — Ваше преподобие, вы разрешите, конечно, внести его к вам?

Викарий радостно показал четыре золотых зуба:

— Ах, О'Келли, вы? Конечно же — несите. Эти автомобили — это просто ужасно! Вы не знаете — чей?

Но О'Келли уже был где-то внутри, и перед викарием качались квадратные мёртвые подошвы любителя про-

гулок под автомобилями. Викарий шел сзади и с тоской загибал пальцы:

— Завтрак. Две страницы комментариев к «Завету». Полчаса — в парке . . . Посещение больных . . .

Все это — погибло. Великая машина викария Дьюли остановилась. В запасной спальне светлосерый ковер закапали кровью, а на кровати, пустовавшей годы, водворилось инородное тело.

Сейчас должен был приехать доктор. Время завтрака — четверть второго — давно уж прошло, и викарий в библиотеке ломал голову над временным расписанием. Если, в самом деле, все передвинуть на три часа, то обед придется в одиннадцать вечера, а посещение больных — в час ночи. Положение было нелепое и безвыходное.

Когда господин викарий занимался в библиотеке, вход туда был, конечно, строжайше воспрещен. И если миссис Дьюли теперь стучала в дверь — вероятно, произошло особенное.

— Понимаете, Эдвард, это же немыслимо . . . — щеки у миссис Дьюли горели. — Там доктор, а Кембл не хочет раздеваться, скажите ему вы. Это же просто немыслимо!

— Кто это — Кембл? Этот — наверху? — викарий треугольно поднял брови.

«Этот наверху» — Кембл — лежал теперь, открывши глаза.

Доктор промыл слипшиеся в крови, светлые волосы. С головой оказалось благополучно, но из горла шла кровь, были какие-то внутренние повреждения, а Кембл упрямо отказывался снять пиджак.

— Послушайте, ведь вы же можете так . . . Бог знает что. Ведь надо же доктору знать, в чем дело . . . — Мистер Дьюли с ненавистью глядел на тяжелый, квадратный подбородок Кембла, упрямо мотавший: нет.

— Послушайте, вы же, наконец, в чужом доме, вы заставляете всех нас ждать . . . — Мистер Дьюли улыбнулся, оскалив золото восьми злых зубов.

Подбородок дергался. Кембл побледнел еще больше:

— Хорошо. Я согласен, если так. Только пусть уйдет эта лэди.

Викарий и доктор растегнули пиджак мистера Кембла. Под пиджаком оказалась крахмальная манишка и затем непосредственно громадное, костлявое тело. Руба-

шки — не было. Это невероятно, но именно так: рубашки не было.

— Э? — вопросительно-негодующе поднял брови викарий и взглянул на доктора. Но доктор был занят: осторожно прощупывал правый бок пациента.

Внизу, в гостиной, викарий так и бросился на доктора:

— Ну что же? Ну как он?

— Мм... извиняюсь: неважно... — доктор застегивал и расстегивал сюртук. — Два ребра, и может быть — кой-что похуже: извиняюсь. Дня через три выяснится. Надо бы его только не трогать с места.

— Как, не тро... — хотел крикнуть мистер Дьюли, но тотчас же улыбнулся золотой улыбкой: — Бедный молодой человек, бедный, бедный...

Весь вечер мистер Дьюли бродил по комнатам, непристанный, и был полон ощущениями поезда, сошедшего с рельс и валяющегося вверх колесами под насыпью. Миссис Дьюли носилась где-то там со льдом и полотенцами, миссис Дьюли была занята. Опрокинувшийся поезд был предоставлен самому себе.

В половине двенадцатого викарий Дьюли отправился спать — или, может быть, не столько спать, сколько перед сном изложить свои соображения миссис Дьюли. Но кровать миссис Дьюли была еще пуста.

Случилось это в первый раз за десять лет супружеской жизни, и викарий был ошеломлен. Лежал вперив неморгающие, как у рыб, глаза в белую пустоту соседней кровати, создавались в пустоте какие-то формы. Била полночь.

И вышло очень странное: созданная из пустоты миссис Дьюли — отрицательная миссис Дьюли — подействовала на викария так, как никогда не действовала миссис Дьюли телесная. Вот немедленно же, сейчас же, нарушить одно из расписаний — немедленно же видеть и осязать миссис Дьюли...

Викарий приподнялся и позвал — но никто не откликнулся: миссис Дьюли была занята там, у постели больного, может быть — умирающего. Что же можно возразить против исполнения долга милосердия?

Тикали часы. Викарий лежал, аккуратно сложив руки крестообразно на груди, как рекомендовалось в «Завете Спасения» — и старался убедить себя, что спит. Но ког-

да часы пробили два — автор «Завета» услышал самого себя, произносящего что-то совершенно неподходящее по адресу «этих безрубашечников». Впрочем, справедливость требует отметить, что тотчас же автор «Завета» мысленно загнул палец и отметил прискорбное происшествие в графе «Среда, от 9 до 10 вечера», где стояло: покаяние.

2. Пенснэ

Миссис Дьюли была близорука и ходила в пенснэ. Это было пенснэ без оправы, из отличных стекол с холодным блеском хрусталя. Пенснэ делало миссис Дьюли великолепным экземпляром класса bespectacled women — очкатых женщин — от одного вида которых можно схватить простуду, как от сквозняка. Но, если говорить откровенно, именно этот сквозняк покорил в свое время мистера Дьюли: у него был свой взгляд на вещи.

Как бы то ни было, совершенно достоверно, что пенснэ было необходимым и, может быть, основным органом миссис Дьюли. Когда говорили о миссис Дьюли мало знакомые (это были, конечно, приезжие), то говорили они так:

— А, миссис Дьюли . . . которая — пенснэ?

Потому что без пенснэ нельзя было вообразить миссис Дьюли. И вот, однако же . . .

В суматохе и анархии, в тот день, когда в дом викария вторглось инородное тело — в тот исторический день миссис Дьюли постеряла пенснэ. И теперь она была неузнаваема: пенснэ было скорлупой, скорлупа свалилась — и около прищуренных глаз какие-то новые лучики, губы, чуть раскрыты, вид — не то растерянный, не то блаженный.

Викарий положительно не узнавал миссис Дьюли.

— Послушайте, дорогая, вы бы посидели и почитали. Нельзя, ведь, так.

— Не могу же я — без пенснэ, — отмахивалась миссис Дьюли и опять бежала наверх к больному.

Вероятно, потому что она была без пенснэ — Кембл сквозняка в ее присутствии отнюдь не чувствовал, и когда у него дело пошло на поправку — охотно и подолгу с ней болтал.

Впрочем «болтал» — для Кембла означало скорость не более десяти слов в минуту: он не говорил, а полз, медленно култыхался, как тяжело нагруженный грузовик-трактор на широчайших колесах.

Миссис Дьюли все старалась у него допытаться относительно приключения с автомобилем.

— ...Ну да, ну хорошо. Но ведь видели же вы тогда автомобиль, ведь могли же вы сойти с дороги — так отчего же не сошли?

— Я... Да, я видел, конечно... — скрипели колеса. — Но я был абсолютно уверен, что он остановится — этот автомобиль.

— Но если он не мог остановиться? Ну, вот просто — не мог?

Пауза. Медленно и тяжело переваливается трактор — все прямо — ни на дюйм с пути:

— Он должен был остановиться... — Кембл недоуменно собирал лоб в морщины: как же не мог, если он, Кембл, был уверен, что остановится! И перед его, Кембла, уверенностью — что значила непреложность переломанных ребер?

Миссис Дьюли шире раскрывала глаза и приглядывалась к Кемблу. Где-то внизу вздыхал опрокинутый поезд викария. Приливали сумерки, затопляли кровать Кембла, и скоро на поверхности плавал — торчал из-под одеяла — только упрямый квадратный башмак (башмаков Кембл, не согласился снять ни за что). С квадратной уверенностью говорил — переваливался Кембл, и все у него было непреложно и твердо: на небе — закономерный Бог; величайшая на земле нация — британцы; наивысшее преступление в мире — пить чай, держа ложечку в чашке. И он, Кембл, сын покойного сэра Гарольда Кембл, не мог же он работать, как простой рабочий, или кого-нибудь просить, — ведь ясно же это?

— ...Платили долги сэра Чарльза, прадеда. Платил дед, потом отец — и я. Я должен был заплатить и я продал последнее имение, и я заплатил все.

— И голодали?

— Но ведь я же говорил, ясно же, не мог же я... — Кембл обиженно замолкал.

А миссис Дьюли — она была без пенснэ — нагибалась ниже и видела: верхняя губа Кембла по-ребячьи обижен-

но нависала. Упрямый подбородок — и обиженная губа: это было так смешно и так . . . Взять вот и погладить:

— Ну-у, миленький, не надо же, какой смешной . . .»

Но вместо этого миссис Дьюли спрашивала:

— Надеюсь, вам сегодня лучше, Кембл? Неправда ли: вы уже свободно двигаете рукой? Вот подождем, что завтра скажет доктор . . .

Утром приходил доктор, в сюртуке, робкий и покорный, как кролик.

— Что ж, натура, натура — самое главное. Извините: у вас великолепная натура . . . — бормотал доктор, смотрел вниз, в сумочку с инструментами, и в испуге ронял ее на пол, когда в комнату с шумом и треском вторгался адвокат О'Келли.

От ирландски рыжих волос О'Келли и от множества его размахивающих рук — в комнате сразу становилось пестро и шумно.

— Ну, что же, Кембл, уже починились? Ну, конечно, конечно. Ведь у нас, англичан, головы из особенного материала. Результат бокса. Вы боксировали? Немного? Ну вот, ну вот . . .

Напестрив и нашумев, только под самый конец О'Келли замечал, что у него расстегнут жилет и что пришел он, в сущности, по делу: владелец автомобиля готов был немедленно же уплатить Кемблу сорок фунтов.

Кембл не удивлен был нимало:

— О, я был уверен . . .

Он попросил только перо и бумагу и на узком холодновато-голубом конверте миссис Дьюли написал чей-то адрес.

Через два дня пришел ответ. И когда Кембл читал — миссис Дьюли опять вспомнила о пенснэ: вдруг вот сейчас занадобилось пенснэ, беспокойно обшаривала комнату в десятый раз.

— Надеюсь, вам пишут хорошее. Я видела — почерк женский . . . — Миссис Дьюли усиленно рылась в аптечном шкафчике.

— О, да, от матери. Я писал о деньгах. Теперь она сможет устроиться прилично.

Миссис Дьюли захлопнула шкафчик:

— Вы не поверите — я так рада, так страшно за нее рада! — Миссис Дьюли была рада в самом деле, это было видно, на щеках опять был румянец.

За завтраком миссис Дьюли, глядя куда-то мимо викария — может быть, на облака — вдруг неожиданно улыбнулась.

— Вы в хорошем настроении сегодня, дорогая... — викарий показал две золотых коронки. — Вероятно, ваш пациент, наконец, поправляется?

— О да, доктор думает, в воскресенье ему можно будет выйти...

— Ну вот и великолепно, вот и великолепно! — викарий сиял золотом всех восьми коронок. — Наконец-то мы опять заживем правильной жизнью.

— Да, кстати, — нахмурилась миссис Дьюли. — Когда же будет готово мое пенснэ? Нельзя ли к воскресенью?

3. Воскресные джентльмэны

К воскресенью в Джесмонде каменные пороги домов, как всегда, были выскоблены до белизны ослепительной. Дома пожилые, закопченные, но белые полоски порогов сверкали, как вставные зубы воскресных джентльмэнов.

Воскресные джентльмэны, как известно, изготовлялись на одной из джесмондских фабрик и в воскресенье утром появлялись на улицах в тысячах экземпляров — вместе с воскресным нумером «Журнала Прихода Сэнт-Инох». Все с одинаковыми тростями и в одинаковых цилиндрах, воскресные джентльмэны со вставными зубами почтенно гуляли по улицам и приветствовали двойников.

— Прекрасная погода, неправда ли?

— О, да, вчера была значительно хуже...

Затем джентльмэны слушали проповедь викария Дьюли о мытаре и фарисее. Возвращаясь из церкви, каким-то чудом находили среди тысячи одинаковых, отпечатанных на фабрике, свой дом. Не торопясь, обедали, разговаривая с семейством о погоде. Пели с семейством гимны и ожидали вечера, чтобы пойти с семейством в гости.

Утром в воскресенье, изумивши доктора, Кембл встал и отправился к матери. Миссис Дьюли весь день сидела у всегдашнего окна. Читать было нельзя: пенснэ к воскресенью так-таки и не сделали.

«Ну, ничего, скоро сделают, и опять заживем правильной жизнью», — думалось словами викария, смотрела в окно, неслись быстрые, распухающие облака, и надо было

бежать за ними — так было надо — не могла оторвать глаз.

— Послушайте, дорогая, но ведь там уже гости... — вбегал викарий потирая руки. Он был в превосходном настроении: скоро опять начнется правильная жизнь.

Куда-то шла миссис Дьюли, с какими-то розовыми и голубыми дамами говорила о погоде, и все неслись и пухли облака. А викарий сиял золотом восьми коронок и развивал перед розовыми и голубыми идеи «Завета Принудительного Спасения» — что означало на его барометре максимум. В сущности, не было ли это совершенно ясно: если единичная — всегда преступная и беспорядочная — воля будет заменена волей Великой Машины Государства, то с неизбежностью механической — понимаете? — механической... И механически кивала в ответ чья-то круглая, как футбольный шар, голова.

Протрещал звонок. Облака сгустились, стали в полутемной передней — и из облаков вышел Кембл. Он был чисто выбрит (подбородок стал еще квадратней) и в смокинге, хотя и поношенном. И за ним появлялся у входа еще кто-то.

И когда кто-то появился — Кембл возгласил:

— Моя мать, лэди Кембл...

Все разом обернулись и смолкли, как будто случилось неловкое или неприятное, хотя ничего такого и не было. Потому что, если говорить о вечернем платье лэди Кембл, то что же: платье было — как платье, серого шелка, разве только чуть старомодное. Но все молчали.

Лэди Кембл выступала медленно, и какая-то невидимая узда все время подтягивала ее голову вверх. Серожелтые седые волосы, и в вырезе серого платья — шевелились мумийные, страшные плечи, и кости, кости... Так выпирает каркас в старом, сломанном ветром, зонтике.

— Я очень рад, что мы имели случай... — почтительно начал викарий. — Это приключение с автомобилем послужило... — викарий вглядывался в ее лицо: оно было самое обыкновенное, но было что-то...

— Мой покойный муж, сэр Гарольд, всегда высказывался против автомобилей... — невидимая узда подтягивала голову все выше... — В их слишком быстром движении он находил положительно что-то невоспитанное...

Это было подмечено очень тонко: именно — невоспитанное. Викарий потирал руки:

— Совершенно с вами согласен, дорогая лэди Кембл: именно — невоспитанное!

Да, это очевидно: им суждено стать друзьями... Викарий всматривался в ее лицо: нет, ничего особенного, как будто. Просто показалось.

— Я очень, очень рада, что миссис Дьюли так дружна с моим сыном. Неправда ли, так приятно смотреть на них? — лэди Кембл улыбалась.

И тотчас же викарий понял, что это были — губы. Бледнорозовые, тончайшие и необычайно-длинные, как черви — они извивались, шевелили вниз и вверх хвостиками...

Миссис Дьюли оживленно о чем-то говорила и близко наклонила к Кемблу лицо: она была без пенснэ.

— Пенснэ еще не готово, знаете ли... — растерянно пробормотал викарий — черви ползли прямо на него — пятился — придумывал, что бы такое сказать. — Да... Вам мистер Кембл говорил: он получил предложение поступить к адвокату О'Келли. Конечно, не Бог знает что, но на первое время...

— О, нужда, конечно, заставляет согласиться, а так... О'Келли! Ведь я прожила здесь уже год... — лэди Кембл улыбалась, черви вытягивались, в извивах нацеливались на добычу.

Викарий был уже спокоен. Он вновь был автором «Завета Спасения» и благосклонно показывал золотые коронки:

— ...Единственная надежда — на благотворное влияние среды. Я не хочу приписать это себе, но вы знаете — прихожане Сэнт-Инох стоят на исключительной высоте, и я надеюсь, что мало-по-малу даже О'Келли...

— О'Келли? Да, не правда ли, ужасно? — заволновались голубые и розовые дамы, и быстрее закивала футбольно-круглая голова. Футбольная голова принадлежала мистеру Мак-Интошу, а мистер Мак-Интош, как известно знал все.

— О'Келли? Ну как же: за кулисами в «Эмпайре»... Ремингтонистки? Ну ка-ак же! Четыре ремингтонистки... — Мистер Мак-Интош, как мяч, мелькая из угла в угол — в смокинге и сине-желто-красной шотландской

юбочке — мелькал голыми коленками. Мистер Мак-Интош занимал пост секретаря Корпорации Почетных Звонарей прихода Сэнт-Инох и, следовательно, был специалист по вопросам морали...

— Вы знаете, я бы таких, как этот О'Келли... — воодушевился Мак-Интош. Но, к сожалению, приговор его остался неопубликованным: обвиняемый явился лично, а приговоры суда по вопросам морали объявляются заочно.

— А мы только что о вас говорили, — викарий показал адвокату два золотых зуба.

— Вероятно, изрядно успели подьюлить? — засмеялся О'Келли: он ввел в употребление глагол дьюлить и глаголом всякий раз огорчал викария.

— Если бы вы не опоздали, дорогой О'Келли, вы убедились бы лично. Но ведь вы по части аккуратности безнадежны...

— Я аккуратно опаздываю: это уже — аккуратность, — тряхнул рыжими вихрами О'Келли. Как всегда он был растрепан, пиджак в каком-то пуху, одна пуговица совершенно неподходяще расстегнута. Голубые и розовые подталкивали друг друга, черви лэди Кембл шевелились — и только, может быть, ничего не видела одна миссис Дьюли.

— ...Итак, утром вы переезжаете в свои комнаты, и значит сегодня — последнюю ночь у нас... — Миссис Дьюли озябло поводила плечами: вероятно, простудилась.

Кембл стоял молча, упористо расставив ноги. Миссис Дьюли взглянула в зеркало напротив — поправить прическу, мелькнуло золото волос — золото последних листьев. Она вздрогнула и засмеялась:

— А знаете: пусть, будто вы еще больны, и я, как всегда, приду положить вам компресс на ночь?

— Но ведь я же не болен? — Кембл недоуменно морщил лоб: грузовик-трактор ходил только по камню, тяжелые колеса увязали в зыбком «пусть».

Усаживались ужинать. Очень долго возился Мак-Интош: это была очень сложная операция — сесть так, чтобы не смялась его сине-желто-зеленая юбочка. Усевшись, мистер Мак-Интош глубокомысленно покивал футбольной головой:

— В сущности, это великая мистерия — еда, не правда ли?

Это было сказано прекрасно: мистерия. Великая мистерия протекала в молчании, и только в том углу, где сидел О'Келли, было рыже, пестро и шумно. О'Келли рассказывал про Париж, про какой-то надувной чемоданчик, купленный в Париже — специально для надувания английских законов.

— ...Без багажа, ведь, с дамой у нас в гостиницу не пустят. И вот вы вытаскиваете из кармана, надуваете — пффф — и великолепный чемодан. В конце концов, роль закона не такая же ли, как роль ваших платьев, сударыни? Ах, извините, ваше преподобие...

Викарий треугольно поднял брови и уже в который раз поглядывал на часы: в расписании для воскресений в графе «сон» стояла цифра 11. И кроме того, этот О'Келли...

Мистерия кончалась. Воскресные джентльмэны с супругами торопились по домам.

Прощаясь с Кемблом у двери его спальни, миссис Дьюли засмеялась еще раз — свеча в руке дрожала:

— Так значит — компресс?

— Нет, я же здоров, следовательно — зачем же компресс? Свеча освещала непреложный квадратный подбородок Кембла.

Миссис Дьюли быстро повернулась и пошла в спальню. Викарий уже спал, в белом фланелевом колпаке, крестообразно сложив руки на груди.

Утром за завтраком викарий увидел миссис Дьюли уже в пенснэ и положительно обрадовался:

— Ну вот — теперь я вас опять узнаю!

4. Высшая порода интеллекта

Контора адвоката О'Келли помещалась во втором этаже старого дома. В толстой каменной стене — окованная дверь с молотком, темная каменная лестничка наверх и одна ступенька вниз, наружу, в переулок Сапожника Джона. Переулок — узкое ущелье меж домов — только двум разойтись, и синяя полоска неба между стен вверху. В старом доме жил когда-то свободолюбивый Сапож-

ник Джон, упрямо державшийся лютеровой ереси и за это сожженный. Теперь сюда пришел работать мистер Кембл.

В первой комнатке стучали на ундервудах четыре барышни. О'Келли подвел Кембла к первой — и представил.

— Моя жена Сэсили, она же Барашек.

С льняными волосами, с крошечным ротиком — она была, правда, как пасхальный барашек, перевязанный ленточкой. Кембл осторожно пожал ей руку.

Затем О'Келли познакомил с тремя остальными и о каждой сказал одинаково кратко-серьезно.

— Моя жена. Моя жена. Моя жена.

Кембл остановился с протянутой рукой, страдальчески наморщил лоб, и было слышно, как пыхтит тяжелый грузовик, не в силах стронуться с места. Моя жена — моя жена — моя жена... Посмотрел на О'Келли: нет, О'Келли был совершенно серьезен.

— Послушайте, да разве вы не знали: ведь я же — магометанин, — пришел на помощь О'Келли.

Кембл облегченно расправил лоб: теперь налицо были и малая, и большая посылка — полный силлогизм. Все становилось квадратно-просто.

— О, я всегда относился с уважением ко всякой установленной религии, серьезно начал Кембл. — Всякая установленная религия...

О'Келли, красный, с минуту молча наливался смехом, потом лопнул, а за ним — все его четыре жены.

— Слушайте, Кембл... Ой, не могу! Да вы какой-то... Ох, Господи, надо же: он, ей Богу, поверил! Ну-у, голубчик, я-то вас живо выучу слушать вранье...

— Вранье? — Кембл сбился безнадежно. — Вранье? — это было непонятное, ни в шутку, ни вправду — просто, вообще непонятное, ну как может быть непонятна, непредставима бесконечность вселенной. Кембл стоял убитый, столбяные ноги — расставлены.

— Послушайте, Кембл, будем же серьезны... — О'Келли стал серьезен, как всегда, если говорил несерьезно. — Не забывайте, что мы — высшая порода интеллекта — адвокаты, и поэтому — наша привилегия — лгать. Ясно же, как день: животные — представления не имеют о лжи; если вы попадете к каким-нибудь диким островитянам, то они тоже будут говорить только правду,

пока не познают европейской культуры. Ergo: не есть ли это признак...

Все это было совершенно так. Но Кембл непреложно, квадратно был уверен, что это не должно быть верно, и потому в голове была сущая толчея. И он уже не слышал слов О'Келли, а только безнадежно огребал рукой лоб: так медведь огребает облепивших пчел...

В приемной ожидала адвоката какая-то молодая лэди, подстриженная по-мальчишечьи, курила папиросу.

— А-а, Диди! Вы, деточка, здесь давно? Миссис Диди Ллойд, наша клиентка. Развод... — адвокат обернулся к Кемблу, увидел его соображающий лоб — и опять понесся. — Я ей говорил: вступить сперва в пробный брак, но она непослушница... Не слыхали о пробном браке? Ну как же, ну как же: билль прошел в парламенте тридцать первого... ну да, тридцать первого марта.

Миссис Диди Ллойд смешливая — у ней дрожали губы, Кембл опять сбивался — верить или не верить, а О'Келли уже раскладывал перед ним бумаги.

— ...Остались сущие пустяки. Разберитесь-ка, вот.

Кембл поклонился очень официально: мальчишеские повадки и папироса миссис Диди Ллойд, и нога на ногу — были не в его вкусе. Он уселся за бумаги, а О'Келли расхаживал сзади, обсыпал пеплом жилет и вслушивался.

Бумага — это определенно. Туман в голове Кембла разбредался, по наезженному шоссе грузовик тащил кладь уверенно и быстро. О'Келли сиял и хлопал по плечу Кембла:

— Да вы молодчина! Я так и знал... Ломовичище вы эдакий...

Проходили клиенты. О'Келли уже позевывал: пора бы и обедать.

— Ну, что ж: в ресторан? А оттуда — в театр? Нельзя? Ну, да полно...

Дома к обеду ждала лэди Кембл. Но у О'Келли, как всегда, нашлись какие-то вывороченные и неожиданные доводы, выходило, что иначе нельзя — и Кембл послушно шел.

После бутылки романеи, в театре чувствовалось Кемблу: он очень высокий — выше всех — и легкий. Так редко чувствовал себя легким — очень это удобно и смешно — и всему на сцене покатывался, как пятилетний...

Впрочем, и все так же радостно смотрели и так же пятилетне смеялись. Было очень забавно: господин с приклеенным носом и толстая бабища танцевали ту-степ, затем поссорились из-за найденного шиллинга, и господин с носом бил бабищу по щекам, а в оркестре бил барабан в такт. Потом девица, освещаемая попеременно зеленым и малиновым светом, играла на скрипке Моцарта. Потом какая-то в черном, тонкая, медленно плыла — танцевала в полумраке . . .

Один поворот — и Кемблу почудилось: узнал тонкое мальчишеское тело, подстриженные кудри . . . нет, не может быть! Но она уже была за экраном — экран ярко освещен — и ее тень постепенно сбрасывала с себя все, привычно — неспешно, чулки, подвязки, трико: был ее следующий танец — в красном.

— Миссис Диди Ллойд? — не отрываясь от экрана спросил Кембл.

Миссис . . . — передразнил О'Келли. — Ну, да конечно же — Диди.

О'Келли с любопытством, искоса, поглядывал на устремленного вперед Кембла: вот сейчас сдвинется грузовик-трактор и попрет, все прямо, через что попало . . .

Диди кончила красный танец — Кембл перевел, наконец, дух, и это вышло у него так шумно, из глубины, что сам испугался, и огляделся кругом. Из ложи справа в темноте что-то на него блеснуло.

— Ну что, дружочек, понравилось, кажется? — ухмыльнулся О'Келли.

Уже одетая — в пальто и шляпе — Диди через проход пробиралась к ним. Села рядом с О'Келли и, смешливо захлебываясь, что-то ему рассказывала на ухо.

Было неловко, что теперь она — одетая, и потом показалось: слишком громко смеется. Кембл отодвинулся, выставив подбородок — уселся прямой, непреложный, и упрямо слушал концерт на странном инструменте: одна струна, натянутая на швабре.

Зажгли полный свет. Диди повернулась к Кемблу:

— Послушайте, Кембл, правду говорит О'Келли, что вы никогда — что вы никогда . . . — взяла Кембла за руку и маленьким золотым карандашиком стала ему что-то писать на манжете.

«Что, если б моя мать...» — вспомнились Кемблу тончайшие извивающиеся губы, и он опять огляделся кругом, как будто лэди Кембл могла быть здесь.

Но вместо лэди Кембл — в ложе направо он увидел миссис Дьюли. Казалось, стекла ее пенснэ блестели холодным блеском прямо на Кембла. Но это, очевидно, только казалось: блестя прямо на Кембла — миссис Дьюли не кланялась. Нет, очевидно, она не видала.

5. О фарфоровом мопсе

Фарфоровый мопс обитал в № 72, в меблированных комнатах миссис Аунти. Постояльцы тут менялись каждую неделю — всякий раз, как в «Эмпайр» приезжало новое revue. Всегда стояли облака табачного дыма; по ночам кто-то плескался и хохотал в ванной; до полудня были опущены шторы в спальнях. Но фарфоровый мопс Джонни нимало этим не смущался и с высоты каминной полки взирал на жизнь с всегдашней своей хладнокровной и знающей улыбкой. Мопс Джонни принадлежал Диди — и обратно: Диди принадлежала мопсу Джонни. Они были неразлучными друзьями. И тем досадней, что у Кембла как-то сразу и без всякой видимой причины установились неважные отношения с Джонни.

— Послушайте, Кембл, отчего вы не любите моего Джонни? Посмотрите он такой прелестно-безобразный. И он такой верный. И с ним можно делать что угодно...

У Кембла на коленях разложены бумаги: очень трудная задача — уговорить Диди взять деньги, которые так любезно предлагаются ей мистером Ллойд, бывшим мужем. У Кембла лоб собран мучительно.

— ...Мистер О'Келли находил бы, что вам деньги надо взять. И я не понимаю — почему...

— Послушайте, Кембл, а вы не находите: Джонни похож на мистера О'Келли? Оба они одинаково безобразно-милые, и такие умные, и одинаково улыбаются. Ну вот сядьте сюда — сбоку — посмотрите?

Прямой, несгибающийся, Кембл, как Будда, усаживался на ковер и сердито смотрел на Джонни. Но это было верно: мопс был — О'Келли, две капли воды. Медленно култыхаясь, и в самом смехе волоча какой-то груз Кембл

хохотал, раскатывался все больше, и уже Диди о другом — а его все не унять.

Оказывалось, что в Джонни есть нечто байроновское: в сущности — это до глубины разочарованное существо, потому и улыбается вечной улыбкой. Перед Джонни ставилась книжка в белом сафьяне — одна из немногих драгоценностей, которую Диди никогда не закладывала — и Джонни читал, медленно и печально. Свет камина мерцал на мебели — лампы еще не зажжены; на полу белели забытые бумаги; отливал красным квадратный подбородок Кембла. Джонни читал . . .

Спохватывался Кембл, сердито вскакивал с ковра:

— Но все-таки, должен же я сказать мистеру О'Келли, почему вы не хотите взять денег?

Белая книжка летела в угол, черная черта бровей вдруг зачеркивала мальчишеское лицо Диди — Диди кричала:

— Потому что я — я — я изменила мистеру Ллойд, поняли, нет? Почему изменила? Потому что была хорошая погода — и пожалуйста убирайтесь с своими бумагами! Джонни в десять раз вас умнее, он никогда не спрашивает . . .

На утро, в конторе, Кембл жаловался — с нависшей по-ребячьи, обиженной губой:

— Она просто не слушает . . . Все со своим мопсом . . .

О'Келли ухмылялся — как мопс:

— Эх вы . . . Кембл вы эдакий! Нынче же вечером волоките ее ко мне: мы с ней живо расправимся . . .

Вечер был очень тихий. Чинно и тихенько, радуя взор, стояли в палисадниках стриженные под нулевой номер деревья — ряды деревянных солдатиков. Вероятно, был какой-нибудь праздник или просто специальная служба для детей: церковь Сэнт-Инох звонила, по одному перебирала колокола в одном и том же порядке — все вертели и вертели какую-то ручку и чинными рядами шли стриженные дети в белых воротничках.

Кембл и Диди остановились — пропустить шествие. Прошел последний беловоротничковый ряд, и из-за угла показался викарий Дьюли, сопровождаемый миссис Дьюли и секретарем Почетных Звонарей Мак-Интошем. Викарий шел, как полководец, он вел беловоротничковую армию ко спасению математически-верным путем. Мед-

ленно перекладывал за спиной пальцы — отсчитывал что-то.

Кембл чувствовал себя немного неловко: он не был у Дьюли с того самого воскресенья, надо что-нибудь ... надо подойти и сказать ...

— Вы извините — я только на минутку ... — Кембл оставил Диди у церковного заборчика и медленно заколыхался навстречу Дьюли.

Упористо расставив ноги и смущенно глядя на квадратные башмаки, Кембл извинялся: ужасно занят у адвоката, как-то совершенно не было времени ... Хрустально поблескивало пенснэ миссис Дьюли, викарий сиял золотыми зубами и поглядывал искоса в сторону Диди: она стояла у заборчика и поигрывала тросточкой Кембла.

— Великолепный вечер! — радостно засвидетельствовал Кембл. Страдальчески сморщился. Пауза ...

Выручил Мак-Интош. Он был общепризнан человеком оригинальным и глубокомысленным. В эту минуту он внимательно смотрел себе под ноги:

— Я всегда думаю: какая великая вещь культура. Вот например: тротуар. Нет, вы вдумайтесь: тротуар!

И тотчас звонкий смех — все с ужасом обернулись: эта молодая особа с тросточкой — смеялась. Эта молодая особа всегда была смешлива: теперь она опиралась на тросточку и тряслась, тряслась от смеха, трясла подстриженными кудряшками ...

Дальше, в сущности, ничего не было особенного: просто, миссис Дьюли обернулась и посмотрела на эту молодую особу — или, вернее не на нее, а на церковный заборчик, к которому прислонилась особа. Миссис Дьюли посмотрела так, как будто эта особа была стеклянной, совершенно прозрачной.

Диди вспыхнула, что-то хотела сказать — что было бы уж, конечно, совершенно невероятно — но только вздернула плечами и быстро куда-то пошла ...

А затем миссис Дьюли любезно протянула Кемблу руку — показалось, ее рука дрожит — или, может быть, это дрожала рука самого Кембла.

— До свидания, мистер Кембл. Все-таки надеемся скоро вас видеть ... — и миссис Дьюли проследовала в церковь.

Это было неслыханно... у Кембла горели уши, во всю свою тяжелую прыть побежал за Диди, но она как провалилась сквозь землю: нигде ее не было...

Вечером, по окончании церковной службы, миссис Дьюли сидела с викарием в столовой и постукивала корешком книги:

— Ну что же — ваше принудительное спасение? Вы же видите, куда идет Кембл? На вашем месте я бы...

Викарий треугольником поднял брови: он положительно не узнавал миссис Дьюли, раньше она совершенно не интересовалась «Заветом Спасения». Викарий потирал руки: это хороший знак, это великолепно...

— Вы правы, дорогая: этим надо заняться. Конечно, конечно.

А в № 72 — камин покрывался пеплом, дергалось, трепыхалось под пеплом последнее тепло. На ковре лежала Диди и с нею фарфоровый мопс Джонни. Безобразная морда мопса была вся мокрая. На пороге стоял Кембл, страдальчески сморщившись: он пришел сказать Диди, что поведение ее странно, по меньшей мере. И вот — нету слов, или мешает что-то, спирается вот тут, в горле. В сущности, ведь это нелепо...

Кембл старался построить силлогизм.

6. Лицо культурного человека

Как известно, человек культурный должен, по возможности, не иметь лица. То есть не то, чтобы совсем не иметь, а так: будто лицо, а будто и не лицо — чтобы не бросалось в глаза, как не бросается в глаза платье, сшитое у хорошего портного. Нечего и говорить, что лицо культурного человека должно быть совершенно такое же, как и у других (культурных), и уж, конечно, не должно меняться ни в каких случаях жизни.

Естественно, что тем же условиям должны удовлетворять и дома, и деревья, и улицы, и небо, и все прочее в мире, чтобы иметь честь называться культурными и порядочными. Поэтому, когда прохладные, серые дни прошли, и вдруг наступило лето, и солнце стало возмутительно ярким — лэди Кембл почувствовала себя шокированной.

— Это уж положительно что-то . . . Это Бог знает что! — черви лэди Кембл пошевеливались, высовывались, но необузданное, некультурное солнце все так же оскалялось во весь рот. Тогда лэди Кембл делала единственное, что ей оставалось: спускала все жалюзи и водворяла в комнатах свет более умеренный и приличный.

Лэди Кембл с сыном занимала теперь три комнаты: две спальни наверху и столовую внизу, окнами на улицу. Все было теперь слава Богу. Этот случай с автомобилем лэди Кембл понимала как явное милосердие Божие. Нет, что там: порядочных людей Бог не оставит.

И вот — теперь все как полагается: и ковер, и камин, и над камином портрет покойного сэра Гарольда (тот же самый кембловский, квадратный подбородок), и столик красного дерева у окна, и на столике ваза для воскресных гвоздик. Во всех домах на левой стороне улицы видны были зеленые вазы, на правой — голубые. Лэди Кембл жила на правой стороне, поэтому на столике у нее была голубая ваза.

По возможности, лэди Кембл старалась восстановить тот распорядок, который был при покойном сэре Гарольде. С утра затягивалась в корсет, к обеду выходила в вечернем платье. Купила за пять шиллингов маленький медный гонг, и так как хозяйка-старушка звонить в гонг не умела, то лэди Кембл всегда звонила сама: снимет гонг со стены в столовой, выйдет в коридор, позвонит — и опять в столовую. Пусть даже завтракает одна — Кембл в конторе — все равно позвонит: главное — порядок.

К несчастью, обед и завтрак подавал не лакей, а старушка миссис Тэйлор, трясучая и древняя. И чтобы это выходило хоть мало-мальски прилично, лэди Кембл стала старушку уговаривать: за обедом чтоб прислуживала в белых перчатках.

— И что это за причуды такие, Господи! Моешь руки — моешь, и все им мало . . . — старушка обиделась и даже всплакнула, но за два лишних шиллинга в месяц — наконец согласилась.

Теперь было все в порядке — и лэди Кембл позвала О'Келли обедать: пусть видит, что имеет дело не с кем-нибудь.

Было очень много хлопот. На столе стояли цветы и

бутылки. Старушка Тэйлор выстирала свои белые перчатки. И только О'Келли . . .

Трудно поверить — но О'Келли явился на обед... в визитке. Весь обед был испорчен. Черви лэди Кембл развертывались, шевелились.

— Я так рада, мистер О'Келли, что вы по-домашнему. Впрочем, смокинг — при вашем складе лица . . .

О'Келли засмеялся:

— О, о своей наружности — я высокого мнения: она — исключительно безобразна, но она — исключительна, а это все.

Коротенький, толстый — он запыхался от жары, вытирал лицо пестрым платком. Рыжие вихры растрепались, четыре его руки непрестанно мелькали, он капал на жилет соусом и болтал без останову. Да, в сущности, Уайльд тоже был некрасив, но он подчеркивал некрасивое — и все верили, что это красиво. И затем: подчеркнутая некрасивость — и подчеркнутая порочность — это должно дать гармонию. Красота — в гармонии, в стиле, пусть это будет гармония безобразного — или красивого, гармония порока — или добродетели . . .

Но тут О'Келли заметил: невидимая узда поддернула желтую голову лэди Кембл, бледно-розовые черви зловеще шевелились и ползли. О'Келли запнулся — и бледно розовые черви тоже остановились. Говорить в обществе об Уайльде! И если лэди Кембл на этот раз пощадила О'Келли, то исключительно ради сына . . .

Старушка Тэйлор трясущимися руками в белых перчатках поставила ликер и кофе. Об этом ликере лэди Кембл поразмыслила довольно. Но в конце концов решила отложить починку своих туфель на месяц. Без ликера было нельзя никак, так же, как без гонга или перчаток миссис Тэйлор.

Два раза лэди Кембл подвигала О'Келли ликер — и два раза О'Келли подливал себе шотландскую виски. Все это вместе — и пестрые вихры, и ликер, и мелькающие в воздухе руки О'Келли — раздражало миссис Кембл. Черви куснулись:

— Вы, однако, оригинал: первый раз вижу человека, который с кофе пьет виски.

«Оригинал» — для лэди Кембл звучало так же, как «некультурный человек», но мистер О'Келли был, по-

видимому, слишком толстокож. Он секунду весело молчал — он даже и молчал весело — и потом вслух подумал:

— «Вот в этакую жару, должно быть, хорошо в одной шотландской юбочке щеголять!

К слову вспомнил и рассказал: с приятелем шотландцем они ходили по Парижу — и парижские мальчишки, в конце концов, не выдержали, улучили момент и подняли шотландцу юбочку — посмотреть, есть ли под ней что-нибудь в роде штанов, или . . .

Лэди Кембл больше не могла — не могла. Разгневанно встала, пошла к двери и позвала с собой кипенно-белую кошку Милли:

— Милли, пойдемте отсюда . . . Милли, вам здесь нечего делать — зачем вы сюда — ваше молоко в коридоре . . .

Но испорченная Милли, повидимому, была еще не прочь послушать рассказы О'Келли: она мяукала и упиралась. Лэди Кембл нагнулась — выскочили ключицы, и лопатки, и еще какие-то кости — весь каркас разломанного зонтика. С Милли под мышкой лэди Кембл проследовала в дверь.

Величественная и страшная в своем мумийном декольтэ, она появилась вновь только, когда О'Келли загромыхал в передней, разыскивая палку (которой не приносил). Вместе с О'Келли вышел и Кембл.

Небо было бледное, подобранное, вогнутое, какое бывает в сумерки после жарких дней. Кембл пожимался: не то от прохлады, не то от тех неминуемых разговоров — о порядочности и непорядочности, какие будут завтра с лэди Кембл. Пожимался и все-таки шел вместе с О'Келли туда — в № 72. Главное, он был совершенно согласен с лэди Кембл: в меблированных комнатах миссис Аунти — все было непорядочное, все было — не его, было шероховато и мешало, как мешал бы камень посреди асфальтовой Джесмондской улицы — и все-таки шел.

«Раз идет О'Келли . . . Надо же поддерживать с ним отношения . . .» — успокаивал себя Кембл.

В № 72, по обыкновению, горел камин. Диди сидела на ковре у огня: сушила, после мытья, кудрявые, по мальчишечьи подстриженные волосы. На полу были разбро-

саны листки какого-то письма — и над ними улыбался мопс Джонни.

О'Келли чуть не наступил на листки — наклонился и поднял.

— Не трогайте! — со злостью закричала Диди. — Говорю вам — не трогайте! Не смейте трогать! — брови сошлись над переносьем, исчезло мальчишечье лицо — было лицо женщины, опаленное темным огнем.

О'Келли сел на низенький пуф и затараторил:

— Нехорошо, нехорошо, деточка. Только что лэди Кембл нам внушала, что лицо порядочного человека должно быть неизменно, как... как вечность, как британская конституция... И кстати: слыхали ли вы, что в парламент вносится билль, чтобы у всех британцев носы были одинаковой длины? Что же, единственный диссонанс, который, конечно, следует уничтожить. И тогда-одинаковые, как... как пуговицы, как автомобили «Форд», как десять тысяч нумеров «Таймса». Грандиозно — по меньшей мере...

Диди — не улыбнулась. Все так же держала листочек в руке, и все так же крепко, как сплетенные пальцы — сдвинуты брови.

И не улыбался Кембл: что-то в нем накипало, накипало, било — и вот через край — и встал. Два шага к Диди — и спросил — тоном таким, какого не д о л ж н о было быть:

— Что это за письмо такое? Отчего к нему уж и притронуться нельзя? Это — это... — говорил — и слушал себя с изумлением: не он — кто же?

И одну секунду слушала с изумлением Диди. Потом брови ее расцепились, она упала на ковер и захлебнулась смехом:

— О, Кембл, да кажется, вы... Джонни, мопсик, ты знаешь — Кембл-то... Кембл-то...

7. Руль испорчен

Наконец-то оно кончилось — дело о разводе, и на Диди никто теперь не имел прав, исключая, конечно, фарфорового мопса Джонни.

Событие праздновали втроем: О'Келли, Диди и Кембл. Обедали в отдельном кабинете, пили, О'Келли влезал на

стул и произносил тосты, махал множеством рук, пестрело и кружилось в голове. Домой как-то не хотелось: решили поехать на бокс.

Такси летел, как сумасшедший — или так казалось. На поворотах кренило, и несколько раз Кембл обжегся об колено Диди. Такси летел . . .

— А знаете, — вспомнил Кембл, — мне уж который раз снится, будто я в автомобиле, и руль испорчен. Через заборы, через что попало, и самое главное . . .

А что самое главное — рассказать не успел: входили уже в зал. Крутой веер скамей был полон до потолка. Опять было Кемблу тесно и жарко, обжигался, и будто все еще летел такси.

«Не надо так много пить» . . .

— Послушайте, Кембл, вы о чем думаете? — кричал О'Келли. — Вы слышите: сержант Смис, чемпион Англии. Вы понимаете: Смис! Да смотрите же, вы!

Из двух противоположных углов четырехугольного помоста они выходили медленным шагом. Смис — высокий, с крошечной светловолосой головой: так, какое-то маленькое, ненужное украшение к огромным плечам. И Борн из Джесмонда — с выдвинутой вперед челюстью: вид закоренелого убийцы.

— Браво, Борн, браво, Джесмонд! Сержант Смис, браво!

Топали, свистели, клокотали все двадцать рядов скамей, шевелилась и переливалась двадцать раз окрутившаяся змея — и вдруг застыла и вытянула голову: судья на помосте снял цилиндр.

Судья, поглядывая из-под седого козырька бровей, объявлял условия:

— Лэди и джентльмэны! Двадцать кругов по три минуты и полминуты отдыха после каждого круга — согласно правилам маркиза Квинзбэри . . .

Судья позвонил. Смис и Борн медленно сходились. Борн был в черных купальных панталонах, Смис — в голубых. Улыбнулись, пожали друг другу руки: показать, что все, что будет — будет только забавой культурных и уважающих друг друга людей. И тотчас же черный Борн выпятил челюсть и закрутился около Смиса.

— Так его, Джесмонд! Вот это панч! — закричали

сверху, когда Борн отпечатал красное пятно на груди чемпиона Англии.

Двадцатиколечная змея обвивалась теснее, дышала чаще, и Кембл видел: шевелилась и вытягивалась вперед Диди — и он сам вытягивался, захваченный кольцами змеи.

Судья с козырьком бровей прозвонил перерыв. Черный и голубой — оба вытянулись на стульях, каждый в своем углу. Широко раскрыв рты — как выброшенные рыбы, спешили за полминуты наглотать побольше воздуху. Секунданты суетились, кропили им языки водой, махали полотенцами.

Полминуты прошло. Снова схватились. Смис улучил секунду — и тяжелый кулак попал Борну в нос, снизу вверх. Борн спрятал лицо подмышку к Смису и закрутился вместе с ним — спасти лицо от ударов. Из носу у Борна шла кровь, окрашивала голубые панталоны Смиса, крутились и барахтались два голых тела. И все судорожней вытягивалась змея — впитать запах крови, кругом топали и ревели нечленораздельное.

— . . . Поцелуй его, Борн, в подмышку, очень вкусное местечко ! — выкрикнул пронзительный мальчишеский голос.

Диди — раскрасневшаяся, взбудораженная — дергала за рукав Кембла. Кембл оторвался от помоста и посмотрел на нее — с ноздрями, еще жадно расширенными, и квадратным, свирепо выдвинутым подбородком. Он был новый, и какой-то маленькой показалась себе Диди . . . И . . . что хотела спросить? — забыла . . .

— Да смотрите же! — крикнул О'Келли.

Кончалось. Качался от ударов Борн и медленно, медленно ноги его мякли, таяли, как воск — и он гулко рухнул.

Джесмонд был побит — Джесмонд вопил:

— Неверно! Он ударил, когда Борн уже падал . . .

— Долой Смиса! Неправильно, мы видели!

Смис стоял, закинув маленькую головку, и улыбался: ждал, пока затихнут.

— . . . И еще улыбается! Что за наглость такая! — Диди горела и дрожала. Повернулась к Кемблу, чем-то колюче-нежным ужалила его локоть. — Была бы я, как вы — сейчас же бы вот его пошла и побила . . .

Кембл на секунду посмотрел ей в глаза — и сбесившийся автомобиль вырвался и понес.

— Хорошо. Я иду, — он двинулся к трибуне.

Было это немыслимо, не должно было быть, Кембл сам не верил, но остановиться не мог: руль был испорчен, гудело, несло через что попало и... страшно или хорошо?

— Послушайте, не на самом же деле... Кембл, вы спятили? Держите же, держите его, О'Келли!

Но О'Келли только улыбался молча, как фарфоровый мопс Джонни.

Судья объявил, что мистер Смис любезно согласился на пять кругов с мистером Кембл из Джесмонда. На помосте появилось громадное, белое тулово Кембла — и Джесмонд восторженно заревел.

Мистер Кембл из Джесмонда был выше и тяжелее Смиса, и все-таки с первого же круга стало ясно, что выходка его была совершенно безумной. Все так же улыбаясь, Смис наносил ему удары в бока и в грудь — только ухало гулко где-то в куполе. Но стоял Кембл очень крепко, упористо расставив столбяные ноги и упрямо выдвинув подбородок.

— Послушайте, О'Келли, ведь он же его убьет, ведь это же ужасно... — не отрывала глаз и бледнела Диди, а О'Келли только молча улыбался знающей улыбкой.

На третьем круге, весь в красных пятнах и в крови, Кембл еще держался. В тишине чей-то восторженный голос сверху крикнул:

— Ну и морда — прямо чугунная!

В зале фыркнули. Диди негодующе оглянулась, но уже опять была тишина: начинался четвертый круг. На этом круге, в самом же начале, Кембл упал.

Диди вскочила, с широко-раскрытыми глазами. Судья поглядывал из-под седого козырька бровей и отсчитывал секунды:

— Раз, два, три, четыре...

На последней секунде — на девятой — Кембл упрямо встал. Получил еще удар — и все поплыло, поплыло, и последнее, что увидел: бледное лицо Диди.

— — —

Смутно помнил Кембл: куда-то его везли, Диди плакала, О'Келли смеялся. Потом чем-то поили, заснул —

и проснулся среди ночи. Светил месяц в окно, и ухмылялся в лицо Кемблу безобразный мопс Джонни.

Комната Диди. Ночью в комнате Диди... Бред? Потом медленно, сквозь туман, продумал:

«Правда, нельзя же было везти домой — таким...»

Язык был сухой, пить страшно хотелось.

— Диди! — робко позвал Кембл.

С диванчика поднялась фигура в черной пижаме:

— Ну, наконец-то вы! Кембл, милый, я так рада, я так боялась.. Вы меня можете простить? — Диди села на кровать, взяла руку Кембла в свои горячие маленькие руки. Пахло левкоями.

Кембл закрыл глаза. Кембла не было — была только одна рука, которую держала Диди: в этой руке на нескольких квадратных дюймах собралось все, что было Кемблом — и впитывало, впитывало, впитывало.

— Диди, я ведь пошел — потому что — потому что... — захватило горло вот тут — и тяжесть такая — не стронуть с места.

Диди нагнулась, серьезная, девочка-мать:

— Смешной! Я знаю же. Не надо говорить...

Ужалила Кембла двумя нежными остриями — быстро клюнула в губы — и уже все ушло, и только запах левкоя, как бывает в сухмень — едкий и сладостный.

Всю ночь фарфоровый мопс сторожил Кембла усмешкой и мешал ему думать. Кембл мучительно морщил лоб, рылся в голове. Там, в квадратных коробочках были разложены известные ему предметы, и в одной, заветной, вместе лежали: Бог, британская нация, адрес портного и будущая жена — миссис Кембл — похожая на портрет матери Кембла в молодости. Все это были именно предметы, непреложные, твердые. То, что было теперь — ни в одну коробочку не входило: следовательно...

Но руль был явно испорчен: Кембла несло и несло, через «следовательно» и через что попало...

Утром Кембл проснулся — Диди уже не было, но ею пахло, и лежала на стуле черная пижама, Кембл с трудом поднялся, натянул вчерашний свой смокинг. Долго смотрел на пижаму и крепился, потом встал на колени, оглянулся на дверь и погрузил лицо в черный шелк — в левкои.

Диди пришла свежая, задорная, с мокрыми растрепанными кудрями.

— Диди, я думал всю ночь, — Кембл твердо расставил ноги, — Диди, вы должны быть моей женой.

— Вы так думаете? Должна? — затряслась Диди от смеха. — Ну, что ж, если должна... Только вы, ради Бога, лежите, доктор велел вас держать в постели... Ради Бога... Вот так...

8. Голубые и розовые

Бокс был в субботу, а в понедельник имя Кембла уже красовалось в «Джесмондской Звезде».

«Необычайный случай
в Боксинг-Холле!»
Боксер-аристократ.

Эстрада, где мы еще на прошлой неделе видели негра Джонса, впервые была украшена появлением боксера из высоко-аристократической, хотя и обедневшей семьи...

Мистер Кембл (сын покойного Г. Д. Кембла) с удивительной стойкостью выносил железные удары Смиса, пока, наконец, на четвертом круге не пал жертвой своего опрометчивого выступления. Мистер Кембл был вынесен в бессознательном состоянии. Среди друзей мистера Кембла выделялась туалетом звезда Эмпайра Д***».

В этот день в Джесмонде жизнь била ключем. О погоде почти не говорили — властителем умов был Кембл, говорили только о скандале с Кемблом. Останавливались около дома старушки Тэйлор и заглядывали в окна Кемблов, как бы ожидая некоего знамения, но знамения не появлялось. Тогда заходили к лэди Кембл и с радостным видом выражали ей соболезнование.

— Ах, какой ужас, какой ужас! Но разве он так сильно пострадал, что нельзя было довезти к вам?

Черви миссис Кембл извивались.

— Бедная миссис Кембл! Вы даже лишены возможности навестить его! Ведь вы в т о т дом не пойдете, не правда ли?

— А потом — т а женщина! Дорогая миссис Кембл, мы понимаем...

Черви миссис Кембл вились и шипели на медленном огне. Голубые и розовые любовались; потом почему-то крутились около дома викария Дьюли — тонким нюхом чуяли что-то здесь; потом шли к т о м у дому и терпеливо смотрели в окно с опущенной занавеской, но занавеска не подымалась . . .

Впрочем, относительно дома викария Дьюли голубые и розовые ошибались: то, что там произошло — были сущие пустяки. За утренним завтраком миссис Дьюли читала газету и нечаянно опрокинула чашку кофе — ведь это со всяким может случиться. Главное, что скатерть была постлана только в субботу — и только в следующую субботу полагалась по расписанию новая. Немудрено, что викарий был в дурном расположении духа и писал комментарии к «Завету Спасения», а миссис сидела у окна и смотрела на красные трамваи. Затем она отправилась в т о т дом, спросила о чем-то хозяйку и немедленно пошла назад — быть может, получивши ответ что при мистере Кембле находится т а женщина или что мистеру Кемблу значительно лучше. Но это, конечно, только предположения — и единственно достоверно, что ровно в три четверти первого миссис Дьюли была дома и ровно в три четверти первого начался второй завтрак: ясно, все обстояло благополучно.

Все шло согласно расписанию, и вечером у викария состоялось обычное понедельничное собрание Корпорации Почетных Звонарей прихода Сэнт-Инох и редакции приходского журнала. Было несколько розовых и голубых; был неизменный Мак-Интош в сине-желто-зеленой юбочке; лэди Кембл не пришла.

Все сидели, как на иголках, у всех на языке был Кембл — Кембл. Но с викарием очень-то не поспоришь: перед ним лежало расписание вопросов, подлежащих обсуждению — семнадцать параграфов — и уж нет, ни одного не пропустит.

— Господа, прошу внимания: теперь, самый серьезный вопрос . . .

Это был вопрос о поднятии доходности «Журнала прихода Сэнт-Инох». Викарий только что приобрел для журнала серию «Парижских приключений Арсэна Люпена». Впоследствии — это, конечно, повысит тираж, но

пока нужно возместить расход, нужны объявления, объявления и объявления.

— Мистер Мак-Интош, мы ждем вашей помощи!

Мистер Мак-Интош торговал дамским бельем, у него были прекрасные связи. Он быстро дал три адреса и старательно выискивал еще.

— Ба! — вспомнил он. — А резиновые изделия Скрибса?

Викарий поднял брови: здесь было одно серьезное обстоятельство.

— Мистер Мак-Интош, помните: мы ручаемся за качество рекомендуемого. «Журнал прихода Сэнт-Инох» не может . . .

— О, за изделия Скрибса я ручаюсь . . . — горячо возразил Секретарь Корпорации Почетных Звонарей. — Я самолично . . .

Но викарий остановил его — легчайшим, порхающим движением руки, каким в проповедях изображал он восшествие праведной души к небу. Изделия Скрибса были приняты; викарий записывал соответствующие адреса . . .

Поздно, когда ее уже перестали ждать, пришла лэди Кембл. Как и всегда, голова была подтянута вверх невидимой уздой, и только лицо — еще мумийней, и еще острее вылезали кости — каркас сломанного ветром зонтика . . .

Как божьи птицы-голуби, слетевшиеся на зерна, розовые и голубые закрутились около лэди Кембл: ну что? ну как?

Черви лежали недвижные, вытянутые — и, наконец, с трудом дрогнули:

— Я только думаю: что сказал бы мой покойный муж, сэр Гарольд . . .

Она подняла глаза вверх — к обиталищу Бога и сэра Гарольда, из глаз выползли две разрешенные кодексом слезинки, немедля принятые на батистовый платок.

Две слезинки почтены были глубоким молчанием. В стороне от всех миссис Дьюли мяла и разглаживала голубоватый конверт. Молчали: что же тут придумаешь и чем поможешь?

И вдруг вынырнула футбольная голова Мак-Интоша: он был, как всегда незаменим.

— Господа, это тяжело — но мы должны просить викария пожертвовать собой. Всякий, кто слышал вдохновенную проповедь викария на воскресной службе, поймет, что только каменные сердца могли бы... Господа, мы должны просить викария, чтобы он пошел в т о т дом, и я уверен — мы уверены...

— Мы уверены! — подхватили розовые и голубые.

Прежде чем ответить, викарий сделал паузу и высморкался, что стояло у него в рубрике: искреннее волнение. Что же — он всегда готов на жертвы. Но уж если и это не поможет — тогда придется...

Миссис Дьюли мяла и разглаживала узкий конверт, озябло поводила плечами: вероятно, простудилась. В жаркую пору, знаете, это особенно легко.

Вокруг порхали, поклевывали розовые и голубые.

9. Хорошо-с

Диди встала позже, чем обычно — было уже за полдень, что-то напевала и расчесывала перед зеркалом непослушные мальчишеские кудри. На ней была любимая черная пижама: корсаж разрезан до пояса и слегка стянут переплетом шнура, и сквозь черный переплет — розовое. В этом костюме и с подрезанными волосами — девочко-мальчик — она была как средневековый паж: из-за таких строгие дамы легко забывали рыцарей и так охотно выкидывали веревочную лестницу с балкончика башни.

В соседнем номере тяжело ворочался Кембл: третий день освободилась комната рядом с Диди — и третий день он здесь жил — или нет: куда-то летел на взбесившемся автомобиле, летел через что попало — летел как во сне. Впрочем, скоро все это кончится. Вот только заработать еще фунтов тридцать, и тогда можно будет снять один из тысячи одинаковых домиков — и снова под ногами будет твердо.

— Миленький Джонни, — беседовала Диди с фарфоровым мопсом, — уж ты, пожалуйста, на меня не сердись, если я немножно выйду замуж. Ведь ты меня знаешь? Ну, так и молчи, и улыбайся, а теперь...

В № 72 стучали. Должно быть — Нанси из нового revue.

— Нанси? Войдите.

Дверь скрипнула, Диди вышла из-за ширмочки и увидела — викария Дьюли. Он вскинул вверх брови изумленными треугольниками, издал негодующий: ах! — и попятился к выходу в коридор.

— Я чрезвычайно извиняюсь — я думал, что уже раз больше двенадцати, когда уже все... — он взялся за ручку двери, но за ту же ручку схватилась и Диди.

— Нет, нет, пожалуйста, не стесняйтесь, ради Бога — садитесь. Это мой обыкновенный утренний костюм — и неправда ли, очень милый фасон? Я так много о вас слышала — я очень рада, что вы наконец...

Что ж, надо было собой жертвовать до конца: викарий сел, стараясь не глядеть на обычный утренний костюм.

Видите ли... Мисс? Гм... Диди... Я пришел по поручению одной несчастной матери. Вы, конечно, не знаете, что значит иметь дитя...

— О, мистер Дьюли, но у меня есть... Вот мой единственный Джонни, и я его страшно люблю... — Диди поднесла мопса к треугольно поднятым бровям викария Дьюли. — Не правда ли, какой милый? У-у, Джонни, улыбнись! Поцелуй мистера Дьюли, не бойся — не бóйся...

Холодными улыбающимися губами Джонни приложился к губам викария. И вследствие ли неожиданности — или вследствие прирожденной вежливости, но только викарий ответил на фарфоровый поцелуй Джонни.

— О, какой вы милый! — Диди была в восторге, но викарий держался совершенно другого мнения. Он негодующе вскочил:

— Я зайду к вам, миссис... миссис, когда вы будете не так весело настроены. Я вовсе не расположен...

— О, мистер Дьюли, к несчастью — я, кажется, всегда весело настроена.

— В таком случае...

Мистер Дьюли отправился в соседний номер — к Кемблу. Здесь почва была более благодарная. Кембл выслушал всю речь мистера Дьюли, усиленно морщил лоб и кивал: да, да. Впрочем, иначе и быть не могло: речь викария была строго логическая, и он увлекал за собой Кембла, как по рельсам, викарий торжествовал...

Но на последней станции неожиданно произошло крушение, Кембл соскочил со стула.

— Мистер Дьюли, прошу вас не выражаться так о . . . о Диди, которую я просил быть моей женой.

— Же-женой? — но тотчас же викарий оправился: — Но ведь вы же все время соглашались со мной, мистер Кембл?

— Да, соглашался, — мрачно кивнул Кембл.

— Так где же у вас логика, мистер Кембл?

— Логика? — Кембл сморщился, потер лоб — и вдруг, нагнув голову, как бык, пошел прямо на викария. — Да, женой! Я сказал — моей женой . . . Да! И простите — я . . . я хочу остаться один, да!

— Ах, так? Хо-ро-шо-с! — викарий вышел с высокоподнятыми бровями, согласно рубрике: холодное негодование.

10. Электрический утюг

Был уже июнь. Деревья в парках, к сожалению, потеряли свой приличный, подстриженный вид: цвели олеандры, вылезали изо всех сил, как попало, в абсолютном беспорядке. По ночам заливалось птичьё, совершеннно не считаясь с тем, что в десять часов порядочные люди отходили ко сну. Порядочные люди сердито хлопали окнами и высовывались в белых колпаках.

Впрочем, надо сознаться, анархический элемент был даже и в Джесмонде, и этот элемент — происходившее одобрял всецело. Умудрялись избегнуть бдительного взора парковых сторожей и после десяти оставались в кустах слушать пение птиц. Кусты интенсивно жили всю ночь, шевелились, шептались, а месяц всю ночь разгуливал над парком с моноклем в глазу и поглядывал вниз с добродушной иронией фарфорового мопса.

Все это производило какую-то странную болезнь: и кусты, и жара, и месяц, и олеандры — все вместе. Диди капризничала и хотела неизвестно чего, и Кембл терялся.

— Жарко. Я не могу . . . — Диди расстегивала еще одну пуговицу блузы, и перед Кемблом мерно колыхались волны: белые — батиста, и еще одни — розовые, и еще одни, шумные и красные — в голове Кембла.

Кембл старался занять Диди чем-нибудь интересным:

— ... Знаете, Диди, на Кинг-Стрит в окне я вчера видел электрический утюг. Такая прелесть, и всего десять шиллингов. Я думаю, нам уже можно бы начать обзаведение.

Но Диди даже и на это отзывалась очень вяло. Нет, она, кажется, больна.

Спускала шторы. Ложилась в кровать.

— Посмотрите, Кембл: у меня жар. Ну вот тут — ведь правда? Нет, глубже — сюда ... — клала руку Кембла.

И опять весь Кембл собирался на нескольких квадратных дюймах руки и слышал, издали откуда-то: мерными толчками колыхалась кровь и рвалась наружу, минута еще ...

Но у Кембла, слава Богу, руль опять в руках, и он твердо правит к маленькому домику с электрическим утюгом. Кембл вытаскивал руку.

— Да, кажется, жар. Это — ничего, просто — погода ...

На камине — мопс Джонни и в окне — месяц с моноклем улыбались одинаковой улыбкой. Кембл сердито вставал и повертывал Джонни носом к стене.

— Нет, уж пожалуйста — уж пожалуйста ... Лучше дайте его мне, — протягивала руки Диди.

Нырял месяц в легких батистовых облачках, тускнел и сейчас же опять усмехался, и в ответ — мерцало и менялось каждую секунду лицо Диди, сцеплялись и опять расцеплялись брови, думала, думала ... А о чем теперь думать? Все квадратно-твердо впереди: и маленький домик, и сияющий белизною порог, и ваза для воскресных гвоздик — зеленая или голубая.

— Джонни, миленький мой Джонни, — обнимала Диди фарфорового мопса. — Поцелуй меня, Джонни. Так ... еще. Еще! Еще!

Целовала мопса, и он становился все теплей, оживал. Душила его своими духами — сухим от бездождья, сладостно-едким левкоем. Топила насмешливую морду Джонни в белых и розовых волнах и называла его странными именами.

А Кембл сидел молча, упрямо выставлял месяцу каменный подбородок — и так был похож на портрет покойного сэра Гарольда.

О'Келли теперь редко заходил, но если заходил — то все такой же: заспанный, расстегнутый, злой и веселый. Кембл серьезно ему рассказывал:

— Двадцать фунтов уже есть. Еще тридцать — и на пятьдесят уж будет можно купить всю мебель . . .

— А без мебели — никак нельзя? — ухмылялся О'Келли.

— О, да, конечно — нельзя, — невозмутимо-серьезно отвечал Кембл. — И вовсе нечего смеяться: что тут смешного? Все совершенно логично.

— Ну, голубчик Кембл, на логике надо ездить умеючи, а то, чего доброго, разнесет.

И Бог знает к чему — рассказывал О'Келли про свою тетю Иву: на старости лет поперхнулась умом и стала питья бояться — как бы не выпить какую бациллу. Бациллу не выпила — а от непитья померла очень скоро.

Понемногу начала прислушиваться Диди, медленно расцеплялись брови, медленно просыпался смешливый паж. Вот подошел О'Келли к камину, взял мопса Джонни.

— Ну до чего он на меня похож, а? На него глядя — я мог бы без зеркала бриться . . .

Брови совсем расцепились — Диди хохотала.

— Это — просто гениально, если вы сами придумали. Ну, сознайтесь, сами — или нет? Ну — сознавайтесь? — трясла О'Келли, беспомощно болталась его голова, из кармана сыпались свертки.

— Ага, фисташки? Ага, устрицы? А шампанское есть?

Ну, как же не быть? И на зеленом ковре начинался веселый пикник. О'Келли глотал устриц и закусывал англичанами. Ох, уж эти англичане!

— . . . Праведны как . . . как устрицы, и серьезны — как непромокаемые сапоги. Боже ты мой — англичане! Я бы всех их — лимонным соком — вот этак, вот этак . . . Ага, закопошились?

Потихоньку открывалась дверь — и появлялась Нанси. Она была наполовину ирландка, и поэтому О'Келли приветствовал ее особенно сердечно. А кроме того, она . . .

Нанси была в одной нежно-розовой рубашке и с мохнатой простыней в руках. С невиннейшим видом она обходила все комнаты и предупреждала:

— Пожалуйста, не выходите в коридор — я иду брать ванну . . .

Это было великолепно, смеялся даже Кембл. А он смеялся по-особенному: уже все перестали, и только он один вспомнит и опять зальется — раскатился тяжелый грузовик — не остановить никак.

Завернувшись в простыню, Нанси милостиво соглашалась до своей ванны принять участие в пикнике. Пенился и переливался через край О'Келли. Трясла Диди подстриженными кудряшками — проказливый девочко-мальчик, вытягивала губы, представляла, как викарий Дьюли поцеловал мопса.

И опять — все уже забыли, замолкли, а Кембл — вспомнит и засмеется. И уже один в своей комнате, все разошлись — а он опять вспомнит и засмеется.

Все тихо. Душная ночь, нечем дышать, накрыла с головой — как стеганным одеялом. Нет, не уснуть . . .

Диди брала с комода холодного мопса. Целовала его, пока он не становился теплым, живым. А Кемблу снился электрический утюг: громадный, сверкающий, ползет и приглаживает все, и не остается ничего — ни домов, ни деревьев, только что-то плоское и гладкое — как зеркало.

Любовался Кембл и думал:

«И только ведь десять шиллингов! . . .»

11. Слишком жарко

Викарий Дьюли не упускал случая внедрить в сознание Джесмонда свой «Завет». В субботу он выступал на митинге Армии Спасения. Если государство еще коснеет в упрямстве и пренебрегает своими обязанностями, то мы, мы — каждый из нас — должны гнать ближних по стезе спасения, гнать — скорпионами, гнать — как рабов. Пусть будут лучше рабами Господа, чем свободными сынами сатаны . . .

Речь была потрясающая, и джесмондская секция Армии Спасения решила взяться за дело немедленно, завтра же.

Это было воскресенье — сияющее, солнечное, жаркое. В половине девятого утра Армия Спасения тронулась из штаб-квартиры. Со знаменами, гимнами, барабанным боем, мерным военным шагом двести воинов Армии Спа-

сения прошли по городу. И у каждой двери длинная, строгая женщина-офицер, в синей лопоухой шляпе, останавливалась и колотила молотком:

— Господин Христос призывает вас в церковь!

— Гелло! Господин Христос призывает вас... Гелло, гелло! — колотила до тех пор, пока внутри не просыпались, не начинали выглядывать изумленные лица.

Церковь Сэнт-Инох сегодня была полна. Викарий вернулся домой счастливо-утомленный. За ним почтительно следовал Секретарь корпорации Почетных Звонарей Мак-Интош, восхищенно покачивая головой: какое красноречие, какая неистощимая энергия!

— Итак, дорогой Мак-Интош, сегодня — ваша очередь, — прощался с ним викарий. — Пусть это — тяжелая обязанность, но это — обязанность.

Мистер Мак-Интош отправился гулять. Он выбрал для прогулки не очень живописное место: ту улицу, где помещались меблированные комнаты миссис Аунти. По-видимому, иногда ему приходили в голову странные фантазии.

А викарий, позавтракав, уселся в кресло. Было очень жарко. Сквозь верхние граненые стекла в столовую сыпались десятки маленьких отраженных солнц. Викарий любовался: удобные портативные и неяркие солнца. Сидя задремал: это входило в воскресное расписание. Лицо и во сне хранило выражение изысканно-вежливое; все было готово, чтобы в любой момент открыть глаза и сказать: прекрасная погода, не правда ли?

— — —

Армия Спасения не пощадила, конечно, и артистических меблированных комнат миссис Аунти, переполошила обитателей ни свет ни заря. Обитатели не выспались, громче чем нужно хлопали дверью, и громче чем нужно плескались в ванной.

Диди вышла к завтраку со сжатыми бровями. За завтраком с некоторым изумлением, как будто видя в первый раз — внимательно оглядела Кембла, хотя он был такой же, как всегда: громадный, непреложный, прочный.

Чтобы поскорее добрать нехватающие тридцать фунтов, Кембл брал теперь частную работу на дом. Тотчас

же после кофе он отстегнул манжеты и отправился в свою комнату заниматься.

Сдвинувши брови, Диди сидела рядом и гладила мопса. Солнце поднялось и назойливо стучало в окно. Кембл встал и задернул шторы.

— А я хочу солнца, — вскочила Диди.

— Но, дорогая, ведь вы знаете, я работаю для того, чтобы мы могли скорее начать покупку мебели — и затем...

Диди вдруг засмеялась, не дослушав, и ушла к себе. Поставила мопса на камин, посмотрела в очаровательно-безобразную морду.

— Как ты думаешь, Джонни?

Джонни явно думал то же самое. Диди стала поспешно прикалывать шляпу...

А через десять минут — взволнованный блестящим успехом своей прогулки Мак-Интош стоял перед миссис Дьюли:

— Нам надо поехать в Санди-Бай, — таинственно подчеркивал он «надо».

Пенснэ миссис Дьюли на секунду вспыхнуло нехрустально:

— Вы — вы уверены?

Мистер Мак-Интош только обиженно пожал плечами и взглянул на часы:

— Нам до поезда семь минут.

Второпях миссис Дьюли задела рукавом пенснэ, пенснэ упало. Миссис Дьюли прочнее укрепила пенснэ и снова стала миссис Дьюли. Теперь можно ехать.

...Не было спасения от солнца и в Санди-Бай: слепило, кипятило кровь, кипел и бился пеннобелый прибой.

О'Келли и Диди лежали на горячем песке. Вероятно, от солнца — у Диди в висках стучало, и, вероятно, от солнца — О'Келли с трудом подыскивал слова.

— Слишком жарко. Давайте купаться, — встала Диди.

Бледножелтый от зноя песок. Яшмово-зеленые, с белокипенной оторочкой, шипучие волны. Прыгающие на волнах головы в оранжевых, розовых, фиолетовых чепцах. Приглушенные волнами солнце и смех.

Вода освежала, не хотелось выходить из воды. Диди говорила себе:

«Нет, только выкупаемся — и сейчас же вернемся домой . . .»

Но волны уносили все дальше. Набегали, подхватывали, крутили, и так хорошо не бороться, не думать, покоряться . . .

Над водой видна была только голова О'Келли — безобразная, усмехающаяся голова мопса. Выкрикивал что-то плохо слышное в шуме волн:

— . . . всю ночь . . . хорошо?

Диди — слышала она или нет? — кивала головой . . .

Когда после купанья вошли в кафе пообедать — О'Келли за одним из столиков увидал миссис Дьюли и с ней футбольную, глубокомысленную голову Мак-Интоша. О'Келли подбежал к ним:

— Вы? Какими судьбами вы — здесь? Я так рад, миссис Дьюли, что вы объизвестились еще не совсем . . .

— Объизвестилась?

— Да, я только что, вот, рассказывал . . . своей даме. Через несколько лет любопытный путешественник найдет в Англии объизвестленных неподвижных людей, известняк в форме деревьев, собак, облаков . . . Если не случится до тех пор землетрясения, или чего-нибудь такого . . .

Пенснэ миссис Дьюли холодно блестело. Она с усмешкой поглядывала на какой-то странный сверточек с ручкой: сверточком О'Келли оживленно размахивал.

— Это и есть, мистер О'Келли, ваш знаменитый надувной чемодан?

О'Келли немного смутился — на четверть секунды.

— О, вы знаете: хороший охотник без ружья не выйдет. Просто по привычке . . . Так вы в пять часов? Я надеюсь, в поезде встретимся, если не опоздаю.

— Буду очень рада, — стекла миссис Дьюли сверкали.

Неаккуратность О'Келли хорошо известна: к пятичасовому О'Келли, конечно, опоздал.

12. Рождение Кембла

Сразу спала жара, стоял молочный, мокрый туман. Особенно слышно было ночью: о подоконник чмокали неумолчно отчетливые капли, как часы, отбивали кем-то положенный срок.

И когда этот срок настал — а случилось это как раз в день рождения Кембла — было получено письмо в узком, холодновато-голубом конверте. Письмо было без подписи.

«Милостивый Государь, будучи Вашими друзьями, мы не можем не осведомить Вас, что известные Вам мистер К. и миссис Д. дурно пользуются Вашим доверием, в чем Вы будете иметь случай достоверно убедиться».

Голубоватый узкий конвертик был чем-то знакомый, и подумавши — Кембл вспомнил. Все это было очень просто и ясно: чистейшая выдумка, Кэмбл уверен был непреложно.

И все-таки — шел в контору и было как-то нехорошо: будто выпил чашку чаю и увидел на дне муху, муху выкинул, но все-таки... А может быть — это просто от тумана: душный, как вата, и закутанные странно звучат шаги — как будто кто-то неотступно идет сзади.

В конторе О'Келли встретил Кембла шумно и радостно — был еще шумней и пестрей, чем всегда. Оказалось, О'Келли не забыл, что сегодня — день не простой, а день рождения Кембла, и готовил Кемблу какой-то подарок, а какой — обнаружится вечером. И затем Сэсили — с улыбкой пасхального барашка, поднесла Кемблу букет белых лилий. Кембл прямо растрогался.

А когда вернулся домой, его ждал еще один подарок: Диди сама — сама! — предложила пойти по магазинам и начать те покупки. И кемблова муха без следа исчезла.

— Утюг... — засиял Кембл. — Нет, сначала утюг, а уже потом...

— Утюг — тяжелый, надо под конец, чтобы не таскать его все время, — резонно возражала Диди.

Но Кембл настоял на своем, купили утюг, и Кембл радостно его таскал, и вовсе не было тяжело: легонький, как перышко, честное слово.

Зажигались огни, густел туман. Это был день рождения Кембла — настоящего рождения, начиналась новая жизнь. И новый был Джесмонд в тумане — невиданный, незнакомый город. Необычно и весело звучали шаги — будто кто-то неотвязно ступал, сторожил сзади.

И еще непременно хотел Кембл купить белья для Диди. Диди отнекивалась, но Кембл и слышать не хотел: нынче — день его рождения.

— Для вашей жены?

— Нет... То есть... — Кембл смущенно улыбался приказчику.

Прозрачные, шелковые — тело через них должно нежно розоветь — сорочки и панталоны. Было радостно-стыдно перевертывать и разглядывать все это вместе с нею, с Диди. С каждой купленной вещью Диди все больше становилась его женой.

Уши у Кембла горели, и он заметил: Диди прятала лицо. Кембл засмеялся.

— Ну же, Диди, будьте же храброй: посмотрите на меня... — хотелось видеть и у ней тот же сладкий стыд. Но Диди лица так и не показала.

Вечером заявился О'Келли с массой свертков и в сопровождении мисс Сэсили.

— ... Чтобы было как в ноевом ковчеге, — объяснил О'Келли. Повернулся к камину — и всплеснул руками: на камине, рядом с мопсом Джонни — красовался сверкающий утюг. — Рядом с Джонни? — с укором посмотрел он на Диди.

Потом обернулся к Кемблу:

— Итак решено: «я твой навеки» — неправда ли, Кембл? Что касается меня, то я просто глуп: никогда не мог понять, как можно одну и ту же любить каждый день — как можно одну и ту же книгу читать каждый день? В конце концов — это должно сделать малограмотным...

На Диди шампанское сегодня действовало странно: она сидела у стола, вытаскивала из блок-нота листки почтовой бумаги и с наслаждением разрывала их на мелкие кусочки. Сэсили — та раскраснелась от вина и боролась с О'Келли из-за четвертой пуговицы: три пуговицы на блузке она позволила расстегнуть, но четвертую...

— Нет, это неприлично, — с серьезной и невинной физиономией пасхального барашка отвечала Сэсили.

— Но отчего же именно четвертую неприлично? — хохотал О'Келли. — Отчего же три было можно?

Диди все еще рвала бумагу. О'Келли отобрал у ней блок-нот и попросил тишины. Главное, на что он хотел бы обратить внимание слушателей — была почтовая бумага с линейками. На иной бумаге — в Джесмонде писем не пишут, и это очень хорошо, так как линейки — те же самые рельсы, а мысль в Джесмонде должна двигаться

именно по рельсам и согласно строжайшему расписанию. Мудрость жизни — в цифрах, а потому он приветствует трехпуговичную мораль обожаемой Сэсили. И так как он, О'Келли, и никто другой, был Змием, соблазнившим Кембла сойти с рельс прихода Сэнт-Инох, то...

О'Келли вытащил чек на пятьдесят фунтов и протянул Кемблу:

— ...Чтобы вы могли завтра же купить все свои остальные утюги...

И так как Кембл колебался, О'Келли добавил:

— Разумеется, взаймы. И я требую, чтобы вы сегодня же — сейчас же — написали мне вексель. Ну?

Это было головокружительно хорошо: значит — хоть завтра же... Руки у Кембла дрожали, и голос дрожал:

— Я не умею говорить как вы, О'Келли... Но вы понимаете... Вы мой единственный друг, который — единственный...

И теперь — это было совершенно нелепо — Диди захохотала — и все выше и громче — сорвалась — и сквозь слезы:

— Не смейте брать, Кембл! Не смейте брать у него деньги! Не смейте, я не хочу, не хочу!

Впрочем, скоро она успокоилась и затихла. Вероятно, это был просто каприз: никаких резонов — почему не хотела — Диди сказать не могла.

— Вот видите: ваше шампанское, — укоризненно-ласково сказал Кембл мистеру О'Келли, О'Келли уходил с пасхально-барашковой Сэсили под руку.

День рождения Кембла кончился — и завтра начнется новая жизнь: завтра искать маленький домик.

13. Туманные приключения

Диди опять обещалась зайти к мистеру О'Келли после театра, и О'Келли бегал по цветочным магазинам, разыскивая Easter lilies: Диди их так любила. Странный, фарфорово-белый цветок, из одного громадного, небрежно-свернутого лепестка, и высунуто жало-тычинка с сухим, сладким, ленивым запахом. В асимметрии цветка и в противоречии фарфоровой белизны и запаха — было что-то раздражающее, как в о'келлиевской манере гово-

рить. Словом — Easter lilies нравились Диди, и надо было их во что бы то ни стало достать. Сезон их уже проходил. И только на Кингс-стрит О'Келли посчастливилось найти последние, уже слегка увядающие, из пожелтевшего старого фарфора.

Со свертком под мышкой, насвистывая, выбежал О'Келли из магазина. Мысли весело пенились шампанским, и из искристой пены, как Венера, выходила Диди в черной пижаме.

«Впрочем нынешняя Венера такой и должна быть: в пижаме. Нагота — слишком уж добродетельна...» — насвистывая, размышлял О'Келли.

— Добрый вечер, дорогой мистер О'Келли! Не правда ли, прекрасная погода?

О'Келли споткнулся: перед ним сияли золотые зубы викария Дьюли.

— Вы, вероятно, к себе — в контору? — чуть приметно улыбнулся Дьюли.

— То есть... почему в контору? — О'Келли немного смутился: никто не знал о том, что делалось по вечерам в конторе, и это было очень странно, что Дьюли... — Я не настолько ослино трудолюбив, чтобы работать еще и по вечерам... — непринужденно засмеялся О'Келли.

— А-а, так-так. Так значит... — Дьюли поднял тарелкообразную, пасторскую шляпу. И О'Келли снова весело покатился, придерживая под мышкой сверток с цветами.

Когда О'Келли свернул на Гай-стрит, уже темнело. В бесчисленных ущельях узких переулков между старыми домами — зажигались, покачивались фонари. С реки плыл туман, все теряло свой ежедневный облик, и легче было жить — легче было обмануться. В кузнице лязгало железо, фонари красновато дымились — и можно было поверить, что внизу, у реки, собираются около костра латники Оливера Кромвеля. И что эта черная фигура — прекрасный и несчастный Риччио, пробирающийся к Марии Стюарт... О'Келли задумался, стоял, засунув руки в карманы.

Но Риччио обернулся — и О'Келли показалось: на нем плоская священническая шляпа. Что за странная встреча — или это все туман? О'Келли прильнул к витрине антикварного магазина и усиленно стал рассма-

тривать позеленелый медный дверной молоток — уродливую собаче-человеческую голову. Потом осторожно перебежал на другую сторону и пошел следом за Риччио.

Да, это он: досчатая фигура, аккуратно сложенные позади руки — и пальцы, что то отсчитывающие. Это был Дьюли, и переулок Сапожника Джона — пожалуй, довольно странное место для прогулок господина викария . . .

О'Келли нырнул в ближайший из проходов, сбежал к реке — по темному ущелью между высоких стен, и потом закоулками выбрался опять на Кингс-стрит.

Когда, прокружившись по улицам с час, О'Келли снова очутился против переулка Сапожника Джона — туман уже осел, и было ясно видно: нет никого. Через боковую, окованную железом дверь О'Келли вошел в дом.

При конторе О'Келли была маленькая сводчатая комнатка, окном в переулок, окно старое, узкое — бойница с решеткой. Теперь эту комнатку не узнать было: старые, выцветшие гобелены по стенам, два железных узорчатокованных фонаря — от антиквара напротив; очень низенький — на четверть от полу — турецкий диван во всю стену. И переливающиеся, неуловимые огоньки в камине, и Диди у огня — в своей черной пижаме, такая уютная.

Так вот лежать — прикованной к золотой игре огня, прихлебывать золотое, колючее вино и слушать — не слушать колючие слова О'Келли.

— . . . Девочка моя, я именно этого и хочу, чтобы поселившись с утюгами и Кемблом — вы стали несчастны. Счастье — одно из наиболее жирообразующих обстоятельств, а вам идет быть именно такою, тоненьким, стриженным девочко-мальчиком . . .

Рука О'Келли касалась так нежно, и откуда-то издали, устало видела Диди причудливо-противоречивые Easter lilies и слышала свой голос:

— Но это так жестоко — обманывать Кембла. Он — большое дитя.

— Жестоко? — засмеялся О'Келли. — Жестоко — детям говорить правду. Если что меня убеждает в милосердии Божием — так это именно дарованная Богом ложь, именно то, что . . .

О'Келли не кончил: показалось — скрежетал замок в боковой двери, в переулке Сапожника Джона, а потом

чьи-то шаги по каменной лестнице. Впрочем, О'Келли хорошо помнил, что дверь он запер на ключ: просто в старом доме бродила тень Сапожника Джона.

— ...Я не удивлюсь, если добрый Джон заявится сюда... — потянулся О'Келли. — Сегодня от тумана все так фантастично...

— — —

Диди ушла в театр и сказала Кемблу, что из театра ей надо кой-куда зайти. Кембл сидел один, не зажигая огня. За окном чокали капли, отчетливо и правильно, как часы. Когда совсем смерклось — пришла старушка Тэйлор и принесла письмо от лэди Кембл: лэди Кембл просила сына непременно прийти сегодня вечером. Явно, это было, наконец, давно жданное примирение. Все складывалось как нельзя лучше. Кембл мигом оделся и пошел.

Очевидно — ратификацию мирного договора лэди Кембл хотела обставить очень торжественно: столовая была ярко освещена, и вокруг стола Кембл увидел миссис Дьюли, потиравшего руки викария и футбольноголового Мак-Интоша. Кембл радостно подошел к лэди Кембл, но невидимая узда вздернула ее голову еще выше, она сделала величественный жест рукой — и сурово показала Кемблу на стул:

— Садитесь... — помолчала и подняла глаза к портрету сэра Гарольда в парике и мантии. — Боже мой, что сказал бы ваш покойный отец, сэр Гарольд...

Больше она говорить не могла: за нее говорил викарий — и кому же, как не ему, сказать все, как надо?

— Дорогой мистер Кембл! Мы пригласили вас сюда — потому что мы любим вас, ибо Христос заповедал любить и грешников. Мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам для того, чтобы вернуть вас на правильный путь. И вы последуете сейчас за мной и мистером Мак-Интош... — и заметив, что Кембл хочет возражать, викарий добавил: — хотя бы ради вашей матери — взгляните на нее.

Лэди Кембл молитвенно смотрела на портрет покойного сэра Гарольда, из глаз ее показались две скудные слезы — это было наибольшее, что она могла себе позволить, не нарушая приличий. Рядом сидела и дрожала в лихорадке миссис Дьюли, не поднимая глаз.

Кембл спокойно сказал:

— Хорошо, пойдемте... — все это была, конечно, такая же гнусная проделка, как письмо в голубом конвертике, и раз навсегда надо было с этим покончить.

Улицы были пустые. Ветер опять дул с реки, нагонял туман, окутывал крыши — и стены уходили вверх, в самое небо. Шли молча в ущелье из стен. Понемногу Кембл понял, что идут к конторе О'Келли. Ущелье все сдвигалось и давило, и ничего во всем мире не было, кроме стен до самого неба, и никуда нельзя было вырваться из стен: все идти, идти между стен — как во сне. И как во сне, не зная знал Кембл, что ждет в конце пути.

В переулке Сапожника Джона, у окованной двери остановились. Наверху сквозь узенькую бойницу светил огонь.

— Ну-с? — торжествующе потирая руки, взглянул викарий на Кембла.

Как слепой ткнулся Кембл в окованную дверь.

— Заперто... — беспомощно обернулся он. Упрямый квадратный подбородок прыгал.

— О, не беспокойтесь, мы припасли ключ... — выскочила из тумана футбольная голова. Ключ был громадный, неуклюжий. — Вот французские ключи — это, действительно, культура, французского не подобрать... — добавил Мак-Интош.

Слышно было, как Кембл сделал по каменной лестнице два шага — и остановился. Секунду было тихо. Потом шаги загромыхали по лестнице, сливаясь в гул: Кембл бежал вверх. Потом хлопнула верхняя дверь, секунда тишины — и Кембл уже громыхал обратно, не разбирая дороги, с грохотом промчался мимо викария куда-то вниз, как огромный взбесившийся грузовик без руля.

14. Перо системы Уотермана

Утром Кембл, как всегда, тщательно выбрился и надел чистый воротничок. В зеркале с удивлением заметил, что он совершенно такой же, как всегда, разве только маленькие слоновые глазки стали побольше: за ночь под глазами легла темная тень.

В столовой Кембл взял газету и механически стал проглядывать объявления о сдающихся в наем домах — как это делал последние дни. Поймал себя на этом, усмехнулся, отложил газету. Выпил, как обыкновенно, две чашки кофе. Мазал хлеб маслом, но почему-то не ел, а складывал аккуратно на тарелке. И только когда заметил перед собой целую горку хлеба — сконфузился и ушел.

Было уже время идти в контору, но Кембл вернулся обратно в спальню. Заперся на ключ: еще раз все передумать и решить все с самого начала. Но в голове все колеса были мертвые и не двигались, и вместо мыслей было одно и то же: до боли ясный розово-черный переплет на груди у н е е — и смешные, кривые и тоненькие ноги у н е г о.

Когда прозвонили к завтраку, Кембл очнулся и понял: думать было совершенно нечего и незачем. Все уже решено кем-то, он шел теперь между высоких — до неба — каменных стен, и никуда нельзя свернуть, идти только вперед, до конца.

Кембл открыл ящик стола и вытащил старый, оставшийся от отца, револьвер с игольчатыми патронами. Потом написал на имя лэди Кембл чек на тридцать фунтов, которые у него лежали еще в банке, порвал полученный от О'Келли чек на пятьдесят фунтов — и тут увидел: ручка, которою он писал, была ручка О'Келли — очевидно, О'Келли оставил ее тут в день рождения Кембла. Это была обыкновенная чернильная ручка системы Уотермана — "Waterman's-Fountain Pen" — и теперь ее, конечно, надо было вернуть О'Келли.

Кембл мучительно наморщил лоб: все остальное было определенно и просто, а это было страшно трудно — с ручкой Уотермана. Надо было отдать и что-то сказать при этом, и все это очень осложняло положение. Кембл сунул ручку в тот же карман пиджака, где лежал револьвер, и всю дорогу думал о ручке: как бы это в самом деле . . .

И так, с озабоченным и наморщенным видом, вошел в кабинет О'Келли.

О'Келли сидел у себя в кабинете с бумагами так же как вчера, и все-таки было в нем что-то совершенно новое. Через секунду, приглядевшись, Кембл увидел: О'Келли — не улыбался. Это было так же невероятно,

как если бы вдруг перестал улыбаться фарфоровый мопс Джонни. Это был не О'Келли . . .

Растерянно Кембл опустил руку в карман, вытащил перо Уотермана и положил на стол:

— Вот . . . ваша ручка . . . вы ее забыли, я должен отдать . . .

О'Келли изумленно распялил глаза и переводил их с ручки Уотермана на растерянного Кембла и с Кембла на ручку. Потом стал красным, с минуту наливался смехом — и лопнул:

— Боже ты мой . . . перо Уотермана! Кембл, вы — вы — неподражаемы . . .

Теперь это был т о т с а м ы й, это был О'Келли. Кембл, не колеблясь, вытащил револьвер и выстрелил куда-то три раза. О'Келли медленно клонился вперед, пока не уткнулся лицом в бумаги.

Кембл не слыхал ни крика О'Келли, ни крика четырех его жен. Надел шляпу, вышел на улицу и почувствовал: страшно устал, никогда в жизни не уставал так. Подошел на Гай-стрит к мирно дремавшему бобби:

— Я убил мистера О'Келли, адвоката. Пожалуйста, поскорей отведите меня куда надо: я очень устал.

Полицейский разинул рот, и всем своим существом и округлившимися глазами так явно подумал: «сумасшедший», что Кембл добавил:

— Ну, подите и спросите в конторе, а я подожду. Только, пожалуйста, поскорей.

Через минуту полицейский и Кембл шли вместе вниз, по переулку Сапожника Джона. Шли молча между гладких, до неба поднимавшихся стен, и сквозь туман вспоминалось Кемблу: так — без конца — он уже шел когда-то между двух гладких, нескончаемых стен . . .

15. Серо-белая чешуя

Осенний ветер бесился, свистел, сек. С моря наседала огромная серая птица, закрыла крылами полнеба, нагибалась все ближе, неумолимая, немая, медленная, и все больше темнело. Но толпа не расходилась: прошел слух, что убийцу могут помиловать. В самом деле, глядишь, имя и заслуги его отца, покойного сэра Гарольда — еще не были забыты, и очень легко могло статься, что . . .

— Долой сэров! — каркал кто-то упрямо и хрипло. — Небось этого солдата в прошлом году живо вздернули... Долой сэров!

Фонарь у входа в тюрьму дергался и качался, и белые стены пошатывались, готовые рухнуть. Правосудие было в опасности...

Из толпы вынырнула футбольная голова мистера Мак-Интоша. Он был взволнован, его голос дрожал.

— Господа, правосудие и культура нераздельны. Мы должны стать на защиту культуры. Господа, можно ли себе представить что-нибудь более дикое, чем обдуманное и рассчитанное убийство? И поэтому, к сожалению... Да, да, говорю: к сожалению — мы должны требовать казни...

— Долой сэров!

Ветер свистел. От фонаря легла длинная светлая полоса, и в этой полосе пестрой чешуей переливались лица, котелки, воротнички — медленным, бесконечным движением ползущей змеи. Слов уже было не разобрать: змея переливалась и сердито урчала.

Откуда-то, как выпущенная из клетки, пронеслась стая мальчишек — все босые и все в белых воротничках.

— «Джесмондская Звезда»! Экстренное прибавление! Помилование убийцы адвоката О'Келли!

— Как? Уже? Помиловали? — вцепились в белые листки.

Но речь шла только о возможном помиловании, и только прибавлялось, что, принимая во внимание заслуги покойного сэра Гарольда, это было бы более чем...

— Долой сэров!

— Господа, правосудие...

— Долой «Джесмондскую Звезду»!

Серо-белая чешуя быстрее переливалась под фонарем, змея зашуршала по асфальту, поползла к редакции «Джесмондской Звезды» и двадцатью кольцами развернулась перед темными окнами. В редакции никого не было.

Звякнул камень в стекло, брызнули и задребезжали осколки. Но окна были такие же пустые и темные. И темная, немая птица сверху нагнулась совсем близко.

Пора было идти по домам: в постелях уже нетерпе-

ливо ждали голубые и розовые жены. Ждали, чтобы, зажмурившись от страха и любопытства, спросить:

— Неужели — помилуют? Неужели . . .

И потом вздрогнуть и прижаться пылко: как хорошо жить . . .

— — —

К ночи ветер неожиданно стих. И стало тихо и чёрно — как будто куда-то провалился весь мир. Бывает так, что крутится весь день потерянный человек, вздрагивает от звонков и смеется таким смехом, от которого страшно, а глаза западают все глубже, и только об одном мысль: ткнуться головой в подушку, провалиться в черное — уснуть. И вот такая была ночь: головой в черную подушку ткнулся день, провалился — ни света, ни звука.

К ночи миссис Дьюли стало как будто легче. Весь день было очень нехорошо: опять пропало пенснэ — и весь день она бродила как слепая, спотыкалась и натыкалась на людей. И все как будто бегала за какими-то покупками, а придет в магазин — и покупать ничего не надо, и вовсе не то, а главное — все равно: зачем теперь покупать?

Обед был в шесть с четвертью — вместо шести, и викарий острыми треугольниками поднимал вверх брови:

— Дорогая моя, ведь это так просто: иметь запасное пенснэ. И тогда у вас не было бы этого . . . этого странного вида. И был бы порядок, а вы знаете . . .

— Хорошо, я куплю завтра . . . — миссис Дьюли вздрогнула и поправилась. — Послезавтра . . .

Потому что завтра . . . Кто же в мире будет что-нибудь покупать завтра — в тот день, когда там, в тюрьме, Кембла выведут во двор, поставят . . .

В спальне было темно, не надо было смотреть — может быть, оттого миссис Дьюли стало легче, и она неожиданно уснула.

Вероятно, спала только несколько минут. Проснулась, открыла глаза — и увидела белый фланелевый колпак викария: викарий сложивши, согласно предписанию «Завета», руки на груди, мирно похрапывал. Все было чёрно и тихо, провалился весь мир. Вопить и кричать — никто

не услышит и ничего не сделает: весь мир мирно спал, похрапывая, во фланелевом колпаке...

Неизвестно, сколько времени спал викарий, но только проснулся от воплей миссис Дьюли. Тотчас понял: «Страшный сон — скорее будить»... — сны никак было не подвести под расписание, викарий очень боялся снов.

Вероятно, миссис Дьюли спала очень крепко — она кричала все громче и только тогда затихла, когда викарий схватил ее за плечо холодной рукой.

— Я думаю, вам на ночь не надо ужинать, дорогая...

— Да, я думаю — не надо, — ответила в темноте миссис Дьюли.

Через пять минут викарий опять спал, мирно похрапывая. Все было чёрно и тихо.

16. Торжествующее солнце

Было назначено в половине десятого — и совершенно правильно: всякий культурный человек должен иметь время побриться и позавтракать, и в том, что назначено было в половине десятого, только сказывалось уважение одного культурного человека к другому — хотя бы и преступному.

Солнце было очень яркое. Солнце торжествовало — это было ясно для всякого, и вопрос был только в том, торжествовало ли оно победу правосудия — и, стало быть, культуры — или же...

Серо-белая чешуя тревожно шуршала и переливалась:

— Послушайте, господа, ничего еще не известно?

Нет, вчера ничего не получено, но может быть — сегодня утром... В конце концов все решит последний момент: зазвонит или не зазвонит в половине десятого тюремный колокол?

В тюрьму пробирался аккуратно-выбритый розовый старичок, из тех, что имеют вид вкусный, как сдобные, хорошо подрумяненные пирожки.

Старичок постучал, обитая железом дверь в тюремной стене перед ним открылась.

Миссис Дьюли обернулась к викарию, она дышала коротко, часто:

— Кто ... кто это? Кто туда сейчас вошел?

— Ах, этот? Это, дорогая, мастер.

Миссис Дьюли схватила викария за руки выше локтя, вцепилась в него изо всех сил:

— Вы ... вы хотите сказать, что это тот, кто будет должен ...

Викарий стряхнул ее руки:

— На вас сссмотрят. Я ничего не хочу ссказать. Вы не умеете владеть сссобой ...

Миссис Дьюли замолкла ... Возле нее сверкнули чьи-то часы:

— Без двух минут половина десятого.

Без двух минут ... Чешуя напряглась, замерла, не шевелилась. Бифштексно-румяные посетители боксов и скачек не отрывались от часов. Равнодушно блестели медные трубы Армии Спасения. Румяное, упитанное, торжествующее выкатывалось солнце. Иней на крыше таял, и тикала капель — как часы, отчетливо отбивала секунды — до половины десятого.

И вот капнуло еще, и последняя капля: половина. Напряженная, стеклянная секунда — и ... ничего: колокол молчал.

Сразу зашевелилась чешуя, заурчала, и все громче. Все были оскорблены: и любители бокса и скачек, и сторонники культуры.

Кипели и переливались. Вымахивали руки. Зловеще свивались и развивались кольца, и все еще чего-то ждали, не расходились.

Миссис Дьюли — без пенснэ, в сбившейся на бок шляпе — опять схватила за руку викария:

— Вы ... вы ... вы понимаете? Ведь, значит, он ... значит, его не ... Вы понимаете?

Викарий Дьюли не слышал, он смотрел на часы: было уже без двадцати десять.

Без четверти десять, когда уже больше не на что было надеяться — тюремный колокол вдруг запел медленным, медным голосом: капала с неба медная, мерная капель.

Миссис Дьюли закричала странным, неджесмондским голосом:

— Нет, нет, ради Бога, ради Бога! Остановите, оста ...

Дальше уж не было слышно: чешуя бешено закрутилась, запестрела платками и криками. Солнце торже-

ствовало, розовое и равнодушное. Трубы Армии Спасения играли тягучий гимн. Облегченно становились на колени: помолиться за душу убийцы.

А затем, когда все стихло, викарий Дьюли произнес речь — о необходимости проведения в жизнь «Завета Спасения». Все то, что случилось и замутило тихое течение джесмондской жизни — не было ли, наконец, самым убедительным аргументом? Если бы государство насильно вело слабые души единым путем — не пришлось бы прибегать к таким печальным, хотя и справедливым мерам... Спасение приходило бы математически неизбежно, понимаете — математически?

Прокричали cheers в честь викария Дьюли, гордости Джесмонда, и единогласно приняли резолюцию. Надо надеяться, что на этот раз билль о «принудительном спасении», наконец, пройдет.

1917.

ЛОВЕЦ ЧЕЛОВЕКОВ

1.

Самое прекрасное в жизни — бред, и самый прекрасный бред — влюбленность. В утреннем, смутном, как влюбленность, тумане — Лондон бредил. Розово-молочный, зажмурясь, Лондон плыл — все равно куда.

Легкие колонны друидских храмов — вчера еще заводские трубы. Воздушно-чугунные дуги виадуков: мосты с неведомого острова на неведомый остров. Выгнутые шеи допотопно-огромных черных лебедей-кранов: сейчас нырнут за добычей на дно. Вспугнутые, выплеснулись к солнцу звонкие золотые буквы: «Роллс-Ройс, авто» — и потухли. Опять — тихим, смутным кругом: кружево затонувших башен, колыхающаяся паутина проволок, медленный хоровод на ходу дремлющих черепах- домов. И неподвижной осью: гигантский каменный фаллос Трафальгарской колонны.

На дне розово-молочного моря плыл по пустым утренним улицам органист Бэйли — все равно куда. Шаркал по асфальту, путался в хлипких, нелепо-длинных ногах. Блаженно жмурил глаза; засунув руки в карманы, останавливался перед витринами.

Вот сапоги. Коричневые краги; черные, огромные вотерпруфы; и крошечные лакированные дамские туфли. Великий сапожный мастер, божественный сапожный поэт . . .

Органист Бэйли молился перед сапожной витриной:

— Благодарю тебя за крошечные туфли . . . И за трубы, и за мосты, и за Роллс-Ройс, и за туман, и за весну. И пусть больно: и за боль . . .

На спине сонного слона — первого утреннего автобуса — органист Бэйли мчался в Чизик, домой. Кондукторша,

матерински-бокастая, как булка (дома куча ребят), добродушно приглядывала за пассажиром: похоже, выпил бедняга. Эка, распустил губы!

Губы толстые и, должно быть, мягкие, как у жеребенка, блаженно улыбались. Голова, с удобными, оттопыренными и по краям завернутыми ушами покачивалась: органист Бэйли плыл.

— Эй, сэр, вам не здесь слезать-то?

Органист удивленно разожмурился. Как: уже слезать?

— Ну, что, выпили, сэр?

Жеребячьи губы раскрылись, органист мотал головой и счастливо смеялся:

— Выпил? Дорогая моя женщина: лучше!

По лесенке двинулся с верхушки автобуса вниз. Внизу, в тумане, смущенно жмурились, молочно-розовыми огнями горели вымытые к воскресенью окна Краггсов. Солнце шло вверх.

Органист вернулся к кондукторше, молча показал ей на окна и так же молча — обнял и поцеловал ее мягкими, как у жеребенка, губами. Кондукторша обтерлась рукавом, засмеялась, дернула звонок: что с такого возьмешь?

А органист — нырнул в переулочек, ключом отомкнул тихонько заднюю калитку своего дома, вошел во двор, остановился возле кучи каменного угля и через кирпичный заборчик поглядел наверх: в окно к соседям, Краггсам. В окне — белая занавеска от ветра мерно дышала. Соседи еще спали.

Снявши шляпу, стоял так, пока на занавеске не мелькнула легкая тень. Мелькнула, пророзовела на солнце рука — приподняла край. Органист Бэйли надел шляпу и пошел в дом.

2.

Миссис и мистер Краггс завтракали. Все в комнате — металлически сияющее: каминный прибор, красного дерева стулья, белоснежная скатерть. И может быть, складки скатерти — металлически-негнущиеся; и, может быть, стулья, если потрогать, металлически-холодные: окрашенный под красное дерево металл.

На однородно-зеленом ковре позади металлического стула мистера Краггса — четыре светлых следа: сюда встанет стул по окончании завтрака. И четыре светлых следа позади стула миссис Краггс.

По воскресеньям мистер Краггс позволял себе к завтраку крабов: крабов мистер Краггс обожал. С кусочками крабовых клешней проглатывая кусочки слов, мистер Краггс читал вслух газету:

— Пароход... ммм... долгое время вверх килем... Стучали в дно снизу... Нет, удивительный краб, прямо удивительный! Опять цеппелины над Кентом, шесть мужчин, одиннадцать... ммм... Одиннадцать — одиннадцать — да: одиннадцать женщин... Для них человек — просто как... как... Лори, вы не хотите кусочек краба?

Но миссис Лори уже кончила свой завтрак, она укладывала ложки. У миссис Лори была превосходная коллекция чайных ложек: подарок Краггса. Серебряные ложки — и каждая была украшена золоченым с эмалью гербом одного из городов Соединенного Королевства. Для каждой ложечки был свой собственный футлярчик, миссис Лори укладывала ложки в соответствующие футлярчики — и улыбалась: на губах — занавесь легчайшего и все же непрозрачного розового шелка. Вот дернуть за шнур — и сразу же настежь, и видно бы, какая она, за занавесью, настоящая Лори. Но шнур потерялся, и только чуть колышется занавесь ветром вверх и вниз.

Исчезнувший мистер Краггс внезапно вынырнул из-под полу, уставился перед миссис Лори на невидимом пьедестале — такой коротенький чугунный монументик — и протянул наверх картонку:

— Дорогая моя, это — вам.

В картонке были белые и нежно-розовые шелковые комбинации, и что-то невообразимо-кружевное, и паутинные чулки. Мистер Краггс был взглядов целомудренных, не переносил наготы, и пристрастие его к кружевным вещам было только естественным следствием целомудренных взглядов.

Миссис Лори все еще не привыкла к великолепию. Миссис Лори порозовела, и быстрее заколыхалась розовая занавесь на губах:

— А-а, вам опять повезло... на бирже — или... где вы там занимаетесь операциями, кто вас знает...

— Угум... — мистер Краггс сосал трубку и, по обыкновению своему, не подымая чугунных век, улыбался на пьедестале победоносно.

Миссис Лори обследовала нежно-розовое, невообразимо-кружевное и паутинное, на одной паре чулок обнаружила распоротый шов и, отложив в сторону, нагнула щеку к мистеру Краггсу. Краггс затушил пальцами трубку, сунул в карман и прильнул губами к щеке. Челюсти и губы мистера Краггса мысом выдвинуты вперед — в мировое море; губы сконструированы специально для сосанья.

Мистер Краггс сосал. В окно бил пыльной полосой луч. Все металлически сияло.

3.

Наверху, в спальне, миссис Лори еще раз оглядела чулки с распоротым швом; разложила все по соответствующим ящикам комода, старательно, с мылом, вымыла лицо; и вывесила из шкапа новые брюки мистера Краггса: в них он пойдет в церковь.

В окно тянул ветер. Брюки покачивались. Вероятно, на мистере Краггсе — брюки прекрасны и вместе с его телом дадут согласный аккорд. Но так, обособленные в пространстве — брюки мистера Краггса были кошмарны.

В окно тянул ветер. Покачиваясь, брюки жили: короткое, обрубленное, кубическое существо, составленное только из ног, брюха и прочего принадлежащего. И вот снимутся, и пойдут вышагивать — между людей и по людям, и расти — и...

Надо закрыть окно. Миссис Лори подошла, высунула на секунду голову, медленно, густо покраснела и сердито сдвинула брови: опять?

На дворе справа, возле кучки каменного угля, опять стоял нелепо-длинный и тонкий — из картона вырезанный — органист Бэйли. Держал шляпу в руках, оттопыренные уши просвечивали на солнце, блаженно улыбался — прямо в лицо солнцу и миссис Лори.

Верхняя половина окна заела, и пока миссис Лори, все сердитее сдвигая брови, нетерпеливо дергала раму —

хлябнуло окошко слева, и заквохтал высокий, с переливами голосок:

— Доброе утро, миссис Краггс! Нет, каково, а? Нет, как вам это нравится? Нет, я сейчас забегу к вам — нет, я не могу . . .

Отношение миссис Фиц-Джеральд ко всему миру было определенно со знаком минус: «нет». Минус начался с тех пор, как пришлось продать замок в Шотландии и переселиться на Аббатскую улицу. В органиста Бэйли минус вонзался копьем. И как же иначе, когда одна из девяти дочерей миссис Фиц-Джеральд уже давно по вечерам бегала на «приватные уроки» к органисту Бэйли.

Миссис Лори сошла в столовую мраморная, как всегда, и все с той же своей неизменной — легчайшего, непрозрачного шелка — занавесью на губах.

— Краггс, сейчас придет миссис Фиц-Джеральд. Ваши брюки вывешены — наверху. Да, и кстати: этот Бэйли, вы знаете, просто становится невозможен, вечно глазеет в окно спальни.

Чугунный монументик на пьедестале был неподвижен, только из-под опущенных век — лезвия глаз:

— Если вечно, так . . . отчего же вы до сих пор . . . Впрочем, сегодня, после церкви, я поговорю с ним. О, да!

Миссис Лори повернулась задернуть шторы:

— Да, пожалуйста, и посерьезней . . . Просто больно смотреть: такое солнце, правда?

В дверь уже стучала миссис Фиц-Джеральд. Миссис Фиц-Джеральд — была индюшка: на вытянутой шее — голова всегда набок, и всегда — одним глазом вверх, в небо, откуда ежеминутно может упасть коршун и похитить одну из девяти ее индюшечек.

Миссис Фиц-Джеральд с переливами квохтала об органисте.

— Нет, вы подумайте: в приходе — ни одной молодой и красивой женщины, которая бы не . . . которая бы . . . Нет, его бедная жена, это — просто ангел: она запирает от него все деньги и прячет ключ от двери, но он умудряется — через окно . . . А сейчас — я выглянула в окошко . . . нет, вы подумайте!

Миссис Фиц-Джеральд навела один глаз в небо, другой — в миссис Лори; миссис Лори вошла в паузу — как в открытую дверь: не постучавшись.

— Я только что просила Краггса поговорить об этом с мистером Бэйли. Будет очень забавно. Приходите посмотреть этот водевиль — после церкви.

Миссис Фиц-Джеральд все так же недоверчиво одним глазом выискивала коршуна в небе:

— О, миссис Лори, вы-то, вы-то, я знаю, совсем не такая, как другие. Я знаю.

Чугунный монументик неподвижно, не подымая век, глядел вверх на миссис Лори:

«Не такая — но какая же?»

Бог весть: шнур от занавеси был потерян.

4.

Тут, на Аббатской улице, еще был Лондон — и уже не был Лондон. Соседи уже отлично знали соседей; и все знали, конечно, глубокоуважаемого мистера Краггса. Все знали: на бирже — или вообще где-то — мистер Краггс удачно вел операции; имел текущий счет в Лондон-Сити-энд-Мидланд-Бэнк, прекрасную жену и был одним из добровольных апостолов Общества Борьбы с Пороком. Естественно, что шествие мистера Краггса в новых брюках к церкви Сэнт-Джордж — было триумфальным шествием.

Каждым шагом делая одолжение тротуару, сплюснутый монументик вышлепывал лапами, на секунду привинчиваясь к одному пьедесталу, к другому, к третьему: тротуар был проинтегрированный от дома до церкви ряд пьедесталов. Не подымая век, монументик милостиво улыбался, ежесекундно сверкал на солнце цилиндром и совершал шаги, украшенный соседством миссис Лори: так барельефы на пьедестале Ричарда-Львиное Сердце скромно, но гармонично украшают Львиное Сердце.

И вот, наконец, уравнение торжественного шествия мистера Краггса решено: наконец — церковь.

— — —

Узкие ущелья в мир — окна. На цветных стеклах — олени, щиты, черепа, драконы. Внизу стекла — зеленые, вверху — оранжевые. От зеленого — по полу полз мягкий дремучий мох. Глохли шаги, все тише, как на дне — тихо, и Бог знает где — весь мир, краб, щека, распоротый

шов в чулке, одноглазая Фиц-Джеральд, ложечки в футлярах, тридцать два года . . .

Вверху, на хорах, начал играть органист Бэйли. Потихоньку, лукаво над зеленым мхом росло, росло оранжевое солнце. И вот — буйно вверх, прямо над головою, и дышать — только ртом, как в тропиках. Неудержно переплетающиеся травы, судорожно вставшие к солнцу мохнатые стволы. Черно-оранжевые ветви басов, с нежной грубостью, всё глубже внутрь — и нет спасения: женщины раскрывались, как раковины, бросало Бога в жар от их молитв. И может быть только одна миссис Лори Краггс — одна сидела великолепно-мраморная, как всегда.

— Вы не забыли относительно Бэйли? — шепнула миссис Лори мужу, когда кончалось.

— Я? О, нет . . . — мистер Краггс блеснул лезвием из-под опущенных век.

Одноглазая миссис Фиц-Джеральд тревожно поглядывала вверх на гипотетического коршуна, собирала под крылья своих девять индюшечек в белых платьях и подымалась на цыпочки, чтобы не потерять в толпе мистера Краггса и не пропустить, как произойдет его встреча с Бэйли.

Снаружи, у дверей церкви, была могила рыцаря Хэга, некогда обезглавленного за папизм: на камне, в каменных доспехах, лежал рыцарь без головы. И здесь, возле утратившего голову рыцаря, скучились женщины вокруг органиста Бэйли.

— Мистер Бэйли, вы сегодня играли особенно. Я так молилась, так молилась, что . . .

— Мистер Бэйли, не могли бы вы — мне бы хотелось только . . .

— Мистер Бэйли, вы знаете, что вы — что вы . . .

Высоко над их раскрытыми, ожидающими губами покачивалась голова органиста, просвечивающие, с загнутыми краями уши. И еще выше, зажмурясь от себя самого, стремглав неслось солнце — все равно куда.

У органиста были длинные, обезьяньи руки — и всетаки нельзя было обнять их всех сразу. Органист блаженно покачал головой:

— Милые, если бы я мог . . .

Органист Бэйли задумался о великой Изиде — с тысячью протянутых рук, с тысячью цветущих сосцов, с чревом — как земля, принимающим все семена . . .

— А-а, дорогой мой Бэйли! Он — по обыкновению, конечно окружен . . . Можно вас на минуту?

Это был Краггс. Он воздвигся на последней ступеньке лестницы, украшенный мраморным соседством миссис Лори — и ждал.

Бэйли повернулся, как стрелка компаса, сдернул шляпу, путаясь в собственных ногах, подбежал, стиснул руку мистеру Краггсу и сиял в него глазами — было почти слышно: «Милый Краггс, единственный в мире Краггс, и вас — и вас тоже, обожаемый Краггс . . .»

Втроем они отошли в сторону, и только миссис Фиц-Джеральд оказалась неприметно сзади, одобрительно подкачивала головой каждому слову Краггса и одним глазом метала минусы-копья в спину Бэйли.

— Послушайте, дорогой мой Бэйли. Мне жена говорила, что вы постоянно портите ей пейзаж из окна ее спальни. Что вы скажете по этому поводу? А?

В голове у Бэйли шумело солнцевое вино, слова слышались плохо. Но когда услышались — Бэйли потух, лоб сморщился, сразу стало видно: масса лишней кожи на лице, все — как обвислый, купленный в магазине готового платья костюм.

— Миссис Лори? Не . . . не может быть . . . — губы у Бэйли растерянно шлепали. — Миссис Лори, вы не говорили. Да нет, что́ я, конечно: вы — нет. Конечно . . .

Самому стало смешно, что поверил хоть на секунду. Махнул рукой — заулыбался блаженно.

Миссис Лори сдвинула брови. Она медлила. Уже шевельнулись на животе клешни Краггса, и радостно привстала на цыпочках миссис Фиц-Джеральд. Но в самый какой-то последний момент — миссис Лори громко рассмеялась:

— Представьте себе, мистер Бэйли: я говорила. И вы прекрасно знаете: я была, наконец, вынуждена сказать это. Да, вы знаете.

Бэйли заморгал. Опять: обвислый костюм из магазина готового платья. Вдруг обеими руками он нахлобучил шляпу и не попрощавшись, не слушая больше Краггса, побежал, заплетаясь, по асфальту.

Сыпались вслед ему минусы миссис Фиц-Джеральд, он бежал — и на полушаге, ни с того, ни с сего, остановился, как вкопанный. Бог знает, что пришло ему в голову и что вспомнилось — но он улыбался настежь, блаженно, радостно махал Краггсам шляпой.

Краггс пожал плечами:

— Просто — ненормальный . . .

И двинулся к дому — с одного пьедестала на другой, с другого на третий, по бесконечному ряду пьедесталов.

5.

Лондон сбесился от солнца. Лондон мчался.

Прорвал плотину поток цилиндров, белых с громадными полями шляп, нетерпеливо раскрытых губ. Неистовым от весны стадом неслись слоно-автобусы и, пригнув головы, по-собачьи вынюхивали друг дружку. Голосами малиновыми, зелеными и оранжевыми орали плакаты: «Роллс-Ройс», «Вальс — мы вдвоем». «Автоматическое солнце». И везде между мелькающих ног, букв и колес — молниеносные мальчишки в белых воротничках, с экстренным выпуском.

Цилиндры, слоно-автобусы, Роллс-Ройс, автоматическое солнце — выпирали из берегов и, конечно, смыли бы и дома, и статуи полицейских на перекрестках, если бы не было стока вниз, в метрополитэн и в подземные дороги: «трубы».

Лифты глотали одну порцию за другой, опускали в жаркое недро, и тут сбесившаяся кровь Лондона пульсировала и мчалась еще бешеней по бетонным гулким трубам.

Взбесившийся Лондон лился за город, в парки, на траву. Неслись, ехали, шли, в бесчисленных плетеных колясочках везли недавно произведенных младенцев. Миссис Лори сквозь прозрачнейшие стекла окна наблюдала шествие бесчисленных колясочек по асфальту.

В окошко Краггсов встревоженной дробью стучала миссис Фиц-Джеральд:

— Миссис Лори! Послушайте, миссис Лори! Не у вас ли моя Анни? Нет? Ну, так и есть: опять помчалась за город с этим . . . Нет, вы счастливая, миссис Лори: у вас нет детей . . .

На мраморном челе миссис Лори было две легчайших темных прожилки-морщины, что, может быть, только свидетельствовало о подлинности мрамора. А может быть, это были единственные трещины в непорочнейшем мраморе.

— А где мистер Краггс? — обеспокоенно поглядывала вверх одним глазом Фиц-Джеральд.

— Мистер Краггс? Он сказал, ему надо куда-то там по делам этого его общества — Борьбы с Пороком.

— Нет, вы такая счастливая, такая счастливая . . .

Миссис Лори прошлась по столовой. Ножки одного из металлических стульев стояли вне предназначенных гнезд на ковре. Миссис Лори подвинула стул. Взошла наверх, в спальню, подняла штору, окошко открыто, спальня освежалась. Впрочем, миссис Лори была уверена, что окошко открыто, но почему то надо было поднять штору, взглянуть.

Миссис Лори снова уселась в столовой и наблюдала шествие бесчисленных колясочек. А мистер Краггс — на лацкане белый крестик Апостола Общества Борьбы с Пороком — мистер Краггс где-то медленно мчался в гулких трубах. Чугунные веки опущены в экстренный выпуск: в три часа цеппелины замечены над Северным морем. Это было совершенно кстати.

«Превосходно, превосходно». — Мистер Краггс предвкушал успех: атмосфера была подходящая.

И мистер Краггс решил использовать атмосферу — в Хэмпстэд-парке.

Хэмпстэд-парк до краев был налит шампанским: туман легкий, насквозь прозолоченный острыми искрами. По-двое тесно на скамеечках, плечом к плечу, все ближе. Истлевало скучное платье, и из тела в тело струилось солнцевое шампанское. И вот двое на зеленом шелке травы, прикрытые малиновым зонтиком: видны только ноги и кусочек кружева. В великолепной вселенной под малиновым зонтиком — закрывши глаза, пили сумасшедшее шампанское.

— Экстренный выпуск! В три часа зэппы над Северным морем!

Но под зонтиком — в малиновой вселенной — бессмертны: что за дело, что в другой, отдаленной вселенной будут убивать?

И мимо неслась карусель молниеносных мальчишек: собиратели окурков, продавцы экстренных выпусков, счастья, целующихся свинок, патентованных пилюль для мужчин. И трескучий петрушка, и пыхающие дымом машины на колесах с сосисками и каштанами, и стада цилиндров — гуськом, как неистовые от весны слоно-автобусы . . .

Пронзительный свист — нестерпимо, кнутом. И еще раз: кнутом. Высунулись головы из-под малинового зонтика, цилиндров, белых громадных шляп: на столе — чугунный монументик, стоял и свистел серьезно.

— Лэди и джентльмэны! — мистер Краггс перестал свистеть. — Лэди и джентльмэны, экстренный выпуск: зэппы над Северным морем. Лэди и джентльмэны, проверьте себя: готовы ли вы умереть? Смерть сегодня. Это вы умрете . . . нет, нет, не ваша соседка, а именно вы, прекрасная лэди под малиновым зонтиком. Вы улыбаетесь, ваши зубы сверкают, но знаете ли вы, как улыбается череп? Остановитесь — только на секунду — проверьте себя: все ли вы сделали, что вам надо сделать до смерти? Вы — под малиновым зонтиком!

— Нет еще, они — не всё . . . — тоненьким голоском пискнул примолкший было петрушка.

Засмеялись. Засмеялась прекрасная лэди, закрылась малиновым небом-зонтиком и явно для всех прижала колени к своему Адаму: они были одни в малиновой вселенной, и они были бессмертны, и парк до краев был полон острыми искрами.

— — —

Мистер Краггс кружил вокруг малиновой вселенной: из-под зонтика видны были черные дамские туфли и коричневые мужские. Коричневые мужские туфли и шелковые, синие, в коричневых горошках носки — были явно очень высокого, дорогого сорта. Это заслуживало внимания.

Мистер Краггс гулял, неся впереди, на животе, громадные крабовые клешни и опустив веки. Опустив чугунные веки, мистер Краггс обедал, а за соседним столиком обедала прекрасная лэди под малиновым зонтиком. Она была вся налита сладким янтарным соком солнца: мучительно надо было, чтоб ее отпили хоть немного. Яблоко — в безветренный, душный вечер: уж налилось,

прозрачнеет, задыхается — ах, скорее бы отломиться от ветки — и наземь.

Она встала, лэди-Яблоко под малиновым зонтиком, и встал ее Адам — все равно, кто он: он только земля. Медленные, отягченные — поднялись на лиловеющий в сумерках холм, перевалили, медленно тонули в землю по ту сторону холма. Головы — один только малиновый зонтик, — и нету.

Мистер Краггс выждал минуту. Все так же что-то пряча под опущенными чугунными веками, взобрался на холм, огляделся — и с неожиданной для монументика крысиной прыткостью, юркнул вниз.

Там, внизу, все быстро лохматело, все обрастало фиолетовой ночной шерстью: деревья, люди. Под душными шубами кустов нежные, обросшие звери часто дышали и шептались. Ошерстевший, неслышный, мистер Краггс шнырял по парку громадной, приснившейся крысой, сверкали лезвия — к ночи раскрывшиеся лезвия глаз на шерстяной морде, мистер Краггс запыхался. Малинового зонтика нигде не было.

«Лодка...» — клешни мистера Краггса сжались и ухватились за последнее: раз или два ему случалось найти в лодке.

Тихий, смоляной пруд. Пара лебедей посредине пронзительно белеет наготой. И вдали, под уютно нависшей ивою — лодка.

Мистер Краггс быстрее зашлепал по траве лапами. Лебеди все ближе, белее. На цыпочках, осторожно перегнулся через ствол ивы.

Лодка — внизу. Кругло темнел, прикрывая лица, мягкий лохматый зонтик, недавно еще малиновый — в одном конце лодки, а в другом — лебедино белели в темноте ноги.

Мистер Краггс вытер лицо платком, разжал клешни. Счастливо отдыхая, пролежал минуту — и неслышный, шерстяной, на животе пополз вниз по скользкой глине.

— Добрый вечер, господа! — возле лодки встал монументик. Веки целомудренно опущены. Улыбались выперщие вперед нос, нижняя челюсть и губы.

Мелькнуло, пропало лебедино-белое. Вскрик. Зонтик выпрыгнул в воду и поплыл. Лохматый зверь выскочил из лодки на Краггса:

— Ч-чёрт! Какое — какое вы имеете . . . Да я вас просто — я вас . . .

Мистер Краггс улыбался, опустив веки. Страшные крабовые клешни разжались, заклещили руки Адама прекрасной лэди-Яблоко — и Адам, пыхтя, забился в капкане. Мистер Краггс улыбался.

— Вы — пойдете — со мною — на ближайшую — полицейскую станцию. Вы и ваша дама, — я очень сожалею. Вы объявите там имена — свое и вашей дамы. И мы встретимся потом на суде: мне очень жаль говорить об этом. О, вы скажите лэди, чтобы она перестала плакать: за нарушение нравственности в общественном месте — наказание вовсе не такое большое.

— Послушайте . . . ч-чёрт! Вы отпустите мои руки? В вам говорю . . .

Но мистер Краггс держал крепко. Лэди-Яблоко стояла теперь в песке на коленях, прикрывала лицо коленями и, всхлипывая, несвязно умоляла. Мистер Краггс улыбался.

— Мне право, очень жаль вас, моя дорогая лэди. Вы так еще молоды — и фигурировать на суде . . .

— О, все что хотите — только не это! Ну хотите — хотите . . . — руки лэди лебедино белели в лохматой темноте.

— Ну, хорошо: только — ради вас, очаровательная лэди. Обещайте, что вы больше ни-ког-да . . .

— О, вы такой . . . милосердный . . . как Бог. Обещаю вам — о, обещаю!

Одной клешней все еще держа обмякшего, убитого Адама, другою — Краггс вытащил свисток и вложил в рот:

— Вот видите: один шаг — и я свистну . . . — он отпустил пленника. Оглядел его с шелковых носков до головы, прикинул на глаз — и коротко бросил:

— Пятьдесят гиней.

— Пятьдесят . . . гиней? — сделал тот шаг на Краггса.

Свисток Краггса заверещал — еще пока чуть слышно, но сейчас . . . Пленник остановился.

— Ну? У вас чековая книжка с собой? Я вам посвечу, — любезно предложил мистер Краггс, вытащил карманный электрический фонарик.

Пленник, скрипя зубами, писал чек в Лондон-Сити-энд-Мидланд-Бэнк. Лэди остолбенелыми глазами плыла

за своим зонтиком: зонтик медленно и навеки исчезал в лохматой темноте. Мистер Краггс, держа свисток в зубах, улыбался: два месяца были обеспечены. Пятьдесят гиней! Так везло мистеру Краггсу не часто.

6.

Темно. Дверь в соседнюю комнату прикрыта неплотно. Сквозь дверную щель — по потолку полоса света: ходят с лампой, что-то случилось. Полоса движется все быстрей, и темные стены — все дальше, в бесконечность, и эта комната — Лондон, и тысячи дверей, мечутся лампы, мечутся полосы по потолку. И может быть — все бред . . .

Что-то случилось. Черное небо над Лондоном — треснуло на кусочки: белые треугольники, квадраты, линии — безмолвный, геометрический бред прожекторов. Куда-то пронеслись стремглав ослепшие слоно-автобусы с потушенными огнями. По асфальту топот запоздалых пар — отчетливо — лихорадочный пульс — замер. Всюду захлопывались двери, гасли огни. И вот — выметенный мгновенной чумой, опустелый, гулкий, геометрический город: безмолвные купола, пирамиды, окружности, дуги, башни, зубцы.

Секунду тишина вспухала, истончалась, как мыльный пузырь, и — лопнула. Загудели, затопали издали бомбами чугунные ступни. Все выше, до неба, бредовое, обрубленное существо — ноги и брюхо — тупо, слепо вытопывало бомбами по кубическим муравьиным кочкам и муравьям внизу. Цеппелины . . .

Лифты не успевали глотать: муравьи сыпались вниз по запасным лестницам. Висли на подножках, с грохотом неслись в трубах — все равно куда, вылезали — все равно где. И толпились в бредовом подземном мире с нависшим бетонным небом, перепутанными пещерами, лестницами, солнцами, киосками, автоматами.

— Цеппелины над Лондоном! Экстра-экстренный выпуск! — шныряли механические, заводные мальчишки.

Мистер Краггс несся в вагоне стоя, держась за ремень, и не подымал глаз от экстренного выпуска. Цилиндры и шляпы все прибывали, сдвинули его с пьедестала — вперед — к чьим-то коленям — колени дрожали. Мистер Краггс взглянул: лэди-Яблоко.

— Ах, вот как? И вы здесь? Очень приятно, очень... Прошу извинения: так тесно... — мистер Краггс снял цилиндр с улыбкой.

Лэди-Яблоко была одна. Лэди-Яблоко ответила мистеру Краггсу улыбкой, тупо-покорной.

В левом внутреннем кармане мистера Краггса лежал чек на пятьдесят гиней и грел сердце мистера Краггса. Мистер Краггс любезно шутил.

— Мы, как древние христиане, вынуждены спасаться в катакомбах. Не правда ли, мисс, очень забавно?

Мисс должна была смеяться — и не могла. Изо всех сил — и, наконец, засмеялась, вышло что-то нелепое, неприлично-громкое, на весь вагон. Со всех сторон оборачивались. Мистер Краггс, приподняв цилиндр, торопливо продвигался вперед...

— Гаммерсмис! Поезд нейдет дальше! — кондуктор звякнул дверью, полились из вагона.

Сверху, сквозь колодцы лифтов и лестниц, был слышен глухой чугунный гул. Цилиндры и огромные, наискось надетые, шляпы — остались на платформе, влипли в ослепительно-белые стены, слились с малиновыми и зелеными плакатами, с неподвижно мчащимися лицами на автомобиле «Роллс-Ройс», с «Автоматическим солнцем». В белых кафельных катакомбах спасалась толпа странных плакатных христиан.

Лэди-Яблоко потерянно огляделась, зацепилась глазами за единственную знакомую фигуру — со сложенными на животе клешнями и вышлепывающими лапами — и механически, во сне, вошла в лифт вместе с Краггсом. Лифт понес их наверх, на улицу.

Там, в черном небе мелькали белые треугольники, линии, неслись с топотом и гулом глухие черепахи-дома, деревья. Лэди-Яблоко догнала Краггса:

— Послушайте... Простите... Не можете ли вы меня, ради Бога, куда-нибудь... Мне надо было в Лэйстер-Сквэре, я ничего не понимаю...

Чугунный монументик остановился устойчиво на секунду, века́. Из-под опущенных век в темноте — лезвия глаз:

— Право, я очень сожалею. Но я тороплюсь домой. И кроме того... — мистер Краггс неслышно смеялся, это

было просто смешно — только подумать он — и... и... какая-то...

Перпендикулярно над головой, в истончающейся тишине, стрекотал громадный шершень. Мистер Краггс торопился: Лори была одна. Он быстро вышлепывал лапами по асфальту. Показалось, чек перестал шевелиться в кармане, мистер Краггс приостановился пощупать — и услышал дробные, дрожащие шажки сзади: издали к нему бежала тень, как потерянная, бесхозяйная собачка, робко, униженно.

Стало ясно: эта... эта женщина пойдет за ним до самых дверей, будет стоять всю ночь или сидеть на ступеньках, и вообще — что-то нелепое, как во сне.

Мистер Краггс вытер платком лоб, через плечо покосившись назад — юркнул в первый темный переулочек: попасть в дом со двора.

Ощупью, по выщербленным в верее кирпичам, мистер Краггс разыскал свою калитку и стукнул. В темном окне спальни неясно пробелело лицо — это было, явно, лицо миссис Лори. Миссис Лори размахнулась и что-то бросила из окна. Что бы это все значило?

Мистер Краггс долго стучал, стучал все громче — на всю Аббатскую улицу — но калитка не открывалась. Мистер Краггс обсуждал положение и старался вытащить из головы хоть что-нибудь удобопонятное, как вдруг топнули совсем рядом, тут, чугунные ступни, задребезжали верешки стекол, свалился цилиндр мистера Краггса, и, ловя цилиндр, монументик упал на асфальт.

7.

По воскресеньям, когда мистера Краггса не было дома, миссис Лори принимала у себя мать и сестру.

В сумерках — они приходили из Уайт-Чэпеля, стучали тихонько в заднюю калитку и через кухню шли в столовую. В металлической столовой они садились на краешек стула, в шляпах пили чай, съедали по одному кусочку кэкса.

— Ну, пожалуйста, милые, берите: у меня в буфете — другой такой же, целый... — миссис Лори торжествующе открывала буфет.

— Нет, спасибо. Право же... — гостьи глотали слюну и, сидя на краешке, одним ухом вслушивались за окошко,

чтобы не прозевать знакомого вышлепыванья лап и вовремя исчезнуть в кухню. Но слышался только шорох по асфальту бесчисленных плетеных колясочек.

— Счастливая вы, Лори... — вздыхали гостьи, любуясь. — Помнишь, как ты, бывало, с нами на рынке... А теперь...

Мрамор миссис Лори розовел: это так нужно — извне получить подтверждение, что ты — счастливая...

Втроем шли в спальню. Миссис Лори зажигала свет, сияли хрустальные подвески, блестели глаза. На кровати, на стульях — невообразимо-кружевное, и белое, и паутинное.

— Ну, Лори, пожалуйста. В белом вы, должно быть, прямо — королева.

Миссис Лори раздевалась за ширмой. Вышла — в черных чулках и в туфлях, и в тончайшем белом: теплый мрамор миссис Лори чуть-чуть розовел сквозь белое, переливались, розовея, хрустальные подвески, и быстро колыхалась розовая занавесь на губах миссис Лори: вот-вот раздунется ветром.

— Счастливая вы, Лори, — вздыхали гостьи, любуясь.

Внизу кто-то стучал в дверь. У всех трех — одно: Краггс.

— Господи, уж темно, давно пора домой — вскочили гостьи.

Миссис Лори наспех накинула утренний белый халат, проводила мать и сестру через черный ход и открыла дверь.

Но это был не Краггс: в дверях стоял со свертком беловоротничковый мальчишка, и будто наивно так — шмурыгал носом, но один мышиный глаз хитро прищурен.

— Вам, ма́дам, — подал он сверток.

В свертке, как и прошлое воскресенье, был букет чайных роз, с оттопыренными, отогнутыми по краям лепестками.

Миссис Лори вспыхнула.

— Отдайте назад, — сердито ткнула она букет мальчишке.

Мальчишка прищурил глаз еще больше:

— Ну-у, куда же: магазин не примет, деньги уплочены.

Миссис Лори побежала с букетом в спальню. Розы были очень спелые, лепестки сыпались по лестнице, миссис Лори растерянно оглядывалась. Сунула букет под кружевной ворох на стуле и, собирая по пути лепестки со ступеней, пошла вниз. Протянула три пенса мальчишке, стараясь глядеть вверх — мимо понимающе-прищуренного мышиного глаза.

Там, вверху, было черное мозаичное небо — из белых ползающих треугольников и квадратов.

— Ну, да, конечно: зэппы летят, — весело ответил мальчишка поднятым бровям миссис Лори. — То и гляди начнут. Спасибо, мàдам . . . — и нырнул в темноту.

Миссис Лори спустила жалюзи в столовой и — вся в металлическом сияньи — торопилась уложить знаменитые ложки, каждую в соответствующий футлярчик: надо было скорей, пока еще не начали. На шестой ложечке, с тремя зàмками — герб города Ньюкастля — ухнуло глухо. Ложечка с тремя зàмками осталась лежать на столе, рядом с пустым футляром.

Тупые чугунные ступни с грохотом вытопывали — по домам, по людям — все ближе. Еще шаг — и мир миссис Лори рухнет: Краггс, ложечки, невообразимо-кружевное . . .

Жить — еще пять минут. И надо — самое главное.

«Букет . . . Самое главное — выкинуть букет . . .» — очень торопилась сказать себе миссис Лори.

В спальне — выхватила букет из-под кружевной груды.

«Ну да, во двор. К нему же во двор, чтобы он . . .»

Она высунулась в окно, размахнулась. Пронеслось совсем близко бредовое геометрическое небо — и черная, вырезанная из качающегося картона фигура на соседнем дворе. Миссис Лори со злостью бросила прямо в лицо ему букет, и услышала — может быть в бреду — такой смешной, детский, хлюпающий плач.

Топнуло тут, рядом; задребезжали верешки стекол; валилось; рушился мир миссис Лори, ложечки, кружевное.

— Бэйли! Бэйли! — разрушенная миссис Лори стремглав летела по лестнице вниз во двор.

Мелькнуло бредовое небо. Мелькнула под забором черная, нелепо-тонкая фигура. И нежные, как у жеребен-

ка, губы раздвинули занавесь на губах миссис Лори. Жить еще минуту.

На асфальте, усеянном угольной пылью, жили минуту, век, в бессмертной малиновой вселенной. В калитку стучали, стучали. Но в далекой малиновой вселенной не было слышно.

— — —

Электрические лампы потухли. Запинаясь лапами в лохматой темноте и раздавливая верешки стекол, мистер Краггс долго бродил по комнатам и звал:

— Лори! Да где же вы, Лори?

Чугунные ступни, ухая, уходили к югу, затихали. Мистер Краггс нашел, наконец, свечку, побежал наверх, в спальню.

И почти следом за ним на пороге явилась миссис Лори.

— Господи! Где вы были? — повернулся на пьедестале мистер Краггс — Цилиндр... понимаете, сбило цилиндр... — Мистер Краггс поднял свечу и раскрыл рот: белый утренний халат миссис Лори — растегнут, и тончайшее белое под ним — изорвано и все в угольной пыли. На ресницах — слезы, а губы...

Занавеси не было.

— Что с вами? Вы... вы не ранены, Лори?

— Да... То-есть нет. О, нет! — засмеялась миссис Лори. — Я только... Выйдите на минутку, я сейчас переоденусь и спущусь в столовую. Кажется, уже все кончилось.

Миссис Лори переоделась, тщательно собрала лепестки с полу, уложила их в конвертик, конвертик — в шкатулку. Чугунные ступни затихли где-то на юге. Все кончилось.

1918.

ЗЕМЛЕМЕР

1.

В расчетах выходила невязка, надо было проверить два-три угла. Землемер пошел в поле — последний раз.

На парах — полын осыпался сухой, желтой пылью. Веял ветер, пел ветер весь день — и душно было еще пуще от ветра. Еле тащил себя землемер на чудных своих мушиных ножках, ботинки дамские — французские каблуки спотыкались о колочь. Угрюмо с вешками шли каликинские мужики, и только Митрий, маляр, не замолкал ни на минуту: все о том же, насчет управляющего Лизаветы Петровны.

— Вот она книжка, да-с, — размахивал Митрий записной книжкой. — И здесь доклад: я это в городе все произошел, да-с. И совершенно очевидно, что господин управляющий продал нам землю вульгарно и неправоподобно. Не такое нынче время, чтобы продавать, да-с . . .

У Митрия правый глаз от паралича прищурен, одна бровь выше, другая ниже — все будто подмигивал, и никак не мог землемер привыкнуть.

На губах у землемера — полынная горечь. Оглядывал — последний раз — желтые одонья хлеба, лиловые чаберные луга, ослепшую от зноя Мечь внизу — и все складывал в заветную шкатулочку: увезти с собою в Москву. И вслух, неожиданно для себя, спросил — должно быть, себя же:

— А Лизавета Петровна — как же?

Маляр Митрий поглядел хитро прищуренным глазом:

— Лизавета Петровна — что ж: никаких закононарушительных пороков мы за нею не знаем. Прогуливает себя с белой собачкой, только и делов . . . да-с . . .

Кипенно-белого Лизаветы Петровны фокса землемер тоже запер в шкатулочку и заковылял дальше. Гумном подходили уже к сыроварне. Тут землемер по воскресеньям читал мужикам про молочное хозяйство и с Лизаветой Петровной вместе, как будто так еще недавно, учил их есть сыр.

У сыроварни стали прощаться. Пожимал землемер шершавые, из сосновой коры руки, схватывало горло — не с ними прощался — слова спотыкались.

— Ну, с п-п-покупкой вас. Л-ли-лихом меня не помянете, худого ничего не сделал?

Невнятно загалдели, все одинаковые — из сосновой коры, только бороды разные: калачем, сосулькой, пасьмом льняным, козьим хвостиком.

Вытолкали вперед калача: круглая, рыже-румяная, как поджареный московский калач, борода.

— ...Ишь вот ребята говорят, насчет мыла ты нас дюже обидел. Неладно это — над людьми изгаляться.

— Какого мыла?

— ...Мы этого самого мыла тогда фунтов пять приели. Желтенное, вонюченное, и глядеть-то гàведно, а ты — народ кормить, а сам с барыней потешаешься.

— Господи, сыр же это, говорил же я! — засмеялся землемер: нельзя было не засмеяться.

И стало от смеха нестерпимо: было согнуто в одну сторону — смех перегнул насильно в другую — и хрустнуло. Почуял землемер: будет смеяться все пуще, махнул рукой — и побежал в дом.Большая, прекрасная, с длинными черными волосами землемерова голова нелепо болталась — чужая мушиным ножкам голова — с трудом нес чужую голову. Мужики сзади гоготали — знал землемер: все над теми же его бабьими полусапожками на высоких каблуках — и сам смеялся все пуще.

Лизавета Петровна была еще у себя, наверху. Землемер один, в угловой бильярдной, укладывал чемодан. Значит, опять — Москва, протабаченная пустая комната, и быть может — уж никогда больше в жизни...

Показалось: потукивание легких шагов в гостиной. Выбежал: никого, пусто. И только где-то легонько в венцах дубовых стен или в красного дерева креслах — поскребывал шашель. Вспомнил, как-то раз бухнулся с размаху в кресло, а ножка-то — кряк: вместо дерева —

внутри уж труха, дым. Нянька Авдевна выметала, ворчала под нос:

— У нас все чуть лепито, а ты эка, батюшка, бякнулся как.

«Все — чуть лепито, — думал землемер, — чуть потяжелее, чем сон. Дохнуть — и нету. И не надо дышать, не надо говорить, называть вслух: пусть — сон . . .»

После обеда сидели с Лизаветой Петровной на балконе — последний раз. Тени от лип быстро длиннели, налегали все тяжелей. Под полом начали точить свои ножички три-четыре сверчка. Всё острей ножички, и в виске бьется все чаще.

— Полем проходил — хлеб-то уже в одоньях ст-стоит . . . — будто бы про хлеб землемер, но Лизевета Петровна — слышала про что.

— Да, вот и конец лету . . . — Помолчала. — Так вы это окончательно решили: завтра?

— О-к-к-кончательно. Да оно, может, и лучше так-то.

— Вы так хорошо знаете, что̀ лучше? — и где-то еще ближе от Лизаветы Петровны, еще чаще заточили сверчки.

Землемер усмехнулся:

— Вернее знаю, что хуже. Вот я нынче с астролябией ходил-ходил, жарища, и про к-к-квас думал: ничего нет на свете лучше квасу. А оказалось: квас — как квас, и даже м-му-ммуха в квасу.

Посвистывал землемер что-то веселенькое. В кармане отыскал ключ, стиснул из всех сил, бородка — острая, так хорошо, что острая, и глаз не отрывал, запоминал навсегда: золотой туман волос, голубые жилочки на висках у Лизаветы Петровны, и всю ее — чуть-лепитую, хрустальную.

Так было все два месяца: посвистывал землемер и будто бы усмехался, и ни разу не сказал вслух. А завтра уедет — и всё.

Лизавета Петровна взяла с полу кипенно-белого фокса Фунтика. Медленно, с закрытыми глазами, тихонько прижимала Фунтика к груди. И так же тихонько стискивала землемерово сердце, было страшно поверить, боялся землемер шелохнуться — рассыпется всё, как сон.

И нет силы молчать. Вскочил землемер, забегал по балкону. Половицы с дырьями, старые, застонали.

— Ли-ллизавета Петровна... — и споткнулся: в какую-то дыру попал высоким каблуком, застрял, не вытащить — засмеялся, вспомнил землемер — бабьи свои полусапожки с пуговками.

Сел в кресло, нарочно положил нога на ногу, чтоб видно было, чтобы больнее, — нагнулся к каблуку.

— Хм, по вашим полям ходючи — каблуки стоптал. На моих французских каблуках — да по колочи.

— Вы другого разговора не придумаете — для сегодняшнего вечера хотя бы? — Лизавета Петровна сбросила Фунтика с колен, встала.

— Ну что же вам? Насчет луны чего-нибудь? Так и на луну туча насела.

Туча была темно-лиловая, узкая и длинная, как язык.

— Язычина-то с неба какой нам высунут, а? — глядел вверх землемер. — То-есть, до чего п-п-подходяще: именно — язычина с неба... — закатывался землемер.

Лизавета Петровна молча ушла в комнаты. Землемер посидел еще один. С пустыря тянул зеленоватый, горький от полыни и от луны, ветер. Сверчки затихали.

На дорожке увидал землемер белого Фунтика. Подозвал к себе — взял на руки. Но оглянулся назад на окна: в окне что-то белело. Скинул Фунтика с дорожки ногой — и пошел прямо, к пустырю.

За ужином говорили о земле, о купчей с каликинцами, о бунтах, о мужичьем царстве. И все землемер смеялся: что-то про Митрия, маляра — и смеялся, опять про язычину с неба — и смеялся.

У буфета стояла нянька Авдевна — разлатая, книзу широченная, как матрешка. Не вытерпела Авдевна землемерова смеха:

— Уж больно ты мнимый об себе человек, погляжу я. И все смеется, и все ему чудно. Ну только Бога не пересмеешь, брат, не-ет!

Но землемер не унимался. И только когда ушла Лизавета Петровна наверх и остался один — затих. Сидел, оплывала свеча. Налево в окне проступало далекое зарево: где-то горела помещичья усадьба. Все по забывчивости взглядывал землемер на стенные часы, и все было на часах половина второго: уж сколько годов часы стояли, и только тихое тиканье грусти, и шашель потукивает в стенах.

2.

Канун второго Спаса, бабы скребли пол, сажали пироги с яблоками в печь. И наверху — тоже, чисто хлебную печь разжарили: так и пыхало пылом вниз. Куры языки повысунули, бродили осовелые. Воробьи трепыхались в золе. Для малярной работы — самое любезное время, и взгромоздился Митрий на крышу к лавочнику Ивану Иванычу: зеленым колером к празднику покрыть железную крышу.

Ясное дело — перед праздником был Митрий немного навеселе и распевал любимую свою песню:

Мине кстили у трактире-кабаке,
Окурнали у виноградном у вине,
Отец крестный — целовальник молодой,
Мамка крестна — винокурова жана...

Сам шершавый и взъерошенный, как воробей драчливый — с воробьями разговаривал Митрий по-товарищески:

— Ну что, братцы, праздник? Эх, и дрызнем! Да-а-с... Ну куда вы, куда? Кши! Ножки в зеленое замараете.

А внизу ребятенки чистили носы, сосредоточенно и подобострастно поглядывали вверх на Митрия.

И случилось — увидал сверху Митрий: бежит по улице Фунтик Лизаветы Петровны, кипенный-белый. Бежит — и все на сторону сбивается: должно быть, еще с той поры привычка осталась, как был у Фунтика хвост, перевешивал на сторону. И замахал Митрий ребятам:

— Держи, держи, братцы! Держи собаку барынину!

Бросили ребята свои носы, растопырили руки, в догонку за Фунтиком — только зола завилась. А Митрий уперся в бока, гогочет и все кому-то правым глазом подмигивает.

Приволокли Фунтика, завозились над ним кучей ребята внизу. И пришло в голову Митрию: устроить потеху.

Спустил вниз на веревке ведро с зеленой краской:

— Курнай его, ребята, чего там! Курнай его в ведро-то, крась!

Выкрасили Фунтика в зеленое — и отпустили. Страшный, слепой, зеленый — как-то Фунтик все-таки дотащился домой и забился в свой уголок в столовой.

А во дворе, перед каретным сараем, закладывали уже

тарантас, приторочивали чемодан землемеров. Землемер — как улыбнулся с утра, как схватился рукою за тяж — так и стоял. А Лизавета Петровна — что-то будто делала, распоряжалась будто. Бегает-бегает и станет: что-то такое не позабыть бы, не упустить, а что — никак вот и не вспомнить.

— Ах, что же я: закусить на дорогу . . . — встренулась Лизавета Петровна и побежала в столовую.

И услышала в столовой жалобный стон в углу: Фунтик — зеленый. Хлынули слезы — за все сразу. Бросилась перед ним на колени, заломила руки:

— Фунтик мой, миленький мой, миленький! За что? Фунтик мой миленький!

Было слышно и во дворе. Спотыкаясь, помчался землемер в дом и увидел: страшного зеленого Фунтика и Лизавету Петровну — в перемазанном зеленой краске белом платье, и слезы — утирать не могла — сыпались слезы на пол, как слепой дождь, на пол.

Забыл землемер обо всем, нагнулся и стал гладить волосы Лизаветы Петровны, закрыл глаза, прижал к себе голову тихонько-тихонько, как вчера — прижимала Фунтика Лизавета Петровна, и такая же боль в сердце.

Ничего не сказала Лизавета Петровна, только минуту еще сильнее молча сыпались слезы на пол. Потом встала и тихо обернулась к землемеру:

— Может быть еще не поздно?

— «Нет! Не поздно!» — хотел закричать землемер. Но увидел: подавала ему Фунтика Лизавета Петровна: это о Фунтике — не поздно. — Может быть и поздно, но я п-п-попробую, — ответил землемер.

Фунтика вымыли бензином, но и бензин не помог: глаз не открыл Фунтик, так к вечеру и помер.

Провозился с Фунтиком землемер — совсем из ума вон про тарантас, про чемоданы. Глянул на часы: сегодня уж и думать было нечего. Конфузливо спрятал от Лизаветы Петровны глаза:

— Я велю от-отложить. Завтра придется ехать. Уж вы м-м-меня простите.

— Прощаю, — улыбнулась Лизавета Петровна. Глаза были заплаканы, но, омытые, сияли, хрусталь был синий.

А землемер — все возжи растерял: ни посвистеть, ни

усмехнуться, сидел в кресле тихий — дохнуть страшно. И только в глазах-колодцах скакали колодезники с красными фонарями, все выскочить норовили наружу, да глубоко: не выскочить.

Все еще не шла Авдевна с самоваром, замешкалась чего-то. И уж хотела сама Лизавета Петровна на кухню идти — как вкатилась Авдевна, без самовара: какой там самовар! Вся была обвислая, невиданная. Упыхалась, охала, приперла дверь спиной и руки растопырила — будто кто гнался за ней — не пускать.

— Приехали . . . — никак не отдышится.

— Кто приехали? — вскочила Лизавета Петровна.

— Да каликинцы наши, кто же еще. О, Господи. говорила тебе — уезжай . . . С телегами, тебя требовают. Что же это будет-то, о Господи!

Твердо ступая ножками на французских каблуках, понес землемер свою — чужую — громадную голову: так рисуют Симеона-мученика с своей головой на руках. И вся в ознобе, кутаясь в шаль, вышла Лизавета Петровна.

Под тихой, зеленоватой луной копошились разные бороды: калачи, сосульки, пасьма льняные, козьи хвостики. Калач выступил вперед, легонько, как ребенка, отвел землемера с дороги и поклонился Лизавете Петровне:

— Уж не прогневайся, Лизавета Петровна: хлеб из амбара выберем, и скотинку там. Никак нельзя: конный по селам ездиит.

— Какой конный?

— Какой-какой, известно какой. Да ты не боись: мы тихо-благородно. Управителя спалим — это уж верно. А насчет чего прочего — тихо-благородно.

Откуда-то вынырнул Митрий, подмигнул глазом, язык у него заплетался:

— Н-никаких закононарушительных . . . жи-жизненных пороков . . . С собачкой . . . И потому: ш-ш-ш! Прошу! Чтоб всё тихо!

В гостиной Авдевна всхлипывала, пихала в корзинку серебряный кофейник, вышиванье, зимние ботики Лизаветы Петровны. Лизавета Петровна подошла к землемеру:

— Ну куда же мы теперь?

От м ы — взмыло землемера, вырос сразу:

— К Устряловым — шестьдесят верст, — вслух считал землемер. — На станции — весь день ждать. А что если в монастырь, в Троекурово?

Это было правильно: к рассвету будут там, и от станции недалеко. Заложили тарантас, бросили корзинку и чемодан землемеров. С гумна шел скрип тележный и гвалт, как с ярмарки. Авдевна утиралась фартуком, прощалась с Лизаветой Петровной, как навсегда.

На повороте Лизавета Петровна оглянулась на дом: в окнах зала медленно двигался подслепый огонек — Авдевна со свечкой. Хоть и тихо-благородно, а кто знает: может, и не увидать больше дома?

— Часы жалко . . . в столовой . . . Хоть они и не ходят . . . — дрожали губы у Лизаветы Петровны. — И Фунтика — жалко. А впрочем . . . — и улыбнулась.

3.

Обедня была праздничная, церковь битком набита. Вчера святили яблоки, еще осталась на клиросе чья-то корзинка с янтарным аркадом: пахло яблоками, воском и новым, не стиранным, ситцем. В нос, однотонно, тонко пели монашки. Два мужика волокли под руку кликушу — причащать. Желтые глаза ввалились, кликуша кликала дико, а рот у нее закрыт, и будто кликал чей-то нечеловечий голос под сводами.

Фунтик зеленый, и бороды под луной, и кликуша, и в монастыре с Лизаветой Петровной вдвоем, как на острове . . . Натянулась тетива в землемере, звенела все выше, и вот еще секунда — и сам завопит в одно с кликушей.

— Я не могу. Выйду . . . — нагнулся землемер к Лизавете Петровне.

Лизавета Петровна, на коленях, молча и упорно о чем-то молилась, должно быть, все о том же, и не сразу услышала землемера.

Кой-как протолкались наружу. В липовой аллее, в тени, полегчало, отпустило. Зачем-то сорвал землемер ветку, поглядел: маленькие липовые орешки, желтые, как воск, восковые цветы — вроде венчальных или смертных.

— А ведь после обедни нам номера обещали, — вспомнил землемер. — Может, освободились уже, пойдемте?

Мать-ключница сидела у гостиницы на каменной скамье, уписывала большую, полтинничную просфору. И сама — просфора: только еще больше, пятипудовая. Белая, бокастая, толстая — как просфора; добродушная, уютная, вкусная — как просфора.

— Ну что, голубки, вернулись? Чаевничать будете?

— Вы нам, матушка, после обедни номера обещали, первый и третий. Уж нельзя ли как-нибудь: уморились очень.

Мать-ключница неторопливо подобрала просфорные крошки, ссыпала в рот.

— Ну уж, красавица, не прогневайся: ране вечера не будет. Уж как-нибудь перемогнитесь до вечера.

Тут только землемер и Лизавета Петровна почуяли, как устали, и ночь бессонную, и все. День плыл мимо, не задевая, как дрёма. В укромном каком-то садике, под бузиной, пили чай с топлеными сливками. Под солнцем, по яростно-белым зубцам монастырской стены расхаживал павлин и кричал пронзительно, но только понимали, что кричал, а слышать — не слышали. Очутились перед какой-то избушкой в длинной очереди богомольцев. Крошечное избяное окошко завешено черным.

— Это куда же очередь?

— Куда-куда . . . — окрысилась на землемера голова в кашемировом платке. — Известно куда: к батюшке, к Стефану Болящему.

Медленно ползла очередь. Вошли в избушку вдвоем. Темно, тусклая лампочка. Чернички в белых косынках, неслышно, мышино суетливые. На огромном, одутлом лице — закрыты глаза у Стефана Болящего.

— Барин с барыней пришли, погляди на них, батюшка, погляди, драгоценненький. Скажи им, батюшка, скажи что-нибудь . . . — суетились чернички.

Стефан сидел в креслице неподвижно: громадная кукла, с прямыми, деревянными руками — ногами. Черничка стала сзади, пальцем подняла ему веки, как Вию. Глаза были неживые, свинцовые, уставились в Лизавету Петровну.

— Будете богаты. Через счастье — будете несчастливы . . . — Помолчал и прибавил неожиданно. — А проживешь сорок пять годов.

Усмехнуться бы землемеру, вспомнилось ему: так га-

дают цыганки. Но уже нашли его свинцовые стефановы глаза, придавили.

— По... покорись... Покорись, говорю! — строго крикнул Стефан.

Хотел землемер сказать: «Уж я, кажется, покорился», да увидел, замкнулись веки, была только громадная неживая кукла...

После всенощной опять пошли в гостиницу. Все на том же месте, на каменной лавочке, сидела мать-просфора.

— Насчет номерков-то? Не позабыла, красавица, нет. А только уж больно нынче народу — труба, терпенья моего нету. Ну пойдем, поглядим.

В прихожей, на стене под лампой, висели ключи, синий чёрт ехал верхом на рыжебородом грешнике. Мать-ключница, не спеша, перебирала ключи. Еще раз перебрала, какой-то ключ вытащила.

— И рада бы, хорошие мои, да нету, сами глядите: только вот и остался один первый номер. Да он у нас большо-ой ведь, две кровати, балкон...

У землемера ухнуло сердце. Взглянул на Лизавету Петровну: она вся до ушей полыхала.

Натянул землемер поводья изо всех сил — и как будто голос был ровный, не дрогнул:

— Ну нету — так нету. Придется, значит, в первый.

— Ну вот и ладно. Пожалуйте, други мои милые, а я самоварчик сейчас принесу... — не спеша, вкусно пела просфора пятипудовая.

Так будто в номере жарко — дышать нечем. Заторопился землемер балкон открыть. Напротив, сквозь липы, дрожал, тухнул в последних лучах золотой крест. По белой стене медленно гулял павлин и поглядывал вверх на облако: было оно длинное, лиловое, по краям — прозолотина.

— Вот — видите — как тут — хорошо — облако... — обрывалась Лизавета Петровна на каждом слове.

Принесла мать-ключница самовар и золоченые кружки: должно быть такие полагались к первому номеру. Взял свою кружку землемер, повертел. На одной стороне был голый старец под древом и подпись: «Ной», а на другой стороне — золотые литеры: «Пьяный проспится, а дурак никогда».

Прочитала вслух — засмеялась Лизавета Петровна,

засмеялся землемер. Вкусно засмеялась просфора пятипудовая, поклонилась, плотно прихлопнула за собой дверь в мир.

От прихлопнутой ли двери, или от чашки с Ноем — напала смехота смертная, отчаянная, до колотья. А брал чашку от Лизаветы Петровны, тронул ее руку землемер — была рука холодная — лед.

— ...Помните, ученица у меня, Устюшка? — задыхалась Лизавета Петровна от нестерпимого смеха. — Все ничего, ничего, а как месяцы начнет считать — так готово: март, апрель, Ной, июнь... Ной — ой — не могу! — и сквозь синий хрусталь проступили слезы, закапали горько-сладкие, частые.

Смотрел землемер, не отрывался.

— Запомнишь, как мы в монастыре пили чай? — очень тихо сказал землемер. Как-то само сказалось: з а - п о м н и ш ь, очень захотелось сказать так.

И сразу от з а п о м н и ш ь утихла Лизавета Петровна, как и не было смеха, сидела, покорно опустив голову.

— Господи, что же это из имения-то никто не едет, что же там? — на лету последний раз ухватилась Лизавета Петровна.

— Поздно уже... — засмеялся землемер и вынул часы. Было еще девять, но знал землемер: поздно уже, все уже решено.

Встал, прошелся взад-вперед, покачался еще секунду на краю — и остановился сзади стула Лизаветы Петровны. Так же, как тогда с Фунтиком, взял в руки ее голову, тихонько-тихонько, и стоял так: страшно дохнуть. Потом опустился на пол, долго, прощально, нежно целовал колени сквозь шелк. Сладко укололся о какую-то булавку в платье. Время прекратилось.

...Может быть, это случилось очень скоро: начали стучать в дверь. Услышал землемер, как во сне: знал, что стучат — но не было сил выпутаться из сна и услышать. И уж когда стал стук совсем оголтелый — оторвал губы от колен, поднял голову: стучат.

Встал, подошел к двери, не своим голосом спросил:

— Кто там?

— Да Господи, да что вы оглохли там, ай спятили? Да я же, Авдевна, ну?

Землемер отпер. Поставил свечку за ширму, нестер-

пимо резала глаза свечка. Вышел на балкон. От белой стены напротив — такая же резь в глазах, как от свечки. Как ни в чем не бывало — разгуливал по стене павлин.

— Митька этот пьяный — все окна вдребезги... — всхлипывала, причитала Авдевна. — От посуды — ни звания не осталось. И кофейник серебряный...

— А часы?

— А часы твои сняли — да на подводу, тащут, а пружины-то бренча-ат... А Митьку уж под руки — насилушки вывели...

Уж будто такое часы эти — не снесла часов Лизавета Петровна: ничком в подушку. А может, совсем и не от часов это — от другого.

Утерлась Авдевна, деловито выпила холодного чаю, опять утерлась — и села, разлатая: с места не сковырнешь.

— Ну, теперь что же, деваться мне некуда, я тут в уголку на ковре лягу. А ты бы, батюшка, на станцию бы ехал. Ничего, ко времю поспеешь.

Вынул часы землемер: да, ко времю. Засмеялся, затрясся весь. Подошел к кровати:

— Ну что ж, Лизавета Петровна, прощайте... — оглянулся на Авдевну: она копошилась, угромащивалась на ковре. Нагнулся землемер к Лизавете Петровне, к уху, дохнул: з а п о м н и ш ь ? — и вышел.

Всю дорогу до станции висел над землемером лиловый с неба язык. Курил землемер папиросу за папиросой. А взглянет вверх на язык — и закатится: у кучера инда мураши по спине, и все пуще настегивал лошадей.

Приехали загодя. В пустом, темном зальце первого класса сидел землемер за круглым клеенчатым столом, а на столе — графинчик с водкой. Пил землемер и все яснее видел себя, каким был бы раздетый: громадная голова — и тоненькие кривые ножки — как паук.

— Тьфу! — сморщился весь. Поглядел графинчик на свет и спросил еще.

Пока буфетчик наливал, землемер подошел к окну — взглянуть последний раз в ту сторону, где была усадьба Лизаветы Петровны. Он увидел: в черном небе вырезаны были огромные, красные, качающиеся ворота — горела усадьба.

1918.

ЗНАМЕНИЕ

1.

Озеро — глубокое, голубое. И у самой воды, на мху изумрудном — белый-кипенный город, зубцы и башни, и золотые кресты, а в воде опрокинулся другой, сказочный городок, белозолотой на изумрудном подносе: Ларивонова пустынь. Поет колокол в сказочном городке, колокол медлительный, негулкий, глубокий, гудит в зеленой глуби. И так хорошо, тихо жить отделенным от мира зеленой глубью: хлебарям в белом подвале послушно месить хлебы; трудникам терпеливо доить коров вечерами; вратарю, старцу Арсюше, собирать даяния у чугунных ворот; постом истомиться на повечериях, заутренях, полунощницах, сложить духовнику немудрёные грехи и всем вместе встретить радостно Красную Пасху.

Так и жили, пока в пустынь не явился брат Селиверст. Вешним вечером на Русальной прибежал он к воротам, запыхавшись. Лик — опаленный; пальцы непокойно перебирают одежду, бегают, теребят.

У чугунных ворот низко поклонился Селиверсту прозорливый старец Арсюша, вратарь:

— С чем, брат, приходишь? С миром ли?

Подпираясь клюкою, долго ждал ответа старец Арсюша. Мохнатый, согбенный — был он, как малый зверь какой-то: встал ласковый зверь на задние лапы, а совсем не выпрямится, сейчас опустится на передние и от мятежных людей в лес убежит.

Не дождался старец ответа, впустил Селиверста и только во след покачал мохнатой головой.

— Попомни, брат, на Страстной-то поется: несытая душа.

Звякнули чугунные ворота, разверзлась перед Селиверстом зеленая глубь: как упал камень — от края до края побежали круги.

Шла всенощная, бедная, будняя. Редкие свечи — цветы папоротника в купальскую ночь; в темном куполе — гулкое аллилуя; мимо светлеющих окон — ласточки с писком, из выси в высь. И там — чуть повыше ласточек — Бог.

Появился высокий, незнаемый монах и стал сзади — перед Владычицей, Ширьшей Небес. Икона древняя, явленная — одни глаза, громадные, да синий покров над землею, как твердь: Ширьшая Небес.

Чудно̀ молился монах: стиснуты губы, стиснуты брови и руки, впился в пресветлый лик, в упор, глазами в глаза. Смущались, колыхались клобуки, оглядывались на нового.

Старец Арсюша не стерпел: надо вступиться за Пречистую, всем сердцем любил Ширьшую Небес. Пал старец на четвереньки — поклон земной. Встал согбенный, заклюкал по каменным плитам прямо к Селивѐрсту — и тихо:

— Ты как же молишься-то, брат, а? Глазами-то пречистую пробуравить хочешь, а?

Не обернулся и глаз не отвел Селиверст от Ширьшей Небес, может, и не слыхал даже старца. Постоял-постоял старец Арсюша, похилилися еще ниже и, подпираясь посохом, заковылял вон из церкви.

Пошли после всенощной шёпоты, зашныряли послушники из кельи в келью, зашушукались с игумновым келейником Варнавой: кто это новый-то? Откуда?

Славился Варнава на всю пустынь кудрями: еженочно мочил волосы крепчайшим чаем для кудреватости — и уж ему ли не знать? Но и Варнава немного знал:

— Звать Селиверстом. Из образованных будто. И откуда — неведомо. А выпросил у отца игумена старую симеонову келью.

Симеонова келья — в угловой башне, в подвале. Жил некогда в келье юрод Симеон, нарицаемый Похабный. Возле каменного ложа вделаны в стену цепи: приковавшись цепями в ложу, заживо отдал себя Симеон на съедение крысам.

Был в келье сумрак, дух трудный. Низко, над самым озером, окошечко, от мира закрещенное решеткой. В миру плыло солнце, а в келье — тень от решетки: ползла по полу, с пола на дверь, потухала на темных сводах. Из углов вылезали во множестве седые симеоновы крысы, шуршали, цапали когтями по камню.

Было от них спасение только в красном кругу лампады, и горела у Селиверста лампада день и ночь.

Из кельи выходил Селиверст только на службу, а пищу трапезник приносил ему сюда, в башню. Вареного ничего не принимал Селиверст, воду — однажды в день, только теплую. Вскорости стал Селиверст бледен лицом и руками — как бледен бывает овощной росток, проросший в погребе. Молча отдавал встречным из братии поклон, и все запахивался, торопился скорее в келью, и долго оглядывались встречные вслед и подмигивали друг дружке.

Вечером, когда были кончены молитвенные труды и старец Арсюша замыкал чугунные пустынские ворота, братия разделялась. Какие помоложе, послушники, годовики — шли на зубчатую стену, рассаживались на увитых повителью кирпичах: не пройдет ли внизу, не проедет ли кто из мирских? Перекинуться словом с запоздалой молодайкой в белом шушуне, вспомянуть несмело мирской смех. А манатейные старцы уходили над озером посидеть. Чуть колыхался в воде белозолотой городок. Затеплялись звезды вверху, внизу — в глуби — тихие свечи. И только бы слушать тихий — сквозь зеленую глубь — колокол и тихое — из глуби — пение.

Но сквозь закрещенное решеткой окошко бередил водяную тишь непокойный красный глаз: лампадка селиверстова. И слышен был из симеоновой башни заглушенный стенами голос: настойчиво, неустанно, дерзостно взывал о чем-то Селиверст.

2.

Игумен Веденей, когда бывал один в покойчике своем, ходил в простом обряде: подрясник и широкий пояс, шитый цветным бисером. А борода седая, от самых глаз — длинная, с зеленью: как царь подводный. Ходил и все бороду поглаживал, и хозяйственно думал о своем царстве.

Хорошо знал Веденей: под зеленый гул пустынских колоколов лениво его людишки живут, и винопийцы есть, и суесловы, а главное — ни в ком огня нет, духом оскудела пустынь. Старец Арсюша? Да и тот обомшал уж, и аки дуб трухлявый: притронуться страшно.

И вот теперь, с высокого своего помоста в церкви, игумен зорким глазом сразу приметил Селиверста:

«Не просто монах молится. Уж не он ли?»

Весна, лето, белая зима: все так же Селиверст молился, жил в крысиной симеоновой башне, вареного не принимал. Но проку обители от него не было: только смута и свара завелась по всей киновии. Вот опять старцы приходили жалиться: хульно, дерзостно молится этот новый, нелеть ему жить в келье Симеона-юрода.

И велел игумен позвать Селиверста.

Снаружи мороз и солнце, а покойчик веденеев жарко натоплен. Потихоньку тукали стены. Молча стоял Селиверст у двери. Заложив руки за пояс, молча прохаживался игумен. Потом взял Селиверста за руку и подвел к написанной на стене картине.

— Вот — смотри и сам найди здесь себя.

Был на стене изображен Змеевидный Блуд: Змий — зеленый, как яспис, стоглавый, и которая глава присосалась к сосцам женщины, которая к прекрасному чреву ее и к рукам и к глазам грешников, улепивших Змия, как мухи. И среди прочих — увидал Селиверст грешника тощего, с выпершими ребрами и разинутым ртом. Змий ввергал в рот ему огненную реку, и все шире тощий разинал рот, без конца поглощая огонь, и была подпись: «алчба».

Тихо, как бы себе, сказал Селиверст:

— Так, отче, алчу я. Огонь меня снедает, невозможного алчу, знамения молю — чтобы поверить, знамения требую . . .

Подошел Веденей ближе. Помолчал. Положил Селиверсту руки на голову:

— Бедное ты мое чадушко, бедное!

Еще помолчал; и стал снова — игумен, хозяин рачительный и строгий. Сверху сурово говорил Селиверсту о его непомерном дерзании, о разоренной тишине, о соблазне малым, грозил сослать на хутор коровником.

Но пригляделся игумен: не здесь Селиверст, не слышит. С той поры махнул на него рукой, и пошло все своим путем.

Белые поля, белые стены и башни: на снегу из снега пустынь, как золотые ласточки — кресты кружат из выси в высь, а над всем — синяя риза Ширьшей Небес.

День ото дня все синее становилась риза, и синее на снегу тень от симеоновой башни, и яростней чирикали воробьи на церковных крышах. Пригнувшись, похаживал старец Арсюша около ворот, приглядывался к ручейкам: какому если мешает навоз — сковырнет прочь клюкой.

— Ну, брат, теки уж, чего там, — ухмыляется мохнатый.

С первыми красными днями потянулись богомольцы к озеру — пустынской благодати принять. Складывали на паперти котомки с хлебом да луком. Отдыхали под прохладными сводами башен, в глухом от зеленой воды гуле колокола. Шли в пещеру затворника Ларивона, где он почивает под спудом. Надевали на себя вытертую ларивонову скуфейку, чтобы в разум войти. Пригубляли щербатую расписную чашечку, чтобы зуб не болел.

— Из такой же, как мы, чашечки пил — батюшка-то наш, — умилялись щербатой чашечке.

На обратном пути, по обычаю, останавливались у чугунных ворот — у старца Арсюши благословиться, и чтоб всякому сказал прозорливец мудрое свое слово.

Но Арсюша недужен. Усталым звереньшем стоял на задних лапах: вот-вот рухнет на передние. Давал богомольцам только общее благословение и улезал обратно в конурку.

Уходили неутоленные, неутешенные.

— Стар стал Арсюша, старехонек. Нету силы досельной.

А нужно подпору, утешенье нужно от горькой жизни, надежду на-про черный день.

И неприметно как-то вышло: стали богомольцы душой к Селиверсту прилегать. Приходилось и от братии слышать: поселился непростой монах в крысиной башне и вареного ничего не ест. «И с нами ни с кем не разговаривает: куда уж ему с нами, грешными...» — говорили которые из братии с усмешкой.

Но усмешка — простым сердцам невдогад, запоминали только: вареного не ест, в башне в крысиной. И сами на службах видывали: глазами — в глаза Ширьшей Небес непрестанно, а лицо у монаха — белизны нездешней.

Росным розовым утром у белой симеоновой башни — на рассвете чуть розовой — становились и ждали: пойдет к заутрене Селиверст.

— Не обессудь, батюшка, на дорожку благослови. Благослови-ко еще: сын у меня болен, ему благословенье снесу.

Бегали у Селиверста пальцы, торопился, запахивался, неловко и стыдливо благословлял:

— Ну, как же это, ну... Я ведь... Ну, Бог благословит. Ну...

Но по-малу привык, уже благословлял уверенней, и смотрел им прямее в глаза. И было у них в глазах такое крепкое, неодолимое, катило на Селиверста, как морская волна, взметывало его вверх, и знал он твердо: невозможное — возможно, и чуял: близко уже, и ничего не было страшно.

3.

В этому году собралось к ларивоновой памяти богомольцев несчетно: уже обежала округу молва — объявился в пустыни новый молитвенник и заступник, и уж будто многим от него была польза. Белым стенам не вместить всех, и еще в субботу выползли из ворот к озеру, гомозились муравьями на изумрудном мху. А подальше, под белыми зубцами, пестрым лугом расцвела ярмарка. Шатры из веретья, и лари, и просто телеги с товаром: гребенки, пряники, красные баклуши. И над всем — ровный говор, стрекот и гул: богатырская пряха, головой выше старых сосен, прядет и прядет, бегут холсты даль-дорогою, стрекочут кросна. И только когда вдарили к обедне — понемногу задремала, затихла пряха, опустела ярмарка, повалил народ к службе.

А служили нынче в старой церкви — еще батюшка Ларивон в ней маливался — бревенчатая и такая какая-то вроде старца Арсюши: ласковая, квелая, к земле пригнулась, затянуло мохом бревна.

В старой церкви — народ плечом к плечу. Огню дышать нечем, — тускли свечи. Ихала, кликала кликуша. Обмирали ребята и бабы. Какую-то в желтом платке понесли вон из церкви: должно быть, тяжела бабочка, совсем сморило. Выволокли бабочку наружу — а и наружи не легче: крутило вихрем пыль и песок, во рту сохло, а колодец далеко.

Как малую песчинку — с утра вихрем подняло Селиверста и несло, ближе и ближе, все мелькало, не слышал, не видел: только одни громадные, вечные глаза, вобравшие в себя скорбь тысяч глаз.

И не приметил, как пронесло чрез всю длинную обедню и выплеснуло с толпою наружу. На паперти по-всегдашнему тянулись с колтышками, тарелочками, горстками. Быстро протащило мимо, и куда-то все дальше послушно плыл Селиверст над пестрыми платочками, черными, ржаными, рыжими кудлами.

Недалеко от симеоновой башни — как споткнулась — стала толпа, раздалась — и Селиверст один. На траве стояли носилки, и на них — восковое лицо в белой косынке; рядом какого-то с запрокинутой головой держали под руки двое. Тишина, и сотни глаз — на него, Селиверста.

Понял Селиверст, затрясло всего. Нагнуться к белой косынке, наложить руки . . .

«А вдруг — и правда?»

Тишина нестерпимая. Било Селиверста так, что и пальцы не мог сложить для благословения. Махнул рукой — и запахивая ряску, путаясь в полах, побежал к себе в келью.

Расступились — тотчас замкнулись опять и со стоном, тесно двинулись за ним. Кого-то с запрокинутой головой вели под руки, хлопала по ветру хоругвь, вихрило пыль — и все неистовей крики:

— Батюшка! Кормилец! Заступи! Мы ведь знаем!

Сохло во рту, жаждали, молили. Но окованная, с ржавым кольцом, дверь в симеонову башню не открывалась на стук.

Пошли к покоям игумена Веденея, шумели морем внизу — доплескивало вверх, в тихий покойчик. Вышел на балкон Веденей — как захватили, по-домашнему, в полукафтанье с шитым поясом. Говорил Веденей, но ветром

разметывало седую бороду, развевало слова, и не слышали всех его слов, спокойных и вразумительных, а только кто-то поймал одно:

— Ждите...

И все ухватились, от головы к голове побежало: ждите. Уверились, затихли и ждали. И вся пустынь ждала. Попрятались по кельям. Послушники шмыгали из двери в дверь. Перешептывались с усмешкой, но на сердце скребло: а вдруг? И как же тогда жить? В покойчике своем Веденей места не находил: все взад и вперед.

К вечеру выполз из конурки своей старец Арсюша — крохотный, в аршинчик, согбенный, заклюкал к ларивоновой церкви. Пал на четвереньки: поклон земной старой церкви. Потом на глазах у всех подошел, снял клобук, облобызал замшенные темные бревна, еще раз поклонился низко — и заковылял назад в свою конурку у чугунных ворот. И увидели: плакал старец Арсюша, похлипывал носом, кулачком по-ребячьи утирал глаза.

Тягота налегла, растревожил Арсюша:

— К чему плакал старец? К чему знамение?

Повалили за ворота к старцу. Стоял у конурки своей и потряхивал Арсюша кошелем из старой парчи: кошель на длинной насадке, в кошеле медный колоколец — позванивал колоколец жалобно. Плакал старец Арсюша и всех спрашивал:

— Православные, кто со мной завтра в Ерусалим? Прощайте, православные! Кто со мной?

Никто не разумел старца. Шли, смятенные, к озеру в становище. Пылал над озером в лютой лихоманке закат. Ветер вихрил пыль и песок, и далеко по дороге вставали темные путники, головою до неба, медленно наступали на пустынь. Миг — и нет, и только выметенное ветром пустое небо.

4.

Стемнело, по лугу заполыхали костры. Пламя кланялось, кидалось. Где выхватит в багровом пятне руку и ложку над котелком; где кудлатую голову и губы трубочкой — дуют на уголья изо всех сил; где тележное колесо, и привязан пес к колесу.

Колокольня отмеривала медленные медные ленты — часы. Все вздыхали, поднимали головы с котомок, пере-

шептывались. Всю ночь не смыкала глаз красная лампадка над озером. И не спал старец Арсюша всю ночь: непокойным, учуявшим зверем бродил между белых стен, мотал мохнатой головой и всхлипывал.

Только один старец Арсюша и увидел начало: ни с того — ни с сего осветился сенный сарай, все ярче — и заполыхало во всю.

Сразу — странный красный день, как день последнего судилища. Четкие переплеты окон, огненные голуби над крышей, красная борода Веденея, чья-то запрокинутая назад голова. Неслись лица с красными зрачками, все путалось и мигало, как сон.

— Братцы, к озеру — цепью, цепью стань!

Зазвякали по цепи ведра — да ветер разве зальешь? Бил, гудел, сеял огненное семя — секунду цвели жадные жаркие цветы — и опадали в тьму. А быстрые бесенята суетятся уже в соседнем корпусе, и только сверкают и свиристят их востренькие розовые язычки.

— Батюшки мои, к церкви идет! Сейчас займется!

— Церковь сейчас . . . Ларивонова!

Как старец Арсюша, тихая и покорная ждала церковь, моргала от огня стеклами. Мело ветром огонь прямо на трухлые деревянные стены, и уж сил не было стоять возле — сейчас . . .

Кто-то крикнул осипшим, отчаянным голосом:

— Селиверст! За Селиверстом! Где он?

Был Селиверст здесь, в самой гуще. И опять, как тогда после обедни, раздалась толпа Чермным морем — и Селиверст один, тишина, и тысяча глаз жадно на него.

— Ведра-то . . . Ведрами-то . . . Братцы . . . — крикнул игумен Веденей, слабея. Но ни одна рука не поднялась, не звякнуло ни одно ведро.

Услышал себя Селиверст — сказал, не обертываясь назад, внятно и твердо:

— Икону мне.

С Ширьшей Небес в руках — ступил вперед, прислонился спиной к старенькой церкви, против воющей огненной стены. Ветер в лицо жег и палил.

Последний раз оглянулся Селиверст: обступили кругом глаза. Зачерпнул оттуда — из глаз, неистовая волна хлестнула снизу, от сердца — к рукам. В страшной тишине, всего себя стиснув, сотрясаясь от нестерпимой си-

лы, Селиверст медленно поднял икону над огнем вверх, и потом — вниз, влево и вправо.

И показалось: так же медленно качнулся красный язык перед ним — вверх, вниз, влево и вправо — и затрещал, закурился.

Встали дыбом волосы на голове, прислушался Селиверст назад: может быть — спасут, может быть — скажут, что . . .

Сзади себя услышал Селиверст стоголосый гул, и свое имя, и рыдания, и крики.

5.

Через силу добрел к себе, запер задвижку — и как был в рясе, в клобуке — ничком на холодное ложе юрода Симеона. Негасимый огонь в лампадке загас. Был мрак в келье, цапали по камню крысы. Была пустота и усталость неизмеримая.

Одной рукой он попал на симеоновы железá: вдавил руку в железный браслет всей тяжестью тела — но не мог вынуть руку. Была она в Бог знает какой дали, и громадная, чудище: невероятно шевельнуть ею.

Почуял Селиверст: весь он — такой же — громадный, наполняющий вселенную. И в то же время — муравьино-крошечный: видел себя все из той же дали, как сквозь перевернутую не тем концом подзорную трубу — себя и крошечное окошко, а в окошке — закрещенная решеткой крошечная заря.

Тут же, рядом, увидел другого себя и другую зарю. Вырезаны узоры балконной решетки на розовом, между решеткой и зарей — черные клобуки сосен, а рядом на ковре — она, та самая, единственная. Совершилось для него первое в жизни, величайшее чудо: и сразу же потухло, пусто. Вот встать потихоньку, чтобы не разбудить ее, и с балкона головою вниз — мимо черных монашенок-сосен . . .

Все светлее крошечное окошко, и уж совсем где-то близко, по каменному ложу, цапают крысы. Шевельнул Селиверст горами-руками, поднялся, пошел к свету, положил голову на каменный подоконник. Заря прогорела. И выметенное ветром — такое было синее, пустое и страшное небо.

Ранней обедни в это утро не было. Разбрелись кто куда: кто прикорнул тут же на паперти, кто поплелся над озером посидеть. Озеро было ясное, светлое, и как на ладони — в зеленой глуби были видны белые стены.

И рассказывали потом — многие будто самолично видели: прогорела заря — высокий монах вышел из пустыни и быстрым шагом пошел прямо в озеро. Вода перед ним расступилась, и явственно был слышен негулкий звон в глуби. А следом выкатилось что-то мохнатенькое из чугунных ворот — не то зверь какой, не то человек — и за высоким монахом юркнуло в воду. В братии же шел слух: нашли в симеоновой башне загрызенное крысами тело, и потому-де наглухо замурован вход в башню Симеона-юрода.

Так ли, нет ли, а только после пожара в Ларивоновой пустыни и Селиверст пропал, и прозорливый старец Арсюша. Но попрежнему чуть колыхается в воде белозолотой городок на изумрудном подносе, и по вечернему небу чертят ласточки с писком из выси в высь.

1918.

СПОДРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ

Глубь, черно, лохмато: лог, в логу — лес. Сквозь черное — высоко над головой монастырские белые стены с зубцами, над зубцами — звезды. И слышно: там под стеной сторож в доску тукает.

У сторожа у этого — ключ от монастырских ворот: Сикидину через Дуняшку-просвирню очень хорошо все известно. Только бы теперь этот самый ключ как-нибудь — и ночным бытом так бы все оборудовали тихо-благородно. Ведь днем если — так беспокойства, крику не оберешься . . .

И назад, в темь, Сикидин очень строго:

— Чтоб физически зря не бить и не лезть дуром, а все — согласно постановленью . . . — По шёпоту слышно: брови у Сикидина насуплены, а самого не видать — одни в темноте зубы.

Покамест еще в селе на сходе кулижились, приговор писали, солдат Сикидин так, на запятках был: главный, конечно, Зиновей Лукич, язычных дел мастер. Ну, а теперь, как до дела дошло, тут как-то само собой, что Сикидин — главнокомандующий, и перед ним ожимается Зиновей Лукич, а уж про старика Онисима и говорить нечего: на всякое слово сикидинское — ротик оником, и все свое — «О? . . . Во-от!»

Взобрались кверху, к зубцам. И вот у стены костерок красный, у костра — красная собака, вниз-вверх, мигнет-потухнет, и красный мужик — обхватил колени, в коленях ружье.

— Господе Исусе Христе, Сыне Божий . . . — на бочок желтая головка зиновей-лукичева, и уж такой будто пригорбый, такой прихворый. — К матушке игуменье мы, насчет, стало быть, этого . . . дровец . . . Да вот припоздали . . . Ну-ну-ну, собачка! Да Господь с тобой, собачка, что ты, что ты, собачка?

— Цыц, Белка, сядь!

На ошейнике — красная сторожева рука. Рука — шестипалая, шестой палец на отлете, упорный и твердый — кочетиная шпора, и мельтешатся в красном свете, туттам мигают, торопятся желтые зиновей-лукичевы ручки, вокруг сторожа, Белки — паутину плетут: тоненькая — и не видать глазом.

Про какую-то собаку генеральскую, про Серафима Саровского. Напакостила собака на паперти, а он, батюшка, жезлом своим святительским тут же на паперти ее и прогвоздил. А вот тоже в Нил-Столбенском скиту кобель причастие проглотил, и в ту пору ж у кобеля — морда человечья, и говорит кобель тот самый . . .

Обметало паутиной. Кочетиный палец не шевелится; Белка морду положила на передние лапы, глаза зажмурила . . .

— Пойти хворосту, что ли, подкинуть . . . — потянулся Сикидин, встал лениво. Исподлобья желтым глазом проводила его Белка и исподлобья — Зиновей Лукич.

— И говорит кобель тот самый: правосла . . . православные . . .

Зашелся дух у Зиновей Лукича: «Владычица . . . Споручница грешных, помоги!» Увидал сзади над сторожем сикидинские зубы.

Раз! — сверкнули зубы — глухо мукнул, как бык, сторож — и на земле, с сикидинским гарусным шарфом во рту.

Взвизгнула, взвилась Белка — Сикидина в руку. Ткнул Сикидин ножом, вытер об траву, затихла Белка.

Из лога вылез месяц, посинелый, тоненький, будто на одном снятом молоке рос. Вылез — и скорее вверх по ниточке — от греха подальше, и на самом верхотурье ножки поджал.

Чтоб невдогад монашкам, чтоб дрыхли спокойно — старика Онисима оставили наверху со стукушкой, в доску стукал старик потихоньку. А сами возились со сторожем — в логу.

Умаялись с ним, окаянным, беда! Одно напретил: «Был — говорит, — ключ на поясу, сами же сронили, как сверху-то сюда волокли».

Бумагу ему предъявили.

— Ну, гляди. Вот . . . «И все денежные финансы мо-

настыря во имя Пресвятыя Богородицы Сподручницы грешных — единогласно в пользу крестьян села Манаенок . . .» Согласно бумаге! Понял? Давай ключ!

Молчит. Тут за него по-свойски Сикидин взялся: физически в хряпало в самое — вот как ублаговолил. Молчит. Тьфу!

— А пес его знает, и не врет, может? — и на карачках пополз по кустам Сикидин: ключ искать. Как же: ищи ветра в поле!

Зленный вернулся Сикидин: не подходи. Ножик вынул, откромсал ломоть от краюхи, жует, а сам — все на сторожа: чёрт шестипалый! Придется теперь из-за него . . . днем все . . .

Тишь. Ничего, будто и не было. У ворот монастырских в доску бьет старик Онисим. И только вот Белка не брешет, да рука у Сикидина тряпкой замотана: от белкиных зубов след.

Вдруг ухмыльнулся Сикидин — зубы, как у Белки — и к сторожу:

— Ну-ка ты — вместо Белки твоей покойной! Ну, бреши, говорю!

Ножичек приставил к кочетиной шее. Сторожева лица за Сикидиным не видать — только руки на животе скручены и мечется шестой палец все пуще, все пуще.

— Вре-ешь! У меня, брат, забрешешь!

Взял Сикидин ножом чуть покрепче. Икнул, булькнул сторож — и залаял. Еще — и уж звонче, чище собачий лай.

Носом шел смех у Зиновея Лукича — неслышно, как из проткнутого пузыря дух. Онисим прибежал сверху — глаза младенческие, ротик оником:

— О-о? Во-от! Ну, шуты гороховые! А я думал — и верно, с собакой кто . . . — Захлебнулся весело, по-ребячьи, глаза младенческие, чистые. — Ну-ка, ну-ка, еще!

Но Сикидин уж бросил нож, и сторож лежит молча. Чуть шевелится шестой кочетиный палец.

Торопится месяц, все выше чуть видать уж. Зеленеют черные листья. Заря — как скирды в сухмень горит, ровным огнем. День будет благодатный, тихий.

Но что будет в этот тихий, благодатный день?

— — —

У матери Нафанаилы, игуменьи, прежде домишко был — тут же в уезде. Родила в миру девять детей, все дочери, и все — в мать: маленькие, синеглазые, вперевалочку — как уточки-водоплавки. Без мужа подняла девятерых на ноги, и вот — старших уж замуж выдавать, и вот — будут внучата, свеженькие, крепенькие, как грибки: то-то будет визгу, то-то веселья!

Силы надо девочкам, откармливала: мастерица была, какие крупенники стряпала, какие перебяки из солода.

— Ешьте, девочки, больше соку запасайте, наше дело женское, трудное.

А было однажды кушанье — сомовина заливная со льдом. А был год — холерный. Заболели все девять — в неделю, как вымело: одна в доме.

Ушла в монастырь, и теперь — девяносто дочерей у Нафанаилы. Усохла вся, черненькая, маленькая — жихморозь, а ходит все так же: вперевалочку; старушечий рот корытцем, а глаза — прежние: большие, синие, ясные. Дерево, бывает, почернело, скрючилось, а весной отрыгнет какая-то ветка одна — зеленая, и всему дереву глаз радуется.

Любила мать Нафанаила весну, капель, черные прозоры земли сквозь снег. А уж как выбьются лысые головенки первых трав, да повылезут из-под камней склеенные задиками красные козявы с нарисованными на спине глупыми мордами, да зазвенит звон пасхальный . . .

— В лес — девчонки, такие-сякие, сейчас чтобы в лес — цветы собирать! Весна — время самое ваше. Пошли вон! — и ногами будто затопает.

Много из манаенского монастыря замуж выходило. И так рожали ребят немало: старушечьи корытцем губы корили, а ясные глаза смеялись.

И все девяносто дочерей — в матери Нафанаиле души не чаяли, уж так ее берегли, а вот нынче . . .

— Батюшки мои, как же это теперь ей сказать-то: сторож пропал — куда, неизвестно, и с собакой Белкой. Расквелится, расстроится матушка, а день такой . . .

День такой: Ангел нынче матери Нафанаилы.

К казначее за советом. Казначея Катерина — мужик-баба: жилистая, бровястая, и уж даст совет — как замком замкнет и припечатает.

— Завтра успеется, а нынче об стороже — чтобы никто не пикнул, — порешила казначея.

И пошел день своим чередом. Пахло яствами из подвала под трапезной. Колоба на сметане, пироги с молочной капустой, блинцы пшенные: девочек своих угощала нынче игуменья. К поздней обедне звонили по праздничному — в большой колокол. Монашенки в новых рясах, все больше румяные, нажми — сок брызнет, из-под черного — груди, как ни прячь, упрямые прут.

— Эх, родименькие! — зарился на монашек Сикидин, зубы разгорались, росли.

Сторонних богомольцев в церкви — всего никого, и только странников пяток да манаенских трое: Сикидин, Зиновей Лукич да старик Онисим.

Зато на чудотворной иконе — Сподручнице грешных — народу несчетно: и все к ней — головы и руки, а она глядит на всех ласково, глаза синие, ясные.

— Сподручница . . . Владычица, выручи, помоги . . . — головку на бочок, уж такой пригорбый, уж такой хворый перед Владычицей стоял Зиновей Лукич . . .

Душатка-просвирница вынесла игуменье именинную просвиру трехфунтовую. Освободилась — и за дверь. И оглядываясь — по каменной плитяной тропинке побежала на кладбище влево. Погодя немного вышел и Сикидин из церкви.

Липы растомились, дышат часто. К духу медвяному пчелы так и льнут. На теплой могильной плите — Сикидин с Душаткой. И уж Душатка расслабла вся, руки распустились, и только одно на свете: сикидинская лапа на правой груди.

— Так ты гляди, Душатка, чтоб без обману. Как после трапезы заснут, ты нас коридором, через корпус, в покой к ней, а сама — ноги за пояс, и марш. А ночью тебя на поляне — буду ждать, бесповоротно.

— Ванюшка, только Христа ради, чтоб беспокойства какого ей не было!

— Дура! Мы — деликатно, согласно постановлению.

Только одно на свете: сикидинская жестокая лапа на правой груди . . .

После обедни в покоях матери Нафанаилы шумели гости: причт из Манаенок, из Крутого, из Яблонова. Уточкой-водоплавкой переваливалась, хлопотала хозяйка, су-

хонькая, черненькая. А глаза — как отрыгнувшая весенняя ветка: ясные, синие...

Дьякон крутовский — дочь Ноночку замуж выдал: уж так радовалась Нафанаила, так распрашивала обо всем:

— Ну, а платье-то какое венчальное?

— А платье — кисейное, белое. Вот тут вот — вставка, а тут — бары кругом.

— Ну слава Богу, слава Богу! А музыка-то была?

— Ну, музыка у нас какая же! Так, два жида в три ряда.

— Ну, слава Богу, слава Богу! Блинчиков-то еще, а?

Радостно, а все-таки уходилась Нафанаила с гостями. И как ушли — Катерину-казначею отпустила, штору задернула и на диван прилегла. Штора желтая, позолочено все в комнате, веселое: посуда в горке позолочена, просвира трехфунтовая, и по окнам — в вазах медвяные липовые ветки и купавки и лютики.

А только глаза завела — все девять дочерей тут тоже — на именины, веселые такие.

— А музыка-то у вас есть там, милые вы мои?

— Ну, как же, обязательно... — и пошли притопывать, и все громче, сапоги-то у них там носят какие здоровые, вот не думала!

Раскрыла Нафанаилы глаза: у притолки мужиков трое топчутся.

— И как же это я крепко так? Поди, в дверь Катерина стучала, а я — ничегошеньки...

Вскочила, поправилась — и к мужикам вперевалочку:

— Как будто манаенские, а?

— Манаенские, конечно. И прибыли к вам согласно постановлению.

— Родимые мои, вот уж нынче для меня радости сколько! Уж вот спасибо-то! И вы попомнили — почтили меня, старуху. А у меня и пирог именинный остался, и все. Ну. сейчас, сейчас...

И уточкой-водоплавкой в соседнюю комнату, зазвенела тарелками.

У старика Онисима — ротик оником:

— Ска-жжи ты на милость! Вот так попали!

Слыхать было явственно: нож проходил мягкое, легонько тукал в тарелку — резал пирог ломтями.

Зубы у Сикидина посверкивали, глаза упрятал в картуз — картуз в руках:

— Что ж, мы с утра не емши. Но только уж, чтобы потом — никаких привилегий, бесповоротно.

Игуменья тащила поднос: пирог, графин с висантом, карпятины жареной кус.

— Ну, милые вы мои, уж так вы меня... Ангела моего вспомнили, а? Ну, вот тут, вот тут. А ты бы, старичок, в кресло. Ну-ка, на здоровье? И я с вами.

— — —

Со сторожем окаянным всю ночь провозились манаенские. А висант к именинам — хороший, крепкий: по костям пошло, в темя вдарило. Все свирепей рвал пирог волчьими зубами Сикидин. Все пуще голова на бочок у Зиновея Лукича.

Еще стаканчик — и заколотил себя в грудь Зиновей Лукич.

— Матушка, грешник я, вот передо всеми говорю... Как мясоедом я третий раз женился, на молоденькой... Опять же — телка у меня с ящуром... Но как Она, Матерь Божия, значит, Сподручница грешных — обязана она выручить нас из положения. Хотя-хоть и грешник я, и телка... но как мы, значит, для обчества, а не для себя... Верно я говорю, Сикидин? А?

Стукнули в дверь: мать-казначея. Шаги крепкие, мужичьи. На манаенских повела бровями:

«Пронюхали пирог мужичишки, влезли. Хоть бы какой час ей покою дали!»

— Катеринушка, уж ты бы еще нам висанту — уж день такой. Сделай милость, вон в горке ключи от погреба.

Ну, либо сейчас, пока в погреб ходит, либо — все — прахом...

Встал Сикидин, лоб нагнул: бык брухучий. Руками об стол оперся, правая — тряпкой замотана.

— Батюшка мой, это что же у тебя рука-то? Дай, я тебе чистенькой завяжу, а то еще болеть прикинется...

Поднял руку Сикидин. На игуменью — на руку — запнулся...

А тут как раз и Онисим покончил. От висанту красный, и еще белей волосы ребяче-стариковские.

Крякнул, утерся — и поклон поясной:

— Ну, матушка, на угощеньи спасибо. Уж вот как — по сих пор! А уж пирог — ну . . .

Игуменья свечкой так и затеплилась. Господи, то-то нынче день хорош! А Сикидин — столб-столбом, на языке — грузило свинцовое. Да как зубами скрипнет — и в дверь пулей.

— Да чего же вы, погодите! Уж вот она — Катерина, ключами гремит . . .

Куда там годить: по лестнице прогромыхали. По теплым плитам под липами шлепают . . .

В логу у телеги чистили Онисима-старика:

— Ах ты, дурак полоротый! Ах, орясина! «Спа-си-ибо, матушка!» Как уговорено было, а? Кабы молчал, глядишь все бы . . . «Спаси-ибо, матушка!»

— А вы, коли меня умней, вы бы давиша об деле с ней говорили. А вы — что? А-а, то-то и оно-то!

На телеге Сикидин гòрился:

— И как нам теперь нашим, манаенским, сказать? Конешно, были обстоятельства вразрез наших ожиданий. А только срамота, ей-Богу. Уж надо какое-нибудь этакое сказуемое придумать, а то разве про это выговорить: «Спаси-ибо, матушка!»

А сам кнутовищем по лошади, по лошади, чисто не лошадь это, а дед Онисим.

Ну, ничего: еще семь верст ехать. Авось и придумают сказуемое.

1918.

СЕВЕР

Происходит так: солнце летит все медленнее, медленнее, повисло неподвижно. И все стоит закованное, залитое навек в зеленоватое стекло. Недалеко от берега на черном камне чайка распластала крылья, присела для взлета — и всегда будет сидеть на черном камне. Над трубой салогрейного завода закаленел, повис клубок дыма. Белоголовый мальчик-зуёк перегнулся через борт сполоснуть руки в воде — остался, застыл.

Минуту все стоит стеклянное — эта минута — ночь. И вот, чуть приметно шевельнулось солнце. Напружилось — еще чуть — стронуло, и все — вдребезги: брызнули в море разноцветные верешки; чайка оторвалась от камня, и откуда-то их сразу сотни розовых, пронзительных; оранжевый дым летит, белоголовый зуёк испуганно вынырнул из дяденьких сапог — и скорей за работу.

День в полном ходу. И тут сверху, из собственной конторы спускается в лавку хозяин, Кортома, веселый, дымит коротенькой трубочкой, скулы медно сияют.

Жёнки из становища пришли к Кортоме за мукой, за солью. Сам, собственноручно, всякой записывает долг в зелененькую книжку: все тут — у Кортомы в зелененькой книжке. И милостиво королюет Кортома, милостиво шутит с жёнками.

— Эй ты, холмогорка, чего у тебя за пазухой-то напхато? Вот ведь только чуть отвернись . . . Ничего, говоришь? А ну, дай-ко-сь . . .

У холмогорки грудь — горячая, ёрзкая. И вот никак Кортома не вспомнит: была ли, нет ли у него наверху, в собственной конторе? На всякий случай ставит Кортома в книжечке метку: букву Н.

В углу холмогорка — вся кумач — застегивает кумачевую кофту. Бабка Матрена-Плясея, широкая, теплая

— русская печь-мать, помогает холмогорке, уговаривает ее, как дите:

— Молчи-молчи, ш-ш... Ведь все на местях осталось, ну? Чего южишь мухой?

Бабке Матрене товар выдается без записи: с бабкой Матреной у Кортомы свои, особые счеты...

— — —

На столе в конторе — самовар: скуластый, руки в боки — кирпичем натерт — сияет. В сияющем самоварном брюхе — по-своему, самоварному, приплюснуто, перевернуто — отражен весь мир. И на своем самоварном языке — самовар, несомненно, мыслит:

«Мир — мой. Мир — во мне. И что бы без меня стал делать мир?»

Самовар милостиво ухмыляется миру...

Перед самоваром — Кортома. Кортома в самоваре — как в зеркале: приплюснутый, широкоскулый, медно-добродушный. Самовар в Кортоме — как в зеркале: рыластый, веселый бьет день и ночь белым ключом, попыхивает белым дымком.

Самовар благодетельствует Кортому чаем. Кортома проводит долги по бухгалтерским книгам. Счета у Кортомы — в строгом порядке, не как-нибудь, а по тройной бухгалтерии:

— Пора жить согласно западно-европейским народам, — такая есть у Кортомы поговорка.

В синем вязаном тельнике Кортоме жарко, пот градом. Вытаскивает из штанов батистовый носовой платочек, завернутый в газетную бумагу (в кармане грязно), вытирает медные скулы, опорожняет двумя пальцами нос, потом — батистовым платочком, и вновь аккуратно завернут батистовый платочек в газетную бумагу.

Против одной фамилии в дебете Кортома ставит букву Н, подумавши, скащивает со счета один рубль — и милостиво ухмыляется миру.

Сзади почтительно дожидается приказчик, Иван Скитский — из скитов беглый. Голова не на плечах, как у всех, а в плечи закопана — выглядывает мышью, из норы:

— Степка-зуёк в чану заснул... Потеха! Пожалуйте поглядеть...

— О? Ну, пусть подождут: я — сейчас.

Зуёк Степка, наживодчик, наживлял снасти всю ночь — и вот скапутился, всё бросил, залез в дырявый салогрейный чан на берегу, и на корточках — одни сапоги дяденькины да голова льняная — похрапывал. Собрались со всего берега к чану. Кликали — не слыхал Степка, жеребцами ржали — не слыхал Степка: в чану на корточках похрапывал.

Приказчик Иван Скитский, прикрыл чан досками, пригнёл пудовыми гирями, угромоздился сверху — и пошла потеха.

— Давай, ребята!

Стали, как на пожаре, цепью, ведро за ведром по цепи — и в чан, где Степка. Степка вскочил, ткнулся: в клетке, и вода хлобыщет, и ничего не понять спросонья.

Заколотился, заревел лихоматно:

— О, батюшки, где я? Ой, дяденька! Ой, пустите!

А дяденька Марей — тут, сзади. Такой же льняноволосый, как Степка, и Бог его знает, много ли старше Степки. Саженный, плечистый, а глаза — ребячьи, синие — на чаек разинул: вот первый раз в жизни увидел чаек.

Уже перестал звать Степка и чуть слышно скулил по-щенячьи через нос: тут только Марей услышал. Залился красным — уши красные, шея красная — плечами, локтями пропахал сквозь народ, выхватил ведро у приказчика, гири с досок долой.

Приказчик ощерился:

— Ты что? Вежливец тоже нашелся! Твое какое дело? Видишь — хозяин тут? Ну — стало быть, и знай свое место . . .

И плюхнул еще ведро в чан — на Степку, на марееву, нагнутую над чаном голову.

Одной рукой Марей выхватил из чана Степку — мокрый, как щенок трясся — другой рукой Ивана Скитского за ноги да в чан.

Здоровые зубастые рты рыгают смехом. Кортома сияет добродушно-медно, в чану — фырк, визг.

Приказчик, Иван Скитский, выцарапался. Льют ручьи. Облепленный щуплый — щерится снизу на Марея беззубыми деснами — и вот сейчас кинется . . .

— Звездани его, Ванька! Ну-ка?

Иван Скитский поднял кулак, поглядел на саженные мареевы плечи — опустил кулак.

— Погоди-и! Ла-адно! Удружу, дай-ка! — нырнул в свою норь — в плечи, нырнул между ног в толпу.

Представление кончено. Нехотя расходятся по местам: пластать треску, набивать корзины тресковой печенью, на спине носить на салогрейню к Кортоме.

Кортома перед уходом сунул двугривенный мокрому, хныкающему Степке — и на своем, самоварном, языке мыслит:

«Доволен, поди, мальчонка: двугривенные-то не каждый день . . .»

— — —

Неизвестно когда — а только проглотил кит пророка Иону. А с неба голос говорит:

— Не смей пророком питаться! Выплюнь обратно!

И опять добычу искать неохота, а ослушаться боязно. Три дня годил кит — на четвертый день выплюнул Иону. И в награду за послушание определёно было киту жить бессмертно.

И живет. Страшный, громадный стал, вся спина от старости заросла мохом, кустищами. И никто не трогал: всем известно — тот самый это кит Ионыч, какому определено жить бессмертно.

А только нашелся такой отчаянный русский китобой — пустил в спину гарпун. Как обернется кит — ам! — и проглотил шкуну со всей командой. И по сю пору живет команда во чреве китовом и грех отмаливает. Кто если замолит грех — того кит выкинет, и пойдет выкинутый, где-нибудь в лесах скрытником поселится: мудрый — из чрева китова. Молится, радуется летнему незаходящему солнцу, радуется зимней ночи незаходящей, радуется грешным и праведным, радуется смерти — когда смерть придет . . .

За становищем, где дороги расходятся вправо и влево, на самом разулочьи — развалюшка-часовня; возле часовни — землянка, в землянке — старец Иван Романыч; может сто годов ему, может — двести.

Выполз из землянки, стоит — козырьком руку к глазам, капельный, ряска зелененькая, в руках — шапка-мурмолка, на голове — пушок белый: дунь — облетит, как одуванчик.

Заря. На кончиках зеленых сосновых игол — росины, в росинах розовые и зеленые огоньки. Слава Богу: заря! Солнце все выше, небо синее. На синем — две желтых бабочки-крушинницы кружатся одна около другой, склеились, полетели — одно.

Из-под руки глядит старец Иван Романыч и улыбается: слава Богу . . .

— — —

Еще мальчишкой Марей был вроде Степки, еще Марюшкой его кликали. И вышло с ним происшествие.

Сидел Марюшка над Тунежмой, ловил рыбу на поддев. Шумела, бежала Тунежма по острым камням, баюкала, старинки сказывала. И заслушался ли, засмотрелся ли — а только ухнул в воду мальчишка. Пришла мать звать обедать, а от Марюшки только и осталось: уда над водой в камушках заткнута.

— Ой, батюшки, ой, утоп Марюшка, в омут утянуло!

Прибежали, вытащили: синий. Ну, все- таки откачали кой-как, отживел. А только балухманный какой-то стал, все один, и глядит — не глядит, не на тебя — мимо, и кто его знает, что видит.

Повела мать-покойница Марея к старцу Ивану Романычу.

— Батюшка, Иван Романыч, что мне с ним делать? Приговори, присоветуй. Вовсе некулёмый малый растет . . .

— Ну и слава Богу . . .

Стоит Иван Романыч капельный, в руках шапка-мурмолка, приложил руку к глазам.

— Был, мать, твой младенец на том свете, а вот откачали — и позабыл, вспомнить бы — а не может. Ничего-о, вспомнит! Иди, мать, с Богом . . .

И по сю пору любимое мареево место — где мальчишкой топ: под камнем, над белокипенной Тунежмой.

Уж, должно быть, давно дергала рыба, уда гнулась дугой. Марей не слышал, все о чем-то о своем. И давно с того берега глядела — просунулась между густозеленых можжевельных кустов чья-то рыжая голова, высунулась по грудь, нарочно зашуршала листьем: беловолосый младень-богатырь попрежнему глядит мимо, не слышит, все о своем. Схватила камень, швырнула, плеснул камень воду у самых мареевых ног.

Марей вздрогнул, выпустил уду из рук — схватило, завертело — уж далеко в белой пене тоненькой хворостинкой. И далеко между сосен на том берегу мелькает рыжее — как на сосновых стволах от солнца — пятно.

Пропало. Кипит, шепчет Тунежма, унесла уду: никогда не вернется.

— — —

На руке перчатка. А вот — сняли, и лежит перчатка на конторке, будто и та же, а не та: не живая, вынуто нутро. И такая за конторкой Кортомиха: нутро вынуто — и запали навсегда щеки, запала грудь. А шляпка — розовая с цветами, и еще больнее глядеть от розовой шляпки. И между двух запавших по углам морщинок — веселая улыбка: еще больней от улыбки.

Кортомиха выходила в лавку нарядная, в розовой шляпе, в перчатках, в улыбке. Такой был ей приказ мужний:

— Пусть все видят: ты, мол, не кто-нибудь.

Но нарядная Кортомиха редко показывалась: больше наверху, на своем рундучке, у дверей конторы, и только уж разве особенное что.

Такое особенное вышло нынче: лопари пришли. Уж, пожалуй, года два не были, а нынче пришли. И первым делом к Кортоме в лавку: менять пушнину на соль, на ситец.

Народу — со всего становища, и в лавке, и перед лавкой: ярмарка, говор, торг. Тутошние девки из угла глазели — тяжелые, медленные. Встанет на цыпочки какая, покажет белобрысую голову — что нерпа из моря выстала. А лопские — чернявые, верткие, юркие — как рыбная молодь на мелководьи под солнцем, только зайчиком мелькает рыжая голова среди черных.

— Эй ты, красотка, рыжая: А ну, поближе? не бойсь, не съем, — скулы у Кортомы медно сияют, раздвигаются шире.

— Не подавись, гляди!

Перед прилавком, закинула рыжую голову, прямая, как из земли зеленая былка, и не щербатый пол под ногами — земля и мох, и белые корни — босые ноги — крепко в земле.

У Кортомы в руках кусок травянисто-зеленого ситцу. Ловкой рукой — в складочки, оборочки — и приложил рыжей пониже шеи: рыжее — зеленое — эх!

Расправлял складочки на груди, поглаживал, сквозь ситец зацепил: как молоденькая еловая шишечка, как неспелая, еще чуть розовая морошка.

На прилавке железный аршин. Сверкнула рыжая — аршином хлясь вверх по руке, по кости самой.

И в ту же секунду Кортомиха, не спускавшая глаз, мелькнула розовой шляпкой — и тут: загородила запалыми, пустыми руками, и собой, и шляпкой, схватила мужнину руку.

— Голубчик мой, да что же это... мерзавка этакая! Больно? А?

Нет, подумать: его, единственного в мире, Кортому! Поглаживала руку.

В лавке хихикали. Кортома стряхнул с себя Кортомиху — и она отвалилась на прилавок — снятая с руки, запалая, пустая перчатка.

— — —

На Ивана-Купалу — жарынь. Берег, красный камень гранит, стал горячий, снизу поднималась темная земляная кровь. Острый, нестерпимый запах птиц, трески, гниющих зеленых морских косм. Сквозь туман — огромное румяное солнце, всё ближе. И навстречу — наливается море темной кровью, навстречу — в море набухают, дыбятся белые валы.

Ночь. Выход из бухты между двух скал — окошко. От любопытного глаза окошко завешено белой шторой — белый шерстяной туман. И только видно: там, за шторой, происходит красное.

В становище никого нет. Черные дыры в тумане — раскрытые окна пустых изб. Все — на том берегу, за Тунежмой. Там, на поляне с притоптанным белым мхом, еще белее, жемчужней тумана — дымные столбы от костров. Тихо тренькает трехструнка, кружатся фигуры в тумане, приходят, уходят в туман. Лопские парни — с медленными, белыми здешними девками, — здешние — с черными лопками, и среди черных — рыжее, быстрое — как от солнца на сосновом стволе — пятно.

Сам Кортома здесь. Стоит — руки в боки, пуфф, пуфф, — от трубочки сизый дымок. Эх, обхватить бы крепко горячее девичье тело и кружиться до одури... Но нельзя: Кортома — не кто-нибудь. И чуванился, медленно вытаскивал завернутый в бумажку платок, цедил слова.

— Да что ж: все от самого человека зависит. Когда я ступил сюда первой ногой — кто я был? Так — паршь, зуёк, вроде Степки, а теперь — да-а... Надо жить согласно западно-европейским народам, видеть образованные города. Вот, мы скажем, Питер...

Да, Кортома — это человек: все видел. И слушают молча. Разинутые рты и глаза. Зуёк Степка. Одна голова из бездонных дяденьких сапог. И Марей: синие ребячьи глаза, белые волосы, пухлые губы, как у Степки, и страшные саженные плечи — младень-богатырь.

— Ну, а сколько же, например, улиц-то в Питере? — Марей жадно глядит в рот Кортоме.

— Ну что ж, улиц сорок, а может и пятьдесят... — надувает щеки Кортома — пуфф, пуфф!

Бог знает, есть ли в самом деле такой город, чтобы пятьдесят улиц, и всё дома, дома, люди. И как же там не заблудятся в улицах? Ведь это не лес, в лесу всякое дерево, и мох на коре, и можечины, и камни — все разное, только глаза разуй, а там — как же, в городе-то?

Всё изумленней, все шире синие ребячьи глаза. Марей далеко: в Питере. И не видит: рыжая лопка прошла мимо раз и другой. На рыжей — можжевельный венок: нынче Ивана Купала. Возле — неотступная стайка парней. Может быть, она пахнет чем-нибудь особенным — зелеными иглами, морской птицей — тянут на запах, бегут по следу.

— А, надоели, ну вас! — рыжая села на камушке недалеко. Да, должно быть, послушать Кортому. Кортома медно сияет скулами, попыхивает трубочкой — будто и нет рыжей — и важно молчит. Кортома знает себе цену...

Торопится трехструнка, быстрее пары на белом лугу, чаще дыхание. Пошатываются дымные белые столбы. Неслышно, пара за парой, исчезают в туман, или, может быть, в пуховый белый лес там, за туманом — и задергивается белая штора.

Дымит трубочкой Кортома:

— А вот тоже — фонарь, ночью, по самой середке, надо всем городом — фонарина... Бож-же мой! Ну чисто вот днем... куда: днем! Ночью, и зиму и лето, все до камушка видать, всякую травинку...

Торопится трехструнка, чаще дыхание.

— Слышишь, говорю: пойдем со мной в круг! — у самых мареевых глаз зеленый венок на рыжем, уж должно быть давно она дергает за рукав.

— Да ну-у, погоди... Дай послушать... — далеко Марей: в Питере.

В стайке парней хихикнули. Рыжая вспыхнула, бросила мареев рукав, юркнула в туман.

Но сейчас же вернулась: про самое-то главное и забыла. Подошла к Кортоме, взяла за руку:

— А не очень я тебя тогда аршином-то? Ну-ка, дай, — поглядела, погладила ему на руке шишку, улыбнулась — беличьи зубы, острые, сладкие, злые. Чуть приметно подергивает плечами, покачивается в такт трехструнке.

— Эх, тряхнуть разве? — Кортома не вытерпел, обхватил ее — да куда: ящеркой нырнула из рук — в двух шагах покачивается, дразнит. И как нарочно, перед самым носом Кортомы, протянула руки какому-то парню — и уж чуть видно ярко рыжее, как от солнца, пятно сквозь густую занавеску тумана.

Больше не вернулась: перекружилась ли и пошла домой, или была в белом пуховом лесу там, за туманом — кто знает?

Еще раз Марей встретил ее утром. С тяжелой отцовской пищалью шел на промысел; глядь — оттуда, где Тунежма, гонит она молоденького гнедого оленя.

— Эй, здравствуй! — крикнул Марей издали.

Олень повернул коричневую, туго обтянутую морду, но рыжая не слыхала: не оглянулась. Или, может быть, очень торопилась домой: подстегнула оленя, побежала за оленем еще быстрее.

— — —

Уж который день дуло с летнего берега, угнало в океан всю наживку, лова не было. А нынче — повернуло, загудел полунощник, захлюпали пухлые волны — и опять не разгибаясь, зуёк Степка сидел, наживлял яруса.

Бездонные дяденькины бахилы, над бахилами белая голова, и на правом ухе, самое где мочка — запеклась кровь. Нет-нет, да и вспомнит Степка и опять тронет ухо.

А ему сзади гогочут:

— Ой, Степка, легче! Ой, совсем оторвешь: на волосинке держится.

А может и правда: Каково корноухому жить. И по чумазой морденке, как осенью по запотевшему стеклу, ползут неслышные капли.

Марей супится: это все Ванька Скитский — ухо-то мальченке оторвал. За тогдашнее, нарочно, Марею напрекосердье. Ну, ладно: дай срок...

Плюхают беляки в берег. Нескладно, враздробь пляшут мачты. На сером небе кружатся чайки белыми хлопьями. Косыми серыми парусами проносится дождь, в небе — синие прорехи, яснеет.

Холодный серебряный вечер. Вверху — месяц, и внизу в воде месяц, а кругом — оклад старого, кованного чешуйками серебра. Чеканены по серебру — черные, молчаливые карбаса — черные иголочки-мачты, черные человечки — мечут в серебро невидимый ярус. И только плеснет весело, проскрипит уключина, прыгнет пружиной — плашмя шлепнется рыба.

У Марея — свой ярус, отцовский, принаследный. Далеко не выезжал, ставил тут, у берега. Рука — привычная, сама по себе, мерно сеет снасть за бортом. А голова — сама по себе, над серебряным зеркалом, а в зеркале — улицы, улицы, может — сорок, может — пятьдесят, и надо всем — фонарь, как солнце...

Ярусами — лежать всю ночь. Ночевать — дальние в своих посудинах ночевали, ближние — съехали на берег. А чуть заиграло солнце, закричали чайки, из черного стал розовым берег — опять в море: яруса тянуть.

Стал Марей натягивать бечевку: легко идет, вовсе пустая. Сердито посмотрел на Степку.

— Все с своим ухом нёхался, паршивец! Наживил, вот! Погоди, на берег съедем...

— Да я, кубыть, ничего... Я, дяденька, ей Богу... — Степка нынче сияет: ухо приросло, вот хоть изо всех сил тяни: ничегошеньки.

Вымотал Марей еще больше: легко все так же. Еще

немного — и обомлел: крючки на ярусе были срезаны, все до одного.

А у других лов был хороший. Красные дубленые руки выгребали рыбу, на берегу росли серебряные груды. И только Марей вернулся ни с чем.

Кучей набились в мареев карбас, оглядывали , ощупывали, крутили между пальцами его яруса. Крепко, солено ругались.

— Это что же: нынче у Марея, завтра — у тебя, этак и пойдет? Вызнать надо этого человека, камень на шею — да в воду.

Супился Марей, поглядывал на Степку: нет-нет и потянет Степка за ухо, приросло, слава Богу! Ухо, крючки... ладно! Но пока, до времени Марей молчал, чтобы зря не клепать на человека.

— Это уж ты, Марей, как хочешь, а чтобы выследил вор-ра. А то это что же: и будем все друг на дружку косоуриться?

— Да уж чего там. У меня не уйдет...

— — —

Одна, и другая, и третья серебряная ночь. Подряд три серебряных ночи, глаз не смыкая, Марей стерег вора. И никого. Помалу обида на дно осела, стало жалко. Ну, Степка, ну, крючки: верно. А ведь поймается — не утопят его, так все равно кулаками на смерть угробают. Жалко. А и покрыть его — нельзя — такое дело...

С берега из-за камня — Марею как на ладони: серебряная тропка, и по серебру бегут вдаль, качаются — вверх, вниз — черные точки, поплавки от яруса. На минуту заскочит месяц за облако — пропал, ничего не видать. И опять вверх-вниз, вниз-вверх черные точки, инда резь в глазах, сами собой закрываются.

И так уж, еле-еле, вполглаза, увидел: выходит из лесу гнедой олень. К Марею подошел да и говорит, — а голос у него Ивана Скитского:

— Не губи ты меня, Марей, я ведь — из Питера.

Проснулся Марей, вскочил, зырк-зырк кругом: никакого оленя, а по воде весла полошут чуть слышно, уж далеко влево — еле — чернеет — стружок, приткнулся к берегу за камнями.

Эх, проспал! Такое зло взяло. И что жалко, и что убьют человека — все забыл, и уж просто как за дичью — ползком, и на четвереньках, и то во весь дух наперерез . . .

Длинная каменная плешина в лесу. Лес — сзади, лес — впереди Марея, а середина — голая под месяцем.

Марей — в тени под кустом. Глаза и уши — как бритва, сердце молотит. Оттуда, с той стороны плешины, все ближе, все слышнее по лесу легкий, сторожкий хруст. Идет . . .

Где-нибудь вот тут, в двадцати шагах, через плешину. Вот слышно: остановился, стал забирать влево — и влево на брюхе пополз Марей. Запутался ружьем в валежине, дернул, хрустнуло, замерло. И тот — по другую сторону плешины — затих. Залегли оба, ждали: кто первый выйдет на белую плешь, под выстрелы.

— Эй, Ванька! — зыкнул Марей. — Выходи, что ли, все равно — не уйдешь.

На той стороне тихо. Месяц юркнул в темную норь, белая плешь погасла.

Марей встал. Собрался весь — в пулю — и одним духом через плешь, на ту сторону. Там уже трещало, ломило в кустах — в лес, в глубь!

— Стой-стой-стой, Ванька! Стой, не уйдешь!

В гущину, в темень влетел Марей, с расскока опрокинул, насел верхом, вязать нагнулся — руки обвисли, ошалел: та самая, рыжая . . . Вот так, Ванька . . .

— Ты . . . ты зачем же это . . . крючки-то? — стоит Марей, ноги расставил, ружье на земле.

А рыжая — лицом в мох, да как зальется в голос, чисто дитё, и все пуще. Ну, что ты будешь с ней делать?

— Эх ты, Господи! А ты не реви, ну чего — ну? — и легонько, как дитё, погладил ее по голове. А у самого сердце — тук! — тихонько в гнезде повернулось и пошло вниз.

Рыжая поднялась с земли. На коленях — протянула Марею руки, глаза закрыла, губы дрожат, а ни слова.

«Наверно, чтоб не сказывал я . . .» — отвел ее руки Марей.

— Да ты не боись, никому не скажу, мое слово — верное, ну вот-те крест, — ну?

Как она во весь рост вскочит да как закричит:

— Всем говори! Не скажешь, — сама пойду скажу я. Ничего мне от тебя не надо — и видеть тебя не могу — и чтоб сейчас . . . уходи, у-хо-ди!

Сверкнула — через плешину — и уж где-то далеко легкий хруст в лесу, и только осталось: лежит на мху ее шапка.

Марей долго вертел шапку в руках. Месяц нырял из нори в норь: серебряное — черное — опять серебряное, и все путаное, и не разберешь ничего. Вскинул Марей ружье, и по медвежьи, тяжело-легко ступая на пятки — медленно поплелся домой.

Утром Марея чистили на все корки:

— Ну и телепень! Ну и рохля! Опять срезали, а! Да как же ты продрыхал?

— Да уж так вот. Три ночи не спал, сморило, и уж не знаю как — а во сне олень . . .

— Эх ты, олений! Так и не видал никого?

— Нет, не видал.

Оставили Марея, стали по жребию сами сторожить: надо же этакую гниду вывести, нельзя так оставить.

Но уж больше никто не трогал ярусов. Само собою вывелся вор.

— — —

Ночи долгие, как косы у пригожей девки, а дни короткие, как девичий разум. Запели синички, хрусталем зазвенели синички. Лебеди, гуси носятся косяками, разминают крылья: скоро в дальний путь. Помаленьку укладываются лопари: не нынче — завтра двинутся на свой погост, к югу.

С длинностволой принаследной отцовской пищалью Марей целыми днями бродил в лесу. Тихий день — и издалеко слышен в лесу голк людской, стук топоров — с лопской поляны. Ветряный день — и поют золотые листья прощальную песню, срываются, крутятся — и за каждую веточку: еще хоть бы секунду . . .

Белая мареева остромордая лайка подняла гусей. Тяжелые, летели невысоко, посвистывали, секли синь крыльями: Марей и ружья не поднял. На голубом мху лайка нашла медвежьи следы: взбуровлен весь мох — медвежья свадьба. Залилась — от Марея к следу, от следа — к Марею. «Ну вот же — вот — ослеп, что ли ты?»

Марей сердито пхнул лайку в сторону. Опустила голову, обиженно поплелась лайка сзади: люди эти самые! Ничего у них не поймешь!

Целыми днями бродил Марей, искал между березовых стволов, между сосновых рыжих. Ничего нет: только синяя осень.

— — —

Все пришлые, летники, уехали. Берег пустой. Остыла салогрейня. Но все еще крутится, кипит Кортома:

— Ворочать, строить, рубить! Сто верст в час!

На пустыре, за салогрейкой — старый китобойный завод, теперь — сруб, трухлый, без крыши. Снести его долой, а на лето поставить новый корпус: консервную фабрику. Надо жить согласно европейским народам...

Кортома с трубочкой — с утра до вечера на пустыре. Прибауточками торопит, подзадаривает.

Подведут под венец вагу: нет, не берет. Сам первый затягивает Кортома — непристойную про Кортому песню:

Михайло Кортома,
Пожарная голова...

— Ну еще! Ну-ну-ну! — сам взялся за лом. Приплюснутый, медный, кряжистый напёр — и крякнул венец: только пыль дымом.

Кончили. Убрали мусор. И в окно конторы — берег пустой, по пустому берегу гудит ветер-полунощник, бьют беляки в берег.

Перелистал Кортома книги: все подведено, по тройной бухгалтерии. Захлопнул книги. Самовар на столе остыл, не поет.

— Эй! Самовар!

За дверями конторы, на рундучке — Кортомиха: уж давно начеку. Дрогнула — и румянец на запавших щеках, и зажатая между двух морщинок по углам губ улыбка.

— Или спал плохо? Драгоценнушка мой... Клал бы на ночь в руку сургуча кусочек: помогает. Красавчик мой...

— Ладно, слыхал... Рому!

Ром — в рундучке. Старинный, ушастый замок. Старинный винтовой ключ — все лето висел на гвоздике: нынче гвоздик пустой.

Кортомиха на чеку за дверью. Бьют часы, тикают, бьют. Вечер. Далеко на краю, между водой и небом, крепко зажата розовая полоска, и от розового — еще пустее, еще голее черная водяная голымень без конца.

— Рому еще, эй! И к Матрене — живо чтоб!

Матрена-Плёсая — широкая, теплая, ласковая — русская печь-мать.

Бывало, никому нет отказа: приходи, ложись — угреет. У мужика женка — ведьма: от злой жены облегчит. Мальчишка в возраст пришел: мальчишку терпеливо, как надо научит. А нынче стала бабкой Матрена, черный старушечий шашмур на голове. Сама уж разве-разве когда: теперь только других сватает.

И часу времени не прошло — прикатила Матрена, и с ней — верткая, черномазая лопка. Пустыми глазами — так и засасывает — Кортомиха с ног до головы оглядела черномазую, повела носом:

— Ты думаешь — ты к кому пришла? Нет, ты к кому пришла, а? Этакая вот, чуня — чуней! Ничего, ничего — вот сюда вот, все чтоб с себя долой, дам все чистое.

Бьют часы, тикают, бьют. На рундучке у дверей — на чеку Кортомиха.

На третий день — трубка в зубах, руки вбоки — стоял Кортома за прилавком, крепко, усядисто, по-всегдашнему, и только потуже поджата винтиками медь на лице, обтянулась на скулах.

В лавке говор и смех, набились лопские жёнки: завтра лопари уходят, конец, надо кой-чего напоследок.

— Эй ты, черномазая . . . да нет, не ты, а у какой родинка на спине. Ну, с родинкой, выходи! На-ка вот пояс: мерь . . .

Весело в лавке, хозяин — тароватый, шутейный. Деньги считает хозяйка в розовой шляпке, в перчатках. Между двух морщинок зажата веселая улыбка.

— — —

Почуял кончину богач — вышел к народу, ворот разорвал — и горстями золото вправо и влево: «Нате, вот, берите, православные, всё берите, мне уж ничего не надо». Так перед концом солнце ведрами лило золото в лес: золотые деревья, и небо золотое, и мох золотой.

Прямо туда, в золотую сторону шел Марей, торопился, пробирался меж перепутанных сучьев еще час, еще полчаса — и все погаснет.

И в последний час — вышла она ему навстречу из золота. Голова — рыжее пятно, губы — кровь, ружейный ствол на руке. И ни слова, ничего: увидала — и на Марея бегом. Волну мчит на камень: ударится и — одни дребезги. Но ни зацепиться, ни удержаться, ни крикнуть: мчит волну.

«Эй, ружье-то свое...» — хотел крикнуть Марей... Но уж рыжая подняла, приложилась — бух!

Цел? Нет? После... Прыгнул — пока опять не зарядила — смял ее, скрутил, наземь, навалился всем телом.

«А-а, ножом? Руки ее поймать... где руки?»

И задохся: горячие руки замкнулись у него на шее, губами — нашла губы, всё крепче. На губах — солоно, теплое: кровь.

Ударило Марею в голову, завертелось. Обхватил оберучь всей своей силой — инда хрустнуло что-то. Охнула девка, завежила глаза, вся — как воск.

— — —

Нет, теперь уж не-ет... Где ножик? Так: теперь — мой ножик. И губы мои, и руки, и вся... Ага, больно?

— Не больно... ой! Ну, еще больнее, еще — ну?

— Ты? Звереныш! Не тронь нож! Красавица, олень моя золотая, волосы мои... За что же ты меня из ружья-то?

— За то, что люблю, а ты... За то, что ты...

— Олень моя лесная... Нет, как звать тебя — как велишь — ну?

— Зови Пелькой... Нет, зови как хочешь, кликай как собаку, я буду за тобой бегать сзади, бей меня... Ты один — ты — ты!

Не нужно солнца. Зачем солнце, когда светят глаза? Темно. Шерстяной туман закутал, спустил занавеску. Издалека, из-за занавески слышно: капают капли о камень. Далеко: осень, люди, завтра.

— Завтра мы уходим. Уже все уложено, вежи сняли.

— Никуда ты не уйдешь. Ну, уйди, попробуй? Ну, ворохнись, ну?

— Ох! Нет, крепче, не пускай меня — еще крепче ... так!

— Слушай, Пелька: ночь, снег, а у нас на окне шкура, огонь в печке. И на всем белом свете — никого: на всем белом свете — нас двое.

— Да ... говори. Еще говори. Руку вот так. И только пусть с нами — мой олень. Он был маленький — рыжий ... Я была маленькая ...

— Да ты спишь. Спи, звереныш. Спи, олень моя золотая.

— — —

Ночь. Сыплется снег, ласково, тихонько шуршит, спень нагоняет. А когда и вправду уснули — тут задул без уёму, загул без умолку в трубах, все перепутал, задымил, засыпал.

Белые надымы до самых застрех. Все темно-белое, мягкое, тихое. Кто его знает, где день, где ночь. Просто — все позаснули, и длится медлительный сон, неотвязный, все тот же. Опять, будто, выходят на улицу — снова мерцают студеные звезды — все тот же, повторенный во сне, рыжий олень дремлет на привязи у чьей-то избы. Окно завешено шкурой, пляшет теплое пламя за занавеской; на снегу — красные полосы.

Капельный человечек в шапке-мормолке идет мимо и все понимает, как во сне: не думая, не называя, не говоря ни слова. И понимает: забыли дать корма оленю. Добрый человек вытаскивает со двора охапку сушеного белого мха, кидает оленю — и засыпает, чтоб снова увидеть тот же самый сон. И ночь без конца, или может быть все в секунду, от одного вздоха до другого ...

— — —

Однажды голая рука отдернула шкуру на окне, сквозь окно в небе — розовая, яркая прорезь, розовый снег, розовый дым над крышами.

— Да нет же! Кончилась ночь? Нет, это так ...

И опять спустилась шкура. Но день ото дня прорезь все ярче, все шире, и уже снаружи, на снегу, красные полосы — красные полосы внутри, в избе, на белом с голубой сетью жилок изгибе ноги, на завеженных веках, на рыжем. Сладким клеем склеены веки. Ах, не раскрывать бы ...

— — —

Дует морана, напирает лед сызморя. Грохот, гул. Льдины блестят на солнце, лезут друг на дружку: бешеные от любви весенние звери. Играючи, царапаются: на дыбы — грызут — опрокинулись — и вдребезги: одна белая пыль. Пусть в пыль: все равно. И новые — лезут, торопятся гибнуть — еще радостней.

На пригорке за становищем стоит у часовни капельный человечек без шапки, жмурится, козырьком приложил руку к глазам. С пригорка видно: берегом двое летят на лыжах — и прямо вниз, в море, по голубому теплому льду, через лывы и трещины, без разбору, смаху. Куда? Все равно. Просто — во всю мочь мчаться и кричать из всей силы: хо-хо-о!

На далеком льдяно-солнечном поле упали, забарахтались, сцепились, как весенние звери. До часовни чуть слышно долетает:

— Хо-о!

Под козырьком жмурятся, улыбаются глаза: Бог в помочь!

Снизу из становища ползет к часовне широченная, грузная — расползлась во все стороны печью — бабка Матрена. Лицо красное, пошатывается, из-за пазухи — горлышко бутылки. Губы улыбаются, а на щеках слезы.

— Ты бабка, чего?

— Да как же, милачек: весна. Бывало весной-то... Эх! А нынче — только один постен-домовой ночевать ходит. И пью — одна.

— Ну давай — я с тобой.

— Вот спасибо, сердешный! Вот — святая душа!

Греются на пригорочке, пьют из одной бутылки. Внизу, на льдине — две черные точки.

Долгий, протяжный треск: отделилось, неслышно тронулось в путь ледяное поле. Те — на льдине — не поднялись, не шевельнулись, может быть, и не заметили вовсе. Медленно уплывают две черные точки.

А на берегу — суета, крик, забегали. — «В море их утянет... Кабы полная вода, а то отбыль...» А ветер откентелева, сивая твоя борода? Ну? — «Багры где? Эй вы трепалы, будет вам языками-то: багры живей!» — «Гони, гони! Людей унесло... Гони!»

Кортома запрягает оленя в легкие кережки, на кережках — багры, складная брезентовая лодка: скакать

на перез к Мышь-Наволоку, авось, там льдина ткнется на мель. Пожалуй, обошлось бы и без Кортомы, но Кортоме вот непременно самому загорелось. Может быть — весна, распирает от солнца, и просто надо сломя голову нестись, ворочать, кричать. Или может быть, есть тут у Кортомы какая-нибудь тройная бухгалтерия.

А те двое — со льдины на льдину, через лывы и трещины. Усталые, пьяные от солнца, от скачки по сверкающему синему льду — вернулись домой.

У избы смирно стоял, привязан рыжий олень. Пелька обняла, прислонилась к теплой оленьей морде.

— Хорошо, миленький, а? Стоять надоело?

Отвязала — пустился олень стрелой. Очертил круг, вскочил на взлобок, стал тонконогий, задумался: бежать ли туда, где синеет низкий северный лес, или вернуться к избе за мхом?

— — —

Запели комары. На зеленом бархатном мху — розовые прохладные кораллы морошки, матово-синий голубень. Где-то далеко горят леса, солнце плывет в тумане.

Втроем: Пелька, Марей и мареева белокипенная лайка. Рыжие Пелькины волосы перепутаны, в рыжем — зеленый венок: вот только встала из земли весенняя упругая былка и еще несет на острие влажную землю и кусочек зеленого мха.

Пи-иу! пи-и-у! — в тонкую сопелочку выпевает рябчик. Замолк, слушает: в зеленом шуме верхушек не откликнется ли подруга?

— Пи-и-у! — на рябчиковом языке откликается подруга-Пелька.

И все ближе рябчик, вот над головой на ветке — дрожит, распустил крылья, раскрыл влюбленное сердце.

Выстрела рябчик не слышит — только огонь в глазах — падает в огонь. С веселой лесной жестокостью Пелька отрывает рябчику голову — и дальше.

Перекликается со всякой лесной тварью, покорным стадом бегут за ней зелено-рыжие сестры-сосны. Всё жарче: росинки на лбу, прозрачные капли по рыжим сосновым стволам. Где-то впереди звонко залилась лайка.

— Заряди, Марей, покрупнее: гуси . . . — Пелька слышит — лайка крикнула: гуси.

Раздвинулись деревья, как занавес: длинное, тихое озерко, берега из гладкого красного камня. Кагачут гуси, карагодом снимаются с озера в медленном лёте. Разбивают тихое зеркало два удара берданки — Марей, за ним — Пелька. Два серых комка перевертываются нелепо, шлепаются в воду.

Лайка чихает и визжит в воде, не справится с тяжелым гусем: надо самому лезть. Глубоко, пожалуй.

Марей натужился, пригнул к плечу белую голову, медленно стягивает сапоги: промокли, нейдут.

— Эх ты, грузный какой! — Пелька не вытерпела: мигом сбросила свою легкую лопоть, розовая — бредет в тихой студеной воде — одна голова — теперь плыть.

Вернулась, отряхивается, смеется, пахнет свежей водой, водорослями. Возле отряхивается лайка, прыгает, лижет колени. В рыжих волосах — зеленый венок, скатываются капли с грудей, с нежных, розовых, как морошка, кончиков — должно быть холодных. В руках — гуси, из гусей — сочится кровь, обтекает точеные ноги.

Нет сил стерпеть. И тут же, на теплых красных камнях, Марей греет губами прохладную, бледно-розовую морошку.

— Нет, не согрелись еще, видишь — еще холодные.

Где-то горят леса. На красном камне возле тихого озерка дымит костер из душистой хвои. Пелька жарит над костром жирного гуся; огонь играет на зеленом, рыжем; губы и руки в крови. Чуть слышно улыбается глазами Марею: вслух не надо.

Издали хруст: медведь прет через трущобу. Затих — и только еще ворчит сердито белая лайка сквозь сон.

Костер тухнет. Ближе придвигаются из темноты сестры—сосны — всё темнее, всё уже мир — и вот во всем мире только двое.

— — —

Бог с ними — с людьми. Марей ушел из артели, сдал приезжим летнякам свои яруса, избу, платили ему рыбой из улова: запас на зиму будет. Жили с Пелькой в лесу, в лопской веже: остовище из тонких слет оплетено хворостом, мхом обложено, и внутри зеленый мох — пуховой ковер.

Всякое утро Пелька меняла примятый мох. Всякое утро, напевая, навораживая, плела свежий можжевель-

ный венок, вчерашний — вешала на стены. Может быть, зеленые венки — жертва Богу. Может быть, зеленые венки — счет дням и ночам: с зажмуренными глазами дни и ночи мчались сквозь чащу, сквозь белое бессонное солнце, мимо тихих лесных озер. И вот на лету схватиться за пролетающее дерево и, крепко придерживая шапку, обернуться назад лицом к вихрю: нет, не сон, вот венок, и еще, и смятый, высохший мох. А потом опять зажмурить глаза — пусть несет . . .

Марей ушел в становище к людям, в лавку к Кортоме — за порохом и солью.

Одной — томиться, спрашивать лайку: «Ну, все еще нет? Ну, что же скоро — скажи?» И как только вскочит лайка и настроит серые уши — бросить все и нестись вместе с лайкой навстречу, пока не завидится: чуть сутулый, беловолосый, медленный младень-богатырь.

— Ты-ты-ты! — только одно слово: как на заре одно и то же слово без конца выкрикивает гага в каменном гнезде . . .

Были облачные дни. Понемногу скорлупа облаков все тоньше, розовее, треснула — и солнце, между зеленых верхушек — синий просвет. Марей не слышит, синими глазами — в синь, далеко.

Пройти мимо, нечаянно уколоть грудью: нет. Сдвинуть брови — так — чтоб столкнулись, крикнуть: — «О чем думаешь? Не хочу! Не смей!» И в ответ изумленным ребячьим глазам — сгореть, в клубочек у ног, вместе с белой лайкой, и как лайка — от поглаживания зажмуриться, затихнуть . . .

Ночью — дождь, тихая шелковая музыка в веже. И только всего: проснуться, протянуть руку, чуть-чуть тронуть в темноте — и засмеяться от нестерпимого счастья: дождь.

И снова лететь — из сна в сон . . .

Однажды ночью сквозь сон погладила мох: пусто. Не поверила, вся выпросталась из сна, раскрыла глаза в темноте, тронула: пустой смятый мох. Марея нету.

Выбежала, крикнула звонко:

— Маре-ей!

Никого. Луна висит чужая, тяжелая, как замок на двери, дверь наглухо замкнута, все тихо, и только издалека шумит бессонная Тунежма.

Внизу на воде тень. Сверху видно: на темном зеркале заводи — белая голова Марея. И не учуял: вся перегнулась сверху — глазами зовет, зовет Пелька.

Вернулась в вежу, легла. И только когда уже остыли, побледнели, дрожали от утреннего холода звезды, Марей тихонько вошел в вежу, тихонько лег на свое место.

— — —

Быстро неслась осень на серых совиных крыльях. По сумеркам — правили к югу лебединые стайки, трубили в печальные трубы. По утрам мох стоял весь в седом серебре.

— Ничего не поделаешь, Пелька: надо вежу снимать да собираться в зимний стан.

— Нет!

— Сама же, девонька милая, дрожишь по ночам. Холодно.

— Мне не холодно — я не оттого... я не дрожу! Не надо отсюда!

Не умолить тебе осени, нет. В лесу разгуливал ветер-полунощник, в уши гудел, пугаючи, выметал к зиме, крутил листья.

Лихоманно-румяным, ветреным вечером вернулись в становище. В избе пахнет нежильем, холодной сажей. Но широкая лавка в кути — та самая, и только завесить окно шкурой, затопить печь...

— Ты, Пелька, затапливай, я сейчас — только вот к Кортоме, а то в лампе засветить нечего.

Пел в печи огонь, напевала Пелька. Посыпала пол можжевельником, и можжевельник на стенах, и мягкая постель на лавке: всё как тогда, зимой.

Вязанка прогорала. Пелька подкинула еще одну: пляшет, трещит. И опять понемногу всё ниже языки, всё медленнее. Там-сям синие, последние. Потухли, темно.

Вышла на улицу. Гудит полунощник, бухают волны в берег, звезды дрожат, мигают огоньки в избах.

Сквозь незавешенное окно в лавке Кортомы видно: Кортома на бочке, с трубочкой, учительно поднят указательный палец. Кожаны, ушастые шапки, белая голова с изумленными по-ребячьи глазами...

В мареевой избе темно. От угольев еще чуть-чуть

краснеется устье печи. На лавке чуть белеет Пелька, свесила ноги, руки крепко зажаты в коленях.

— Ты где-же, Пелька? Ведь ты хотела — огонь в печке, как зимой.

— Я топила.

— Потухло. Эх . . . Давай еще зажгем, а?

— Нет, хворост весь.

В печи уголья чуть-чуть потрескивают, шевелятся, шуршат под золой.

— — —

Всё под снегом. Лютая тишь в становище.

В темноте вставали, нехотя шли на двор: нарубить снегу, кипятку согреть. Нехотя ели, поглядывали в окошко: стекла черные.

К бабке Матрене, что ли, сбегать: сколько теперь время-то?

У бабки Матрены — на стене часы, без утиху тикают, хрипят, кашляют, бегут без отдыха — зрячие в темной ночи.

— Первый час, ишь ты . . . А нет ли, бабушка, бутылочки?

Как не быть — есть; и будто — полегче, будто — в окошке чернота слиняла, светок чут-чуть.

Похмелые — спозаранку заваливались спать: нарочно выгоняли из сна побольше, чтоб не так евсяными быть. Лето для промысла было незадачливое, ежева мало, со счетом ели. Косились на стариков: старики — они жоркие, известно, а кой прок их кормить? И поголодуют — не беда.

Голодные собаки завывали. Бабы трижды в день мыли ребятам брюхо кипятком, чтоб меньше есть просили. Старики голодали молча.

И помаленьку началось со стариков: стали ногами, деснами пухнуть, кряхтеть, на печи лежа — городить невесть что. Пошла боль из избы в избу. Из избы в избу ходил Иван Романыч, земными поклонами лечил: перед образами бить поклоны, по сту, по двести, покуда пот проймет, глядь — полегчало.

А Матрена-Плесея сверху, с печки, смеется Ивану Романычу:

— И-и, батюшка! Коли ноги носят — плясать: куда лучше твоих поклонов взопреешь . . .

Так все и не слезала с печки. Потягивала из горлышка, песни играла, постен-домовой на гребешке подыгрывал.

— Слышь, слышь, Степка: заливается-то как? А вот на погребце стаканчиками заиграл, во, во, ишь!

Степку посадили за бабкой поглядывать, в угол забился, глаза — круглые. Господи, хоть бы чуток рассеяло! Жуть: мелет бабка нивесть что, совсем спятила.

Слиняла темнота в окошке — Степка во весь дух погнал к Ивану Романычу: кончается бабка Матрена, молитву прочитать.

Пришел Иван Романыч, взлез на печь к бабке, в руках резной деревянный крест. А бабка Матрена глаза раскрыла и вытащила из-под себя карт колоду:

— Вот спасибо, пришел — Степка дурак не умеет: давай-ка мы с тобой в свои козыри?

Улыбнулся Иван Романович, сел. Позеленелая ряска, капельный, темноликий: не то постен из поставца вышел, не то Савватий из старого складня.

Стали с бабкой играть в свои козыри. Повезло бабке: никогда в жизни так не везло. Вот придет червонная краля — тогда и доигрывать нечего.

Пришла червонная краля. Засмеялась бабка и, в свои козыри недоиграв, отдала Богу душу.

На лавке в углу заснул Степка; на печи, крепко зажав карты в руке — Матрена. Положил Иван Романыч деревянный крест сверху карт, перекрестил обоих — и пошел себе.

— — —

Под черным потолком на печах старики корячатся, несут околесину — всё тише — и совсем замолкают в синих, вырубленных во льду пещерах; весною земля отойдет — Бог даст, будут лежать как следует, в земле, на погосте.

На севере стал синий сполох — и еще глубже, лютее тишь. Будто на самом дне, и сверху пригнело непроходимым синим льдом, и сквозь тысячеверстный синий лед светит мерзлое солнце на дно.

В синей пещере на дне смирно стоит, привязан, тонконогий олень. Шею гладит горячая рука; на туго обтяну-

тую коричневую морду падают теплые капли. Тысячеверстный лед сверху. Но ведь оттает же, вернется весна, зеленый мох, розовая прохладная морошка, теплый шорох дождя?

Молчит олень.

— — —

Марея осенила благодать:

— Фонарь устроить, как в Питере. Запалить над становищем — и ни ночи, ничего: вся жизнь — по новому.

И будто вот для этого и жил, и Тунежма — про это, а сейчас только самое слово понял: фонарь.

Ну что ж: Кортоме материалов не жалко. «Мы не кто-нибудь, у нас хватит!»

— А только я говорил: фонарики — так, маленькие, с сеткой. А ты — сейчас на свой салтык, тебе фонарину надо — во!

Нет уж: фонарики — это что. Надо такое, чтоб враз. Да и Кортома сказывал: фонарь. А теперь так — кургузит. Фонарики! То-оже . . .

Неизвестно, что там за окном: темный день или темная ночь. Да это и все равно теперь. От висячей лампочки-жестянки в избе — светлый круг. В светлом кругу жил Марей, строил свой фонарь: связывал в обло́ круг из досок-межеумок; паял жестяные трубки; плел проволочную сетку.

Там — далеко, за светлым кругом — рыжая лопская девушка. Та самая, какая однажды — давно — подрезала яруса, какая однажды вышла из золотой стороны с ружьем, прицелила — прямо в белую голову. И зачем промахнулась?

— Там я тебе оставила трещатника с квасом. На лавке . . .

Марею слышно издалека, из-за светлого круга. Узнал, улыбнулся:

— Спасибо тебе, Пелька, спасибо, милая. А то я и забыл совсем за работой. А ты сама? Не хочешь? Ну-ну . . .

Вот жалко — Марея частенько отрывают от дела: нынче — Кортома, завтра — Кортома, каждый день ходит. Ну, да ведь и то сказать: материал — не чей-нибудь, Кортомы.

— Ну, и дошлый же ты, Марей! Эку тремелюдину выдумал, а?

Кортома булькает смехом, медные скулы разъезжаются все шире. В сияющей меди Марей отражен приплюснуто, самоварно, просто дурачок. Ну, пусть себе: материалов не жалко . . .

Там далеко где-то, Кортома шутит с гордой лопской девушкой.

— Вот, Пелька, скоро поеду в Норвегию за товаром. Поедем со мной, а?

— Не по дороге. Пусти руки! Слышишь — пусти!

Кортома пустил. Ну уж тут рыжая сама оставила Кортоме руки. Кортома лапает, мнет, пыхтит; рыжая через плечо назад — на Марея: должно — боится — не обернулся бы, не увидел.

Нет, не дождалась: далеко Марей, потукивает себе молоточком . . .

— Ну, вот что: хочешь, платье тебе привезу? Вот к волосам-то твоим будет! Прикажи, а?

Рыжая опять назад, через плечо на Марея. Ох, уж эти женки!

Кортома добродушно подмигивает:

— Да ну его, плюнь: не слышит, не боись.

Ну, если не слышит . . .

— Привози твое зеленое платье . . . Привози два платья, привози больше, давай, я возьму все!

— Э, не-ет! Ты думаешь — даром? Ты полюби меня, жёнка. Ну, по рукам, что ли?

— Да пус-сти . . . Нет, впрочем, на, бери, на, на, на!

Да, Кортома с ихней сестрой знает обращение. Кортому не проведешь.

— Ну, прощай, красавица. Так ты помни: уговор — пуще денег . . . Да, бишь, насчет материалов: ты, Марей, утречком завтра приходи — бери еще. Мне не жалко, мы — не кто-нибудь.

— Эх, вот это — спасибо!

Вот когда Марей перестал стучать молоточком, оборотился . . .

Наутро — и как это вышло? — Марей разминулся с Кортомой: пришел — а в лавке один приказчик, Иван Скитский.

— А хозяин где же?

— А с ковшом по брагу пошел . . . — хихикнул Скитский — и опять нырь в норку.

— Какую брагу?

— А-а, да так я... Сейчас назад будет. Ты, пока что, знай — выбирай...

Над проволочными кругами, над сияющей жестью — беловолосый младень-багатырь присел на корточки, синие ребячьи глаза разгорелись...

Кортома в марееву избу пришел — и как это вышло? — Марея нет: одна рыжая дома.

—Здравствуй. Ты одна, гм...

— Здравствуй.

— А я насчет вчерашнего. Насчет платья-то... Не забыла?

Кортома выбрит до блеску, медно сияет миру: «Мой мир! Ура!»

Обернулся к двери, набросил крючок. Растопырил руки, скулы широко раздвинулись: сейчас поглотит маленький, рыже-зеленый мир...

Пелька в углу. Сзади, на стенке, висит острога. Как схватит острогу, как сверкнет!

— Сейчас, чтоб вон! Ну?

Кортома хотел засмеяться. Острога взвилась. Сумасшедшая: как тарабахнет, правда...

Медленно, задом пятился к двери — снял крючок — за дверь.

На улице, у двери, долго стоял. Самоварный мир расскочился, самовар не мог вместить: что за шальная, вчера при муже давалась, а ныне — вот... Что? Почему?

— — —

Колышется, свертывается, развертывается голубой холодный сполох. Сверкает снежный наст, на снегу — перепутанные тени от оленьих рогов. У Кортомы перед воротами стоят, запряжены, легкие кережки: нынче Кортома трогается в Норвегию за товаром. В рваных малицах, с зелеными под сиянием сполоха лицами, стоят, провожают.

— Ворочайся-то поскорей. Моченьки нету!

— Кисленького чего бы привез... Не забудь, а?

— Не простудись, голубчик! Возьми еще шубу, а? Возьми еще, голубчик мой, возьми...

Кортома сердито тряхнул рукой, Кортомиха отвалилась. Молчит Кортома, сумный.

Свистнули, взвизгнули по снегу копылья, олени взяли смаху — и уж вон чуть видной черной точкой вверх, на белую горку . . . Уехал.

Через час кережки Кортомы медленно ползут по улице становища, копылья скрипят, скрежещут — к воротам — стой!

Кортома стучит все громче, испуганно выскочила Кортомиха.

— Голубчик мой! Что случилось? Что?

— Ничего. Не поеду.

Кортома наверху, в собственной конторе. Кипит, обдает паром самовар. Стакан за стаканом густого, как брага, чаю.

На стене в конторе — ружье. Висит с лета заряжено и должно быть — распирает его от заряда, и нестерпимо, и хоть бы так, зря, трахнуть — чтоб вдребезги стекла . . .

Снял Кортома ружье, приложил — ба-бах в потолок!

За дверью, на рундучке, дрогнула Кортомиха, вскочила, слышит знакомое:

— Рому, эй!

Торопливо сняла с гвоздика винтовой ключ.

— — —

Может быть, от синего сполоха у Кортомихи такие синие губы, и сейчас выскользнет крепко зажатая между морщинок синяя улыбка — и упадет в снег.

Но еще держится. И сбилась на бок — но еще держится розовая шляпка. И опять — в который раз? — Кортомиха подходит к мареевой избе. Никак не поднимается рука постучать . . .

Марей в светлом кругу потукивает молоточком. Глаза устали. Поесть бы да опять за работу . . .

— А что, Пелька, давай обедать?

— А ты с фонарем-то своим обед промыслил? Ничего нету . . . — сурово сдвинуты брови.

— Эх, как же это . . . Мне бы поесть да за работу . . .

— Что ж мне: пойти моего оленя убить? Да я лучше тебя убью . . . Кто там?

В розовой шляпке Кортомиха: пустая, запалая, вынуто нутро, синие губы — от холода, должно быть.

Подошла к Пельке близко. Вобрала, всосала всю ее пустыми глазами: всю ее — легкую, тонкую, точеную, сверкучую. Если б глаза убивали...

Крепко зажала синюю улыбку:

— Беда просто... Муж заболел, одной никак не управиться — подать там, принять... Бывало, Матрена поможет. Может, ты бы пошла, а? Уж он так просил — так просил...

Марей положил молоточек, прислушался. Пелька обернулась на Марея через плечо — вдруг вспыхнула, раздвинулись брови. И Бог знает почему — сияет, сияет глазами Кортомихе:

— Некогда мне... Я бы рада — да некогда!

«Не пошла! Не пойдет!» — улыбка у Кортомихи зарозовела, розовая ушла Кортомиха.

— Ты, Пелька, у меня смотри! Ты еще Кортому не знаешь, и правда когда не вздумай пойти этак... А то ведь и я добёр-добёр, а и убить могу... — в шутку нахмурился Марей.

Пелька ходила по избе веселая, напевая изменчатую, переливчатую лопскую песенку. Сняла со стены ружье, на минутку замолкла: или не надо — или повесить ружье на место?

Нет. Пошла с ружьем:

— Там я следы видала, может — и промыслю что...

Развивается, свивается, колышется синий сполох. В синей пещере на дне — чуть виден тонконогий рыжий олень. Шею ему обхватили горячие руки, горячие губы целуют, целуют — кругом всю заиндевевшую морду.

И Бог весть, как это случилось — должно быть, курок зацепился за рукав — ружье нечаянно выстрелило прямо в оленя, олень упал.

Марей выскочил под сарай — уж и дергаться перестал олень. Ну, что ты будешь делать — стрясется же этакое!

Вечером пляшет огонь в печи, на сковороде свиристит кусок оленины.

— Давай Марей, запремся — и чтоб никто, ни один человек...

— Ой, и верно запереться! А то, правда, мешают — беда. А уж мне немного осталось. Ты знаешь: уж скоро... Да погоди, погоди же — куда ж ты?

— — —

В черном небе — все шире заря малиновой лентой. На дне синих ледяных пещер — алые огни, торопливая работа идет на дне — куют солнце. Розовеет снег, уходит вглубь мертвая синева, может быть, немного еще — и улыбнутся розовые губы, медленно поднимутся ресницы — и засияет лето . . .

Нет, не будет лета. Пелькины губы крепко сжаты, брови сурово столкнулись.

— Марей! Может, и ты пойдешь? Или, может, хочешь — я останусь? Ну, хочешь, не пойду?

Кортома вернулася из Норвегии, у Кортомы — вечерина, как и всякий год.

— Нет, уж, одна иди. Уж я лучше поработаю . . .

Пелька долго сидит на лавке — той самой — руки в коленях. Долго ходит по избе. Один раз что-то хрустнуло — может быть, впрочем, это хворостинка попала под ноги. Сняла платье с гвоздя, стала одеваться.

Было это — то самое зеленое платье. Кортома не забыл — привез. Вчера утром пришел со свертком Иван Скитский, сверток перевязан зеленой лентой.

— Это тебе от хозяина. Беспременно, чтоб на вечеринку приходила. А насчет платья, сказал: твоя воля. Хочешь — наденешь, не хочешь — нет, это уже ты сама . . .

А из норки — из плечей — голова так и выныривает, глаза так и скачут — как неключимая сила, и поглаживает сверток ласковенько, и погладил бы Иван Скитский Пельку, погладил бы Марея: весело!

Пелька — в зеленом платье. В рыжих перепутанных волосах — сухой зеленый венок. Губы — сухие, сжаты так — еще немножко и кровь брызнет: и все-таки губы дрожат.

— Марей!

— Что? Ага, оделась? Ой, и красива же ты, Пелька! Ну, ты чего же?

— Нет, я так. Так я иду.

— Эх, жалко, работа . . . Кабы не работа — я бы тоже — пожалуй . . . Да надо кончать, вот.

— Да, надо кончать.

— — —

У Кортомы вечеринка, как и всякий год. Хозяйка — нарядная, в розовом платье, в улыбке. Хозяин — в празд-

ничном обряде: новые сапоги высокие — выше колен, синий вязаный тельник — и сверху фрак.

Хозяин нетерпеливо вытаскивает часы из заднего кармана фрака: на часы — на дверь — опять на часы.

— Да ты все ли ей сказал, как велел я? — сердито шепчет на ухо приказчику Ивану Скитскому.

— Да, Господи — да неуж я?..

И наконец: через дверь — морозное облако пара, и в белом облаке — зеленое платье.

Засияла широкоскулая медь, чавкнула, сплюснула мир: мой!

— Мое? Зеленое? Да умница же ты какая! Я ведь знал: ты умница, — только так ведь . . . Ох, хитрая!

И пусть он ведет обнявши, и пусть все видят — пусть . . .

— Ну что же, гостёчки, за стол? Все теперь в сборе?

На столе — свежина, калитки с пшеном, овыдники, заспенники, пироженники, белые головки, зеленые, красные. Хозяин засучил рукава фрака, чтоб ловчее было, налил и произнес тост, — согласно западно-европейским народам:

— Ну, ребята, за вас и за все ваше отродье!

И заработали гамкалы. Дым от трубок, морозный пар от неплотно припертой двери. В тумане — одни рты: чавкают, уминают; похрустывают на зубах кости. Рядом с хозяином, по правую руку — Пелька. Напротив, через стол, хозяйка — весело улыбается, не сводит глаз с зеленого платья, громадными глазами вбирает, всасывает всю ее: рыжие волосы, крепко сцепленные брови, стиснутые губы.

— Нет, материя-то какова — материю я тебе выбрал: чистый шелк! — Кортома поглаживает зеленую материю тут, там.

— Еще вина мне, еще лей!

— Ты умница, я знал — ты умница, больше так ведь...

Краснеют лица, подымается снизу темная земляная кровь. Подмигивают Пельке, подмигивают хозяину: ну и ходок! Жёнкам мешают пуговицы — расстегивают одну, другую, третью. По двое выходят освежаться за дверь.

— Ну что же, гостёчки, набузгались, а? Ну — плясать! Живо!

Пропал стол, стулья. Пустая середина. Из норки выскочил Иван Скитский — бубен в руках:

— Тим-та-а-ам! Тим-та-а-ам!

— И-эх! — вдруг выхватила бубен рыжая и пошла кругом. Глаза закрыла: белое бессонное солнце — белая ночь на лугу — белые дымные столбы от костров . . .

— И-ах! — еще отчаянней — до смерти закружиться, выкружить все из себя: ничего не было . . .

Грохают грубые сапоги об пол, по ветру бороды, фалды фрака . . . эх, гони — сто верст в час!

— А ты что же? — на лету крикнул Кортома хозяйке. — Сидишь одна: гага на яйцах!

Хозяйка медленно встала. Веселая улыбка между двух морщинок по углам губ. Замелькало в кругу ее розовое платье, завеяло — качнулось . . .

— Стой-стой-стой! Упала . . . да стой же!

Розовое платье опускалось на пол, таяло — и вот сейчас на полу будет только розовый комочек . . .

Кортома подхватил, увел в соседнюю комнату:

— И вечно что-нибудь этакое! Уж не может! Ну чего — ну?

— Голубчик мой — это я так . . . Уморилась нынче очень — я сейчас . . . Ну, вот и ничего.

— Ты бы вот лучше наверх пошла: все ли там, как я велел — в конторе?

— Все как велел. Ты ничего, голубчик, иди в зал. Я сейчас . . .

Все уладилось. Хозяйка пришла, с веселой улыбкой наливает гостям шипучее. Хозяин под шумок куда-то пропал. Сквозь неплотно прикрытую дверь морозный пар. В розовом платье немного холодно — вздрагиваешь. Но это ничего — кто-нибудь войдет, прихлопнет поплотнее — и всё.

И наконец вошел хозяин, прихлопнул дверь. Должно быть, освежался: в горнице гвалт, дым как в бане-паруше. И не одному Кортоме невмоготу было: следом за ним раскрылась дверь, и вернулась рыжая в своем прекрасном зеленом платье.

Откуда-то из печки, как святочный бес-шиликун, вышарахнул приказчик Иван Скитский:

— С праздничком, хозяин! С праздничком, красавица! Могарыч с вашей милости!

Теперь Кортома где-то в стороне мирно попыхивает трубочкой, учительно поднят указательный палец. Возле Пельки приказчик Иван Скитский, вертится, щерит беззубые черные десны. Вытянул руку рожками — кызякызя! — защекотал козой бок Пельке, защекотал под грудью. Ну, что же: все равно.

— А я завтра все расскажу му-жу! А я завтра . . . шу-у . . . му-ужу . . . — шуршит шиликун в ухо.

И вдруг — будто этого только и надо Пельке: вдруг — губы у нее живые, на щеках румянец.

— Что ж расскажи. Испугал!

Ла-адно! А у самой, небось, душа в пятки.

— Да уж так и быть: не скажу. Пойдешь со мной прогуляться?

— С тобой? Эй, хозяин! Скажи-ка этому, твоему, чтоб отзынул. Эй, хозяин, вина!

— — —

Изо всей мочи по небу кнутом — и кровавеет рубец: заря. Но ни звука, ни оха: все равно никто не услышит.

Всё еще во вчерашнем зеленом платье — Пелька у окна, молча, ни звука. Марей — далеко, чуть виден в светлом кругу под жестяной лампочкой. Торопится, постукивает молоточком — тукает, поет, несется сердце: завтра фонарь, завтра — вся жизнь новая . . .

— Ну что же, Пелька, как там вчера? — и уж забыл Марей, что спрашивал о чем-то, и ничего ему на свете: только — фонарь.

Все ярче рубец от кнута в небе. В плечах, в коленях — дрожь все горячее: пожалуй, вчера выбегала — остудилась, очень возможно.

— Эй, Марюха, оглох что-ли? Здравствуй, говорю. От хозяина моего — поклон со спасибом.

— Ага, Иван, здравствуй.

— Ну, а ты, красавица, как? Все на вчерашнем стоишь?

— На вчерашнем.

— Так-так-так . . . Ну что же, Марей, фонарь-то свой кончил?

— Кой-где пошабрить только — и завтра . . . Вот, ей-Богу, ничего мне на свете не надо, только бы завтра . . .

— Да уж я вижу: ничего не надо. Жёнку-то, вот свою профонарил? Тю-тю, хезнула жёнка.

— Да нет — вон она у окошка.

— Эка, брат: это не твоя.

— Ох, чудак, ну тебя . . . Чья же — коли не моя?

У Ивана Скитского руки за спиной и пальцы вон этак вот, рожками — кызя-кызя — Пельке показывает. Молчит Пелька.

— Чья? А хозяина мово, господина Кортомы, со вчерашнего считается. Со ште-емпелем . . .

Изо всей мочи кнутом . . . Ну, еще, ну?

— . . . Платье-то этакое — задарма думаешь? Эх, слепая макура!

Бросил шабрить Марей. Голова — белая, глаза изумленные, синие: не макура — Степка, зуёк.

— Верно, Пелька?

— Верно . . .

Кровавеет рубец — сейчас брызнет . . . Сейчас кинется, вдарит, убьет. Милый, убей!

Синие, как у Степки, глаза — на Ивана, на Пельку, опять на Ивана. Иван щерится, у Пельки губы дрожат: может быть, сейчас улыбнется.

— А-а, ну вас: нашли время! Уж ты, Иван, шут известный: луканька хвостом. Ну тебя, недосуг, кончить надо к завтрему . . .

Неключимой силе не переступить светлого круга: прочны, прочнее камня светлые стены. Плюнул Иван Скитский, повернулся к двери.

— — —

В конце становища, на разулочьи — пересмеиваются, перешептываются люди. Где-то тут Пелька. Вот их сейчас всех осияет — лица, улыбки, глаза — и все новые, и по-новому всё . . .

Пальцы трясутся, еле-еле Марей зажег спичку. Завизжали блоки, фонарь возносился вверх — и вверху, в самой сердцевине тьмы — над миром затеплел огонек. Вот только еще подкачать насосом — и тогда . . .

В темноте чуть-чуть. Красненьким дымком, трубочка Кортомы. Не видно в темноте, как дрожат холодные маленькие руки у Кортомы в лапах.

— Ну, что же, красавица, по рукам? Значит, прямо отсюда — ко мне: а манатки твои потом перетащим.

— Не могу я ему сказать — как скажу? Вот если бы ты...

— У, за этим дело не станет. Так так значит, а?

Насос хлюпал, хрипел. Огонек в фонаре силился, подскакивал и задыхался — но больше не рос. Это ничего: зато наверно — если поглядеть издали...

Но все то же издали: над подслепым маленьким огоньком и снизу и сверху — на тысячи верст — мерзлая тьма. И от огонька — будто еще кромешней, еще чернее.

В лихорадке Марей изо всех сил, отчаянно закачал насосом.

— Бр-рязг! — треск сверху. Огонек взметнулся, ослепил — на голову Марею какие-то верешки, оскрётки — и конец: тьма.

Невидимые в темноте — окружили, задергали, затуркали Марея.

— Дурачо-ок! С фонариком супротив ночи...

— Дурачо-ок! Над ним потешаются, он...

Белоголовый медведь встал на дыбы — и попер с ревом:

— Кортому... Где Кортома? А-а-а, тут? Ты зачем меня обманул? Ты мне зачем про фонарь? а? Ты — зачем, а?

— Легонько, брат, легонько. Ты ори любезно. Ну что же — фонарь? Таких твоих пято́к — и довольно светло будет.

— Не надо мне довольно светло! Не желаю довольно светло! Уб-бью!

Как огонек — из всех сил взметнулся Марей — бррязг! и потух, и только мерзлая тысячеверстная тьма.

Из-за тысячи верст — голос Кортомы:

— ... Жена твоя жить ко мне, по хозяйству... ну вообще. А если там насчет денег или материалов — так я не кто-нибудь, сам знаешь...

Пелька нагнулась, жадно заглядывает в лицо Марею: уж теперь... уж сейчас... Но Марей молчит.

— Вот и вся недолга. Ну, что же, красавица... да где же ты, эй?

Нету. Кортома один. Ну, до чего же взгальные жёнки эти — вот раскуси, пойди.

— — —

Однажды — давно это было — все было давно . . . Однажды шел Марей, ружье было заряжено на медведя, пулей, и вдруг — гусь из под ног. Стрельнул прямо в шею гусю, отстрелил голову напрочь. Головы нет — а с разлёту еще машет крыльями гусь, еще сажень пролетел и уж тут гокнулся о-земь.

С разлёту — еще махал крыльями Марей, еще махала крыльями Пелька.

Лед растаял. Всё в серебре — море мурлыкало под солнцем. Неслышно заскользили паруса: время рыбачить. И рыбачили Пелька с Мареем, как все, но по другому глядели в голубую глубь.

Лебеди прилетели, затрубили в печальные трубы; гуси закагакали на тихих озерах. Втроем бродили в лесу. Пелька, Марей и белая мареева лайка. Но вежи не ставили, как в прошлом году: ночевали в избе.

Случалось — Марей где-нибудь впереди, Пелька идет сзади его, одна, подымет ружье и водит кругом. Никакой дичины и нет, будто, а водит, берет на мушку. Нет, опустила.

— Не могу . . .

— Ты чего? — оглянется Марей.

— Нет, ничего. Я так.

Вдали залилась лайка. Пелька слышит — лайка крикнула на своем, лаячьем, языке: гуси! Надо идти . . .

Били гусей. Коптили полотки на зиму — будто и правда еще жить зиму. Рыбачили. С разлёту летели сажень.

— — —

Близко Спаса пошли медвежьи свадьбы. Ходили медведи парами, тройками. Потянулись из становища промышлять медведей.

— Надо и нам тоже . . . брови у Пельки крепко стиснуты. — Деньги-то все профонарили.

— Ну что же: по мне хоть завтра.

— Я вчера одного встретила вовсе близко — где у нас вежа стояла. Да только ружье было с дробью.

— Ну что же: пули есть.

Встали на заре, раным-рано. Мох — седой: издалека уж дохнула неумолимая осень, первый зазимок. Деревья — червонные, розовые, золотые: осенний убор. У Пельки в рыжих волосах — зеленый можжевельный венок.

— На, зарядила . . .

И тяжелая же, должно быть, мареева принаследная пищаль: дрожит у Пельки в руке, или так ослабела, изверлась жёнка? Да, пожалуй, это.

Мареева кипенно-белая лайка путается у Пелькиных ног, поглядывает вверх умным глазом: «Я знаю». Пелька долго ведет с ней молчаливый разговор, поглаживает пушистую шею.

— Ну, будет . . . Вперед!

Примятый мох, щепки, зола. Да, тут вежа: давно.

— Марей!

— Ну?

— Вот уже . . . лайка, слышишь? Марей!

Раздвинулись, как занавес, зеленые сестры-сосны: поляна. В нос вдарило острым медвежьим духом: на поляне на дыбах стоял медведина и играючи отбрасывал лайку. Лайка совсем остервенела: кидается, воет, визжит.

— Марей — ты. Я потом . . . . Ну — скорее . . .

Да, прошло время — не надеется на себя Пелька, руки дрожат, что поделать.

Неспешно Марей поставил свою пищаль на развилку, подпустил на десять шагов: с десяти шагов под лопатку — верное дело.

— Бух! — разошелся дымок — качнулся медведь — сейчас рухнет . . .

Но не рухнул: взвыл — и, огребая лапой больное место, прямо на них.

Что ж это: ведь с десяти шагов . . . Разве только дробь? Господи . . .

— Дробь . . . — кивнула ему Пелька. — А мое незаряжено.

Понял Марей всё. Вдруг — солнце — рыжее пятно — жить . . .

— Ложись! — крикнула Пелька.

Не двигаться — медведь зароет, уйдет: мертвечины боится. Только не шевельнуться, не дышать . . .

Урча обнюхал медведь, толкнул Марея лапой: нет, неживые. И стал быстро забрасывать мягким мхом. Навалил могилу — большую. Отошел, поглядел.

Задыхаясь, двигается Пелька все теснее — губами в губы, как давно — в веже . . .

«Ишь ты, а еще шевелится мох-то?» — медведь подошел, подвалил еще мху, накидал земли, сверху сам сел: зализывать рану. Кипенно-белая лайка остервенело визжит, цапает сзади, мешается.

Сердито давнул лайку лапой, сгреб ее с брюха — белую с красным, отшвырнул в куст. Серьезно, долго глядел вниз, на могилу.

Нет: мох не шевелится. Пожалуй, можно идти.

1918 г.

ДЕТСКАЯ

У капитана Круга были брови. То есть, брови, конечно, были и у всех тут в клубе: брови были у блестящих, белокипенных моряков-офицеров, брови были — очень искусные — у мадемуазель Жорж: очень тоненькие — у Павлы Петровны; замызганные — у Семена Семеныча; шерстяные — на заячьей мордочке китайца из буфета. Но никто не знал, что есть брови у офицеров, у мадемуазель Жорж, у Семена Семеныча, у китайца: знали только, что есть брови у капитана Круга.

Так он был бы, пожалуй, незаметен. Небольшого роста; бритое, медное от морского ветра, вечно запертое на замок лицо. И вдруг — брови: две резких, прямых, угольно-черных черты — и лицо запомнилось навеки, из всех.

В руке у капитана Круга — неизменная сигара. Перед ним — робкая заячья мордочка. Капитан Круг не отрывает глаз от пепла на кончике сигары.

— Я тебе сказал — три бутылки в «детскую» наверх. Готово?

Голос ровный, покрытый очень толстым слоем пепла, и только еле заметно надвинулись брови. Но у китайца моментально врастает голова в плечи, вздрагивает поднос в руках, бормочет: «Се-минут, се-минут», — и мчится в буфет, а из буфета по щербатой винтовой лестнице на антресоли: там — «детская».

Когда перебрались наверх в «детскую», все клубные уставы — и вообще все уставы — оставались внизу. Тут играли по рублю фишка; тут устраивали «чайный домик»; тут в белых японских с драконами обоях — видны черные дыры от револьверных пуль.

Торопливо, задыхаясь в дыму, горят свечи; тучи табачного дыма, и нет потолка, нет стен — просто пространство. Похоже на тихоокеанский туман, когда нет ничего

— и все есть, как во сне, и как во сне — все нелепо и все просто.

Давно выпиты три бутылки и еще три. Играть еще не начинали: надо подождать, пока не кончится внизу. Капитан Круг медленно переводит глаза с кончика сигары на кончик туфли мадемуазель Жорж, на тонкий с золотой стрелкой чулок. Эту золотую стрелку знали все, кто видел мадемуазель Жорж на эстраде.

— Ну что же, мадемуазель, будете сегодня отыгрываться? Не на что? Пустяки! Взаймы — хотите?

Левая бровь у капитана Круга взведена вверх как курок, — все ждут: ну, сейчас . . . Мадемуазель Жорж — на самом краешке стула, и глаза у ней быстрые, как у птицы: может быть, сейчас клюнет крошку из рук, может быть, встрепыхнется — и в окно.

— А хотите так, не взаймы?

Легкий птичий кивок.

— У-гум, прекрасно . . . (сигара сбросила пепел). Ну что же: четвертной за каждые два вершка до колен, сто — за каждые два вершка выше.

Щеки у мадемуазель Жорж белые от пудры, и ничего незаметно. Но уши загорелись, и красные пятна на плечах, на шее. Обводит глазами клетку из человечьих лиц — хватается глазами, но не за что ухватиться.

Мадемуазель Жорж встряхивает локонами, улыбается — очень весело — и начинает подымать платье.

Пышнощекий с детскими ямочками мичман восторженно раскрыл рот и не спускает с Круга молитвенных глаз. Вдруг вытаскивает из кармана желтый складной аршинчик:

— Круг, вот у меня есть, — позвольте я? Ей-Богу, а? Позвольте!

Круг молча кивнул. Мичман с аршинчиком опускается на колени перед мадемуазель Жорж.

— Четыре . . . Шесть . . . Поларшина . . .

Уже белое кружево, и между черным и белым — розовеет тело.

— Деньги . . . — голос у мадемуазель Жорж такой, что ясно: кто-то ее схватил, держит за горло.

Капитан Круг медленно перелистывает новенькие хрусткие бумажки и передает их мадемуазель Жорж. И снова мичман с ямочками выкрикивает: «Десять! Двенад-

цать!»; мадемуазель Жорж улыбается все отчаянней и все отчаянней бьется глазами в клетке из лиц; капитан Круг неспешно расплачивается за каждые два вершка . . .

— Под таба-ак! — по-волжски кричит мичман, сияя.

Мадумуазель Жорж получила все, что могла. Сунула деньги в карман, выскочила из-за стола, забилась в мышиный какой-то уголок, втиснулась в стену.

Мичман с ямочками восторженно, с обожанием глядит на брови капитана Круга.

— Нет, откуда у вас столько деньжищ, капитан Круг? Нет, ей-Богу, а?

Запертое на замок лицо; пауза. Брови сдвигаются в одну резкую, с размаху зачеркивающую прямую.

— Откуда? Был пиратом — стрелял котиков в запрещенном районе. Выгодно, но довольно опасно. А потом поставлял уголь — вам, на военные корабли. Еще выгодней — и совершенно безопасно. Вы, моряки — народ отменно любезный.

Мичман закрыл рот. Беспомощно оглядывается назад, но сзади — кто обнаружил невидимое пятно на рукаве, кто потерял спички и усиленно ищет по всем карманам.

— Капитан Круг, вы . . . Я хочу сказать, что я просто . . .

— Да, я слушаю. Итак — вы просто . . .

Барометр летит вниз — на бурю, но к счастью, в дверях громкое сопенье, и из тумана — огромная тюленья туша путейца, неизвестно почему известного под названием «Маруся». За ним — гарнизонный отец Николай и Семен Семеныч с Павлой Петровной. У Семена Семеныча — один погон по обыкновению оторван и шлепает, как туфля. Внизу — кончилось, расходятся: кто по домам, кто сюда, в «детскую».

Капитан Круг стряхнул пепел с сигары и (пожалуй, это было уже лишнее: пепла уж не было) постучал сигарой о край пепельницы.

— А Семен Семеныч опять со своим ангелом-хранителем? Ну, что ж, Павла Петровна, высочайше разрешите ему поиграть немного?

Павла Петровна — как будто и не слышит. Уселась в тот самый мышиный уголок, откуда только что выскочила мадемуазель Жорж — мадемуазель Жорж торопилась взять карты. Семен Семеныч пододвинул себе стул,

вскочил со стула: «Нет, правда же, Павленька, я нынче только на полчаса. Понимаешь, надо же». Потом торопливо перетащил стул на другой конец стола — подальше от Круга; потрогал боковой карман; смахнул рукою невидимую пыль с лица.

— Ну что же — как вчера: фишка — рубль? — спросил Круг свою сигару.

Мичман с ямочками уже снова влюбленно глядел на сигару, на руку, на брови.

— Ей-Богу, а? По рублю — давайте, а? Вот это игра!

Путеец Маруся сморщился. Семен Семеныч вскочил, куда-то метнулся: «Ах, да бишь . . .» — и опять сел, очень старательно. Это ничего, что по рублю: тем скорее можно отыграться. Главное, осторожно — не волнуясь . . .

Но после третьей талии, как всегда, уж дрожали у Семена Семеныча руки, все чаще смахивал с лица — и лицо все больше выцветало, все больше становилось похоже на старый дагерротип из альбома.

Альбом — там, в уголку, на коленях у Павлы Петровны. Не глядя, перелистывает тысячу раз виденные выцветшие лица. Не глядя, видит: вокруг свечей на столе кружатся, обжигаются и опять летят на огонь ночные бабочки-совки; и странное кольцо людей сумасшедше, лихорадочно, всей силой человеческого духа молит, чтоб вышли десятка и туз — двадцать одно. Вот опять Семен Семеныч лезет в карман за бумажником — и видит Павла Петровна заплатку на кармане: вчера пришила заплатку на том месте, где пуговица бумажника проела сатин.

Семен Семеныч встал. Улыбнулся — так, как улыбаются лица на дагерротипах: указательный палец заложен в золотообрезную книгу — выдержка десять секунд. Смахнул рукою с лица:

— У меня тут нету . . . Я сейчас — внизу, в шинели . . .

Нет, не в шинели, а у сонного, сердитого буфетчика. Павле Петровне уже знакомо это. Буфетчик пальцем водит по книге и щелкает на счетах, как будто никакого Семена Семеныча тут вовсе и нет. А Семен Семеныч лепечет — только чтобы не молчать, и похлопывает буфетчика по плечу с такой осторожностью, что ясно: буфетчик одет не в пиджак, а в мыльный пузырь, и тронуть чуть посильней — все лопнет, и уйдет Семен Семеныч ни с чем.

А потом — всё то же, что было вчера, и неделю назад, и месяц. Семен Семеныч войдет в спальню, когда по стене уже поползет бледно отпечатанный переплет окна; притворится, будто не знает, что Павла Петровна притворяется спящей; прямо в сапогах — на диван и до первых колес по мостовой будет ворочаться и вздыхать, а днем опять вытащит бульдог из среднего ящика и сунет в шинель, и опять тайком приберет бульдог Павла Петровна.

За столом Круг барабанил пальцами; ждали Семена Семеныча. И неожиданно для себя Павла Петровна сказала вслух то, что не вслух говорила уже целый месяц:

— Послушайте, Круг, за что вы ненавидите Семена Семеныча?

Капитан Круг сдвинул брови, черная прямая черта резко разделила мир надвое. В нижнем мире — капитан Круг пожал плечами.

— Да, вы ненавидите и нарочно взвинчиваете, чтоб он проигрывал. Это подло. И если я раньше хоть не . . . хоть немного . . .

Но тут Павла Петровна остановилась: над чертой — в верхнем мире — промелькнула легкая дрожь, пробежала по меди до запертых на замок губ. На секунду Павле Петровне все стало ясно, все стало вырезанным из черного молнией — и тотчас же забылось, как через секунду забывается такой как будто отчетливый сон. И уже не знала Павла Петровна, что́ стало ясно.

А медь — снова была медью, и медь смеялась:

— Вы заметили, господа: когда Семен Семеныч проигрывает, он начинает умываться, вот этак — вроде как муха лапкой . . .

И помолчав немножко — ни к тому, ни к сему:

— А мухи — чудные очень. Помню, один раз оторвал мухе голову, а она — ничего, без головы ползает себе — и умывается. А чего умывать: головы нету.

Путеец Маруся сморщился от безголовой мухи, и стало видно, что он — правда, Маруся. Отец Николай покачивал лысой, как у Николая Мирликийского, с седым венчиком, головой: может быть, Николай Мирликийский все понимал, или, может быть, Николай Мирликийский был очень пьян.

Павла Петровна через туман шла к дверям, ни на кого не глядя: потому что знала, *как* она ходит, и знала — все не спускают с нее глаз.

А затем — вернулся Семен Семеныч; по плечу шлепал, как туфля, оторванный погон. Сзади шел заячелицый китаец с бутылками.

Все гуще дым, все быстрее голоса, лица, брови, седой венчик, карты, ямочки на щеках. Пол качается, как палуба — однажды Семен Семеныч ходил на шкуне капитана Круга, и тогда была тоже Павла Петровна, и тогда это началось . . .

У Семена Семеныча — третий раз подряд черный, острый, ненавистный туз. Если б девятка — Боже мой, если б хоть восьмерка . . . Еще туз: два туза, двадцать два. Всё. Семен Семеныч умывается лапкой, покачивается. Все, что принес с собой, и всё, что было взято у буфетчика . . .

— Да вы пересядьте, Семен Семеныч . . . — это, кажется, мичман, кажется, он подмигивает Кругу. — Вы пересядьте с отцом Николаем — и вот увидите: повезет! — ямочки подмигивают.

Трудно это — встать со стула. Но встал Семен Семеныч, и медленно плывет перед ним образ Николая Мирликийского в венчике.

— А, не-ет! С переодеванием. Нельзя, нельзя! Семен Семеныч — в рясу! А то ишь ты! Не-ет!

Таков игрецкий обычай. И Николай Мирликийский — в офицерской тужурке с оторванным погоном, а Семен Семеныч в рясе.

— Не сметь смеяться! Молокосос! Убью! — кричит Семен Семеныч мичману, весь трясется — а, может быть, и не мичману это «убью». Нет, конечно, не мичману — и целуется с мичманом, — Господи, какие у него милые ямочки! — целуется с отцом Николаем.

Отца Николая сморило.

— Послушай, за-заюшка, ты меня разбуди через полчаса: у меня в четыре заутреня, — наказывает отец Николай китайцу. — Меня, по-па, па-ни-маешь?

Заплетается язык — и, должно быть, заплетаются руки: вместо своего кармана — Николай Мирликийский сунул под столом бумажки на колени Семену Семенычу.

А может быть — вовсе не спьяну это отец Николай, и тут что-то другое.

Забыл Семен Семеныч, что он в рясе: будто не в рясе, а только-что выбритый и в снежном, чуть прикрахмаленном кителе, как у мичмана, с ямочками, — крикнул Семен Семеныч:

— Карту!

— Карту? А чем отвечать будете?

Да, на столе перед Семен Семенычем — пусто. Но он берет с колен мирликийские бумажки и не глядя кидает их тому — Кругу.

— Тысяча . . . тысяча триста — тысяча триста пятьдесят. А в банке — девять. Не подойдет.

Семен Семеныч не видит, но слышит отчетливо резкую, черную черту. И уже нет кителя — снова ряса.

— У меня — дома . . . — лепечет Семен Семеныч.

— Дома? Дома у вас только и осталась — Павла Петровна.

Колода насмешливо щелкает в руках у Круга, на сотую долю секунды перед Семен Семенычем мелькает туз — сверху колоды, а под тузом, неизвестно почему, но Семен Семеныч знает это, безошибочно чувствует каждым своим волосом, каждым нервом — под тузом десятка, и, опрокидывая рукавом рясы чей-то стакан, протягивает руку.

— На Павлу Петровну? Идет. Выиграете — ваш банк. А нет — . . .

Капитан Круг, конечно, шутит. Всем ясно, что он шутит. И только Семен Семеныч понимает — еще тогда, на шкуне, он понял — но тут сверху туз, а под тузом десятка, и сейчас он сгребет всю эту кучу — и в карманы, и всему конец. Ах, в рясе, кажется, не бывает карманов — ну все равно . . .

— Карту!

Туз. Ага! Еще карту. Двойка. Но как же двойка? Ведь Семен Семеныч ясно чувствовал там десятку — совершенно ясно.

— Еще одну . . . Десятка. Ага! Я так и знал — туз и десятка! — и Семен Семеныч открывает карты победоносно.

А вокруг него рушится смех, и он, засыпанный обломками, падает обратно на стул, выкарабкивается и, ничего не понимая, умывается, умывается лапкой.

— Чудак! Да ведь двойка же еще! — радостно, до слез, захлебывается мичман. — Туз да десятка, да двойка — двадцать три. Ну, давайте по пальцам — ну?

Все смеются, у всех зубы, одни зубы. И только — неизвестно отчего — плачет мадемуазель Жорж. Щеки у нее расписаны грязными ласами — краска с бровей; на остром кончике птичьего носа — смешная светлая капля.

И к мадемуазель Жорж, нелепо размахивая крыльями рясы, кинулся Семен Семеныч, заелозил губами по светлой капле:

— Жоржинька . . . Жоржинька . . . Павленька . . .

И зарывается головою все глубже, прячет голову от зубов — одни зубы.

— Мы с тобой . . . Выпей, выпей, голюбчик, — хлюпает мадемуазель Жорж и поит его из своего стакана.

Семен Семеныч глотает соленое и потом из стакана — колюче-сладкое. Все чаще в висках; все быстрее языки свечей, заячья мордочка, ямочки, зубы . . .

И вдруг — стоп: лист белой бумаги. Краешек стола сладкое, липкое кольцо — след от стакана; в кольце — муха; и рука с сигарой — пододвигает к мухе лист белой бумаги.

— Ну-с, пишите: «Мною, нижеподписавшимся, бывшая моя жена Павла Петровна, за сумму девять тысяч пятьсот рублей» . . . Теперь цыфрами: девять тысяч пятьсот . . .

Семен Семеныч подул на муху: муха зажужала жалобно, но взлететь не могла. Ну, пусть . . . Завернул рукав рясы, подписал покорно.

— Ой, Круг, будет вам! Ой, умру, не могу больше, — захлебнулся мичман, ямочки трясутся от смеха.

Семен Семеныч смахнул невидимую паутину с лица: Господи, ясно же — все это шутка, ну, просто — шутка. Розовеет выцветшая, дагерротипная улыбка, Семен Семеныч поднимает глаза. Мичман — он совсем еще мальчик, и такие милые ямочки. И Круг . . . что же — может быть, даже и Круг . . . Капитан Круг медленно складывает лист бумаги. Запертое на замок лицо. Резкая, черная черта бровей.

Было так, очень давно, в классе: заделанное в раме классного окна синее небо, на подоконнике — пронзительные воробьи. И Семен Семеныч написал классное сочинение о весне — стихами. А потом стоял около кафедры, и гусиное перо — рраз! — черная черта через весну.

Черная черта бровей зачеркнула Семена Семеныча:

— Ну вот — всё в порядке. Завтра же отправлюсь получать по векселю.

Нет, это же все шутка, конечно... Это же — конечно... Все чаще, все торопливей Семен Семеныч умывается лапкой, и какие-то слова в голове — липкие, непослушные, непроворотные.

— Маруся, ну хоть вы... Ведь я же знаю... Ну ради Бога, скажите, не существует же в возможности действительность... я хочу — в действительности возможность...

— А-а, ничего не существует! Отстаньте! — морщится Маруся.

Окно выцветает, бледнеет, виден черный крест рамы: за окном начинается несуществующая действительность — день, обычный, нелепый, смешной, как все дни.

Откуда-то зайченок-китаец. Нагнулся над запрокинутым венчиком Николая Мирликийского, трясет за плечо:

— Четыре часа. Велел будить. Вставай, четыре часа.

Голова в белом венчике покачнулась, прорезались глаза. Мутно обводит круг, потом — на себя: тужурка, оторванный погон, такой знакомый. Ну да: Семен Семеныч. И сердито зайченку-китайцу:

— Ты кого это бу-будишь? Нет, ты кого будишь, а? Я тебе кого велел будить, а? — язык непослушный, вязкий.

— Тебя. Церковь надо.

— Нет, ты зачем меня будишь? Я тебе велел отца Николая, а ты гляди — ты кого? А?

«Детская» трясется от смеха. Зайченок стоит растерянно: запутался. И испуганно, мутно, как дагерротипы в альбоме, глядит Семен Семеныч.

«Кто я? Я не существую. Ничего не существует».

На крышке стола перед ним, в сладком, липком кольце — муха все еще взвизгивает и тщетно пытается взлететь вверх.

1920.

МАМАЙ

По вечерам и по ночам — домов в Петербурге больше нет: есть шестиэтажные каменные корабли. Одиноким шестиэтажным миром несется корабль по каменным волнам среди других одиноких шестиэтажных миров; огнями бесчисленных кают сверкает корабль в разбунтовавшийся каменный океан улиц. И, конечно, в каютах не жильцы: там — пассажиры. По-корабельному просто все незнакомо-знакомы друг с другом, все — граждане осажденной ночным океаном шестиэтажной республики.

Пассажиры каменного корабля № 40 по вечерам неслись в той части петербургского океана, что обозначена на карте под именем Лахтинской улицы. Осип, бывший швейцар, а ныне — гражданин Малафеев, стоял у парадного трапа и сквозь очки глядел туда, во тьму: изредка волнами еще прибивало одного, другого. Мокрых, засыпанных снегом, вытаскивал их из тьмы гражданин Малафеев и, передвигая очки на носу — регулировал для каждого уровень почтения: бассейн, откуда изливалось почтение, сложным механизмом был связан с очками.

Вот — очки на кончике носа, как у строгого педагога: это — Петру Петровичу Мамаю.

— Вас, Петр Петрович, супруга дожидают обедать. Сюда приходили, очень расстроенные. Как же это вы поздно так?

Затем очки плотно, оборонительно уселись в седле: тот, носатый из двадцать пятого — на автомобиле. С носатым — очень затруднительно: «господином» его нельзя, «товарищем» — будто неловко. Как бы это так, чтобы оно . . .

— А, господин-товарищ Мыльник! Погодка-то, господин-товарищ Мыльник . . . затруднительная . . .

И, наконец — очки наверх, на лоб: на борт корабля вступал Елисей Елисеич.

— Ну, слава Богу! Благополучно? В шубе-то вы, не боитесь — снимут? Позвольте — обтряхну...

Елисей Елисеич — капитан корабля: уполномоченный дома. И Елисей Елисеич — один из тех сумрачных Атласов, что, согнувшись, страдальчески сморщившись, семьдесят лет несут по Миллионной карниз Эрмитажа.

Сегодня карниз был, явно, еще тяжелее, чем всегда. Елисей Елисеич задыхался:

— По всем квартирам... Скорее... На собрание... В клуб...

— Батюшки! Елисей Елисеич, или опять что... затруднительное?

Но ответа не нужно: только взглянуть на страдальчески сморщенный лоб, на придавленные тяжестью плечи. И гражданин Малафеев, виртуозно управляя очками, побежал по квартирам. Набатный его стук у двери — был как труба архангела: замерзали объятия, неподвижными пушечными дымками застывали ссоры, на пути ко рту останавливалась ложка с супом.

Суп ел Петр Петрович Мамай. Или точнее: его строжайше кормила супруга. Восседая на кресле величественно, милостиво, многогрудо, буддоподобно — она кормила земного человечка созданным ею супом:

— Ну, скорей же, Петенька, суп остынет. Сколько раз говорить: я не люблю, когда за обедом с книгой...

— Ну, Аленька — ну, я сейчас — ну, сейчас... Ведь шестое издание! Ты понимаешь: «Душенька» Богдановича — шестое издание! В двенадцатом году при французах всё целиком сгорело, и все думали — уцелело только три экземпляра... А вот — четвертый: понимаешь? Я на Загородном вчера нашел...

Мамай 1917 года — завоевывал книги. Десятилетним вихрастым мальчиком он учил Закон Божий, радовался перьям, и его кормила мать; сорокалетним лысеньким мальчиком — он служил в страховом обществе, радовался книгам, и его кормила супруга.

Ложка супу — жертвоприношение Будде — и снова земной человечек суетно забыл о провидении в обручальном кольце — и нежно гладил, ощупывал каждую букву. «В точности против первого издания... С одобрения Ценсурнаго Комитета»... Ну, до чего приятное, до чего умильное т на трех толстеньких ножках...

— Ну, Петенька, да что это? Кричу-кричу, а ты с свой книгой . . . Оглох, что ли: стучат.

Петр Петрович — со всех ног в переднюю. В дверях — очки на кончике носа:

— Елисей Елисеич велели — чтоб на собрание. Скорее.

— Ну вот, только за книгу сядешь . . . . Ну что еще такое? — у лысенького мальчика в голосе слезы.

— Не могу знать. А только чтоб скорее . . . — дверь каюты захлопнулась, очки понеслись дальше . . .

На корабле было явно неблагополучно: быть может, потерян курс; быть может, где-нибудь в днище — невидимая пробоина, и жуткий океан улиц уже грозит хлынуть внутрь. Где-то вверху, и вправо, и влево — тревожно, дробно стучат в двери кают; где-то на полутемных площадках — потушенные вполголоса разговоры; и топот быстро сбегающих по ступенькам подошв: вниз, в кают-компанию, в домовый клуб.

Там — оштукатуренное небо, все в табачных грозовых тучах. Душная калориферная тишина, чуть-чуть чей-то шёпот. Елисей Елисеич позвонил в колокольчик, согнулся, наморщился — слышно было в тишине, как хрустнули плечи — поднял карниз невидимого Эрмитажа и обрушил на головы, вниз:

— Господа. По достоверным сведениям — сегодня ночью обыски.

Гул, грохот стульев; чьи-то выстреленные головы, пальцы с перстнями, бородавки, бантики, баки. И на согнувшегося Атласа — ливень из табачных туч:

— Нет, позвольте! Мы обязаны . . .

— Как? И бумажные деньги?

— Елисей Елисеич, я предлагаю, чтобы ворота . . .

— В книги, самое верное — в книги . . .

Елисей Елисеич, согнувшись, каменно выдерживал ливень. И Осипу, не поворачивая головы (быть может, она и не могла повернуться):

— Осип, кто нынче на дворе в ночной смене?

Осипов палец медленно, среди тишины, пролагал путь по расписанию на стене: палец двигал не буквы, а тяжелые мамаевские шкафы с книгами.

— Нынче М: гражданин Мамай, гражданин Малафеев.

— Ну вот. Возьмете револьверы — и в случае, если без ордера . . .

Каменный корабль № 40 несся по Лахтинской улице сквозь шторм. Качало, свистело, секло снегом в сверкающие окна кают, и где-то невидимая пробоина, и неизвестно: пробьется ли корабль сквозь ночь к утренней пристани — или пойдет ко дну. В быстро пустеющей кают-компании пассажиры цеплялись за каменно-неподвижного капитана:

— Елисей Елисеич, а если в карманы? Ведь не будут же...

— Елисей Елисеич, а если я повешу в уборной как пипифакс, а?

Пассажиры юркали из каюты в каюту и в каютах вели себя необычайно: лежа на полу, шарили рукою под шкафом; святотатственно заглядывали внутрь гипсовой головы Льва Толстого; вынимали из рамы пятьдесят лет на стене безмятежно улыбавшуюся бабушку.

Земной человечек Мамай — стоял лицом к лицу с Буддой и прятал глаза от всевидящего, пронизывающего трепетом ока. Руки у него были совершенно чужие, ненужные: куцые пингвиньи крылышки. Руки ему мешали уже сорок лет, и если бы не мешали сейчас — может, ему очень просто было бы сказать то, что надо сказать — и так страшно, так немыслимо...

— Не понимаю: ты-то чего струсил? Даже нос побелел! Нам-то что? Какие-такие тысячи у нас?

Бог знает, если бы у Мамая 1300 какого-то года были бы тоже чужие руки, и такая же тайна, и такая же супруга — может быть, он поступил бы так же, как Мамай 1917 года: где-то среди грозной тишины в уголку заскребла мышь — и туда со всех ног глазами кинулся Мамай 1917 года и, забившись в мышиную норь, продрожал:

— У меня... то есть — у нас... Че... четыре тысячи двести...

— Что-о? У тебя-а? Откуда?

— Я... я понемногу все время... Я боялся у тебя каждый раз...

— Что-о? Значит, крал? Значит, меня обманывал? А я-то, несчастная — я-то думала: уж мой Петенька... Несчастная!

— Я — для книг...

— Знаю я эти книги в юбках! Молчи!

Десятилетнего Мамая мать секла только один раз в жизни: когда у только что заведенного самовара он отвернул кран — вода вытекла, все распаялось — кран печально повис. И теперь второй раз в жизни чувствовал Мамай: голова зажата у матери под мышкой, спущены штаны — и . . .

И вдруг мальчишечьим хитрым нюхом Мамай учуял, как заставить забыть печально повисший кран — четыре тысячи двести. Жалостным голосом:

— Мне нынче дежурить во дворе до четырех утра. С револьвером. И Елисей Елисеич сказал, если придут без ордера . . .

Мгновенно — вместо молниеносного Будды — многогрудая, сердобольная мать.

— Господи! Да что они — все с ума посошли? Это всё Елисей Елисеич. Ты смотри у меня — и в самом деле не вздумай . . .

— Не-ет, я только так, в кармане. Разве я могу? Я и муху-то . . .

И правда: если Мамаю попадала муха в стакан — всегда возьмет ее осторожно, обдует и пустит — лети! Нет, это не страшно. А вот четыре тысячи двести . . .

И снова — Будда:

— Ну, что мне за наказание с тобой! Ну, куда ты теперь денешь эти твои краденые — нет уж, молчи, пожалуйста — краденые, да . . .

Книги; калоши в передней; пипифакс; самоварная труба; ватная подкладка у Мамаевой шапки; ковер с голубым рыцарем на стене в спальне; полураскрытый и еще мокрый от снега зонтик; небрежно брошенный на столе конверт с наклееной маркой и четко написанным адресом воображаемому товарищу Гольдебаеву . . . Нет, опасно . . . И, наконец, около полночи решено все построить на тончайшем психологическом рассчете: будут искать где угодно — только не на пороге, а у порога шатается вот этот квадратик паркета. Кинжальчиком для разрезывания книг искусно поднят квадратик. Краденые четыре тысячи («Нет, уж пожалуйста — пожалуйста молчи!») завернуты в вощеную от бисквитов бумагу (под порогом может быть сыро) — и четыре тысячи погребены под квадратиком.

Корабль № 40 — весь как струна, на цыпочках, шёпотом. Окна лихорадочно сверкают в темный океан улиц, и в пятом, во втором, в третьем этаже отодвигается штора, в сверкающем окне — темная тень. Нет, ни зги. Впрочем, ведь там на дворе — двое, и когда начнется — они дадут знать . . .

Третий час. На дворе тишина. Вокруг фонаря над воротами — белые мухи: без конца, без числа — падали, вились роем, падали, обжигались, падали вниз.

Внизу, с очками на кончике носа, философствовал гражданин Малафеев:

— Я — человек тихий, натурливый, мне затруднительно в этакой во злобе́ жить. Дай, думаю, в Осташков к себе съезжу. Приезжаю — международное положение — ну прямо невозможное: все друг на дружку — чисто волки. А я так не могу: я человек тихий . . .

В руках у тихого человека — револьвер, с шестью спрессованными в патронах смертями.

— А как же вы, Осип, на японской: убивали?

— Ну, на войне! На войне — известно.

— Ну, а как же штыком-то?

— Да как-как . . . Оно вроде как в арбуз: сперва туго идет — корка, а потом — ничего, очень свободно.

У Мамая от арбуза — мороз по спине.

— А я бы . . . Вот хоть бы меня самого сейчас — ни за что!

— Погодите! Приспичит — так и вы . . .

Тихо. Белые мухи вокруг фонаря. Вдруг издали — длинным кнутом винтовочный выстрел, и опять тихо, мухи. Слава Богу: четыре часа, нынче уже не придут. Сейчас смена — и к себе в каюту, спать . . .

В мамаевской спальне на стене — голубой клетчатый рыцарь замахнулся голубым мечом и застыл: перед глазами у рыцаря совершалось человеческое жертвоприношение.

На белых полотняных облаках покоилась госпожа Мамай — всеобъемлющая, многогрудая, буддоподобная. Вид ее говорил: сегодня она кончила сотворение мира и признала, что все — добро зело, даже и этот маленький человечек, несмотря на четыре тысячи двести. Маленький человечек обреченно стоял возле кровати, иззябший, с

покрасневшим носиком, куцые, чужие, пингвиньи крылышки-руки.

— Ну иди уж, иди . . .

Голубой рыцарь зажмурил глаза: так ясно, до жути — вот сейчас перекрестится человечек, вытянет вперед руки — и как в воду с головою — бултых!

Корабль № 40 благополучно пронесся сквозь шторм и пристал к утренней пристани. Пассажиры торопливо вытаскивали деловые портфели, корзиночки для провизии и мимо осиповых очков спешили на берег: корабль у пристани — только до вечера, а там — опять в океан.

Согнувшись, Елисей Елисеич пронес мимо Осипа карниз невидимого Эрмитажа — и обрушил на Осипа сверху:

— Уж нынче ночью — обыск наверное. Так пусть все и знают.

Но до ночи — еще жить целый день. И в странном, незнакомом городе — Петрограде —растерянно бродили пассажиры. Так чем-то похоже — и так непохоже — на Петербург, откуда отплыли уже почти год и куда едва ли когда-нибудь вернутся. Странные, замерзшие за ночь каменноснежные волны: горы и ямы. Воины из какого-то неизвестного племени — в странных лохмотьях, оружие на веревочках за плечами. Чужеземный обычай — ходить в гости с ночевкой: на улицах ночью — вальтер-скоттовские роб-рои. И вот тут на Загородном — выжженные в снегу капельки крови . . . Нет, не Петербург!

По незнакомому Загородному потерянно бродил Мамай. Пингвиньи крылышки мешали; голова висела, как кран у распаявшегося самовара; на левом стоптанном каблуке — снежный globus hystericus, мучителен каждый шаг.

И вдруг вздернулась голова, ноги загарцевали двадцатипятилетне, на щеках — маки: из окна улыбалась Мамаю — . . .

— Эй, зёва, с дороги! — навстречу, напролом краснорожие перли с огромными торбами.

Мамай отскочил, не отрывая глаз от окна, и чуть только проперли — снова к окну: оттуда ему улыбалась — . . .

«Да, ради этой — и украдешь, и обманешь, и всё».

Из окна улыбалась, раскинувшись соблазнительно, сладострастно — екатерининских времен книга: «Описа-

тельное изображение прекрасностей Санкт-Питербурха». И небрежным движением, с женским лукавством, давала заглянуть внутрь — туда, в теплую ложбинку между двух упруго изогнутых, голубовато-мраморных страниц.

Мамай был двадцатипятилетне влюблен. Каждый день ходил на Загородный под окно и молча, глазами, пел серенады. Не спал по ночам — и хитрил сам с собой: будто оттого не спит, что под полом где-то работает мышь. Уходил по утрам — и всякое утро тот самый паркетный квадратик на пороге колол сладким гвоздем: под квадратиком погребено было мамаево счастье, так близко, так далеко. Теперь, когда все открылось про четыре тысячи двести, — теперь как же?

На четвертый день, как трепыхающегося воробья — зажав сердце в кулак, Мамай вошел в ту самую дверь на Загородном. За прилавком — седобородый, кустобровый Черномор, в плену у которого обитала она. В Мамае воскрес его воинственный предок: Мамай храбро двинулся на Черномора.

— А, господин Мамай! Давненько, давненько... У меня для вас кой-что отложено.

Зажав воробья еще крепче, Мамай перелистывал, притворно-любовно поглаживал книги, но жил спиною: за спиной в витрине улыбалась она. Выбрав пожелтевший 1835 года «Телескоп», долго торговался Мамай — и безнадежно махнул рукой. Потом, лисьими кругами рыская по полкам, добрался до окна — и так, будто между прочим:

— Ну, а эта сколько?

Ёк — воробей выпорхнул — держи! держи! Черномор програбил пальцами бороду:

— Да что же — для почину... с вас полтораста.

— Гм... Пожалуй... (Ура! Колокола! Пушки!) — Что же, пожалуй... Завтра принесу деньги и заберу.

Теперь надо через самое страшное: квадратик возле порога. Ночь Мамай пекся на угольях: нужно, нельзя, можно, немыслимо, можно, нельзя, нужно...

Всеведущее, милостивое, грозное — провидение в обручальном кольце пило чай.

— Ну кушай же, Петенька. Ну что ты такой какой-то... Не спал опять?

— Да. Мы... мыши... не знаю...

— Брось платок, не крути! Что это такое в самом деле!

— Я . . . я не кручу . . .

И вот, наконец, выпит стакан: не стакан — бездонная, сорокаведерная бочка. Будда на кухне принимала жертвоприношение от кухарки. Мамай в кабинете один.

Мамай тикнул, как часы — перед тем как пробить двенадцать. Глотнул воздуху, прислушался, на цыпочках — к письменному столу: там кинжальчик для книг. Потом в лихорадке гномиком скорчился на пороге, на лысине — ледяная роса, запустил кинжальчик под квадрат, ковырнул — и . . . отчаянный вопль!

На вопль Будда пригремела из кухни — и у ног увидала: тыквенная лысинка, ниже — скорченный гномик с кинжальчиком, и еще ниже — мельчайшая бумажная труха.

— Четыре тысячи — мыши . . . Вон-вон она! Вон!

Жестокий, беспощадный, как Мамай 1300 какого-то года, Мамай 1917 года воспрянул с карачек — и с мечом в угол у двери: в угол забилась вышарахнувшая из-под квадратика мышь. И мечом кровожадно Мамай прогвоздил врага. Арбуз: одну секунду туго — корка, потом легко — мякоть, и стоп: квадратик паркета, конец.

1920.

ПЕЩЕРА

Ледники, мамонты, пустыни. Ночные, черные, чем-то похожие на дома, скалы; в скалах пещеры. И неизвестно, кто трубит ночью на каменной тропинке между скал и, вынюхивая тропинку, раздувает белую снежную пыль; может быть, серохоботый мамонт; может быть, ветер; а может быть — ветер и есть ледяной рев какого-то мамонтейшего мамонта. Одно ясно: зима. И надо покрепче стиснуть зубы, чтоб не стучали; и надо щепать дерево каменным топором; и надо всякую ночь переносить свой костер из пещеры в пещеру, все глубже, и надо все больше навертывать на себя косматых звериных шкур...

Между скал, где века назад был Петербург, ночами бродил серохоботый мамонт. И завернутые в шкуры, в пальто, в одеяла, в лохмотья пещерные люди отступали из пещеры в пещеру. На Покров Мартин Мартиныч и Маша заколотили кабинет; на Казанскую выбрались из столовой и забились в спальне. Дальше отступать было некуда; тут надо было выдержать осаду — или умереть.

В пещерной петербургской спальне было так же, как недавно в ноевом ковчеге: потопно перепутанные чистые и нечистые твари. Красного дерева письменный стол; книги; каменно-вековые гончарного вида лепешки; Скрябин опус 74; утюг; пять любовно, добела вымытых картошек; никелированные решетки кроватей; топор; шифоньер; дрова. И в центре всей этой вселенной — бог, коротконогий, ржаво-рыжий, приземистый, жадный пещерный бог: чугунная печка.

Бог могуче гудел. В темной пещере — великое огненное чудо. Люди — Мартин Мартиныч и Маша — благоговейно, молча, благодарно, простирали к нему руки. На один час — в пещере весна; на один час — скидывались звериные шкуры, когти, клыки, и сквозь обледеневшую

мозговую корку пробивались зеленые стебельки — мысли.

— Март, а ты забыл, что ведь завтра... Ну, уж я вижу: забыл!

В октябре, когда листья уже пожолкли, пожухли, сникли — бывают синеглазые дни; запрокинуть голову в такой день, чтоб не видеть земли — и можно поверить: еще радость, еще лето. Так и с Машей: если вот закрыть глаза и только слушать ее — можно поверить, что она прежняя, и сейчас засмеется, встанет с постели, обнимет, и час тому назад ножом по стеклу — это не ее голос, совсем не она...

— Ай, Март, Март! Как всё... Раньше ты не забывал. Двадцать девятое: Марии, мой праздник...

Чугунный бог еще гудел. Света, как всегда, не было: будет только в десять. Колыхались лохматые, темные своды пещеры. Мартин Мартиныч — на корточках, узлом — туже! еще туже! — запрокинув голову, все еще смотрит в октябрьское небо, чтобы не увидеть пожолклые, сникшие губы. А Маша:

— Понимаешь, Март — если бы завтра затопить с самого утра, чтобы весь день было, как сейчас! А? Ну, сколько у нас? Ну с полсажени еще есть в кабинете?

До полярного кабинета Маша давным давно не могла добраться и не знала, что там уже... Туже узел, еще туже!

— Полсажени? Больше! Я думаю, там...

Вдруг-свет: ровно десять. И не кончив, зажмурился Мартин Мартиныч, отвернулся: при свете — труднее, чем в темноте. И при свете ясно видно: лицо у него скомканное, глиняное (теперь у многих глиняные лица: назад — к Адаму). А Маша:

— И знаешь, Март, я бы попробовала — может я встану... если ты затопишь с утра.

— Ну, Маша, конечно же... Такой день... Ну, конечно — с утра.

Пещерный бог затихал, съеживался, затих, чуть потрескивает. Слышно: внизу, у Обертышевых, каменным топором щепают коряги от барки — каменным топором колют Мартина Мартиныча на куски. Кусок Мартина Мартиныча глиняно улыбался Маше и молол на кофейной мельнице сушеную картофельную шелуху для лепе-

шек — и кусок Мартин Мартиныча, как с воли залетевшая в комнату птица, бестолково, слепо тукался в потолок, в стекла, в стены: «Где бы дров — где бы дров — где бы дров».

Мартин Мартиныч надел пальто, сверху подпоясался кожаным поясом (у пещерных людей — миф, что от этого теплее), в углу у шифоньера громыхнул ведром.

— Ты куда, Март?

— Я сейчас. За водой вниз.

На темной, обледенелой от водяных сплесков лестнице, постоял Мартин Мартиныч, покачался, вздохнул и, кандально позвякивая ведеркой, спустился вниз, к Обертышевым: у них еще шла вода. Дверь открыл сам Обертышев, в перетянутом веревкой пальто, давно не бритый, лицо — заросший каким-то рыжим, насквозь пропыленным бурьяном пустырь. Сквозь бурьян — желтые каменные зубы, и между камней — мгновенный ящеричный хвостик — улыбка.

— А, Мартин Мартиныч! Что, за водичкой? Пожалуйте, пожалуйте, пожалуйте.

В узенькой клетке между наружной и внутренней дверью с ведром не повернуться — в клетке обертышевские дрова. Глиняный Мартин Мартиныч боком больно стукнулся о дрова — в глине глубокая вмятина. И еще глубже: в темном коридоре об угол комода.

Через столовую. В столовой — обертышевская самка и трое обертышат; самка торопливо спрятала под салфеткой миску: пришел человек из другой пещеры — и Бог знает, вдруг кинется, схватит.

В кухне, отвернув кран, каменнозубо улыбался Обертышев:

— Ну что же: как жена? Как жена? Как жена?

— Да что, Алексей Иваныч, все то же. Плохо. И вот завтра — именины, а у меня топить нечем.

— А вы, Мартин Мартиныч, стульчиками, шкафчиками . . . Книги тоже: книги отлично горят, отлично, отлично . . .

— Да ведь вы же знаете; там вся мебель, всё — чужое, один только рояль . . .

— Так, так, так . . . Прискорбно, прискорбно!

Слышно в кухне: вспархивает, шуршит крыльями за-

летевшая птица, вправо, влево — и вдруг отчаянно, с маху в стену всей грудью:

— Алексей Иваныч, я хотел... Алексей Иваныч, нельзя ли у вас хоть пять-шесть полен...

Желтые каменные зубы сквозь бурьян, желтые зубы — из глаз, весь Обертышев обростал зубами, всё длиннее зубы.

— Что вы, Мартин Мартиныч, что вы, что вы! У нас у самих... Сами знаете, как теперь все, сами знаете, сами знаете...

Туже узел! Туже — еще туже! Закрутил себя Мартин Мартиныч, поднял ведро — и через кухню, через темный коридор, через столовую. На пороге столовой Обертышев сунул мгновенную, ящерично-юркую руку:

— Ну, всего... Только дверь, Мартин Мартиныч, не забудьте прихлопнуть, не забудьте. Обе двери, обе, — не натопишься!

На темной, обледенелой площадке Мартин Мартиныч поставил ведро, обернулся, плотно прихлопнул первую дверь. Прислушался, услыхал только сухую костяную дрожь в себе и свое трясущееся — пунктирное, точечками — дыхание. В узенькой клетке между двух дверей протянул руку, нащупал — полено, и еще, и еще... Нет! Скорей выпихнул себя на площадку, притворил дверь. Теперь только прихлопнуть поплотнее, чтобы щелкнул замок...

И вот — нет силы. Нет силы прихлопнуть машино завтра. И на черте, отмеченной чуть приметным пунктирным дыханием, схватились на смерть два Мартина Мартиныча: тот, давний, со Скрябиным, какой знал: нельзя, — и новый, пещерный, какой знал: нужно. Пещерный, скрипя зубами, подмял, придушил — и Мартин Мартиныч, ломая ногти, открыл дверь, запустил руку в дрова... полено, четвертое, пятое, под пальто, за пояс, в ведро — хлопнул дверью и вверх — огромными, звериными скачками. Посередине лестницы, на какой-то обледенелой ступеньке — вдруг пристыл, вжался в стену: внизу снова щелкнула дверь — и пропыленный обертышевский голос:

— Кто — там? Кто там? Кто там?

— Это я, Алексей Иваныч. Я... я дверь забыл... Я хотел... Я вернулся — дверь поплотнее...

— Вы? Гм... Как же это вы так? Надо аккуратнее, надо аккуратнее. Теперь всё крадут, сами знаете, сами знаете. Как же это вы так?

Двадцать девятое. С утра — низкое, дырявое, ватное небо, и сквозь дыры несет льдом. Но пещерный бог набил брюхо с самого утра, милостиво загудел — и пусть там дыры, пусть обросший зубами Обертышев считает поленья — пусть, все равно: только бы сегодня; «завтра» — непонятно в пещере; только через века будут знать «завтра», «послезавтра».

Маша встала и, покачиваясь от невидимого ветра, причесалась по-старому: на уши, посередине пробор. И это было — как последний, болтающийся на голом дереве, жухлый лист. Из среднего ящика письменного стола Мартин Мартиныч вытащил бумаги, письма, термометр, какой-то синий флакончик (торопливо сунул его обратно — чтобы не видела Маша) — и, наконец, из самого дальнего угла черную лакированную коробочку: там, на дне, был еще настоящий — да, да! самый настоящий чай! Пили настоящий чай... Мартин Мартиныч, запрокинув голову, слушал такой похожий на прежний голос:

— Март, а помнишь: моя синенькая комната, и пианино в чехле, и на пианино — деревянный конек — пепельница, и я играла, а ты подошел сзади...

Да, в тот вечер была сотворена вселенная, и удивительная, мудрая морда луны, и соловьиная трель звонков в коридоре.

— А помнишь, Март: открыто окно, зеленое небо — и снизу, из другого мира — шарманщик?

Шарманщик, чудесный шарманщик — где ты?

— А на набережной... Помнишь? Ветки еще голые, вода румяная, и мимо плывет последняя синяя льдина, похожая на гроб. И только смешно от гроба, потому что ведь мы — никогда не умрем. Помнишь?

Внизу начали колоть каменным топором. Вдруг перестали, какая-то беготня, крик. И расколотый надвое, Мартин Мартиныч одной половиной видел бессмертного шарманщика, бессмертного деревянного конька, бессмертную льдину, а другой — пунктирно дыша — пересчитывал вместе с Обертышевым поленья дров. Вот уж Обер-

тышев сосчитал, вот надевает пальто, весь обросший зубами — свирепо хлопает дверью, и . . .

— Погоди, Маша, кажется, кажется, у нас стучат.

Нет. Никого. Пока еще никого. Еще можно дышать, еще можно запрокинуть голову, слушать голос — такой похожий на тот, прежний.

Сумерки. Двадцать девятое октября состарилось. Пристальные, мутные, старушечьи глаза — и все ежится, сморщивается, горбится под пристальным взглядом. Оседает сводами потолок, приплюснулись кресла, письменный стол, Мартин Мартиныч, кровати, и на кровати — совсем плоская, бумажная Маша.

В сумерках пришел Селихов, домовый председатель. Когда-то он был шестипудовый — теперь уже вытек наполовину, болтался в пиджачной скорлупе, как орех в погремушке. Но еще по старому погромыхивал смехом.

— Ну-с, Мартин Мартиныч, во-первых — во-вторых, супругу вашу — с тезоименитством. Как же, как же! Мне Обертышев говорил . . .

Мартина Мартиныча выстрелило из кресла, понесся, заторопился — говорить, что-нибудь говорить . . .

— Чаю . . . я сейчас — я сию минуту . . . У нас сегодня — настоящий. Понимаете: настоящий! Я его только что . . .

— Чаю? Я, знаете ли, предпочел бы шампанского. Нету? Да что вы! Гра-гра-гра! А мы, знаете, с приятелем третьего дня из гофманских гнали спирт. Потеха! Налакался . . . «Я, — говорит, — Зиновьев: на колени!» Потеха! А оттуда домой иду — на Марсовом поле навстречу мне человек в одном жилете, ей-Богу! «Что это вы?» — говорю. — «Да, ничего, — говорит. — Вот раздели сейчас, домой бегу на Васильевский». Потеха!

Приплюснутая, бумажная, смеялась на кровати Маша. Всего себя завязав в тугой узел, все громче смеялся Мартин Мартиныч — чтобы подбросить в Селихова дров, чтобы он только не перестал, чтобы только не перестал, чтобы о чем-нибудь еще . . .

Селихов переставал, чуть пофыркивая, затих. В пиджачной скорлупе болтнулся вправо и влево; встал.

— Ну-с, именинница, ручку. Чик! Как, вы не знаете? По ихнему, честь имею кланяться — ч. и. к. Потеха!

Громыхал в коридоре, в передней. Последняя секунда: сейчас уйдет, или — ...

Пол чуть-чуть покачивался, покруживался у Мартина Мартиныча под ногами. Глиняно улыбаясь, Мартин Мартиныч придерживался за косяк. Селихов пыхтел, заколачивая ноги в огромные боты.

В ботах, в шубе, мамонтоподобный — выпрямился, отдышался. Потом молча взял Мартин Мартиныча под руку, молча открыл дверь в полярный кабинет, молча сел на диван.

Пол в кабинете — льдина; льдина чуть слышно треснула, оторвалась от берега — и понесла, понесла, закружила Мартина Мартиныча, и оттуда с диванного, далекого берега — Селихова еле слыхать.

— Во-первых — во-вторых, сударь мой, должен вам сказать: я бы этого Обертышева, как гниду, ей-Богу... Но сами понимаете: раз он официально заявляет, раз говорит — завтра пойду в уголовное... Этакая гнида! Я вам одно могу посоветовать: сегодня же, сейчас же к нему — и заткните ему глотку этими самыми поленьями.

Льдина — все быстрее. Крошечный, сплюснутый, чуть видный — так, щепочка — Мартин Мартиныч ответил — себе, и не о поленьях... поленья — что! — нет, о другом:

— Хорошо. Сегодня же. Сейчас же.

— Ну вот и отлично, вот и отлично! Это — такая гнида, такая гнида, я вам скажу...

В пещере еще темно. Глиняный, холодный, слепой — Мартин Мартиныч тупо натыкался на потопно перепутанные в пещере предметы. Вздрогнул: голос, похожий на машин, на прежний...

— О чем вы там с Селиховым? Что? Карточки? А я, Март, все лежала и думала: собраться бы с духом — и куда-нибудь, чтоб солнце... Ах, как ты гремишь! Ну как нарочно. Ведь ты же знаешь — я не могу, я не могу, не могу!

Ножом по стеклу. Впрочем — теперь все равно. Механические руки и ноги. Поднимать и опускать их — нужно какими-то цепями, лебедкой как корабельные стрелы, и вертеть лебедку — одного человека мало: надо

троих. Через силу натягивая цепи, Мартин Мартиныч поставил разогреваться чайник, кастрюльку, подбросил последние обертышевские поленья.

— Ты слышишь, что я тебе говорю? Что ж ты молчишь? Ты слышишь?

Это, конечно, не Маша, нет, не ее голос. Все медленней двигался Мартин Мартиныч, ноги увязали в зыбучем песке, все тяжелее вертеть лебедку. Вдруг цепь сорвалась с какого-то блока, стрела-рука — ухнула вниз, нелепо задела чайник, кастрюльку — загремело на пол, пещерный бог змеино шипел. И оттуда, с далекого берега, с кровати — чужой, пронзительный голос:

— Ты, нарочно! Уходи! Сейчас же! И никого мне — ничего, ничего не надо, не надо! Уходи!

Двадцать девятое октября умерло, и умер бессмертный шарманщик, и льдины на румяной от заката воде, и Маша. И это хорошо. И нужно, чтоб не было невероятного завтра, и Обертышева и Селихова, и Маши, и его — Мартина Мартиныча, чтобы умерло всё.

Механический, далекий Мартин Мартиныч еще делал что-то. Может быть, снова разжигал печку, и подбирал с полу в кастрюльку, и кипятил чайник; и может быть что-нибудь говорила Маша — не слышал: только тупо ноющие вмятины на глине от каких-то слов, и от углов шифоньера, стульев, письменного стола.

Мартин Мартиныч медленно вытаскивал из письменного стола связки писем, термометр, сургуч, коробочку с чаем, снова — письма. И наконец, откуда-то, с самого со дна, темносиний флакончик.

Десять: дали свет. Голый, жесткий, простой, холодный — как пещерная жизнь и смерть — электрический свет. И такой простой — рядом с утюгом, 74-м опусом, лепешками — синий флакончик.

Чугунный бог милостиво загудел, пожирая пергаментно-желтую, голубоватую, белую бумагу писем. Тихонько напомнил о себе чайник, постучал крышкой. Маша обернулась:

— Скипел чай? Март милый, дай мне — . . .

Увидела. Секунда, насквозь пронизанная ясным, голым, жестоким электрическим светом: скорченный перед печкой Мартин Мартиныч; на письмах — румяный, как вода на закате, отблеск; и там — синий флакончик.

— Март! Ты . . . ты хочешь . . .

Тихо. Равнодушно пожирая бессмертные, горькие, нежные, желтые, белые, голубые слова — тихонько мурлыкал чугунный бог. И Маша — так же просто, как просила чаю:

— Март, милый! Март — дай это мне!

Мартин Мартиныч улыбнулся издалека:

— Но ведь ты же знаешь, Маша: там — только на одного.

— Март, ведь меня все равно уже нет. Ведь это уже не я — ведь все равно я скоро . . . Март, ты же понимаешь — Март, пожалей меня . . . Март!

Ах, тот самый — тот самый голос . . . И если запрокинуть голову вверх . . .

— Я, Маша, тебя обманул: у нас в кабинете — ни полена. И я пошел к Обертышеву, и там между дверей . . . Я украл — понимаешь? И Селихов мне . . . Я должен сейчас отнести назад — а я все сжег — я все сжег — все! Я не о поленьях, поленья — что! — ты же понимаешь?

Равнодушно задремывает чугунный бог. Потухая, чуть вздрагивают своды пещеры, и чуть вздрагивают дома, скалы, мамонты, Маша.

— Март, если ты меня еще любишь . . . Ну, Март, ну вспомни! Март, милый, дай мне!

Бессмертный деревянный конек, шарманщик, льдина. И этот голос . . . Мартин Мартиныч медленно встал с колен. Медленно, с трудом ворочая лебедку, взял со стола синий флакончик и подал Маше.

Она сбросила одеяло, села на постели румяная, быстрая, бессмертная — как тогда вода на закате, схватила флакончик, засмеялась.

— Ну вот видишь: недаром я лежала и думала — уехать отсюда. Зажги еще лампу — ту, на столе. Так. Теперь еще что-нибудь в печку — я хочу, чтобы огонь . . .

Мартин Мартиныч, не глядя, выгреб какие-то бумаги из стола, кинул в печь.

— Теперь . . . Иди погуляй немного. Там, кажется, луна — м о я луна: помнишь? Не забудь — возьми ключ, а то захлопнешь, а открыть — . . .

Нет, там луны не было. Низкие, темные, глухие облака — своды, и все — одна огромная, тихая пещера. Узкие, бесконечные проходы между стен; и похожие на дома темные, обледенелые скалы; и в скалах — глубокие, багрово-освещенные дыры: там, в дырах, возле огня — на корточках люди. Легкий ледяной сквознячок сдувает из-под ног белую пыль, и никому неслышная — по белой пыли, по глыбам, по пещерам, по людям на корточках — огромная, ровная поступь какого-то мамонтейшего мамонта.

1920.

ЧУДЕСА

О том, как исцелен был инок Еразм

Сказанный инок Еразм еще во чреве матери посвящен был Богу. Родители его долгие годы ревностно, но тщетно любили друг друга, и наконец, истощив все суетные человеческие средства, пришли в обитель к блаженному Памве. Вступив в келию старца, жена преклонила пред ним колени, и стыд женский запечатал ей уста, и так молча предстояла старцу. Но блаженному Памве и не надо было слов: от юности тленные женские одежды были ему как бы из стекла, и сквозь них тотчас увидел он горькие бесплодием ложесна женщины.

— Оставь скорбь, женщина, — сказал ей старец. — Сядь здесь и раздели со мной трапезу.

Так сказав, взял печеную рыбу, вынул молоки и, благословив, подал их женщине. Та со слезами и верой причастилась благословенной пищи и внезапно ощутила в себе трепетание, как если бы приняла мужа в лоно свое.

Когда увидел старец Памва, что уже вновь раскрылись завеженные очи ее и пурпур вновь окрасил побледневшие на малое мгновение ланиты, он улыбнулся ей, сказав:

— Отныне муж твой уже не будет подобен пахарю, возделывающему песок, и труд его принесет плоды. Но первенца твоего, когда он научится петь хвалу зародившему его и зарождающему тьмы, — первенца своего ты приведешь в обитель и оставишь мне.

После того много раз солнце вставало над обителью и сеяло золотое семя свое в синий снег и в черные весенние недра, вздымалось стеблие трав и, совершив заповеданное, вновь клонилось долу. И лишь старец Памва был попрежнему прям, как крестное дерево кипарис, и все

так же крепок был серебряный венец его мудрых седин, и многих исцелял убогих мужей, и одержимых бесами, и неплодных жен, в чем видели иные силу вкушаемой старцем благословенной пищи.

И вот в день Пятидесятницы, совершив положенные службы, вышел старец Памва из храма. Рачением братии белые плиты перед храмом были усыпаны весенними благоуханными травами, и венками были увенчаны кресты на могилах почивших и ныне сорадовавшихся вместе с живыми иноков. И украшенный зеленым венком предстал блаженному Памве златоволосый отрок, ведомый за руку женщиной.

— В сей день брачный земли — войди и живи с нами, отрок Еразм, — сказал старец Памва и уже поднял руку благословить отрока, но в тот же час два беса, принявшие образ голубиный, сев на кресте могильном и уронив на землю венок, предались плотскому неистовству.

— Он ее заклюет! Освободи ее, добрый старец! — вскричал отрок Еразм к блаженному Памве.

Старец Памва поднял глаза на бесов — и те истаяли дымом на виду у всех, не окончив своей неподобной игры. Старец же возложил на Еразма руки, сказав:

— Счастлив удел твой, брат Еразм, и тяжел он, ибо уже раскидывают над тобой бесы свою сеть, но они ищут лишь ценной добычи.

И, чтобы блюсти Еразма от козней бесовских, блаженный Памва поселил его в своей келье. Юный инок Еразм служил старцу, подавая ему воду для омовения, скудную пищу, кадильницы, свечи, и не раз видел, как он целил больных и прозревал души приходивших к нему, как если бы одежды и самое тело их были из стекла.

— Как смотришь ты, отче, чтобы читать в душах их? — спросил старца Еразм.

— Я смотрю в глаза, — отвечал старец Памва. — Тело человека — все обитает в этом мире, и только глаза его — суть колодцы, проницающие с поверхности этого мира в тот мир, где их души. Как разноглубоки колодцы в земле, так разноглубоки они в человеке. И чем глубже, тем ближе к обителям божественным, но и к вратам преисподней.

— А у меня? — спросил инок Еразм.

Но ничего не ответил мудрый старец, погрузившись в молитву. Ибо не видел дна в тех синих колодцах, при-

крытых сверху легким, непрочным наметом ресниц. Так искушенный путник опасно ходит по неведомым дорогам, минуя влекущие нежной зеленью места, чтобы не погрузиться в коварную хлябь.

Вскоре инок Еразм стал весьма искусен в чтении и письме. И когда блаженный Памва уставал от молитв, и от бесед с приходившими искать мудрости его, и от борений с неустанно, как мухи, осаждавшими его бесами, инок Еразм читал ему вслух нечто от Библии, или от житий святых отец наших, или от Цветников и Изборников отеческих. Был голос у юного инока чистоты, подобной звенящему с высот горнему крину, и как на пути быстрых вод горнего крина спаленный солнцем холм облекается зеленой одеждой, упещренной белыми и багряными и синими, как твердь, цветами, — так поливались сладким и буйным соком читаемые Еразмом слова. И слыша их странную и как бы уже не божественную прелесть, старец Памва прекращал чтение, говоря:

— Я помолюсь, Еразм. Выйди и читай один.

И уже во-вне келии, на белых и горячих от солнечного дыхания камнях, вновь раскрывал Еразм залитые восковыми слезами листы древней книги и читал от нее. И упоенный вином словесным, не слышал, что творилось вокруг, и не видел и не ведал, что́ есть чтение его.

Однажды в такой час, истомившись зноем, поднял блаженный Памва ставень в келье и остановился изумленно, услышав за окном тяжкие вздохи и стенания как бы огромного зверя. Вышед, увидел он Еразма на ступенях келии с книгой, а кругом — иноков, юных и зрелых и старцев, и как бы от чрезмерного бега — лица у них красны, а дыхание часто, и многие стенали от неистовой некой муки и яростно, оберучь, охватывали белое тело берез и, упав ниц, лобзали круглые, подобные чреву камни.

— Что, безумный, сделал ты с ними? — спросил старец во гневе.

— Я читаю им от священных книг, — ответил простодушно Еразм.

Полагая, что нашептанный бесами юный инок осквернил себя ложью, старец Памва подступил ближе и, опустив взор свой на листы древней книги, увидел, что неправо помыслил так об Еразме, ибо он читал Песнь Пе-

сней мудрейшего среди смертных и пророка пред Господом. Тогда уразумел блаженный старец, что инок Еразм невинен, но вина братии, и сказал им:

— С какими помыслами вы, нечестивые, слушали слова о божественной любви к чистейшей невесте нашей церкви?

Но братия молчала.

— Поднимите, злодушные, ваши очи вверх и увидите.

На краткое мгновение, по молитве блаженного Памвы, отверзлись их духовные очи и увидели все: невысоко, на уровне кровель обительских, клубилась над ними тяжкая туча, пронизанная вся красным, как кровь. И еще, погодя мало, увидели, что это не кровь, но клубы тучные свисали в виде женских персей, с обращенными вниз остриями сосцов, и волновались клубы в виде чашеподобных лон и увитых легкой тканью лядвей и чресел.

Пораженные видением, иноки безмолствовали. А туча бесовской прелести, по мановению блаженного старца, содрогнулась и пролила некий смрадный, густой и белый, как молоко, дождь.

— Видите, что сеете вы помыслами своими? — спросил их блаженный Памва.

— Прости, отче, видим, — отвечали устыженные иноки.

И с того дня юный Еразм запрещен был Памвою в чтении книг, но приставлен к иному делу, где бесы уже не могли обратить во зло лепоту его нежного голоса. Под неусыпным надзором старца инок Еразм стал обучаться писанию икон.

Опасаясь бесовских козней, старец Памва отделил Еразма от прочей братии, затворив его в малой келии, и уже никто не видел и не слышал Еразма — только старец. И были стены в той келии белы, как одежды браконеискусной девы, и было малое, одетое решеткой окно. После полудня ложилась на стене тень от решетки, поступью неспешной шла все выше, и в час, когда река раскрывала солнцу лоно свое, останавливалась тень на сводах и гасла, а внизу, на девственной одежде стены, проступало багряное, как от крови, пятно. И снедаемый неведомым горением, приближался инок Еразм к стене и осязал багряное пятно, как бы ожидая нежной кровью окрасить персты. Но на утро, как прежде, сияла стена

цветом невинности, и, входя в келию, тайно радовался старец Памва, что даже самый вид стены должен убелять помыслы юного инока, и радовался, видя, с каким тщанием и искусством прилежит он к великому и божественному делу писания икон.

В то время случилось блаженному Памве исцелить некую знатную жену именем Мария, — власть над нею имел бес, толкавший ее к неудержному и несытому любодеянию. И всего лишь трижды коснувшись перстом ее палимого блудным пламенем естества, насытил ее покоем блаженный старец и освободил от власти бесовской. Было же имя той жены в честь преподобной Марии Египетской, и сказала жена, исцелев, старцу:

— Молю тебя, отче, если имеешь кого, искусного в писании икон, повели ему написать житие преподобной Марии и страстные муки ее и изящные деяния в пустыне египетской. По написании же я, заключив себя в келии, со слезами буду взирать на образ жития преподобной и потщусь идти по стопам ее.

Блаженный Памва в тот же день призвал Еразма и спросил его, сказав:

— Знаешь ли ты страстное житие преподобной Марии Египетской?

Еразм же ответил:

— Прости, отче, не знаю.

И дал ему старец разогнутую книгу Четий- Миней и указал читать житие преподобной. И читал Еразм весь день, оставив нетронутой пищу. Вот уже вечер, погасла на сводах келии тень от решетки. Зажег лампаду Еразм и вновь читал, как прекрасная телом дева сетью красоты влекла юношей и мужей александрийских на ложе свое, и как на обуреваемом волнами корабле опаляла всех несытым огнем страсти своей, и как, заточив себя в пустыне, снедаемая жаждой смешения, взывала о помощи к небесному жениху.

И этот последний ее лик — в пустыне, с очами, задернутыми легкой мглой, какая повисает над палимой неистовым зноем далью, с устами, разверзшимися, как иссохшая без дождей земля, — этот лик преподобной написал Еразм в середине образа. У ног ее — желтый песок и травы и цветы, сожженные зноем, истекающим от солнца

или от тела преподобной, скрытого под тонкой белой одеждой.

И не слышал Еразм, как в клеть к нему вошел старец Памва и стал за плечами его, как бы ангел-хранитель. Долго смотрел блаженный старец на образ преподобной и сказал Еразму:

— Похвально рачение твое, и вижу на тебе печать дара Божия («Точно ли Божия?» — помыслил про себя старец). Но есть еще несовершенство в писании твоем: прекрасен лик у преподобной жены, но под хитоном ее вижу я тело не жены, а мужа. Ибо еще юн ты и еще должен уведать тайны созданной Господом из ребра адамова.

Так сказав, вышел старец: уже проступала вечерняя кровь на непорочно-белой одежде стены, и чугунное било звало братию в храм. Еразм же разрешен был старцем от церковной молитвы и остался в келии один. Опечаленный, пал Еразм перед образом и жарко молился, вопия:

— Умилосердись, преподобная, научи меня познать честное тело твое, дабы мог я достойно прославить тебя.

Но здесь услышал он сзади тихий, едва слышимый смех. Обратившись, изумленный искал он, кто мог войти в келию, — и увидел лишь на решетке окна двух играющих голубей. В тот же час вспомнил Еразм голубей на могильном кресте в день пришествия своего в обитель, осенил себя крестом — и голуби растаяли в розовом небе. Но вновь услышал тот же смех, уже более близкий и явственный.

И тогда, возле освещенной солнцем стены, как бы вышедшую из стены, узрел инок Еразм неведомую деву. Была она в белой одежде, но на белом там и здесь цвело розовое, как на стене от солнца, пятно.

— Кто ты? — спросил инок Еразм, удерживая руками сердце, содрагающееся от страха и иного, неведомого, трепета.

— Имя мне — Мария, — отвечала дева. — Я жила в Египте. И вот по молитве твоей я послана к тебе.

Пораженный чудесным знамением, Еразм упустил даже вновь осенить себя крестом, но тотчас, припав, стал лобызать одежду явившейся девы.

И ощутил запах — неведомый, но как бы всегда живший в его сердце до того часа. И все взыграло в Еразме

и устремилось неудержимо к преподобной деве, как неудержимо восстает к солнцу напряженное весенним соком стеблие трав. Устыженный отошел Еразм и, опустив глаза, тщился оправить свою одежду так, чтобы не узрела святая дева волнения его.

Но дева назвала его по имени, — голос ее пронозил сердце Еразма, как некий сладостный меч, — и так сказала Еразму:

— Почто, неразумный юноша, смущается сердце твое? Приблизься. Ужели забыл ты наставления учителя твоего Памвы и забыл, зачем я на краткий срок послана тебе?

Тогда Еразм, преступив свое смущение, приблизился к деве, с трепетом развязал ей пояс и отстегнул запон вверху. До половины спал с нее белый хитон, и предстала перед Еразмом неведомая ему дотоле тайна персей. Были они как две волны, чудесным велением Божиим высоко восставшие на спокойном море, а оседающее за край земной солнце на острых вершинах тех волн зажгло алые пламена. И радуясь уведанной премудрости Творца, Еразм, следуя наставлению старца Памвы, стал со тщанием изучать открывшееся. Подобно апостолу неверному Фоме, он не верил зрению только, но погружал свои персты в нежные и прохладные волны и всякий раз все глубже ощущал в сердце своем сладостный меч, и как бы в некой блаженной смерти истекает из него жизнь.

— Но еще не все ты познал, — сказала, улыбаясь, дева. — Спеши же, ибо лишь на краткий срок я послана к тебе.

И, весь трепеща в предчувствии тайны еще прекраснейшей и нежнейшей, юный инок отстегнул нижний запон. Но в тот час, когда готова была уже последняя тайна предстать перед ним, услышал он легкий, как бы от лопнувшего сосуда, звон, и дева бесследно исчезла. А в дверях келии увидел Еразм блаженного Памву. Был он гневен, и седые брови его были распростерты, подобно воскрылию, и весь он был, как грозная, летящая на защиту птенцов своих птица. И громким голосом спросил Памва, сказав:

— Что делал ты, безумный? И кто был с тобой?

И, не таясь, все рассказал Еразм мудрому старцу: как со слезами молился он, чтобы преподобная дала познать ему тело жены, да прославит он достойно ее

честное тело, и как по молитве явилась ему она, и как узнал он все, кроме лишь некой последней тайны.

Немало смущен был блаженный Памва тем, что поведал Еразм, ибо не имел старец твердой веры, что от Бога было видение это Еразму, а не от беса. И мудро сказал Еразму:

— Возблагодари пославшего тебе помощь в труде твоем для прославления преподобной. Но помни: ту, последнюю тайну — нелеть иноку знать, и тебе в художестве твоем тайна та ненужна. Иди же и спи с миром.

Но не мирен был сон Еразма, было его ложе — из углей, и до утра ощущал он неумиримое, непреклонное устремление к той, последней тайне, и до утра погружал он персты в жемчужные, чудом восставшие на спокойном море волны. А на утро, сотворив обычное иноческое метание перед старцем, омыл он кисти и, трепетно вспоминая открывшееся вчера, приступил к исправлению того, что было указано наставником его в художестве — блаженным Памвой.

Вскоре окончен был образ. Со вниманием осмотрел его блаженный старец и увидел, что теперь преподобная не только ликом, но и телом была женою из жен, и даже помни́лось старцу, что сквозь облачнобелые ее одежды тлеют остриями легчайшего пламени перси. Но о том не сказал Еразму, помыслив про себя, что лишь видит он, как обычно, сквозь одежды женские, как если бы были они из стекла. И, взмахнув воскрылием бровей, благословил Еразма, сказав:

— Вижу, горением к преподобной полон дух твой. Не гаси же горения того, пока не кончишь писания образа.

Но, если бы даже и хотел, уже не мог Еразм погасить в себе горения того. Старец же Памва по сих словах оставил обитель, призванный к одру недугующего князя той страны. Выходя из врат, еще раз оглянулся блаженный старец на золотые среди зелени главы храма и увидел: повисши на ветвях древних схимниц-лип, гроздьями качаются бесы, как отроившиеся пчелы. И содрогнулся старец от темного предчувствия новых и небывалых бесовских козней, но выйти из воли князя не мог.

В отсутствии Памвы пищу Еразму приносил большой хлебенный старец именем Сампсон. Был он, как древний Сампсон, велик и мощен телом во всем до последнего, и

не было у него растения волос ни на голове, ни на лице и нигде на теле, отчего был он как бы дважды наг, и по повелению Памвы, даже в летнюю пору, носил он на себе не менее трех одежд. А от вида женского, хотя бы и не в естестве, но лишь в изображении, бывал он буен без меры. И, опасаясь того безмерного буйства, Еразм принимал от хлебенного старца пищу сквозь дверное отверстие.

С утра весь тот день пламень источался от солнца; от суши великой вдали, за озером, горели травы и леса. И как бы вместе с травами изгорал, не сгорая, Еразм, и на гладком кипарисовом древе возникали огненные образы страстного жития преподобной.

Двери в храмину, и у дверей тех — длинная череда юношей и мужей александрийских, с почерневшими от жажды лобзаний устами — как бы череда воинов, уже подъявших закаленное огнем оружие и ждущих ринуться на врага, чтобы насмерть пронзить его тем оружием. И ниже, в золотом обрамлении — самая храмина, бедная и белая, ибо в бедности жила преподобная и не взимала мзды за красоту тела своего. В храмине — убогое и роскошное ложе из трав, а на зеленом ясписе трав — золотой плод: нагота преподобной, и жалят взор четыре расцветших алыми чашами цветка. Но тайну уст и персей, по сказанному, уже знал Еразм: четвертой же, последней тайны не ведал еще юный инок и не из двух, но из трех алых лепестков сложил он эту последнюю тайну, отчего для взиравшего была она еще губительней и необоримей. И в новом обрамлении из красного золота цвели те цветы на обуянном бурями корабле, и корабельщики, забыв о волнах морских, вздымались и падали на иных, огненных волнах. И далее, в опаленной, соломенно-желтой пустыне преподобный Зосима встречал Марию и, в страхе совлекши с себя одежду, бросал ей, дабы не погибнуть, увидев прелесть наготы ее, но ветром пустынным уносило одежду, и стоял Зосима, прискорбно опустив глаза долу на разжение свое. И так, до самого блаженного преставления преподобной Марии, написал Еразм все ее страстное житие.

Был напитанный солнечной кровью закатный час, когда он кончил все. В тот час, как обычно, хлебенный старец Сампсон принес Еразму вечернюю трапезу. И, во-

сторгнутый от всех мыслей и опасений ежедневных, вскричал Еразм к старцу, сказав:

— Велик час скончания пути! Войди, брат Сампсон, и скажи мне, как видишь.

— Опасно мне, брат, — отвечал Сампсон сквозь дверное отверстие.

— Войди, говорю тебе, — с нетерпением и гневом сказал Еразм.

И, чтобы не вводить в гнев брата своего, вошел Сампсон. И увидев, покачнулся на ногах, как если бы обремененны были ноги его некой внезапной тяжестью, и, взревев яростно, пал ниц и сверлил холодный земляной пол келии. В страхе взял Еразм сосуд с принесенной ему старцем водой и вылил ту воду на неистового Сампсона. Тогда встал Сампсон, разодрал на себе одежду и, дважды нагой, воскликнул:

— Горе мне, окаянному! Вотще сила моя!

И пробив келейную дверь, вышел вон. И настала ночь, страшная происшествиями и знамениями. Среди дымной тьмы, освещая себе путь восковыми свечами, бегали иноки, напинаясь на могильные кресты. В дальнем углу, за хлебным подвалом, открывалось и вновь закрывалось огненное окно: там ковали хлебенного старца Сампсона в цепи, дабы не повредил он деревьев и утвари и строений обительских, ибо мог он силою своею прободать все. А несколько выше кровель, там, где некогда повисла показанная Памвой туча, всю ночь слышался легкий, как бы от щекотания, смех и скрип некий, и капала вниз ужасная, подобная черной смоле, роса.

Встало солнце, багровое сквозь дым, и увидели: в ночь, неким чудесным изволением, расцвели все деревья и травы, широко отверзая алые и розовые как тело, и белые, как жемчуг, чаши и источая прелестные благоухания. И повсюду — на деревьях, и в чашах цветов, и на крестах могильных, и на решетках окон, и в сосудах для питья, и на плечах иноков — повсюду видны были акриды, с крыльями как бы из небесной радуги, и трепетали крыльями, соединившись попарно.

Не слыша обычного заутреннего била, но вместо того — смятение и вопль, вышел Еразм к братии и сказал:

— Что мятетесь, братие? Не бойтесь, но возьмите из келии моей образ чудесно явившейся мне преподобной, и она, верую, исцелит вас.

И, сказав так, вновь затворился Еразм в своей келии, помня послушание, положенное на него старцем Памвою. Братия же, по слову Еразма, взяла написанный им образ Марии Египетской в житии и, водрузив образ перед вратами обители, построила над ним сень из цветов. Но лишь начали молебное пение и с надеждою вознесли свои взоры на образ, как явственно увидели пламенеющие на распростертом золотом теле четыре алых цветка — и последний, четвертый, волею и неведением Еразма сложенный не из двух, но из трех лепестков. И внезапно обуял всех огнь страстный, и были все, юные иноки и равно древние старцы, как те мужи александрийские у дверей храмины, ждущие войти к преподобной.

И в тот же час оставленный без стражи Сампсон порвал крепкие цепи и, прободав все на пути, явился пред братией, дерзновенно, на глас четвертый, исповедуя жажду смешения. Вратарь же, услышав как бы молитвенное песнопение, открыл врата многим чаявшим войти в обитель женам и девам и мужам мирским. И все вошли, и на травах, на чистейших доселе плитах во дворе обители, на ступенях келий, под сенью расцветших за ночь кустов — всюду началось неслыханное. И, как ночью, вновь слышен был на высоте кровель смех как бы от щекотания и скрип и шёпот.

Но лишь один, возратившийся от князя той страны, старец Памва видел над обителью тучи веселящихся и скачущих и плещущих крыльями бесов. И более того: никто из одоленных бесами иноков не видел гневного лица старца, ни взмахнувшего, как бич, воскрылия бровей его, и никто не слышал его громких, устыжающих слов. Тогда уразумел старец, что на малый час победили бесы и что пока не истребит он бесовского огня в творящем, того не ведая, соблазны юном Еразме, — до того часа будут в обители властвовать бесы.

И вошел старец в свою келию и из своей келии — в келию Еразма. И увидел Еразма — единого в обители без жены возлежавшего на ложе своем. Но ланиты его были палимы невидимым огнем, и иссохшими устами пил он от неведомой ему четвертой тайны.

Затворив двери и окна, дабы не смущать сердце свое шёпотами и шорохами неистовства, долго молился блаженный Памва. По молитве же сошло на него разумение, и услышал он голос как бы внутри себя, говоривший: «Спусти стрелу, и ослабнет тетива, и уже не будет более смертоносен лук». И сказал себе: «Истинно так». И вновь молился, и предстала пред ним являвшаяся Еразму дева, именовавшая себя Марией. Взял старец за руку ту деву и ввел ее в келию Еразма и сказал ему так:

— Встань, Еразм. По милости своей вновь является тебе преподобная дева. Возьми же ее и уведай четвертую, последнюю тайну. Ибо вижу я ныне: изображающему творение — надлежит ведать все тайны Творца.

И увидел, как совлек Еразм с нежного тела одежду и, вновь коснувшись трех первых тайн, со стенанием погрузился в последнюю.

И погрузилось солнце в воды озера за обителью, и на невинной белой одежде стены проступило красное, как кровь, пятно. И в то же мгновение опали цветы с деревьев и трав, истлели радужные крылья акрид, истаяли бесы, как воск, и, устыженная, во тьме разошлась братия по келиям. Блаженный же Памва вышел во двор обительский и, благословив, отпустил изнеможенных жен и дев, сказав им:

— Идите с миром, ибо ничто в мире не творится без изволения Творца, даже и грех, и все ко благу.

С того дня как бы отпали от Еразма невидимые бесовские цветы, и исцелел он от бывшего в нем одержания. Безбоязненно отпустил его старец Памва жить с братией, и когда читал во храме Еразм — не было уже соблазна от чтения его, когда писал он лики святых — то писал, как все, во славу Божию, а не диавольскую. Память же о темных соблазнах бесовских, о страшных знамениях и необычайных происшествиях молитвою блаженного Памвы была истреблена, как весенний снег солнцем.

И лишь я, недостойный схимник Иннокентий, с благословения мудрого старца. записал все к назиданию и руководству игуменов нашей обители. Простым же инокам не дозволено чтение сей записи.

1920.

О чуде, происшедшем в Пепельную Среду, а также о канонике Симплиции и о докторе Войчеке.

Потому что это чудо случилось именно с каноником Симплицием, а доктор Войчек был единственным в мире человеком, какому суждено было видеть все это с начала до конца.

Поверить в то, что чудо было когда-то, с кем-то — я бы еще мог, и вы могли бы; но что это — теперь, вчера, с вами — вот именно с вами — подумайте только! И потому, когда вечерами доктор Войчек приходил к канонику и они садились за домино, каноник всякий раз спрашивал робко:

— А все-таки . . . все-таки, может быть, вы что-нибудь нашли в своих книгах? Может быть, такие случаи бывали — хотя бы в древности?

Доктор Войчек щурил свои зеленые козьи глаза, рот его полз, пугая улыбкой Симплиция. Так минуту, две. Затем Войчек крутил по привычке на лбу свои рыжие волосы — вот справа и слева торчат уже рыжие рожки — Войчек разводил руками:

— Нет. Ничего не поделаешь, дорогой мой: чудо. Я бы и сам хотел — не меньше, чем вы — чтобы это как-нибудь всё . . . Но как же, если я своими глазами видел — больше: осязал вот этими самыми руками . . . Да что там! Н-ну, а как ваш . . .

Каноник Симплиций знал — о чем дальше, секунду он был дичью на вертеле над медленным огнем — доктор медленно закуривал папиросу.

— . . . как же ваш архиепископ? Здоров?

— Благодарю вас, благодарю вас. Я был у него вчера — он чувствует себя прекрасно.

Об особом благоволении к канонику архиепископа Бенедикта знали многие, и никто этому не удивлялся: чье

сердце не раскрылось бы настежь, если бы туда постучались глаза каноника Симплиция — эти два младенца, удивленно засунувшие в рот свои пальчики? Или нет — может быть, даже не это: может быть, главное — ямочки у каноника на щеках, да, наверное так. А архиепископ Бенедикт . . . что ж: в конце концов и он — человек.

Очень серьезно, разве только чуть пошевеливая рогатой улыбкой, доктор Войчек говорил:

— Дорогой мой, если вас смущает мысль о будущей жизни, о возмездии и о прочем — что понятно — то я могу вас успокоить: это будет во всяком случае не скоро. Есть вернейший способ продлить жизнь до любого срока.

— То-есть — как?

— А так. Вы помните: архиписком рассказывал, что когда он приехал в Рим — ему пришлось перевести стрелки на своем брегете больше чем на час назад — лишний час жизни, понимаете? Если вы приедете в Лондон — вы прибавите к жизни уже два часа, в Нью-Йорк — целых шесть часов, и так далее. Словом, если вы будете все время ехать отсюда к западу, вы будете прибавлять к своей жизни дни, недели, годы — вообще, сколько захотите. Вернейший способ!

Ямочки; младенцы, удивленно засунувшие розовые пальчики в рот. Да, странно, но как будто — так. Цифры: что же тут скажешь. А главное, каноник Симплиций уже привык к этому: каждый вечер, уходя, доктор Войчек оставлял в голове у каноника такой вот гвоздь, каноник ворочался в постели, думал, думал, поворачивал гвоздь и этак и так: нет, Войчек — прав. Войчек — ума необычайного. И, конечно, к кому же, как не к доктору Войчеку, было обратиться, когда с каноником началось э т о.

Началось это первого августа, во время мессы, в день вериг апостола Петра. За неделю до того каноник был у архиепископа Бенедикта. Только что вернувшийся из Рима архиепископ был особенно ласков, угощал колючим асти, медленным, густым напитком братьев бенедиктинцев, розовой, как младенец, римской лангустой. Обо всем этом и о многом другом каноник рассказывал потом доктору Войчеку, ничего не скрывая — как на исповеди, хотя, может быть, происходившее в этот вечер у архиепископа никакого отношения ко всему дальнейшему не имело. Во

всяком случае, в день вериг апостола Петра во время мессы каноник Симплиций в первый раз почувствовал, что он, кажется, болен: кружится голова, в животе какая-то тяжесть.

День первого августа был желтый, жаркий, народу много, густой и трудный воздух. Когда каноник поднял сверкающую золотыми лучами гостúю и произнес: Corpus Domini Nostri custodiat... — он увидел, что какой-то женщине дурно, ее ведут к дверям. И в ту же секунду у него самого каменный пол под ногами стал мягкий, ватный, орган — где-то за тысячу верст, в глазах — паутина. Только до крови закусив себе губы, каноник удержался от того, чтобы не упасть, как эта женщина, и довел до конца мессу.

— — —

Как янтарные четки — дни: одинаковые, прозрачные, желтые. И четки из холодного осеннего хрусталя, четки из снежно-белой слоновой кости. Все та же тяжесть — теперь уже привычная, и внутри — легкая, пожалуй, даже приятная боль. В остальном каноник был здоров, ему говорили даже, что он полнеет.

Однажды вечером, за домино, доктор Войчек пристальней, чем всегда, вщурился в каноника своими зелеными козьими глазами:

— А знаете, дорогой мой, мне не нравится ваш вид. Вы бледны. В чем дело?

Каноник рассказал — о мессе, о том. как ему стало дурно, об этой боли в животе.

— Разденьтесь-ка. Да раздевайтесь же, говорю вам! Подумаешь, целомудрие! Небось, когда ваш архиепископ...

— Нет, нет — я сейчас, сию минуту.

И — тело: в спальнях у женщин такие бывают кресла, обитые розовым шелком, с теплыми ямочками, складочками, живые — может быть, иногда даже заменяющие своих хозяек. Доктор Войчек острее закрутил свои рыжие рожки, пополз к ушам улыбкой. Но через минуту — серьезен, нагнулся, приложил ухо к обитому розовым шелком телу, пощупал живот.

— Та-ак... Слушайте: чего ж вы до сих пор молчали?

— Да я как-то... Мне говорили, что я даже пополнел. А что?

— А то: придется вас резать.

Ямочки; младенцы, испуганно засунувшие пальчики в рот.

— Но почему же? Что у меня такое... ради Девы Марии!

— Боюсь, что ... Впрочем, вот взрежем — тогда скажу.

— Нет, доктор: что нибудь серьезное?

— Как сказать: когда вспухнет живот у бабы — это дело не серьезное, а когда у нас с вами — тут уж не до шуток... Вот что: это у вас давно?

Каноник вспомнил: да, с августа — день вериг апостола Петра — архиепископ Бенедикт вернулся из Рима — ну, и... вот тогда же, вскоре.

Доктор Войчек чуть-чуть шевельнул рожками, улыбкой.

— Так, так... Ну, что ж? — сегодня у нас понедельник? — в среду приезжайте ко мне в госпиталь.

И вот — среда, та самая Пепельная Среда, постом на первой неделе, когда все это произошло. Февральский день, в еще зимнем небе — яркие синие окна, ветер, все летит. Комната — тихая, с жутко-белыми стенами, дверями, скамьями как будто уже не здесь, на земле, где все пестро, шумно, где всегда перепутано черное и белое. В белой комнате каноник Симплиций, замирая, ждал — рядом с какой-то женщиной, похожей на паука: огромный под серым ситцем живот — и кругом живота все остальное — руки, ноги, голова, белые глазки.

Долго сидели молча, каждый о своем. Потом женщина-паук выпростала из живота ногу, каноник увидел расплющенный ботинок, мотается ушко. Женщина туго, кругло вздохнула животом, на живот, как на что-то ей постороннее — как на стол — положила одну из многочисленных рук.

— Вот, рожаю третий раз — и каждый раз режут... Матерь Божия! Зарежут — как без меня будут Стась и Янек и Франц? А вы — тоже к доктору?

— Да, я тоже к доктору Войчеку.

— Вам — что! А я как подумаю: самой старшей — восемь лет... Хорошо еще, у пана доктора милостивое сердце, не берет с меня денег.

Кто знает: может быть, скоро канонику Симплицию вместе с этой женщиной сидеть уже не здесь, в белой комнате, а в каких-то иных огромных и тихих покоях, там ждать часа, еще более страшного — и хорошо, если тогда женщина скажет о нем доброе слово... Каноник Симплиций вынул кошелек, высыпал все, что там было, и отдал женщине. И в тот самый момент, когда она засовывала все это в свой огромный, тугой живот — вошел доктор Войчек, прищурился, пополз на каноника, пугая улыбкой.

— Что, запасаетесь в дорогу добрыми делами? Считаете грехи? Ничего, ничего, дорогой мой: через три недели вы уже опять сможете идти к епископу есть лангусты. Ну...

Дальше — белизна, сталь, стол, дрожь. Издалека, с земли — огромный голос доктора Войчека:

— Считайте вслух: раз-два-три... Ну? Слышите?

И нет уже языка, тела — нет ничего, конец...

— — —

Но для каноника Симплиция — это было только начало; концом это было для той паучьей женщины: она лежала, прикрытая белым, тихая, ее рыжие ботинки были завязаны в узелке вместе с платьем, на узелке — приколота записка, а в одной из белых комнат кричал красный ребенок с громадным, мудрым лбом.

Каноник Симплиций расклеил веки: над ним — рожки, прищуренные козьи глаза, но все же этот демон — несомненно, доктор Войчек, и каноник — явно еще здесь, на земле...

— А она — та женщина, с которой мы вместе... — больше у каноника не было голоса, не было сил, но доктор Войчек понял, закрутил свои рожки так, что самому стало больно.

— Вам, дорогой мой, повезло больше, чем ей: она уже докладывает, кому следует, о ваших добрых делах.

И тотчас же сзади каноника — какой-то жалобный, странный писк. Каноник хотел повернуться, доктор Войчек сердито крикнул:

— Да вы с ума сошли! Лежите! — шагнул куда-то и через минуту вышел на белую середину с подобравшим

ноги к животу, скорченным младенцем — у младенца был громадный лоб.

Каноник Симплиций — на доктора Войчека, на младенца — все круглее, все шире.

— Это . . . это зачем . . . откуда?

Доктор Войчек долго молчал, вщуриваясь своими козьими глазами в каноника Симплиция — все глубже, на самое дно. Вдруг пополз улыбкой, пугая — чему он улыбался, неизвестно. И, наконец, сказал — очень серьезно:

— Все равно — раньше или позже придется: уж лучше сейчас. Этот ребенок — ваш.

Застывшие ямочки; младенцы с испуганно раскрытым ртом.

— Вы хотите сказать . . . То-есть как — мой?

— Так — ваш.

— Но ведь я же . . . Пресвятая Дева! — ведь я же все-таки мужчина!

— Дорогой мой, я знаю это не хуже, чем вы — и тем не менее . . . Вы же понимаете: мне, врачу, поверить в чудо — а я не могу это назвать иначе, как чудом — гораздо труднее, чем вам, священнику, и все же я — ничего не поделаешь! — верю. Примите это как испытание — и как особую милость к вам неба.

— Но, доктор, ведь это же . . . ведь это невероятно!

— А воскрешение мертвых — вероятно? Или вы скажете, что не верите в это?

— Нет, нет — я верю . . . Но почему именно я, — я?

— Быть может, в наказание за какие-нибудь ваши грехи — откуда я знаю? Может быть, потому, что небо избирает своим орудием простые сердца, а вы, к счастью, просты сердцем — как младенец. Ну, успокойтесь, успокойтесь, вам вредно . . . Это — сын, мальчик.

Что ж иного оставалось канонику Симплицию, когда даже доктор Войчек — сам Войчек! — поверил в чудо? Каноник принял это и нес так же покорно, как апостол Петр свои вериги. Ему казалось даже, что он знает, за что небо так наказало и наградило его. Только иногда вечерами, когда они садились с доктором за домино, каноник спрашивал робко:

— А все-таки . . . все-таки, может быть, вы что-нибудь нашли в своих книгах?

Но ответ всегда был один и тот же:

— Нет. Ничего не поделаешь, дорогой мой: чудо.

Доктор Войчек свято хранил тайну чуда, происшедшего с каноником Симплицием в Пепельную Среду. Он рассказывал многим, что каноник по доброте взял на воспитание сына одной умершей бедной женщины — и слава каноника росла, и рос мальчик Феликс.

Когда Феликс называл каноника «папой», каноник становился нежно, шелково розовым.

— Не называй меня так, Феликс. Я не папа тебе.

Мальчик морщил свой большой, умный лоб, молчал, спрашивал:

— А мама? Кто моя мама?

Каноник — еще шелковей, розовее:

— Это тайна. Я открою ее тебе только в тот день, когда навеки закрою глаза.

Этот день, по воле судьбы, был тоже в феврале, как и та самая Пепельная Среда, и такие же облака, ветер, в зимнем еще небе — ярко-синие окна. На стенке перед каноником медленно и невероятно быстро летел темный крест — тень от рамы. Ухватившись крепко за этот крест, каноник Симплиций стиснул зубы и кивнул Феликсу,

— Теперь. Феликс... Нет, доктор, не уходите: все равно, вы знаете это, и вы подтвердите ему, что это было именно так. Ты, вероятно, думал, Феликс, что я — твой отец. Так вот: я — твоя мать, а твой отец — покойный архиепископ Бенедикт.

Каноник последний раз увидел: огромный, как у архиепископа, лоб Феликса, рыжие рожки доктора, что-то светлое — как слезы — в его козьих глазах, и, как это ни странно, канонику показалось, что доктор Войчек сквозь слезы смеется. Впрочем, все это смутно, издали, сквозь сон: младенец уже засыпал.

1924.

СКАЗКИ

Бог

Было это царство богатое и древнее, славилось плодоносностью женского пола и доблестью мужеского. А помещалось царство в запечье у почтальона Мизюмина. И был такой таракан Сенька — смутьян и оторвяжник первейший во всем тараканьем царстве. Тараканихам от Сеньки — проходу нет; на стариков ему начихать; а в бога — не верит, говорит — нету.

— Да как же нету, бесстыжие твои глаза? Ты при свете вылезь да зеньки разинь. А то, ишь ты: не-ету...

— А что ж, и вылезу, — хорохорился Сенька.

И вылез однажды. Вылез — и ахнул: бог-то ведь есть и правда! Вот он, вот: грозный, нестерпимо-огромный, в розовой ситцевой рубашке, бог...

А бог, почтальон Мизюмин, чулок вязал: любил он этим рукомеслом позаняться в сверхурочное время. Увидал Сеньку Мизюмин — обрадовался:

— А-а, друг сердечный, таракан запечный, откуда ты, здравствуй!

Почтальону Мизюмину нынче выговориться обязательно надо, а больше, как с Сенькою, не с кем.

— Ну, брат Сенька, женюсь я. Невеста — первый сорт. Пойми ты, тараканья душа: девица — из благородных, и приданого полтораста рублей! Ох, и заживем же мы с тобой! Заживем, Сенька? А?

А Сенька от умиления глаза как вылупил — так и остался: все слова позабыл.

У Мизюмина свадьба — на Красную Горку, и заказала ему благородная невеста, чтоб до свадьбы обязательно купил себе новые калоши. А то чистый срам: уж который год носит Мизюмин отцовские кожаные скробыхалы номер четырнадцатый. И как только Мизюмин на улицу — сейчас же за ним мальчишки:

— Э! Э! Скробыхалы! Скробыхалы! Держи! Скробыхалы!

Навязал Мизюмин чулок — и на Трубную пошел: чулки продать — новые калоши купить. Подвернулись Мизюмину щеглы в клетке: не щеглы — загляденье.

— Сем-ка я лучше щеглят куплю? Калоши-то еще крепкие . . .

Купил клетку, поднес невесте в презент:

— Вот чулки связал — продал, щеглят вам купил. Не побрезгуйте уж: от чистого сердца.

— Ка-ак? Чулки? И опять в скробыхалах? Ну, не-ет, терпенья моего больше нету. Подумать только: за чулочника замуж! Не-ет, нет, и никаких разговоров!

Прогнала Мизюмина с глаз долой. Надрызгался в трактире Мизюмин, вернулся домой пьян-пьянехонек, за стены держится . . .

А на стене — ждал бога таракан: Сенька: умиленно слушать, как всякий вечер, что скажет бог.

Горькими слезами хлюпал, шарил рукой по стене почтальон Мизюмин. И ненароком как-то задел пальцем Сеньку, полетел Сенька торчмя головой в тартарары в бездонное.

Очнулся: на спинке лежит. Берега — гладкие, скользкие; глубь — страшенная. Еле-еле, далеко где-й-то, потолок виден . . .

И взмолился Сенька своему богу:

— Вызволи, помоги, помилуй!

Нет, глубь такая — и богу, должно быть, не достать, так тут и сгинешь.

. . . Горькими слезами хлюпал почтальон Мизюмин, подолом розовой рубашки утирал нос.

— Сенька, Сенюшка, один ты у меня остался . . . И где же ты . . . И куда ж я тебя, милый ты мо-ой . . .

Нашел Сеньку Мизюмин в своем скробыхале. Пальцем выковырнул Сеньку из бездны — скробыхала номер четырнадцатый — и на стену посадил: ползи. Но Сенька даже и ползти не может, прямо очумел: до чего нестерпимо-велик бог, до чего милосерд, до чего могуществен!

А бог, почтальон Мизюмин, хлюпал и подолом розовой рубашки утирал нос.

1915.

Петр Петрович

Умнее Петра Петровича в целом свете нету: и все думает, и все думает, сопли распустит — и думает.

А сопли у Петра Петровича — лиловые, а происхождения Петр Петрович индейского. А жена у Петра Петровича — клюшка Аннушка, рябенькая: другой месяц женаты.

И как вылупились из земли слепые еще головенки первых трав — занасестилась Аннушка. Причесываться перестала, расшершавилась — ходит и квохчет и охает, а Петр Петрович на одной ноге стоит и думает, думает: вот — яйца, с рыженькими веснушками; а не нынче-завтра из них индюшата выйдут, желтые, как одуванчик, пуховые, как одуванчик.

— Ну до чего интересно!

А рябенькая Аннушка — свое бабье дело делает: в кошелке на яйцах сидит. Неделя, другая. Извелась Аннушка, не пьет — не ест, с места не сходит.

Петру Петровичу не терпится.

— Ну, как там у тебя?

Краснеет Аннушка:

— Да теперь уж, поди, как следует. Только еще пушком не обросли. Еще недельку бы надо.

— Ну-у: неделю! Так и не дождешься. Экие вы, бабы!

Умнее Петра Петровича в целом свете нету, и все думает, и все думает: на одну ногу станет — и думает.

И решил Петр Петрович: бабы — известно, рохли, копухи, чего на них глядеть, надо по-нашему, по индейпетушиному.

Пришел к Аннушке — один глаз прищурен: хитрый — беда!

— Поди-ко-сь, попей, Аннушка. В лоханке — вода свежая, а я без тебя за яйцами пригляжу.

Ушла Аннушка пить, а Петр Петрович — в кошелку: кок — одно яйцо, кок — другое, кок — третье. Теплые индюшата, дышут, ей-Богу! Обрадовался — вот как, и ну их из скорлупы тянуть.

Вытянул — а они страшные, голые, хлипкие, и самое, где задик, с отонком яичным срослись жилами, кровью. Отдирать стал — кишки тянутся, назад совать в скорлупу — назад не входят.

Отскочил Петр Петрович, побледнели сопли — и глядит, клюв разиня: яйца разбитые, и свесились через край желтенькие головки на нестерпимо-длинных, тоненьких шеях. И уж еле дышут.

Захлопал крыльями Петр Петрович — и скорей через забор, пока Аннушка не увидела. Бабы — они, ведь, какие: беда с ними!

1916.

Дьячок

Слыхано ли, чтоб кто-нибудь по выигрышному билету выигрывал, да не по газете, а взаправду, так, чтоб и деньги выдали? А вот выиграл же кураповский дьячок, Роман Яковлич Носик, и вчерашнего числа получил в казначействе пять тысяч. Теперь — чисто царь: все может.

Роман Яковлич Носик — сложения деликатного, и мысли у него — деликатные, возвышенные: насчет облаков, стихов господина Лермонтова. А в кураповской церкви — милее всего дьячку Моисей на горе Синайской, в облаках алых, золотых и лилейных.

Всю ночь дьячок ворочался с боку на бок: что бы это такое ему теперь сделать? И то хорошо, и это не плохо, да надо что-нибудь такое повозвышенней. И никак не придумать.

Пошел утром в церковь, Моисею-пророку помолиться. Только увидал Роман Яковлич нестерпимую синь синайскую и на самой маковке из облаков нездешний град — сразу и осенило.

Прибежал к дьячихе:

— Ну, мать, собирайся! Нонче выезжаем.

— Да ты спятил, что ли? Куда тебя буревая несет?

А дьячок от волнения уж вовсе невнятен:

— Жа-жалаю, чтоб, значть, к-как Моисей . . . На горе Синайской . . . чтоб, значть, облака . . .

Ехали, ехали, текала, охала, пилила дьячка всю дорогу дьячиха. Приехали, стой: Кавказ называемый. Гора — две капли воды — Синайская, и зацепились за маковку неописанной красы облака.

Только хотел дьячок на колени пасть — глядь, стоит телега парой, на грядушке — солдат кривой:

— Пожалте, Роман Яклич, я за вами.

— Чего такое? Кто послал? Куда?

— А на маковку, в облака в самые... — и такой у кривого солдата глаз пронзительный, так насквозь и низает. Жуть, а ехать все равно надо: сел Роман Яковлич с дьячихой на телегу — и покатили.

Сорок дней — сорок ночей на маковку ехать. Дьячиха — знай себе, подзакусывает да чай с молоком пьет. А дьячок — будто к причастью, не пьет — не ест, исхудал, лицом посветлел. Уж будто видать и соборы синекупольные, и зубцы белые, и завтра Роман Яковлич, как Моисей — в облаках...

Под сороковой день ночью на постоялом лошадей кормили.

— Ну, завтра — чуть свет приедем... — и показалось, кривой солдат подмигнул: — Время есть, — может, назад повернуть?

— Что ты, кривой, Господи помилуй! На самый напоследок — да повернуть?

Закрылись веретьем да сверху армяком дьячковым, улеглись в телеге дьячок с дьячихой, погнал лошадей солдат. Дьячиха давно уж храпит, а дьячку — не до сна, сердце колотится, а нарочно глаза закрыл: потуда не откроет, покуда не осияет нестерпимая синь синайская, не запоют нездешние голоса...

И случился грех: уморился ждать, задремал дьячок, как и приехали, не учуял. Только слышит — гаркнул кривой солдат:

— Вставай, Роман Яклич, приехали!

Стал дьячок глаза разожмуривать, потихоньку-потихоньку, чтоб не ослепнуть. Раскрыл: мга, изморось, осень, слякоть...

— Ты чего ж, кривой, брешешь, чёртов сын? Пре-ехали! А облака-то где?

— А это самые облака и есть, друг ты мой Роман Яклич... — да как загогочет — и пропал, и нет никого: одна изморось, мга, туман.

1915.

Ангел Дормидон

Был такой глупый ангел, по имени — Дормидон.

Все ангелы, известно — от дыхания Божия: дохнет Господь — и ангел, дохнет — еще ангел. А тут погода была плохая, чихнулось — и вылетел ангел от чоха, оттого и несуразный. Рыластый, глазами, это, все туды-сюды, туды-сюды, и на левой руке, на мизинце, кольцо с аметистом: ну под стать ли это ангелу-то? А как до дела — так ему чтоб сразу все, с бухты-барахты, а потом и завалиться дрыхнуть. Так уж его терпели на небе, из милости больше.

И приставили глупого ангела Дормидона за мужиком ходить. А мужик — тоже хорош: пьяница забубенный.

Ходил, это, ходил Дормидон за своим мужиком по всем целовальникам — никак толку нет.

«Ну, коли так, — думает, — ладно. До белой горячки тебя допою, а потом уж сразу и раскаю».

И мужику на ухо:

— Вали, брат, наяривай! Ну-ка, еще по одной!

И побежал мужик по деревне не в своем виде, без штанов, буянит — мочи нет, а в руках цеп: за своей же, мужиковой, тенью с цепом гоняется.

А Дормидон в воротах, за вереей, с мужиковым братом спрятался, и оба за животики держатся:

— Ха-ха-ха! Так ее, такую-сякую! Так ее, лови!

Добежал мужик, тень — нырь в ворота. Мужик за ней:

— А-а! Еще гогочешь, проклятая? Ну, посто-ой...

Да как ахнет цепом с плеча! Ангелу-то чего подеется, а мужиков брат — так и свалился, как колос: мертвый.

Полетел глупый ангел с донесением: так и так, происшествие. Взмылили ему голову, как надобно, а он стоит себе да перстень с аметистом вертит: как с гуся вода.

— Ну, Дормидон, — говорит Бог, — теперь уж как хочешь, хоть двадцать годов ходи, а чтобы у меня в рай мужика этого предоставил.

— Фу ты, Господи: да неуж не предоставлю? Я-то? — и к мужику, на землю.

А день был базарный: пошли с мужиком доски покупать — мужикову брату на домовину, и веревок — домовину спускать.

Мужик тверезый, зленный — страсть! — Дормидона так и чешет:

— Во-от въелся, чисто репей в хвост собачий! Ты долго еще за мной будешь?

Дормидон — будто и не ему: знай, перстень вертит. А у самого в голове, как гвоздь:

«И как бы это одним махом от мужика оттильдикаться?»

Глядь — цыган мимо, свинью на аркане волокет: свинья визжит, упирается, веревка длинная, белая.

Увидал Дормидон цыгана с веревкой — как по лбу себя хлопнет: батюшки мои, вот же . . . И мужику на ухо:

— Покупай веревку-то, покупай. Веревка-то какая: нигде такой не найти.

Купил мужик. И только, это, вышли с Дормидоном на выгон — ну, который за базаром выгон — Дормидон хвать цыганов аркан мужику на шею — и поволок.

Мужик — в голос:

— Батюшка! Ослобони, родимый! Брат неприбран лежит! Куда ты меня?

А Дормидону — потешно, ржет:

— Ну-ка еще? Ну-ка еще? Не-е-ет, не уйдешь! — Так без пересадки в рай и приволоку.

Брыкался-брыкался мужик, а под конец — сел на землю колодой — и все: поди, сковырни.

Почесался Дормидон, поплевал на руки — дюжий был — за аркан покрепче да как завьется с мужиком вверх. И ходу, все пуще, только ветер свистит. На мужика и не оглядывается: тяжело на аркане, стало быть тут мужик, ну и ладно, а что утих — и того лучше.

Прилетел в рай, упыхался, ухмыляется Дормидон во весь рот: доволен.

— Вот он мужик-то ваш. Предоставил.

Поглядели: а мужик лежит, не копнется, синий весь, язык высунут. Готов.

Осерчал тут Господь — не приведи Господи, как...

— Предоста-авил! Дурак ты, дурак набитый! Сейчас — вон, и чтоб духу твоего не было!

Обчекрыжили Дормидону крылья — и на землю сослали. Пока, это, еще опять до ангелов дослужится.

1916.

Электричество

У слесаря Галамея в поясницу вступило: мочи нет, одолел ревматизм этот самый окаянный. Галамей и то, и другое, и на пороге ему баба поясницу обухом секла, и мазево всякое — ничего толку. Уж и за что взяться не знает.

А тут сосед какой-то возьми да и накапай ему в мозги про электричество: одно-де тебе и осталось лекарство — электричество от всех болезней может.

Утром чем свет Галамей взбодрился: одной рукой за поясницу, другою — сапог натягивает.

— Ты куда ж это ни свет-ни заря? — баба галамеева спрашивает.

— А электричеством, — говорит, — лечиться пойду. Одно мне только теперь и осталось.

— Ой, батюшка, ты бы как полегче, дело-то такое — умеючи надо. Ты бы сперва к доктору.

— Дура-баба: а звонки электрические кто на почте наладил? «Ты-ы, батюшка . . .» Ну, то-то. И без доктора, мол-ка, управлюсь. У Галамея, брат, своя башка на плечах.

Взвалил проволоки медной круг — и пошел. Посередь самой Тамбовской остановился, штаны расстегнул, проволокой себя пониже пояса обмотал, а на другом конце крючечек сделал — и ждет. А рань еще, камни розовые, ставни закрыты, мальчишки в белых фартуках на головах корзины несут. И самый первый трамвай через мост гудит.

Услыхал Галамей, изловчился, накинул крючечек на самый на трамвайный провод: ну-ка, Господи благосло . . .

Ка-ак его шкрыкнет электричество это самое, заплясал, скрючило в три погибели — и на земь свалился.

Ну, тут, конечно, шум, гам, кондуктора, пассажиры выскочили, оттащили Галамея. За доктором. Тёр-тёр, кой-как доктор оттёр Галамея, открыл Галамей один глаз.

— Ну, как? — доктор спрашивает. — Как чувствуете?

— Ничего, — говорит, — не чувствую. Вылечился, слава тебе, Господи.

И Богу душу отдал.

1917.

Картинки

Пришел я к приятелю — денег взаймы просить. Ни самого нет дома, ни жены нету: вышел ко мне в залу мальчик, чистенький такой.

— Вы погодите немножко. Папа-мама сейчас придут.

А чтоб не скучал я, стал мне мальчик картинки показывать.

— Ну, это вот что?

— Волк, — говорю.

— Волк, верно. А вы знаете, волк, он травку не кушает, он овечков кушает . . .

И этак все картинки объясняет дотошно: ну, смерть — надоел. Петуха раскрыл:

— А это что ? — спрашивает.

— Это? Изба, — говорю.

Выпучил мой мальчик глаза, обомлел. Погодя, кой-как справился, нашел мне настоящую избу:

— Ну, а это что?

— А это — веник березовый, вот что.

Улыбнулся мальчик вежливенько и доказывать стал: изба — зернышки не клюет, а петух — клюет, а в петухе — жить нельзя, а в избе можно, а у веника — дверей нету, а у петуха . . .

— Вот что, — говорю, — милый мальчик: если ты сию минуту не уйдешь, я тебя в окошко выкину.

Погледел мне в глаза мальчик, увидал — правда, выкину. Заревел, пошел бабушке жаловаться.

Вышла бабушка в залу и стала меня корить:

— И как же вам не совестно, молодой человек? За что вы милого мальчика? Ведь он вам истинную правду говорил.

1916.

Дрянь-мальчишка

Подарили Петьке игрушку: голубоглаза, маленькие ручки, шелковые кудри, разные там кружевца да прошивки. А уж это-то как замечательно: нажать хорошенько — и сейчас тебе скажет: «лю-блю», да еще и глазки голубые закатит.

Играть бы да играть Петьке, да родителей благодарить: не всякому такие игрушки дарят. Так вот нет же: глупый мальчишка, больно уж умен не в меру. День поиграл, другой. На третий — пожалуйте:

— Отчего глазами так делает? Отчего пахнет хорошо? Отчего «лю-блю»?

Перочинный ножичек, да вспорол, да до всего и добрался, отчего что.

А только ничего интересного: для томных глаз — шарики какие-то свинцовые; под розовым атласом — кожей — гнилые опилки; для «лю-блю» — резиновый пузырь с дудкой.

Зашили потом родители кое-как, да уж не то: «лю-блю»-то уж не умеет делать.

Петьку выдрали: глупый мальчишка — будет знать, как игрушки портить. Говорёно сколько раз: игрушки — для игры, а не хочешь играть, дрянь мальчишка, отдай другому. А то, ишь, ты: внутри ему глядеть надо, ломать ему надо.

— Не ломать, не ломать, не ломать!

Так его.

1915.

Херувимы

Всякому известно, какие они, херувимы: головка да крылышки, вот и все существо ихнее. Так и во всех церквах написаны.

И приснился бабушке сон: херувимы у ней в комнате летают. И летают, и летают, крыльями полощут по-ласточьи, под потолком трепыхаются. Вот теперь — пониже, вот шторку задели, об лампу стукнулись, опять — к потолку. Прочитала им бабушка Херувимскую, и всякую молитву про херувимов вспомнила — прочитала, а они все летают.

Уж так стало жалко бабушке херувимов — терпенья нет. И говорит она — какому поближе:

— Да ты бы, батюшка, присел бы, отдохнул. Уморился, поди, летать-то.

А херувим сверху ей, жа-алостно:

— И рад бы, бабушка, посидеть, да нечем.

И верно: головка да крылышки — все существо ихнее. Ничего не поделаешь.

1917.

СОДЕРЖАНИЕ